

Министерство образования и науки,
молодежи и спорта Украины

Киевский национальный университет
технологий и дизайна

Д. С. Черняк

СОЦИОЛОГИЯ

Хрестоматия

Учебное пособие
для студентов высших учебных заведений

Рекомендовано Ученым советом Киевского национального
университета технологий и дизайна как учебное пособие
для бакалавров всех специальностей

К и е в
КНУТД
2 0 1 2

УДК 316(082)
ББК 60.5я73
С69

Рекомендовано Ученым советом Киевского национального
университета технологий и дизайна как учебное пособие
для бакалавров всех специальностей
(протокол № 6 от 22 февраля 2012 г.)

Рецензенты:

Ванюшина Е. Ф. – канд. филос. наук, доц. кафедры психологии
Киевского национального торгово-экономического университета.

Горбачик А. П. – канд. физ.-мат. наук, доц., декан факультета
социологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Судаков В. И. – д-р социол. наук, проф., зав. кафедры истории и теории
социологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Черняк Д. С.

С69 Социология: хрестоматия. Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / Д. С. Черняк. – К.: КНУТД, 2012. – 364 с. На рус. языке.

ISBN 978-966-8276-62-0

В хрестоматии представлены проблемные вопросы курса «Социология». Работа построена с учетом достижений классиков социологии и современных авторов. Подготовленная хрестоматия дает возможность приобщиться к творчеству ведущих ученых, познакомиться с содержанием и познавательными возможностями социологии, углубить знания по курсу. Активно может использоваться во время семинарских занятий, как дополнительный источник получения информации, стимул для самостоятельного изучения социологического наследия. Хрестоматия является дополнением учебного курса «Социология», для студентов, аспирантов, преподавателей.

УДК 316(082)
ББК 60.5я73

ISBN 978-966-8276-62-0

© Д. С. Черняк, 2012
© КНУТД, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

1	П. Монсон. Лодка на аллеях парка: введение в социологию.....	4
2	П.Бергер. Социология как способ времяпрепровождения.....	14
3	Э.Дюркгейм. Социологический метод.....	24
4	П.Штомпка. Теоретическая социология и социологическое воображение..	27
5	П. Бурдьё. Социология и демократия.....	37
6	М.Вебер. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания.....	41
7	И. Валлерстайн. Наследие социологии, будущее социальной науки.....	71
8	Г.Спенсер. Общество есть организм.....	90
9	А. Зиновьев. Условия возникновения общества.....	100
10	Э.Шилз. Общество и общества: макросоциологический поход.....	103
11	П.Бергер, Т.Лукман. Общество как объективная реальность.....	114
12	Т.Парсонс. Общества.....	129
13	Р.Бендикс. Современное общество.....	142
14	Д.Белл. Постиндустриальное общество: концептуальная схема.....	148
15	Дж.Мердок. Община.....	154
16	В.Радаев, О.Шкаратан. Сущность и функции социальной стратификации..	161
17	Е.Бергель. Социальная стратификация.....	179
18	Н.Дж. Смелзер. Мінливий вигляд стратифікації.....	188
19	Р.Дарендорф. О происхождении неравенства между людьми.....	191
20	Заславская Т.И. Средний класс в западной социологии: проблемы определения.....	209
21	З.Бауман. О «пользе» бедности.....	211
22	Ж. Бодрийяр. Индустриальная система и бедность.....	218
23	П.Сорокин. Социальная мобильность, ее формы и флуктации.....	220
24	П.Сорокин. Каналы вертикальной циркуляции.....	234
25	Р.Мертон. Связи теории социальной структуры и аномии.....	245
26	А.Пригожин. Организация как социальное явление.....	272
27	П.М. Блау. Исследования формальных организаций.....	279
28	И.Кон. Личность и общество.....	287
29	Ч.Кули. Социальное Я.....	297
30	Г. Андреева. Социализация.....	304
31	А. Асмолов. Интериоризация / экстериоризация как механизм социализации человека.....	315
32	Э.Г.Эриксон. Восемь возрастов человека.....	318
33	Ч.Кули. Первичные группы.....	329
34	П. Козловски. Понятие культуры.....	333
35	П. Козловски. Назначение культуры.....	336
36	Л.Г.Ионин. Культура и науки о культуре.....	339
37	К. Манхейм. Социологические причины культурного кризиса нашего времени.....	346

II. МОНСОН

ЛОДКА НА АЛЛЕЯХ ПАРКА: ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ

[...] Представьте себе, что ранним утром вы сидите в вертолете, который только что оторвался от земли. Вы взлетаете над городом. Неподалеку раскинулся большой парк. Вы зависаете над центром парка и внимательно разглядываете его. Там, внизу, под вами видны зеленые газоны, ухоженные рощицы и непроходимые заросли кустарников, маленькие озерца и целая сеть широких асфальтированных аллей, от которых разбегаются более узкие, посыпанные гравием тропинки, тут и там извивающиеся под деревьями. Вдоль широких аллей стоят садовые скамейки для отдыха. Клумбы с цветами радуют глаз. Однако сейчас раннее утро, и парк внизу пустынен и тих.

Но вот появляются первые люди. Они быстро входят в парк по самым широким аллеям и торопливо проходят насквозь кратчайшим путем. За ними следуют новые посетители; понемногу публика прибывает и сливается в ровный поток. Большинство продолжает двигаться по широким асфальтовым аллеям, но некоторые сворачивают на боковые тропинки, под деревья, где на некоторое время пропадают из виду. Попадают и такие, что бредут, спотыкаясь, не разбирая дороги, топчутся прямо по клумбам. Вот опять появляются прохожие, предпочитающие идти по асфальту. Скамейки заполняются отдыхающими; вскоре образуется очередь из желающих посидеть на лавочке. А кое-где некоторые граждане покидают и широкие аллеи, и узкие тропинки и лезут напролом через заросли кустарника. Большинство из них пропадают из виду и больше не показываются, но отдельные упрямцы все же ухитряются пробиться и выныривают на изрядном расстоянии по другую сторону кустарника, ободравшись и исцарапавшись в кровь об острые ветки шиповника. День проходит, и людской поток, нараставший вначале, становится теперь все меньше. Большинство пришедших в парк в сумерки придерживаются широких асфальтовых аллей и движутся по тропинкам в ожидании наступающей темноты. Наконец вам видны только светящиеся огни полицейских машин, а все, кто в течение дня пропал из виду и затерялся, так и остаются невидимыми. Когда тьма окончательно поглощает парк, он кажется полностью опустевшим. Можно оставить наблюдательный пост и вернуться домой.

На следующий день вы снова садитесь в вертолет, но на этот раз полет проходит над морем. Вы удаляетесь от берега настолько, что земля исчезает вдаль, и со всех сторон горизонта – только вода. Вновь вы зависаете, выбрав подходящее для наблюдения место. Под вами сверкает море, и единственное, что вы видите, – легкая рябь на воде от небольшого ветерка, да буруны над подводными рифами. Через некоторое время на горизонте появляются несколько судов. Они медленно ползут по зеркальной поверхности, проходят под вами и снова пропадают вдаль. День разгорается, и судов становится все больше. Одни из них огромные – это океанские лайнеры, они четко различимы;

другие – маленькие, настолько маленькие, что кажутся точками. Большинство кораблей следуют по собственному курсу. Но скоро вы начинаете замечать, что некоторые движутся по невидимым фарватерам. Отдельные суда почти касаются друг друга бортами, прежде чем их пути разойдутся. Иногда происходят столкновения, другие кораблики спешат на помощь к потерпевшим крушение, экипажи пересаживаются к ним на борт. А вот суденышко налетает на риф и погружается на дно, не оставив после себя никаких следов. Какие-то кораблики мгновенно исчезают, накрытые огромной волной.

На невидимых постороннему глазу фарватерах волнение никогда не замирает, а суденышки идут одно за другим. Поэтому на поверхности воды постоянно образуются разнообразные рисунки, узоры, которые все время меняют облик вследствие непрерывного движения судов. Неожиданно вы замечаете, что некое судно, уклоняясь от волн, преследует другое. Неподалеку несколько маленьких лодочек буксируют весьма солидное «плавсредство». Но все корабли стремятся дальше, к горизонту, двигаясь в соответствии с существующим у них планом.

Этот день тоже приближается к концу; ближе к вечеру фарватеры начинают пустеть, и последние кораблики пропадают из виду в лучах заходящего солнца. Последнее, что вы замечаете, – на судах вспыхивают огни, и ориентироваться там начинают, очевидно, по звездам. Вы не знаете, откуда приплыли эти корабли; вам неизвестна также причина, побудившая их отправиться в путь. Наконец и они растворяются в темноте, и зеркальная гладь моря под вами снова неподвижна. Можно оставить свой наблюдательный пост. Перед тем как выйти из вертолета, воскресите в памяти все, что вы видели, зависнув над парком и над морем. Вспомните и тех людей, которые шли по асфальтированным аллеям, и тех, которые сворачивали на тропинки. Задумайтесь о тех, кто исчез в зарослях кустарника. Представьте себе кораблики в море, вспомните маршруты их движения и рисунок, образуемый волнами. В какое-то мгновение картинки накладываются одна на другую, и вы видите, что, собственно говоря, лодки тоже передвигались по некоему парку. А теперь распрощайтесь с вертолетом и возвращайтесь к обыденной жизни.

Образ вертолета, зависшего сперва над парком, а затем над морем, будет символизировать фундаментальную задачу, которая встает перед теми, кто пытается изучать общество. Парк – это символ того, что в социологии именуется социальной структурой общества, или, если короче, общественной структурой. Общественная структура – это организация общества, своего рода канва, заранее установленный порядок, точно так же, как аллеи и тропинки, пруды, деревья и газоны образуют канву парка, или его план, если вы смотрите на этот парк сверху. Со своего наблюдательного поста в вертолете вы разглядывали этот рисунок еще до того, как в парк пришли посетители; вы продолжали его наблюдать и после того, как последние прохожие ушли. Люди, пришедшие в парк, воспринимали его как некий заранее установленный порядок – аналогичным образом человечество воспринимает социальную структуру общества. Большинство пришедших в парк двигались по асфальтированным аллеям, символизирующим то, что в социологии называется

социальными институтами. Примерно так же, как можно представить парк в виде канвы, образованной аллеями и тропинками, можно представить и общество в виде канвы из социальных институтов. Основные институты общества – те «аллеи», по которым идет большинство людей, однако имеются менее значительные группы тех, кто «выбирает тропинки». И подобно тому как в парке встречались посетители, топтавшие клумбы, в обществе есть люди, «спотыкающиеся на ровном месте». Это явление в социологии называется отклоняющимся поведением, и во множестве как теоретических, так и прикладных исследований содержатся попытки объяснить, почему люди определенного сорта непременно будут «вытаптывать клумбы». Однако важно заметить, что «отклоняющееся поведение» является «отклоняющимся» на фоне «нормального» и, следовательно, отклонения изначально заложены в общественные структуры. Без одного нет другого.

В парке были и такие, кто не только не удовлетворился прогулкой по ранее проложенным тропинкам или даже вытаптыванием клумб, а ринулся в непролазный кустарник. Они не признали существующую канву парка и пошли туда, откуда впоследствии нельзя будет выйти. Возможно, они пытались найти кратчайший путь или протоптать новые дорожки, которые – если следом двинутся другие люди – со временем превратятся в широкие асфальтированные аллеи. Посетители парка будут гулять по ним и думать, что эти аллеи были всегда. В таком случае, возможно, прежние аллеи начнут зарастать и вскоре станут непроходимыми. Феномен «протаптывания тропинок» и «зарастания аллей» в социологии обозначается термином социальные изменения. Социальные изменения довольно сложно объяснить с помощью понятия общественной структуры, так как последняя в ближайшей временной перспективе может считаться такой же стабильной, как и структура парка. Поэтому возникает вопрос, почему отдельные индивиды упорно искали кратчайший путь или хотели «протоптать новые дорожки», т.е. создать новые возможности, ранее несуществовавшие в социальной структуре. В связи с этим следует рассматривать общественную структуру в диахронической перспективе, т.е. считать ее исторически изменяемой. Обычно социальные структуры рассматривают синхронически, как они возникают и функционируют в ближайшей, непосредственной временной перспективе. В этом случае социальная структура представляется как некий самовоспроизводящийся стабильный порядок, который поддерживается с помощью социального контроля, осуществляемого людьми друг над другом. Наличие этого контроля приводит к тому, что дозволенные и запрещенные пути, возможные и невозможные направления движения отделяются друг от друга, и большинство людей продолжает идти по «асфальтированным аллеям».

Картина поведения посетителей парка является своего рода моделью и характеризует то направление в социологии, что изучает общество независимо от тех или иных основополагающих образцов поведения, которых отдельный человек придерживается в течение своей жизни. При этом в первую очередь абстрагируются от того, почему индивид выбирает какой-нибудь образец поведения, установленный коллективом. Такой подход называется

структуралистским направлением социологии и является, вероятно, одним из наиболее значительных. Основная идея его состоит в том, что общество лучше всего изучать в виде стабильной социальной структуры, отдельные социальные институты которой по частям дают нам информацию о людях, живущих в данное время. Отдельный человек не может протоптать своей особой дорожки вне существующих общественных структур. Поэтому каждый отдельный человек, независимо от его места в этой системе, более интересен как часть общей картины, даже если сам он считает себя выше ее. Люди не могут или не желают жить вне социальных связей, поэтому жизнь каждого человека осуществляется как процесс выбора направления на перекрестках, предложенных ему обществом. Большинство выбирает прямую широкую дорогу, не задумываясь особенно о том, что скрывается в зарослях. Иных, возможно, и разбирает любопытство, но отпугивают острые колючки.

Другой образ, «корабли в море», символизирует восприятие человека как творца собственной жизни. Здесь нет видимых глазу путей, однако каждое судно знает, как определить свое направление движения. Это символ человека, обладающего свободой воли. Мы, по выражению Ж.-П. Сартра, «приговорены к свободе». Если мы считаем, что наша жизнь должна идти по определенному пути, пути, заданному извне, значит, мы выбрали несвободу, выбрали отсутствие выбора. Оправдывать нацистских палачей тем, что они «только подчинялись приказам», – значит отрицать их моральную ответственность, присущую каждому свободному человеку: даже перед угрозой расстрела можно выбрать – жить дальше или нет, и при этом отвечать за свой выбор.

В приведенном примере, таким образом, отправным пунктом являются свобода человека и его ответственность за свою (и чужую) жизнь. Это так называемое экзистенциалистское направление социологии, где общество всегда рассматривается как результат поступков отдельных индивидов, обладающих свободой выбора. В сущности, вне человека нет ничего такого, что принуждало бы его действовать тем или иным образом; также общество в целом должно признавать выбор человека присущим его индивидуальной экзистенции. Точно так же, как спокойно зеркально гладкое море, социальные структуры «пусты», если не появляются люди, оставляющие за собой «след». Можно заметить, что подобно тому, как большинство кораблей плыли по морю, следуя определенными фарватерами, большинство людей проживает свою жизнь весьма упорядоченно и относительно предсказуемо. Экзистенциалистски настроенный исследователь должен поэтому суметь объяснить наличие социальной канвы. Если мы опускались на вертолете ближе к поверхности моря, то замечали, что в глубине есть скрытые отмели и впадины. Аналогичным образом можно отыскать определенное количество «скрытых причин», порождающих разнообразные стабильные общественные устои. Для всех людей важным является существование некоторого количества «социоматериальных» факторов, окружающих нас в повседневной жизни и сильно влияющих на нашу теоретическую свободу. Это главным образом «преобразованная материя», начиная с жилья, одежды, автомобилей и стереоаппаратуры и кончая индустрией развлечений, компьютерными

терминалами и кожаными креслами. В том, что из этого может быть создано, всегда присутствует определенное намерение, намерение, в значительной степени определяющееся возможностями. Если строится дом, в котором большинство квартир многокомнатные, тем самым облегчается существование больших семей, но при совместном проживании возникают свои сложности, подобные проблемам, возникающим на автострадах, хотя последние строились именно для того чтобы ездить быстро. Человек поэтому может рассматриваться как «результат своих собственных результатов» (Сартр), и поэтому на каждую человеческую жизнь влияет повседневный выбор, тысячекратно совершаемый другими людьми. Можно сказать, что мы живем в «социоматериальной структуре», которая совершенно очевидна для всех нас, даже если мы ее и не воспринимаем подобным образом.

Мы можем также «посмотреть вверх» и заметить, что человечество ориентирует свой жизненный путь еще и по солнцу и звездам. Насколько нам известно, человек – единственное существо, которое осознает, что живет один раз и не всегда будет существовать. Он является единственным экзистенциалистски мыслящим существом, знающим, что смерть неизбежна. Это своего рода «экзистенциальное обрамление» нашей жизни, когда ощущение своего «бытия» и предчувствие «не-бытия» может стать причиной отчаяния и тем самым побудить нас искать смысл жизни. Если же мы, как выразился другой экзистенциалист, «заброшены в мир без какого бы то ни было смысла или цели», то обязаны создать себе сами цель, не существовавшую до нас. Поэтому мы рассматриваем жизнь как «сумму проектов», мы загадываем наперед, что-то планируем, ставим перед собой цели, которых хотели бы достичь. И цель, и средства ее достижения могут придать нашей жизни смысл. В то же время мои проекты собственной жизни переплетаются с судьбами других людей, а те в своих проектах, наверное, соотносят себя с другими. Когда достаточно много людей создает одинаковые или сходные проекты, возникают социальные институты. Семья, принадлежность к религиозному течению или спортивные пристрастия могут служить примерами проектов, создающих цели, но придать жизни определенное содержание могут и такие важные житейские вещи, как работа и деньги. Мы можем тогда закрыть глаза на вопросы типа «откуда и куда» и ограничить свой кругозор непосредственно наблюдаемым пространством. Поэтому общество может представляться и как своего рода результат наших попыток найти свое место в бытии, и как сумма наших (необходимых) жизненных обманов. Следовательно, социальная структура во многом условна и перегружена человеческими условностями. Она всегда является результатом целенаправленной активности человеческой мысли, – это относится также и к исследователю общества, способному освободить разнообразные социальные феномены от этих условностей. Точно так же, как в процессе движения судов складывалась особая картина морской поверхности, так и общественные структуры формируются из человеческих стремлений (как индивидуальных, так и коллективных) к жизненным горизонтам. При таком понимании изучение общества в первую очередь означает изучение человечества как суммы

индивидуальных экзистенций и, кроме того, анализ образованной ими общей картины, оставленных ими напластований и следов. Экзистенциалистский анализ общества (и другие близкие к нему направления) в течение долгого времени был гораздо менее распространен в социологии, чем структуралистский подход. Но в последние десятилетия постановка структуралистами проблемы понимания человека дала повод для оживленных дебатов о соотношении «индивида» и «общества» или «действия» и «структуры». Раньше эти столь разные направления сосуществовали параллельно, а теперь все чаще ставится вопрос об их взаимодействии. В этом смысле можно сказать, пользуясь приведенными метафорами, что современная социология все в меньшей степени изучает общество как структурированный «парк» или как «зеркальную гладь моря с плывущими по ней кораблями». Картинки в значительной мере наложились одна на другую, и изучение общества все в большей мере становится изучением модели «лодки на аллеях парка».

Изучать общество

Совершенно ясно: для того чтобы что-то изучать, надо это сначала увидеть. Тем не менее в этой ясности скрывается важная проблема: необходимо сначала «разглядеть» общество, чтобы получить возможность изучать его.

Как получить представление об обществе? Выйти днем на улицу, посмотреть на оживленную толпу и воскликнуть: «Вот – общество!»? Или собрать статистические данные о количестве совершенных преступлений и о росте благосостояния и построить теорию взаимосвязи этих двух статистических переменных? А может, пойти в библиотеку, набрать массу только что вышедших из печати романов о кризисе брака, прочесть их и написать доклад о том, как сегодня воспринимается столь важный общественный институт? На это можно ответить и «да», и «нет», поскольку «общество» присутствует и на улице, и в статистических таблицах, и в писательском воображении. Но чтобы эти «данные» стали социологией, их необходимо поместить в социологические референтные рамки. Ведь «общество» существует повсюду, где есть люди, его можно увидеть везде, где люди действуют. Однако недостаточно всего лишь непредвзято наблюдать происходящее и затем описывать его другим, – это еще не будет социологией. Социология – нечто большее, это то, что должно быть руководством для изучения общества. Сколько бы мы ни изучали статистические таблицы, сколько бы ни наблюдали совершаемые действия – этого будет недостаточно, чтобы увидеть общество в социологическом смысле. Сегодня, когда слово «общество» вошло в сознание всех, довольно трудно представить себе, что некоторое время назад не существовало этого понятия в его нынешнем значении. Можно сказать, что современная общественная наука возникла именно тогда, когда понятие «общество» начало приобретать свое нынешнее содержание – «сумма людей и их социальных связей». Как ни парадоксально, именно изменения в феодальном обществе сделали возможным «открытие» общества или, выражаясь точнее, сделали возможным создание понятия

«общество». Пока жизнь текла в привычном русле и люди жили в рамках привычных отношений, дававших достоверные (с точки зрения того времени) объяснения происходившего, не было нужды сомневаться в содержании понятий, с помощью которых люди понимают мир, и анализировать их. Однако накапливалось все больше «фактов», не вписывавшихся в тогдашние модели объяснения мира, что побуждало искать новые понятия и создавать новые теории.

Первое, что бросается в глаза и что несло угрозу институтам феодального общества, – расширение торговли и рост национальных государств. Современные общественные науки анализируют процесс их возникновения при помощи категорий экономических и политических отношений. Но в течение XVIII века предпринимались попытки охватить каким-то единым понятием различные общественные институты и их взаимоотношения. Появилось понимание того, что в экономических и политических отношениях присутствуют также мораль, обычаи и традиции, побуждающие людей жить и действовать определенным образом. Такое представление о некоем социальном, что руководит людьми, впоследствии разрабатывалось французскими социологами и развилось в единое учение, прежде всего благодаря Эмилю Дюркгейму.

Причина, по которой новые отношения дали толчок возникновению новой общественной науки, кроется в трех способах отношений, с помощью которых люди могут овладеть тем, что их окружает. Одни хотели бы объяснить процесс развития, происходивший у них на глазах. Другие – понять его значение для людей. Наконец, третьи хотели бы изменить новые общественные отношения в еще более радикальном направлении. Были, разумеется, и такие, кто имел и два, и даже три мотива для своих занятий. В конце концов благодаря этим трем «причинам» возникли различающиеся направления в науке об обществе, разрабатывавшие свои, отличающиеся от других направлений, понятия и теории. Почему эти различающиеся между собой подходы были характерны для тех или иных конкретных личностей – здесь не рассматривается. Это скорее научно-психологический или биографический вопрос. Зато интересно, как эти подходы институционализировались в методах и правилах, т.е. процесс институционализации самой социологии был для нее гораздо важнее прочих процессов институционализации, которые сама социология изучает. Изучать общество с точки зрения социологии – значит изучать его с помощью институционализированных правил, управляющих предметом. Эти правила тоже являются социально созданными, они поддерживаются людьми. Однако как политик, власть предержащий, так и лидер социологической мысли одинаково мало желают осознать происхождение своей власти. И точно так же, как политик может спрятаться за положительно окрашенным понятием «демократия», исследователь может укрыться за не менее положительно окрашенным понятием «наука». Это не означает, что политики или ученые вводят в заблуждение всех прочих граждан, но следует помнить, что как понятие «демократия», так и понятие «наука» созданы социально.

Однако социология, как и наука вообще, является не только общественным институтом. Это еще и человеческая любознательность перед лицом неведомого. Если первая точка зрения на науку лучше всего моделируется картиной парка, в котором люди могут гулять по существующим там аллеям и тропинкам (символизирующим установленные правила), то второй больше соответствует море, ограниченное лишь горизонтом. Первая картина символизирует взаимосвязь правил, вторая же – стремление расширить горизонты, нанести на карту доселе неизвестное и поразмыслить о бытии. Точно так же, как и всему в обществе, социологии присуща двойственность конформизма и обновления, воспроизведения уже известного и открытие непознанного. Полностью свободная или полностью зарегулированная социология одинаково немыслима, так же, как полностью свободный или абсолютно несвободный человек. Ни полностью свободный от каких-либо связей, ни скованный таковыми – ни один человек не живет вне социальных структур. Нет человека, не имеющего никакой альтернативы. Таким образом, изучение общества – не изучение изолированных индивидов или «пленников системы». Это изучение отдельного индивида в системе или, выражаясь другими словами, «лодки на аллеях парка».

Именно этот парадокс «свободных индивидов в тюрьме общества» стал источником и широты социологии, и невероятного разнообразия того, что изучается, как изучается и, не в последнюю очередь, для чего изучается этой наукой. Американский историк науки Томас Кун предположил, что история любой науки (Кун изучает историю естественных наук, но многие используют его теории и по отношению к общественным наукам) начинается с борьбы большого количества теорий между собой; впоследствии побеждает одна особая точка зрения (парадигма), и на какое-то время наука становится своего рода «normal science», т.е. в этой науке более не дискутируются основополагающие онтологические и эпистемологические вопросы. Со временем, однако, накапливается все большее количество фактов, не укладывающихся в объяснения, предлагаемые существующими теориями, и мало-помалу это доводит науку до кризисного состояния. В момент кризиса новые теории и воззрения вступают в борьбу со старыми; если новые теории могут лучше объяснить накопившиеся эмпирические факты, одна из этих теорий побеждает, и наука вновь возвращается в «нормальное» состояние. Любая наука проходит, таким образом, через периоды «уверенности», когда каждый исследователь знает, что и зачем он будет изучать, чтобы способствовать развитию науки, и периоды кризисов и революций, когда возвращаются сомнения. Если воспользоваться теорией Куна применительно к социологии, то легко заметить, что это наука «многопарадигматическая». Поэтому образы, использованные в первой главе, могут символизировать различные парадигмы внутри социологии, и многие социологи пытаются подобрать определения для разных подходов в рамках одного предмета. Иногда это называют «объективистской» и «субъективистской» социологией; иногда подыскивают другие названия, вроде «парадигмы социальных фактов» и «парадигмы социальных определений» или «общественной перспективы» и

«индивидуальной перспективы». Расхожими определениями (еще до Куна) были «позитивистская» и, соответственно, «непозитивистская» социология. При этом неизбежно создается впечатление, что между различными подходами к изучению общества лежит глубокая и непреодолимая пропасть.

Тем не менее преувеличивать размеры этой пропасти не следует. Она заметна, когда социология изучается «сверху», с обзорной научно-теоретической позиции. Социологи, исследующие как «общество», так и «людей», редко становятся чистыми «парадигматиками», они скорее «прагматики». Различия же, которые тем не менее существуют, должны, видимо, рассматриваться как различия в способах связи ученого со средой исследования. Именно эти различия могут впоследствии институционализироваться в различных направлениях и парадигмах.

Уже упоминавшийся ранее немецкий социолог Юрген Хабермас пытался систематизировать эти различия по способу связи (способу включить себя в отношения) с тем, что изучается, выделяя при этом различные познавательные интересы, которые может иметь наука. Первый, технически-манипуляционный познавательный интерес воспринимает свой объект познания как нечто, лежащее вне самого исследователя, нечто, управляемое «объективными законами» и не зависящее поэтому ни от исследователя, ни от конкретных объектов исследования. Целью исследования является открытие этих законов, с тем чтобы благодаря полученным знаниям можно было бы управлять действительностью, – примерно так же, как законы естественных наук применяются в промышленности. Социологом тогда называется человек, стремящийся открыть законы, управляющие общественной жизнью людей, для того чтобы уметь управлять (манипулировать) обществом.

Другой интерес, герменевтический (разъясняющий, понимающий), исходит из того, что между естественными и культурологическими науками имеется качественное различие. «Мы объясняем природу, но мы понимаем духовную жизнь», – писал немецкий историк и философ Дильтей в ходе уже упоминавшейся битвы идей в Германии XIX века. Целью культурологической (общественной) науки является не только открытие объективных законов, позволяющих манипулировать обществом, но и построение теорий, дающих возможность лучше понять других людей, другие общества, другие исторические эпохи. Такое углубленное понимание не нуждается в особой легитимизации, ведь все люди стремятся как можно лучше понять существующие взаимосвязи.

Наконец, третий, критически-эмансипаторский познавательный интерес исходит из предпосылки, что цель науки – освобождение людей и от скарденности природы, и от угнетающих структур общества. Поскольку природа (по всей вероятности) управляется все-таки объективными законами, к ней больше применим технический познавательный интерес, а «освобождающая» общественная наука в данном случае не применяется. При критически-эмансипаторском подходе рассматриваются в большинстве случаев структуры настолько «застывшие», что люди даже не воспринимают их как созданные и, следовательно, поддающиеся изменениям. Полученные знания впоследствии

должны распространяться среди людей, угнетаемых этими общественными структурами, и люди обретают возможность освободить самих себя.

Эти три «интереса познания» довольно близки к трем социологическим традициям, выделяемым в этой книге. Но основываются они на способах связи с исследуемым объектом или, выражаясь точнее, на мотивах ученого, исследующего общество.

Объяснить общество, понять общество и изменить общество – вот три направления современной социологии, и одновременно это три способа взаимодействия с объектом, которые отдельный исследователь общественной жизни может взять на вооружение. Эти три направления часто кажутся полностью взаимоисключающими, поскольку считается, что основываются они на совершенно разных фундаментальных положениях о том, что такое общество, как оно должно изучаться и почему его следует изучать. Можно попытаться взять все три подхода, сравнить их недостатки и достоинства и сделать теоретический синтез, как уже поступали многие исследователи-практики. Я полагаю, что было бы упрощением выделять эти направления исключительно на научно-теоретическом уровне. Скорее нужно иметь в виду, что каждое направление в своей исходной точке упрощает (абстрагирует) нечто, имеющее принципиальное значение для другого направления. Эти исходные точки, как уже говорилось, находятся на разных уровнях абстракции, но впоследствии каждое из направлений должно вернуться к тому, что было первоначально исключено. Объясняющая социология, таким образом, должна уметь объяснить, почему люди с готовностью движутся именно «по аллеям парка», а понимающая социология соответственно должна суметь понять, каким образом такое количество отдельных людей с самыми разными жизненными понятиями могут создать стабильную социальную структуру. Социология, исповедующая «изменение» общества, столкнувшись с инерционным противодействием своим попыткам, должна поставить вопрос, отчего общественные отношения так трудно изменить и тем, кто ничего о них не знает, и тем, кто прекрасно их осознает. В качестве отправного пункта может появиться модель общества без людей (первая картинка – парк рано утром) при первом подходе; люди вне общества – при втором; и люди в «застывшем» угнетающем их обществе – при третьем. Эти иллюстрации – вспомогательные конструкции, которые могут использоваться в познавательных целях различными направлениями. Общество представляют как нечто, о чем в то же время известно, что оно является и чем-то другим. Подобные картинки и метафоры применяются давно, чтобы разъяснить свою позицию и разрабатываемые наукой представления, подобно тому как в течение долгого времени атом представлялся в виде модели Солнечной системы. Однако, несмотря на все различия и споры, имеется нечто, объединяющее всех, кто изучает общество, объединяя тем самым и объекты изучения: все живут (или жили) в обществе. Сама возможность изучать общество существует исключительно благодаря этому обстоятельству. Простая мысль: необходимо быть частью общества, чтобы иметь доступ к его возможностям, может быть углублена в гораздо более фундаментальном смысле: если бы не имел место

факт существования общества, было бы невозможно иметь какое-либо представление о нем. Как члены общества, мы все в какой-то мере знаем, как общество функционирует, мы обладаем практическим «Кпоw-how», касающимся законов общества и наших возможных (и невозможных) способов выжить. Нет нужды даже до конца осознавать эти правила, примерно так же, как не нужно знать грамматические правила, чтобы говорить на своем языке. Человек и так хорошо говорит на нем, или, если перевернуть этот образ, язык говорит с нашей помощью. Социология занимается законами общества с целью изучения и размышления. Жить в обществе – необходимое, но недостаточное условие для того чтобы иметь возможность изучать его. К этому нужно добавить мотив – стремление изучать его, и этот мотив мы можем подразделить на желание объяснить, понять или изменить общество. Выбранный мотив свидетельствует также о том, какой способ связи с обществом я привношу, что связывает меня с ним. Разнообразные научно-теоретические модели - это не только абстрактные мысленные картины, в которых я каким-либо образом представляю общество. Они являются также символами отношений, в высшей степени конкретных, постоянно действующими способами связи с коллективной жизнью, в которой я существую наравне с другими. Поэтому можно не осознавая того, искать себя в определенных моделях и интересоваться различными традициями по сугубо личным причинам. Традиции социологии в своей основе не что иное, как институционализация подобных способов связи, какими бы "объективными правилами" они не казались. Вследствие этого изучение общества означает, по сути, выявление человеческого в социальном институте науки.

П. Монсон Лодка на аллеях парка: введение в социологию // Социологические исследования. - 1996. - № 3 - С. 43 – 53.

П.БЕРГЕР

СОЦИОЛОГИЯ КАК СПОСОБ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ

[...]Когда студентам-выпускникам задаешь вопрос, почему они своим основным предметом выбрали социологию, они чаще все-то отвечают: «... потому что мне нравится работать с людьми». Если продолжить расспросы о том, как им видится будущая профессиональная деятельность, то вам могут сказать о желании заниматься социальной работой. Ответы могут быть и менее определенными, но они все равно покажут, что студент, которому вы задали вопрос, хотел бы иметь дело скорее с людьми, чем с неживыми предметами. К числу такого рода профессий относятся работа с персоналом, коррекция человеческих отношений на производстве, связь с общественностью, реклама,

местное планирование и религиозная работа самого широкого профиля! В подобных ответах подразумевается, что приобретение какой-либо из указанных профессий позволит «работать с людьми», «помогать людям», «выполнять работу, полезную для всего общества». Стоящий за этим образ социолога можно описать как секуляризованный вариант либерального протестантского пастыря, а фигура секретаря местного отделения ИМКА, пожалуй, заполнит брешь между освященным и мирским благодеянием. Социология в данном случае представляется современной версией классической для Америки темы «улучшения общественного устройства», а деятельность социолога — профессиональным наставничеством на благо отдельных индивидов и общества в целом. [...]

Но эти действия не всегда исключительно гуманны. Сегодня одни американские социологи разрабатывают в правительственных учреждениях планы по обеспечению большей жизнеспособности составляющих нацию общностей. Другие в тех же учреждениях работают над тем, как разрушить единство враждебных государств, чтобы, если возникнет такая необходимость, стереть их с политической карты мира. Какими бы моральными соображениями ни руководствовались те и другие, ничто не мешает всем им проводить интересные с научной точки зрения исследования. [...]

Отождествление социологии с социальной работой в сознании многих людей является в определенной степени следствием «культурного отставания», образовавшегося в те времена, когда социальный работник, еще не будучи «профессионалом», имел дело скорее с нищетой, чем с либидозными фрустрациями, и вполне обходился без помощи диктофона. [...] Социальная работа независимо от ее теоретического обоснования — это особый вид общественной практики. Социология — не практика, а попытка понять. Разумеется, понимание может оказаться полезным в практической деятельности. Именно поэтому мы считаем, что дальнейшее развитие социологии принесет большую пользу социальной работе и избавит нас от необходимости погружаться в мифические глубины «бессознательного» для объяснения тех явлений, которые, как правило, вполне осознаваемы, более просты и социальны по своей природе. Но в социологическом познании, цель которого заключается в попытке понять общество, нет ничего, что делало бы занятие самого социолога той или иной практической деятельностью необходимым. [...]

Именно такое понимание социологического познания подразумевается в классическом утверждении Макса Вебера (одной из наиболее важных фигур в истории развития социологической мысли) о том, что социология «свободна от ценностей». К данному утверждению нам еще не раз придется возвращаться, поэтому кое-что хотелось бы уточнить прямо сейчас. Разумеется, это утверждение не означает что социолог не может и не должен придерживаться ценностных ориентиров. Ни один человек, оставаясь человеком, не может обойтись без них. В жизни социолог как гражданин своей страны, как частное лицо, член религиозной общины или еще какой-нибудь ассоциации людей, разделяет великое множество ценностей. Но в рамках профессиональной

деятельности основная ценность одна — строгая научность. Однако это не исключает того, что социолог как человек вынужден будет постоянно сталкиваться с собственными убеждениями, эмоциями и предрассудками. Необходим особый интеллектуальный тренинг, чтобы он выработал в себе стремление понимать и контролировать их косвенное влияние на его работу, которое, насколько возможно, должно быть исключено. Надо ли говорить, что сделать это не всегда легко, однако здесь нет ничего невозможного. Социолог стремится видеть то, что есть. Он может желать или страшиться своих открытий. Но он будет стараться видеть реальность, невзирая на свои надежды и опасения. Поэтому идеал, к которому стремится социология, — это акт чистой перцепции (восприятия), настолько чистой, насколько позволяют и человеческие возможности.

Данное утверждение можно пояснить с помощью следующей аналогии. [...] Социолог во многом похож на разведчика. Его работа заключается в том, чтобы с предельной достоверностью описывать некоторый театр социальных действий. Другие люди или он сам, но уже не в роли социолога, должны решать, какие передвижения следует сделать на том или ином участке. Особо подчеркнем, что сказанное не освобождает социолога от необходимости задавать себе вопросы о целях, которые преследуют его работодатели, и о том, как будут использованы результаты его работы. Но это — несоциологические вопросы. Такие вопросы должен задавать себе всякий человек, предпринимая какие-либо действия в обществе. Ведь, скажем, биологические знания могут быть использованы и для исцеления или убийства, следовательно, биолог не свободен от ответственности за то, чему он служит. Но ставя перед собой вопросы о личной ответственности, он задает вопросы небиологического свойства.

Существует еще один образ социолога, связанный с упомянутыми выше, — образ социального реформатора. Он также имеет исторические корни не только в Америке, но и в Европе. Огюст Конт, французский философ XIX в., придумавший название социологии, рассматривал эту дисциплину как учение о прогрессе, как секуляризованную наследницу теологии и королеву всех наук. В его концепции социолог в любой отрасли знания выступает как третейский судья, пекущийся о благе людей. Такая трактовка, очищенная, впрочем, от наиболее фантастических претензий, дольше всего сохраняла свое влияние во Франции, но ее отголоски были слышны и в Америке, в частности на заре американской социологии, когда несколько заокеанских последователей Конта всерьез обратились с меморандумом к президенту университета Брауна о переподчинении всех факультетов факультету социологии. Сегодня немного найдется социологов (а в Америке, пожалуй, не найдется вовсе) с подобными претензиями. Эта концепция дает о себе знать тогда, когда ожидают, что социологи достанут из своих портфелей образцы реформ, направленных на решение тех или иных социальных проблем.

Социологи (в том числе автор) получают, конечно же, некоторое моральное удовлетворение от того, что их социологические прозрения не раз помогали облегчить участь целых категорий

людей, ибо вскрывали вопиющие, с точки зрения общественной морали, условия жизни, развенчивали массовые иллюзии и предлагали более гуманные средства для достижения социально желаемых целей. В качестве примера можно привести использование социологического знания в судебной и пенитенциарной практике западных стран. Можно сослаться на использование результатов социологических исследований при решении Верховным Судом США вопроса о расовой сегрегации в государственных школах в 1954 г. Социологические исследования проводятся и с целью помочь в социальном планировании развития городов. Ясно, что чувствительный к моральным и политическим проблемам социолог с удовлетворением вспоминает подобные примеры.

И опять-таки нужно иметь в виду, что здесь мы имеем дело не с социологическим знанием, а с его применением. Нетрудно представить себе, как одни и те же знания можно использовать с противоположными намерениями. [...]

Мы рассмотрели взгляды на профессию социолога, которые зародились по меньшей мере несколько десятилетий назад. Теперь обратимся к некоторым представлениям, сложившимся сравнительно недавно в новейших социологических направлениях. Согласно одному из них социолог — это собиратель статистических данных о человеческом поведении, который по существу является подручным ЭВМ. Он выходит «в поле» с опросником, опрашивает людей в соответствии с выборкой, потом возвращается назад и загоняет данные в машину. Само собой разумеется, для таких занятий ему нужен приличный штат сотрудников и очень солидное финансирование. Причем подразумевается, что результаты громадных усилий смехотворны: скрупулезно, по крупицам выясняется то, что и так уже известно другим.

Подобное представление о социологе поддерживается в общественном сознании деятельностью многих организаций, которые с полным правом можно было бы назвать парасоциологическими, занимающимися главным образом общественным мнением и маркетингом. [...]

К сожалению, данное представление о социологической профессии — не просто плод фантазии. После первой мировой войны американские социологи решительно отвернулись от теории и активно занялись чисто описательными эмпирическими исследованиями, в результате чего были существенно улучшены их методики. Большое внимание уделялось, естественно, статистическим методам. Примерно в середине 40-х годов наметился рост интереса к социологической теории, и есть отчетливые признаки того, что отход от узкого эмпиризма продолжает набирать силу. Тем не менее значительную часть социологических проектов в США составляют локальные исследования скрытых от посторонних глаз фрагментов социальной жизни, не имеющие никакого выхода на более широкие теоретические обобщения. [...]

Приоритетность статистических методов в современной американской социологии выполняет, таким образом, определенные ритуальные функции, которые легко понять, имея в виду ту систему силовых полей, внутри которой

приходится делать карьеру большинству социологов. Фактически многие социологи имеют весьма поверхностные знания в статистике и относятся к ней с смешанным чувством страха и благоговения, с каким бедный приходской священник относится к мощной гармонии латыни, некогда вышедшей из-под пера Фомы Аквинского. Стоит только понять это, как станет ясна несуразность подобного подхода к социологии. Тогда мы начинаем смотреть на социологию с поистине социологической пронизательностью и можем постичь ее внутреннее изящество, скрытое за внешними обозначениями.

Сами по себе статистические данные социологии не делают. Они становятся социологией только тогда, когда получают социологическую интерпретацию и соотносятся со специальной системой координат социологической теории. Голые процентовки и даже коэффициенты корреляций не составляют социологии. Это не значит, что цифры, полученные в опросах, неистинны или бесполезны для социологического познания. Они могут служить исходным материалом для социологической интерпретации. [...] Цифры для него имеют смысл только в рамках более широких теоретических обобщений и служат пониманию того, какие ценности разделяет общество и каково положение социальных институтов. Для достижения такого понимания социолог часто прибегает к статистическим методам, особенно если он изучает массовые явления в современном обществе. Но социология столь же сводима к статистике, сколь филология сводима к спряжению неправильных глаголов или химия — к производству в колбе дурных запахов.

В настоящее время получило распространение ещё одно представление, имеющее, по-видимому, тесную связь с образом статистика. Согласно этому представлению социолог — человек, занятый главным образом разработкой методологии, в рамки которой он потом втиснет все проявления человеческой природы. [...]

Социология изначально трактовала себя как науку. Много копий было сломано в спорах относительно точного смысла этого самоопределения. [...] Верный призванию социолог делает утверждения на основе наблюдений в соответствии с определенными критериями очевидности так, чтобы дать возможность коллегам проверить, повторить и продолжить дальше его изыскания. Социология — дисциплина, часто побуждающая прочесть какой-нибудь научный труд вместо, скажем, романа на ту же тему, который может быть написан гораздо более живым и удобоваримым языком. Пытаясь разработать в своей науке критерии очевидности, социологи вынуждены обращаться к методологическим проблемам. Вот почему методология является необходимой существенной частью социологического познания.

Однако верно и то, что некоторые социологи, особенно в Америке, настолько увлеклись методологическими проблемами, что утратили всякий интерес к обществу. В результате ни в одном аспекте социальной жизни они не могут найти ничего существенного, поскольку в науке, как в любви, концентрация на технике ведет к импотенции. Фиксацию на методологии в значительной степени можно объяснить необходимостью сравнительно новой дисциплины получить признание на академической сцене. [...]

Всякая научная дисциплина должна разрабатывать свою терминологию. Это право безоговорочно признается за такой наукой, как, например, ядерная физика, занимающаяся вещами, которые совершенно не известны широкой публике и для обозначения которых в обыденной речи просто нет слов. Между тем особая терминология для социальных наук, быть может, даже более важна, поскольку их предмет знаком всем и слова для его описания уже существуют. Именно потому что мы хорошо знаем социальные институты, которые нас окружают, наши представления о них в обыденном сознании весьма нечетки и часто ошибочны, подобно тому, как большинству из нас очень трудно дать точное описание собственных родителей, жен и мужей, детей и близких друзей. Кроме того, при обозначении реалий социальной действительности наш язык часто (и, может быть, слава Богу) оказывается расплывчатым и невразумительным. Взять, к примеру, хотя бы понятие «класс», одно из центральных понятий в социологии. В обыденном употреблении оно имеет, наверное, десятки значений, выделяя категории людей с разными уровнями дохода, расы, этнические группы, политические группировки, по рейтингу IQ и многим другим критериям. Ясно, что социолог, если он в своей работе стремится к какой-то научной строгости, должен иметь четкое недвусмысленное определение понятия. Учитывая эти обстоятельства, становится понятной склонность некоторых социологов, во избежание семантических ловушек обыденного употребления, к изобретению невиданных доселе неологизмов. Поэтому, по крайней мере некоторые из них, мы считаем абсолютно необходимыми. Вместе с тем мы полагаем, что, приложив некоторые усилия, большинство социологических сюжетов можно изложить доступным языком и современный «социологический жаргон» в значительной степени можно рассматривать как сознательную мистификацию. [...]

И, наконец, мы рассмотрим образ социолога, связанный не столько с выполнением его профессиональной роли, сколько с представлением о нем как об особом типе личности. Согласно такому представлению, социолог — отстраненный, беспристрастный наблюдатель, хладнокровно манипулирующий людьми. Если в отношении кого-то данное представление превалирует, то его можно считать ироническим триумфом собственной борьбы социолога за свое признание в качестве истинного ученого. Социолог здесь оказывается самозванным сверхчеловеком, отгородившимся от теплой витальности обыденного существования и ищущим удовлетворение не в том, чтобы прожить свою жизнь, а в том, чтобы судить о жизни других людей, тщательно раскладывая их по полочкам, из-за чего он упускает из виду реальную значимость того, что наблюдает. Более того, существует мнение, что даже если социолог вовлекается в социальные процессы, то он делает это как беспристрастный инженер, отдающий свои манипулятивные навыки в распоряжение властей.

Пожалуй, последнее из рассмотренных представлений не получило столь широкого распространения. Его придерживаются главным образом те, кто по политическим мотивам опасается фактического или возможного злоупотребления социологией в современных обществах. [...] Тем не менее

проблема роли ученого-обществоведа — действительно очень серьезная проблема. Например, привлечение социологов в некоторые отрасли промышленности и государственного управления вызывает вопросы морального порядка, которые следовало бы рассматривать в более широком контексте, чем это делалось до сих пор. Впрочем, вопросы морали касаются всех, кто занимает ответственный пост в современном обществе. [...]

Как же нам постичь социолога? Обсуждая различные представления, с которыми ассоциируется образ социолога в массовом сознании, мы уже выделили целый ряд элементов которые должны войти в нашу концепцию, и теперь мы можем собрать их воедино. Мы будем конструировать то, что сами социологи называют «идеальным типом». Это означает, что полученный, в результате образ нельзя будет обнаружить в реальности «в чистом виде». Напротив, обнаружить можно будет только пример различной степени приближения к нему или отклонения от него. «Идеальный тип» не следует понимать как некое эмпирическое среднее. Мы не будем претендовать даже на то, чтобы все, кто называют себя социологами, полностью согласились с нашей концепцией, и не собираемся оспаривать права тех, кто откажется после этого причислять себя к таковым. Исключение, из профессиональной гильдии — не наше дело. Однако мы полагаем, что наш «идеальный тип» соответствует Я-концепции большинства представителей основного направления социологии как прежде (по крайней мере, в нынешнем веке), так и теперь.

Согласно «идеальному типу», социологом является тот, кто в своей деятельности связан с осмыслением общества, и это осмысление (понимание) научно по своей природе, что означает: познание и передача знаний об изучаемых социологом социальных явлениях происходит в рамках строго ограниченной системы координат. Одной из главных характеристик научной системы координат служит то, что все операции производятся по определенным правилам доказательства. Как ученый, социолог стремится быть объективным, держать в узде собственные предпочтения и предрассудки, воспринимать то, что есть, и воздерживаться от нормативных суждений. Разумеется, эти рамки не охватывают всей тотальности его человеческого существования, а ограничивают его действия лишь в качестве социолога. Социолог не претендует на то, что рассмотрение общества возможно только в его системе координат. Поэтому немного найдется ученых в любой отрасли знания, которые полагали бы, что на мир можно смотреть лишь с научной точки зрения. У разглядывающего нарцисс ботаника нет оснований оспаривать право поэта смотреть на тот же самый цветок «иными глазами». В человеческом мире существует много разных игр. Вопрос не в том, чтобы отказывать людям в праве играть в другие игры, а в том, чтобы человек четко осознал правила собственной игры. Таким образом, социолог в своей «игре» должен придерживаться правил науки и ясно понимать смысл этих правил. Иначе говоря, он должен уяснить себе некоторые методологические вопросы. Методология не является его конечной целью. Цель, напомним еще раз, заключается в попытке понять общество. Методология помогает достижению этой цели.

Для того чтобы понять общество или отдельно взятый сегмент его, социолог пользуется целым набором различных средств, среди них — статистические методы. Статистика может оказаться очень полезной при ответе на некоторые социологические вопросы. Но статистикой социология не исчерпывается. Будучи ученым, социолог обязан оперировать терминами, которые обладают точным значением, т.е. он должен быть очень аккуратным с терминологией. Но это означает не необходимость изобретать собственный язык, а недопустимость наивно обращаться с общеупотребимыми словами. Наконец, интерес социолога есть прежде всего теоретический интерес: его интересует понимание ради понимания. Он может отдавать себе отчет и даже специально задумываться о практической применимости и возможных последствиях своих изысканий, но здесь он уже выходит за пределы социологической системы координат как таковой в царство ценностей, убеждений, идей, которые свойственны и другим людям, не являющимся социологами.[...]

Мы хотели бы обратить внимание не только на то, чем занимается социолог, но и на то, что побуждает его к этим занятиям. Говоря словами Макса Вебера, сказанными им в сходном контексте, мы намерены коснуться природы социологического демона. Здесь мы обратимся скорее не к идеальнотипическому представлению в указанном выше смысле, а скорее к той вере, которую исповедует профессиональный социолог. [...]

Мы определили бы социолога (т.е. того, кого мы хотели бы пригласить всерьез поиграть с нами) как человека, который испытывает постоянный, неизбывный, не знающий моральных преград интерес к человеческим поступкам. Его естественный ареал обитания — всевозможные места скопления людей, где бы они ни собирались вместе. Социолога может интересовать и масса других вещей. Но основной его интерес лежит в мире людей, их институтов, истории и страстей. А раз так, то все, что делают люди, должно привлекать его внимание. Его интерес к событиям, в которых задействованы самые глубинные убеждения людей, к моментам трагических переживаний, величия и высшего наслаждения вполне естествен. Но его в равной мере привлекут и обыденность, повседневность. Разумеется, ему не будет чуждо благоговение перед великими событиями, но это благоговение не избавит его от желания смотреть и понимать. Иногда он может испытывать отвращение и сострадание. Однако и это не умалит его желания найти ответы на свои вопросы. В стремлений познавать социолог проходит сквозь человеческий мир без всякого уважения к «демаркационным линиям», прочерченным в обыденном сознании. Благородство и низость, власть и безвестность, разумность и глупость в равной мере интересуют его, какой бы ни была разница между ними с точки зрения его личных ценностей и вкусов. Собственные интересы могут привести его на любой уровень общества (уважаемый или презираемый), в любую населенную точку на карте. И если он хороший социолог, то везде проявит себя, ибо его мучают бесконечные вопросы, и ему ничего не остается, кроме как искать на них ответы.[...]

Социолог смотрит на ту же сцену человеческого действия, что и другие ученые, но угол его зрения отличен. Только тогда, когда начинаешь осознавать это, становится понятной бессмысленность затеи отгородить социологу кусок территории, где он с полным правом мог бы заниматься своим делом. Подобно Дж. Уэсли, социолог вынужден будет признать своим приходом весь мир, но, в отличие от некоторых его современных последователей, он с радостью разделит этот приход со всеми другими. Есть, однако, один путешественник, с которым социолог чаще, чем с другими, будет встречаться на своем пути. Этот путешественник — историк. В самом деле, стоит только социологу обратиться от настоящего к прошлому, как предмет его интересов будет очень трудно отличить от предмета интересов историка. Но оставим рассмотрение их взаимоотношений на потом, а пока ограничимся лишь одним замечанием: путешествие социолога было бы значительно обеднено впечатлениями, если бы он не встретился с другими, преследующими свои интересы, путешественниками.

В любой области познания, стоя на пороге какого-то открытия, можно ощутить возбуждение. В некоторых областях знания оно связано с открытием неведомых и немислимых ранее миров. [...] Совсем по-другому переживает такой момент социолог. Иногда, правда, и он проникает в совершенно не известные ему дотоле миры, будь то преступный мир, мир экзотической религиозной секты или особый мир профессиональной группы — врачей, военных командиров, творцов рекламы! Но все же большую часть своего времени социолог проводит на таких участках жизни, которые хорошо знакомы и ему, и большинству окружающих его людей. Он исследует сообщества, институты и их деятельность, т.е. то, о чем можно каждый день читать в газетах. В его исследованиях привлекает не возбуждение от встречи с чем-то неизвестным, а скорее то, что привычное приобретает совершенно новый смысл. Очарование социологии заключается в том, что, приняв ее перспективу, мы начинаем видеть мир, в котором прожили всю свою жизнь, в ином свете. Она производит определенную трансформацию сознания. Более того, эта трансформация экзистенциально оказывается более значимой по сравнению с той, которая производится другими дисциплинами, потому что ее воздействие труднее ограничить какой-нибудь одной сферой сознания. Астроном не живет в отдаленных галактиках, а ядерный физик, выйдя из лаборатории, может кушать, смеяться, жениться, не думая о внутреннем строении атома. Геолог занят камнями только определенное время, лингвист бездумно пользуется речью в разговоре с женой, а социолог живет в обществе и на работе, и вне ее. Его собственная жизнь неизбежно становится частью предмета исследований. Люди живут так, как они живут, социологам же приходится строго отграничивать профессиональную позицию от своих повседневных забот. Честно выполнять это требование — дело нелегкое.

Социолог исследует обыденный мир людей — мир, который большинство из них назвали бы реальным. Используемые им в анализе категории являются лишь некоторым уточнением понятий, которыми живут люди, — «власть», «класс», «статус», «раса», «национальность». В итоге

возникает обманчивое ощущение простоты и очевидности результатов некоторых социологических исследований. Читая о них, можно в знак согласия кивать головой; столкнувшись с описанием хорошо знакомого явления, утверждать, что где-то об этом уже слышал, и вопрошать, неужели людям больше нечего делать, как тратить время на трюизмы. Но так бывает до тех пор, пока не произойдет что-нибудь такое, что радикально поставит под сомнение все наши представления об окружающем мире. С этого момента человек начинает чувствовать вкус к социологии.

Приведем конкретный пример. Представьте себе занятие по социологии в каком-нибудь колледже южного штата, где почти все студенты — белые южане. Представьте себе преподавателя, который читает лекцию о расовой системе Юга. Он рассказывает о том, о чем каждый студент знает с детства, и сама система может быть им знакома со всеми подробностями лучше, чем лектору, — им это совершенно неинтересно. Как им кажется, он просто использует более умные слова для описания того, что они сами прекрасно знают. Так, он может употребить слово «каста», которое в настоящее время очень широко используется американскими социологами при описании расовой системы Юга. Но, объясняя термин, лектор обратится к традиционному индийскому обществу, чтобы студентам было более понятно. Затем он перейдет к анализу магических верований, свойственных кастовым запретам; динамики социальных градаций и брачных отношений, скрытых внутри системы экономических интересов; связей между религиозными представлениями и кастовыми запретами; влияния кастовой системы на индустриальное развитие общества — и все это об Индии. В конце концов, Индия станет совсем не такой далекой, как прежде, а лекция вернется к исходной проблематике Юга. Знакомое с детства уже не кажется таковым. Возникают совершенно неведомые ранее сомнения, они могут раздражать, но все равно возникают. Наконец, если не все, то некоторые студенты начинают понимать, что расовым взаимоотношениям свойственны и такие функции, о которых они ни в газетах не читали (во всяком случае, в местных), ни от родителей не слышали, вероятно, потому (или, по крайней мере, отчасти потому), что ни журналисты, ни родители просто ничего не знали о них.

Можно сказать, первая заповедь социолога заключается в следующем: вещи суть не то, чем они кажутся. Простота этого утверждения обманлива и быстро исчезает. Оказывается, что социальная реальность таит в себе множество смысловых пластов. Каждое открытие нового пласта меняет представление в целом.[...]

П.Бергер Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива / Пер. с англ. под ред. Г.С. Батыгина. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 168.

ДЮРКГЕЙМ ЭМИЛЬ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД

После определения сферы социологии и ее основных подразделений, нам необходимо попытаться охарактеризовать наиболее существенные принципы используемого ею метода.

Главные проблемы социологии заключаются в исследовании того, как сформировался политический, юридический, нравственный, экономический, религиозный институт, верование и т. д.; какие причины их породили; каким полезным целям они соответствуют. Сравнительная история, в том понимании, которое мы попытаемся ниже прояснить, – это единственный инструмент, которым социолог располагает, чтобы решать такого рода вопросы.

В самом деле чтобы понять какой-нибудь институт, необходимо знать, из чего он состоит. Это сложное целое, состоящее из различных частей; необходимо знать эти части, объяснить каждую из них отдельно и способ, которым они соединились вместе. Чтобы их обнаружить, недостаточно рассматривать институт в его завершенной и современной форме, так как, вследствие того, что мы к нему привыкли, он кажется нам чаще всего простым. Во всяком случае, ничто не указывает в нем на то, где начинаются и где заканчиваются различные элементы, из которых он состоит. Нет границы, разделяющей их друг от друга видимым образом, точно так же, как мы не воспринимаем невооруженным глазом клетки, из которых состоят ткани живого существа, молекулы, из которых состоят мертвые предметы. Необходим аналитический инструмент для того, чтобы заставить их проявляться зримым образом. Роль этого инструмента играет история. В самом деле, рассматриваемый институт сформировался постепенно, фрагмент за фрагментом; образующие его части родились одна за другой и медленно присоединялись друг к другу; поэтому достаточно проследить их возникновение во времени, т. е. в историческом развитии, чтобы увидеть различные элементы, из которых он возникает, естественным образом разделенными. Они предстают тогда перед наблюдателем один за другим, в том самом порядке, в котором они сформировались и соединились в единое целое. Кажется, нет ничего проще, чем понятие родства; история же нам демонстрирует его необыкновенную сложность: в него входит представление о кровном родстве, но оно включает в себя и многое другое, так как мы обнаруживаем такие типы семьи, в которых кровное родство играет совершенно второстепенную роль. Родство по матери и родство по отцу – это качественно различные явления, которые зависят от совершенно разных причин и требуют, следовательно, особого подхода и отдельного изучения, так как мы находим в истории типы семьи, в которых существовал один из этих двух видов родства, а другой отсутствует. Короче, в сфере социальной реальности история играет роль, подобную той, которую микроскоп играет в сфере реальности физической.

Кроме того, только история дает возможность объяснять. В самом деле объяснить институт – значит дать представление о различных элементах, из которых он состоит, показать их причины и предназначение. Но как обнаружить эти причины, если не перенестись в то время, когда они были действующими, т. е. когда они породили факты, которые мы стремимся понять? Ведь только в этот момент можно уловить способ, которым они действовали и породили свое следствие. Но этот момент находится в прошлом. Единственное средство выяснить, как каждый из этих элементов зародился, — это наблюдать его в тот самый момент, когда он зародился, и присутствовать при его возникновении; но это возникновение имело место в прошлом, и, следовательно, о нем можно узнать только благодаря истории. Например, родство в настоящее время имеет двойственный характер; его считают как по отцовской, так и по материнской линии. Чтобы выяснить определяющие причины этой сложной организации, необходимо наблюдать сначала общества, в которых родство является главным образом или исключительно утробным, и определить, что его породило; затем следует рассмотреть народы, у которых сформировалось агнатское родство; наконец, поскольку последнее после своего возникновения часто оттесняет первое на подчиненное место, надо будет исследовать цивилизации, в которых то и другое занимают равное положение, и постараться обнаружить условия, определившие это равенство. Именно таким образом социологические проблемы, так сказать, выстраиваются на различных этапах прошлого, и именно при условии такого их расположения, их соотнесения с различными историческими средами, в которых они родились, можно решить эти проблемы.

Социология, стало быть, в значительной мере представляет собой определенным образом понимаемую историю. Историк также изучает социальные факты, но он рассматривает их преимущественно с той стороны, в которой они специфичны для определенного народа и определенной эпохи. Обычно он ставит перед собой цель изучить жизнь такой-то нации, такой-то коллективной индивидуальности, взятых в такой-то момент их эволюции. Его непосредственная задача состоит в том, чтобы выявить и охарактеризовать собственный, индивидуальный облик каждого общества и даже каждого из периодов жизни одного и того же общества. Социолог же занят исключительно открытием общих связей, законов, обнаруживаемых в различных обществах. Он не станет специально изучать, какой была религиозная жизнь или право собственности во Франции или в Англии, в Риме или в Индии, в том или ином столетии; эти специальные исследования, которые, впрочем, ему необходимы, для него лишь средства для того, чтобы прийти к открытию каких-то факторов религиозной жизни в целом. Но у нас есть лишь один способ доказать, что между двумя фактами существует логическая связь, например, причинная, — это сравнить случаи, когда они одновременно присутствуют или отсутствуют, и выяснить, свидетельствуют ли их изменения в этих различных комбинациях обстоятельств о том, что один из них зависит от другого. В сущности, эксперимент – это лишь форма сравнения; он состоит в том, чтобы заставить некий факт измениться, создавать его в различных формах, которые затем

методично сравниваются. Социолог, таким образом, не может ограничиваться рассмотрением одного-единственного народа и, тем более, единственной эпохи. Он должен сравнивать общества одного и того же типа, а также различных типов, для того, чтобы изменения в них института, обычая, которые он хочет объяснить, сопоставленные с изменениями, параллельно устанавливаемыми в социальной среде, позволили обнаружить отношения, объединяющие эти две группы фактов, и установить между ними какую-то причинную связь. Сравнительный метод поэтому является инструментом преимущественно социологического метода. История, в обычном смысле слова, — это для социологии то же самое, что латинская, или греческая, или французская грамматика, взятые и изучаемые отдельно друг от друга, для новой науки, получившей название «сравнительная грамматика».

Существуют, однако, случаи, когда материал для социологических сравнений следует черпать не из истории, а из другой дисциплины. Бывает, что исследованию подвергается не то, как сформировались юридическая или моральная норма, религиозное верование, а то, благодаря чему они более или менее соблюдаются группами, в которых они существуют. Например, не исследуется вопрос о том, как возникла норма, запрещающая убийство человека, а ставится задача обнаружить различные причины, благодаря которым народы, всякого рода группы склонны в большей или меньшей степени нарушать эту норму. Или можно поставить перед собой задачу найти некоторые факторы, благодаря которым браки заключаются более или менее часто, более или менее рано, более или менее легко распадаются путем развода и т. д. Чтобы решать такого рода проблемы, следует обращаться главным образом к статистике. Таким образом можно будет исследовать, как число убийств, браков, разводов варьирует в зависимости от характерных особенностей обществ, вероисповеданий, профессий и т. д. Именно посредством этого метода следует изучать проблемы, относящиеся к различным условиям, от которых зависит нравственность народов. С помощью того же приема в экономической социологии можно изучить, в функции каких причин варьируют заработная плата, уровень ренты, уровень процента, меновая стоимость денег и т. д.

Но к какой бы специальной технике ни прибегал социолог, он никогда не должен терять из виду одно правило: прежде чем приступить к исследованию определенной категории социальных явлений, ему нужно избавиться от тех понятий, которые у него сложились о них в течение жизни; ему нужно исходить из принципа, что он ничего не знает о них, об их характерных признаках и о причинах, от которых они зависят; короче, нужно, чтобы он вошел в такое же состояние сознания, в каком находятся физики, химики, физиологи, а теперь даже и психологи, когда они вступают в еще неизведанную область своей науки.

К сожалению, такой позиции, как бы она ни была необходима, нелегко придерживаться по отношению к социальной реальности: нас отвращают от этого застарелые привычки. Поскольку ежедневно мы применяем правила морали и права, поскольку мы покупаем, продаем, обмениваем стоимости и т.

д., мы поневоле имеем какое-то представление об этих различных вещах; без этого мы не могли бы выполнять наши повседневные задачи. Отсюда совершенно естественная иллюзия: мы думаем, что вместе с подобными представлениями нам дано все существенное в вещах, к которым они относятся. Моралист не слишком задерживается на объяснении того, что такое семья, родство, отцовская власть, договор, право собственности; таково же отношение экономиста к стоимости, обмену, ренте и т. д. Многим кажется, что об этих вещах существует нечто вроде врожденной науки; в результате ограничиваются тем, что стремятся как можно более ясно осознать обыденное представление об этих сложных реальностях. Но подобные понятия, сформировавшиеся неметодическим образом для того, чтобы отвечать практическим требованиям, лишены всякой научной ценности; они выражают социальные явления не точнее, чем понятия обыденного сознания о физических телах и их свойствах, о свете, звуке, теплоте и т. п. Физик или химик абстрагируются от этих обыденных представлений, и реальность в том виде, в каком они знакомят нас с ней, в действительности оказывается в высшей степени отличной от той, которую непосредственно воспринимают наши органы чувств. Социолог должен действовать таким же образом; он должен вступать в прямой контакт с социальными фактами, забывая все, что, как ему представляется, он о них знает, как будто он вступает в контакт с чем-то совершенно неизвестным. Социология не должна быть иллюстрацией устоявшихся и очевидных истин, которые к тому же обманчивы; она должна работать над открытиями, которые иногда даже будут вступать в противоречие с общепринятыми представлениями. Мы ничего еще не знаем о социальных явлениях, среди которых живем; различным социальным наукам предстоит постепенно познакомить нас с ними.

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечание А.Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – 352. – (История социологии в памятниках).

П. ШТОМКА

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

Обучение социологов преследует четыре цели: (а) научить языку этого предмета, набору понятий, с помощью которых познается социальная реальность; (б) привить определенный взгляд на предмет, перспективу подхода к социальной реальности; (в) научить применять методы, процедуры и технику эмпирических исследований; (г) использовать информацию об основных фактах и сведениях о современной общественной жизни. Объединим пункты (а) и (б) — язык и перспективу — одним названием «социологическое воображение», заимствованным из классической работы Чарльза Райта Миллса.

По определению Миллса, «социологическое воображение помогает нам понять историю и биографию, а также связь между ними внутри общества». Проанализируем значение данного определения и распространим понятие социологического воображения за рамки, в которых его использовал Миллс.

Под социологическим воображением я понимаю умение или способность рассматривать общество под определенным углом зрения. Это умение включает пять компонентов: (а) рассматривать все социальные явления как результат деятельности социальных агентов, индивидов либо групп и идентифицировать этих агентов; (б) понимать скрытые за поверхностью явлений структурные и культурные ресурсы и ограничения, влияющие на социальную жизнь, в том числе те возможности, которые имеются в распоряжении агентов (Мирра Комаровски писала: «Чтобы распознавать невидимую социальную структуру, от студентов требуется терпеливое формирование социологического взгляда на общество»); (в) изучение предшествующей традиции, живого наследия прошлого и его постоянного влияния на настоящее; (г) воспринимать общественную жизнь в ее динамике, изменчивом процессе становления; (д) признание огромного разнообразия и вариантов форм проявления общественной жизни (Эверетт Хьюз определяет одну из главных задач социологического образования следующим образом: «Освобождение [познания] посредством расширения границ человеческого мира, проникновения во внутренний мир других людей и сравнения с миром других людей и других культур — не единственный аспект социологического воображения... Однако все это составляет его значительную часть, поскольку является частью человеческой жизни»).

Иными словами, социологическое воображение — это вытекающая из признания разнообразия и множественности социальных установлений способность связать любое событие в обществе со структурным, культурным и историческим контекстами, а также с индивидуальными и коллективными действиями членов общества.

Ч. Райт Миллс приводит следующий пример: «Одним из результатов изучения социологии должно стать умение читать газету. Чтобы разобраться в газетных материалах, что является очень непростой задачей, необходимо научиться связывать сообщаемые события, понимать их в связи с более общими представлениями о жизни общества, а также тенденции, частью которых они являются... Суть дела заключается в следующем: социология — это прежде всего способ выхода за рамки того, о чем мы читаем в газете. Она дает систему понятий и вопросов, помогающих нам сделать это. Если этого не происходит, то социология, как часть либерального образования, оказывается несостоятельной». Преподавание социологии не сводится к «книжной социологии», оно должно ориентировать на «социологию в жизни», что позволит давать более глубокие интерпретации и лучше понимать то, что нас окружает. По словам классика социологии Роберта Парка, «при отсутствии стремления интегрировать знания, полученные в аудитории, с опытом и проблемами действительной жизни процесс обучения становится простым педантизмом. Этот педантизм проявляется в отсутствии ясных суждений и

практического понимания вещей, которое мы называем здравым смыслом». Мирра Комаровски также подчеркивает, что «не существует большей опасности в образовании, чем та, когда студенты изучают социологические категории на чисто формальном, словесном уровне, не наполняя их всей полнотой жизненного содержания; когда эти слова остаются стерильной частью мышления, относительно не связанной с потоком жизни, который пытаются объяснить при помощи этих слов».

На мой взгляд, развитие социологического воображения и навыка его применения в социальной жизни является абсолютно необходимым в образовании социологов, как тех, кто планирует заниматься академической наукой, так и тех, кто выбирает профессии, ориентированные на практику.

Социологическое воображение и теоретические ресурсы

Развитие социологического воображения почти то же самое, что овладение социологической теорией. Речь идет не о запоминании имен и школ, определений и аргументов. Суть дела заключается в применении теории, то есть соотнесении ее с конкретным опытом, рассмотрением текущих проблем современного общества, его дилемм и возможностей, а также с осмыслением наших личных судеб и жизненных возможностей в контексте теории. Социологическое воображение должно вооружить нас своеобразной картой, ориентацией в хаосе событий, изменений, трансформаций. Оно должно дать нам более глубокое понимание мира, более ясный взгляд на вещи, следовательно, дать нам более широкие возможности сознательно и рационально строить свою жизнь и заниматься общественными делами. Я собираюсь рассмотреть ресурсы, необходимые для теоретической подготовки социологов, которыми вооружает нас социологическая традиция, а также новейшие достижения в социальной теории.

Сокровищница теоретических идей обнаруживается в истории дисциплины с начала XIX в. до наших дней. Преподавание истории социологии не является пустым копанием в прошлом. Традиция в нашей дисциплине все еще чрезвычайно сильна. Большая часть понятий, моделей, вопросов, проблем, изучаемых сегодня, унаследована нами от мастеров XIX в. Они заложили крепкие основы социологическому «предприятию», а их труды до сих пор не потеряли актуальности. Труды социологов-классиков следует изучать не как исторические памятники, в контексте того времени или в связи с биографиями авторов, а в контексте нашего времени, поскольку их основные идеи проливают свет на нашу действительность. Разумеется, их следует воспринимать критически и осуществлять необходимый отбор. Мои собственные предпочтения включают, разумеется, «трех великих»: Карла Маркса, Макса Вебера и Эмиля Дюркгейма — бесспорных гигантов социологии. В число достойных изучения авторов я бы включил Огюста Конта, Герберта Спенсера, Георга Зиммеля, Фердинанда Тенниса, Вильфредо Парето, Алексиса де Токвиля, Чарльза Кули, Уильяма Самнера и Джорджа Мида. Чтение и перечитывание их работ чрезвычайно важно для открытия новых взглядов и проблем, формулирования вопросов социологии, критической их оценки

посредством сопоставления с нашими собственными идеями. В трудах знаменитых социологов XIX - начала XX в. мы образцы интеллектуальной работы. По словам Роберта Мертона, «проникновение в творческую лабораторию таких пронизательных исследователей, как Дюркгейм и Вебер помогает нам формировать нормы хорошего вкуса при определении значимой социологической проблемы — значимой прежде всего в теоретическом отношении — и найти путь к ее удачному решению. Классика — это, по определению Сальвемини, 'libri fecondatori' — книги, которые обостряют ум погруженных в них читателей». Есть и еще одна положительная сторона: студент понимает, что мир социологии имеет много измерений, очень сложен и поэтому для его понимания требуется много подходов. Изучение истории социологических теорий — важный урок теоретического плюрализма, терпимости к различным версиям и разнообразию взглядов, лучшее лекарство против узколобого догматизма и ортодоксии.

Обратимся к современной социологической теории и ее значению для преподавания. На мой взгляд, в современной социологии сложились четыре типа теории и теоретической деятельности, которые имеют разное значение для образовательных целей, для формирования социологического воображения. В порядке убывания их значимости я буду рассматривать: (а) объяснительную теорию; (б) эвристическую теорию; (в) аналитическую теорию; (г) экзегетическую теорию.

Теоретический «бум»

В целом, конец XX в. был хорошим временем для социологической теории. Всего лишь полвека назад часто активно обсуждался вопрос о кризисе в социологической теории (например, О. Гоулднер). Теперь ситуация изменилась. Многие разделяют мнение британского социолога Дж. Деланти, что «в настоящее время социальная теория занимает очень сильные позиции». Действительно, это заключение имеет под собой основания. Рассмотрим институциональные и организационные аргументы. Исследовательский комитет по теоретической социологии (RC-16) Международной социологической ассоциации, который основали мы с Джеффри Александером в 1986 г., стал одним из самых крупных среди пятидесяти исследовательских комитетов ассоциации. В Американской социологической ассоциации теоретическая секция — самая многочисленная. За последние десятилетия значительно увеличили подписку теоретические журналы, появились новые периодические издания: «Theory, culture & society», «European journal of social theory», «Theory» (издается Американской социологической ассоциацией), «Theory and society». Новый «Journal of classical sociology» готовится к выпуску в свет издательством «Sage» под редакцией Брайана Тернера. Изданы крупные теоретические работы: «Polity reader in social theory», «Blackwell companion to major social theorists», «Handbook in social theory». Результаты современных теоретических исследований обобщаются в монографиях Патрика Берта «Social theory in XX century», Джона Скотта «Sociological theory: contemporary debates». Крупные издательства — «Полити пресс», «Кембридж юниверсити пресс»,

«Сэйдж» выпустили в свет множество теоретических книг, как классических, так и современных, в том числе такие серии, как «Cambridge cultural social studies» (Кембридж, под ред. Александера и Сейдмена). В различных странах мира проводятся теоретические конференции. Недавно мне довелось участвовать в конференциях «Новый взгляд на теории социальных изменений» (Монреаль, 2000) и «Новые источники критической теории» (Кембридж, 2000). Характерно, что теория после долгого путешествия по Северной Америке вернулась в свою колыбель, в Европу. Именно в Британии, Франции и Германии уделяется сейчас наибольшее внимание теоретической работе. По свидетельству Нейла Смелсера, «за последние 50 лет центр тяжести общей теоретической мысли фактически переместился из США в Европу, и это перемещение обозначено трудами таких исследователей, как Ален Турен, Пьер Бурдьё, Юрген Хабермас, Никлас Луман и Энтони Гидденс. Многие современные теоретические разработки в США возникли под влиянием этих социологов на преподавателей и выпускников университетов». Аналогичное мнение высказывает Брайан Тернер: «Европейская социальная теория, возможно, снова займет доминирующую позицию в мировом развитии социальной теории».

Объяснительная теория

О чем говорят эти факты? Придерживаясь старой, традиционной оппозиции «теория vs исследование», либо «теоретическая социология vs эмпирическая социология», как это было в дискуссии Т. Парсонса и Р. Мертона в 1947 г. на ежегодной конференции Американской социологической ассоциации, можно было бы подумать, что первоочередное внимание к теории означает отход в сторону схоластики и в царство чистых идей, уход от реальных социальных проблем и конкретных социальных фактов, отказ от эмпирических исследований. Такое предположение очень далеко от истины. На самом деле, ситуация — совершенно противоположная. Впечатляющее продвижение теории вызвано тем, что она получила признание во всех областях эмпирической социологии, нашла свое место среди всех областей социологии и наконец признана важным и необходимым компонентом социологических исследований. Разделение теории и исследований более невозможно. Вместо этого мы наблюдаем широкое распространение теорий, в которых рассматриваются разнообразные социальные проблемы.

Теоретики и исследователи встретились на пути друг к другу. Многие теоретики более не занимаются абстрактными идеями, а обращаются к таким реальным проблемам, как глобализация, личность, риск, доверие, гражданское общество, демократия, новые формы труда, социальные эксклюзии, культурные травмы и т. д. Эмпирические исследователи более не ограничиваются регистрацией фактов и сбором данных. Вместо этого они предлагают обобщающие модели на основе систематизированных фактов. Таковы теория девиантности, теория коллективного поведения, социальных движений, этничности, теория массовой информации, концепция социального капитала, постматериалистических ценностей и т. п. В 2000 г. опубликован учебник по

социологии под редакцией С. Куа и А. Сейлса. Цель этой книги — суммировать положение дел в разных областях социологии, и каждая глава содержит значительную часть теоретических сведений. В результате теория приближается к реальным «социальным проблемам», т. е. проблемам простых людей (*common people*), а к эзотерическим «социологическим проблемам», проблемам профессиональных социологов. Теория дает объяснения насущным социальным вопросам (создавая гипотезы, более или менее проверяемые на практике). Она может оказать влияние на более широкую аудиторию, простых людей, направляя их мышление, предоставляя им «карты» отдельных областей их общественного «жизненного мира».

Первый тип теории можно назвать объяснительной теорией. Она представляет собой то, что Брайан Тернер называет «сильной программой» для теории. Зададимся тремя важными для этого типа теории вопросами: теория чего, для чего и для кого. Теория чего? Это теория реальных социальных проблем. Она отвечает на вопросы, почему растет преступность, почему возникают новые общественные движения, откуда возникает бедность, почему возрождаются этнические настроения. По Мертону, Бурдье и Тернеру, теория вырастает из исследований и должна быть направлена на исследования. «Чтобы теоретический результат имел значение, он должен основываться на постановке проблем». «Социальная теория процветает и выживает наилучшим образом тогда, когда она занимается эмпирическими исследованиями и общественными вопросами». Для чего? Чтобы дать объяснения или, по крайней мере, модели для лучшей организации разрозненных фактов и явлений, интерпретации множества различных событий и явлений. Для кого? Не только для коллег-теоретиков, но для простых людей, чтобы дать им ориентацию, просвещение, понимание своего состояния. Важная роль теорий — «обеспечивать информацию для демократического дискурса». Эта роль станет еще более ощутимой по мере того, как демократия будет устанавливаться все в новых и новых странах, особенно важна ее роль в будущем «обществе знания», обществе информированных и образованных людей, которых волнуют социальные и общественные вопросы, где демократия приобретет форму «дискурсивной демократии».

Можно сформулировать гипотезу в рамках «социологии знания»: причины такого успеха объяснительной теории коренятся в быстрых, радикальных, широчайших социальных изменениях. Мы сейчас переживаем «новый великий переход» (перифразируя К. Поляни). Во времена изменений возникает особая потребность в теории. Социологи испытывают особое давление со стороны простых людей (*common people*), а кроме того политиков, которым нужна ориентация в этой неразберихе. Все они хотят знать, откуда мы пришли, где мы есть и куда идем. Никакие факты и цифры не могут ответить на такие вопросы. Адекватные представления об обществе, карты социальных отношений могут быть предоставлены только с помощью обобщенных объяснительных моделей. «Ничто так не требует от нас теоретических изысканий, как опыт исторических изменений и межкультурное разнообразие».

Преподавание объяснительных теорий является для меня самой важной целью социологического образования, особенно во времена широчайших социальных изменений. Подобная теория дает самый сильный толчок для развития социологического воображения, поскольку она соединяет теоретизирование с конкретным опытом.

Эвристическая теория

Перейдем ко второму типу теории. Теоретические ориентации я бы назвал эвристической теорией, которую нельзя проверить непосредственно, но которая плодотворна, поскольку создает понятия, образы, модели. Эвристическая теория близка к социальной философии, особенно к онтологии или метафизике социального мира, так как пытается ответить на три вечных онтологических вопроса о строении социальной действительности: (а) что является основой социального порядка?; (б) что составляет природу человеческой деятельности? и (в) каковы механизм и направление социальных изменений? Этими вопросами занимались все классики-основатели социологии. Примерами классической ориентации, преобладавшей в середине нынешнего столетия и пытавшейся решить такого рода вопросы, были структурный функционализм, символический интеракционизм, теория обмена, марксизм. С тех пор появилось несколько новых тенденций, которые мы рассмотрим позже.

Каковы характерные черты подобной теории? Зададимся тремя нашими вопросами. Теория чего? Основ социальной реальности. Она ставит вопросы не «почему», а «как»: как возможен социальный порядок (как существуют социальные группы, как люди живут вместе, сотрудничают, сосуществуют), как выполняются социальные действия, как развиваются социальные изменения? Теория для чего? Для того, чтобы создать категориальный аппарат для более конкретной объяснительной теоретической работы, предложить значимые категории для осмысления разрозненных фактов. Теория для кого? В основном для исследователей, создающих объяснительные модели отдельных областей мира, отвечающих на конкретные вопросы.

Впечатляющее развитие подобных эвристических теорий в конце века может быть объяснено не социальными фактами, а интеллектуальными достижениями. Этот успех следует рассматривать не в терминах социологии знания, а с позиций истории идей. Кажется, что он вызван новыми достижениями в развитии общественной мысли; новыми тенденциями, увлекательными и оригинальными перспективами. Возникла интеллектуальная напряженность, свойственная «парадигматическому смещению» (Т. Кун), на самом деле — трех параллельных парадигматических смещений, которые мы наблюдаем в новой теории. Первый сдвиг — это сдвиг от устойчивых органических систем к подвижным областям взаимодействия социальных сил. Другими словами, происходит сдвиг от «первой» ко «второй» социологии. Социальный порядок видится как возникающий, конструируемый, постоянный результат достижений агентов действия, производимый и воспроизводимый человеческим действием. Примеры такой теоретической перспективы можно

найти в работах П. Бергера и Т. Лукмена, Н. Элиаса, Э. Гидденса, П. Бурдьё. Второй сдвиг — это переход от образа эволюции или социального развития к социальному становлению (*social becoming*). Акцент переносится на открытые исторические сценарии, развивающиеся с помощью решений, выбора, а также благодаря образующим сценарий случайным событиям. Наилучшим образом этот подход представлен «исторической социологией» (Дж. Тилли, М. Арчер, Т. Скочпол и П. Штомпки). Третий сдвиг — переход от образа «гомо экономикус» (расчетливый, рациональный, целеустремленный деятель), представленного в «теории рационального выбора» (Дж. Коулмэн, Дж. Эльстер), и от «гомо социологикус» (нормативно направленного исполнителя роли), представленного «неофункционализмом» (Дж. Александер, Н. Луман, Р. Мюнх), к «гомо когитанс» (знающий и понимающий участник, информированный и ограниченный коллективными символическими системами знаний и веры). Эту тенденцию часто называют интерпретативным поворотом, культурным поворотом, лингвистическим поворотом. «Современная социальная теория изменила свое лицо, отдав приоритет культурным явлениям и культурным отношениям». Она имеет много разновидностей. В одной из них, которую иногда называют ментализмом, первоочередное внимание уделяется инвариантным компонентам человеческого сознания. Сюда относятся структурализм К. Леви-Стросса и Ф. де Соссюра, феноменология А. Шютца. Вторая разновидность «культурного поворота» называется текстуализмом. Она представлена постструктурализмом, или теорией дискурса М. Фуко, где социальная реальность трактуется как разновидность текста со своей семантикой и грамматическими правилами. Третью версию иногда называют интересубъективизмом. Большой вклад в нее внес Хабермас своей теорией коммуникативного действия. И, наконец, имеется ответная реакция на «сверхинтеллектуализированный образ человека». Человек думающий, человек знающий — да, но не только в форме дискурса. Акцент смещается на практическое знание (Э. Гидденс), «этнометоды» (Гарфинкель), а также тело как инструмент действия (Б. Тернер), эмоции как сопутствующие действия, вещи, которыми человек пользуется, встречаемые объекты, окружающая среда как контекст действия. Индивиды трактуются как носители упорядоченных, типичных наборов практических действий (П. Бурдьё).

Таким образом, современная социология характеризуется большим разнообразием эвристических ориентаций. Их преподавание может оказаться полезным для студента прежде всего взглядом на общество с различных позиций, что необходимо для понимания общественной жизни.

Аналитическая теория

Третью разновидность теории можно назвать аналитической теорией. Она обобщает и проясняет понятия, дает типологии и классификации, пояснения и определения. Ее применение имеет важное значение, но она играет вспомогательную, инструментальную роль. Аналитическая теория рискует переродиться в постоянное совершенствование инструментов без их определенного применения либо в конструирование закрытых категориальных

систем. Попытки создать закрытые концептуальные системы, специальные языки для общей социологии, как кажется, закончились с работой Никласа Лумана (ранее только у Толкотта Парсонса были похожие цели). Но в некоторых узких сферах такого рода усилия весьма полезны, они восходят к тому, что Р. Мертон называл теориями среднего уровня: эмпирически обоснованные концептуальные схемы, применимые к конкретным эмпирическим проблемам (например, мертоновские теория ролей и ролевых репертуаров, теория референтных групп, теории стратификации, мобильности, аномии, девиации и т. д.).

Какова природа подобной теории? О чем она? О содержательных понятиях, полезных для понимания вещей. Для чего? Для определения, раскрытия, пояснения явлений или их важных характеристик. Для кого? Для социологов — теория создает для них канонический словарь, технический язык для работы с предметом, этот язык намного яснее обыденного языка и языка здравого смысла. Преподавание аналитической теории имеет огромное значение для развития способности студента думать и говорить на языке социологии. Она дает студенту основные инструменты профессии. В вводных курсах социологии первостепенное внимание должно уделяться исключительно этому виду теории.

Экзегетическая теория

Четвертый тип теории можно назвать экзегетической теорией. Она заключается в анализе, толковании, систематизации, реконструкции, критике существующих теорий. Конечно, экзегетическая теория особенно значима для подготовки к теоретической работе. К ней следует относиться как к этапу в научной карьере, периоду обучения. Через эту стадию прошли большинство выдающихся теоретиков: Т. Парсонс в работе «Структура социального действия», Э. Гидденс в работе «Капитализм и современная социальная теория», Дж. Александер в знаменитых четырех томах «Теоретическая логика в социологии», Н. Смелсер в книге «Объяснение и социальная теория». К этой категории я бы отнес и свою книгу «Социологические дилеммы». Но все цели теряют смысл, если главной целью становится бесконечное препарирование работ модных авторов: что сказал такой-то ученый, как бы он мог сказать это лучше, что он мог сказать, но не сказал, последователен ли он, что он в действительности хочет или не хочет сказать? Чем более эзотеричной, непонятной, неясной, запутанной является теория, тем больше возможностей она дает экзегетическим спорам. Она вдохновляет на отчаянные поиски в темной комнате черного кота, которого там нет. В этом — секрет некоторых современных теорий (например школы «постмодернизма») и их популярности среди толкователей. Если теория четкая, ориентирована на проблемы, точная и ясная, то в ней найдется немного из того, что можно толковать и критиковать.

В данном случае три наших вопроса многое проясняют. Теория чего? Других теорий, отдельных книг, текстов, фантомов социологического воображения, вырождающаяся в конечном итоге в самореферентные упражнения. Теория для чего? Для апологии или ниспровержения теорий: что

непрерывно предполагает возникновение фракций, догматизма, ортодоксальных школ, сект, поклонников. Такая теория развивается вспять от «свободного рынка идей» к недоброй памяти «полно борьбы идей». Теория для кого? Для других теоретиков, играющих в интеллектуальные игры в сектах посвященных. С моей точки зрения, такие теории — наименее значимые, часто бесполезные. Часто они перерождаются в эпигонство. Среди некоторых теоретиков бытует следующее мнение. «Социальная теория становится как раз наиболее бесполезной и наиболее жизнеспособной формой интеллектуальной деятельности. Она бесполезна, когда обращается вовнутрь, закрывается на самой себе, превращается в тщетную войну концепций или в возмутительное превознесение интеллектуальных изысканий автора, данной школы, моей традиции, вашей ортодоксальности». Имеются и другие мнения: «Необходимо впустить свежий воздух в изолированные помещения домашнего теоритизирования. Социальная теория не сводится только к выработке концепций и толкованию концепций других теоретиков»; «Без приверженности определенной общественной роли социологическая теория превратится в поиск приятного досуга академиков, демонстрирующих лишь декоративную сторону ученой карьеры»; «Без политических и общественных обязательств социальная теория рискует стать эзотеричным, элитным и эксцентричным интересом маргинальных ученых»; «Многие ученые, вероятно, полагают, что развитие теории зависит исключительно от пристального изучения и переработки предыдущих социальных теорий... Вряд ли такая стратегия сможет привести к новым и глубоким социальным знаниям».

Я бы не рекомендовал студентам экзегетические теории. Если и включать их в учебные программы, то они должны иметь достаточно узкое применение, во всяком случае, они могут изучаться только старшими студентами и аспирантами в качестве умственных упражнений.

Заключение

Нами показано, что наиболее важными, плодотворными и многообещающими видами теорий, имеющих определяющее значение для социологического воображения, являются объяснительная и эвристическая теории. Аналитические теории играют вспомогательную роль в наладке концептуальных инструментов и выработке языка социологического мышления. Экзегетические теории полезны исключительно для развития навыков критического мышления, но в собственно теорию никакого вклада не вносят и не заменяют другие формы создания теорий.

Объяснительные и эвристические теории образуют многостороннюю мозаику теоретических объяснений и ориентаций. Как разобраться в столь фрагментированном теоретическом поле? К надежной объяснительной теории, адресованной обычным людям, а не только ученым, вполне применим мертоновский принцип «дисциплинарного эклектизма». Этот принцип полезен студентам, изучающим социологию. «Дисциплинарность» в данном случае означает критический подход к теории, ее оценку по внутренним достоинствам, согласованности, убедительности, продуктивности гипотез. «Эклектизм»

означает открытое, терпимое, свободное от одностороннего догматизма отношение к альтернативным объяснениям. Такая стратегия разделяется многими современными авторами: «невозможно предусмотреть все интересующие исследователя вопросы о любом значимом явлении в рамках одной теории или даже в рамках согласованных, логически совместимых теорий»; «Можно получить обобщенное знание о мире, опираясь на разные, иногда соперничающие точки зрения». Дисциплинарный эклектизм позволяет преодолевать границы между теориями и дисциплинами, выходить за рамки узко понимаемой «социологической теории» и обращаться к «социальной теории» в том виде, в каком она создавалась классиками. Доклад Фонда Гулбенкяна «Открыть социальные науки» (Gulbenkian Foundation «Open social sciences», под ред. И. Уоллерстайна) показывает необходимость объединения социологии с психологией, экономикой, антропологией, когнитивной наукой, политической наукой. Особенно важное значение имеет отказ от некоторых пагубных междисциплинарных разграничений, возникших в XIX в. и оказавшихся очень устойчивыми. Маттеи Доган высказывает аналогичную мысль: «Сети междисциплинарных взаимодействий изживают старую классификацию социальных наук. Сегодня обозначилась тенденция перехода от старых формальных дисциплин к новым гибридам социальных наук». Преподавание социологической теории должно быть ориентировано на связи между теориями и междисциплинарные взаимодействия, а не на традиционные разделения. Вероятно, в этом заключается самая важная задача, стоящая перед социологическим образованием.

П. Штомпка Теоретическая социология и социологическое воображение // Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования российских трансформаций: Курс лекций. – СПб.: Интерсоцис, 2006. – 112.

ПЬЕР БУРДЬЕ

СОЦИОЛОГИЯ И ДЕМОКРАТИЯ

Как всякий исследователь я убежден что социология может участвовать в действительно демократической политической деятельности, в управлении всеми гражданами, цель которого - обеспечить счастье всех граждан. Я постараюсь, чтобы и другие разделили со мной это убеждение, даже если я несколько переоцениваю свои возможности, а - главное - недооцениваю хорошо известные социологам отпор и сопротивление тех, кто ее не принимает.

Говоря о демократии сегодня, нельзя не учитывать того, что общественные науки присутствуют - часто в более или менее искаженной форме - в самой социальной реальности. Дня не проходит без того, чтобы не приходилось обращаться к экономической науке и экономистам для оправдания тех или иных правительственных решений. К социологии обращаются реже, да

и то только в кризисных ситуациях, или когда возникают «социальные» проблемы (как если бы все остальные таковыми не являются). Сегодня СМИ к ним относит проблемы университета и так называемых «городских окраин».

По-настоящему демократическая политика стоит перед очень старой альтернативой в ее современной форме — альтернативой между монархом-философом (или просвещенным деспотом) и демагогом, или, если угодно, между технократической заносчивостью, которая берется осчастливить людей без их участия и даже вопреки их воле, и демагогической уступчивостью, которая воспринимает всякий заказ как приказ, выражается ли он посредством маркетинга, телевизионных рейтингов или шкал популярности. Демократическая политика должна стараться избегать этой альтернативы. Не буду подробно останавливаться на последствиях технократической ошибки, которая обычно совершается от имени экономики. Хотя следовало бы тщательно проанализировать, какую цену, и не только социальную — в виде страданий и насилия — но и экономическую — в виде экономии разного рода — приходится платить во имя узкого и усеченного определения экономики. Скажу лишь, что существует своего рода закон сохранения насилия, и что если мы действительно хотим, чтобы меньше стало явного насилия — преступлений, кражи, изнасилований и даже терактов, — то следует действовать в направлении глобального сокращения насилия неявного (во всяком случае оно невидимо с высоты центра, т. е. доминирующим), которое совершается ежедневно, беспорядочно, в семьях, на заводах, в цехах, комиссариатах, тюрьмах, и даже больницах и школах, являясь продуктом «инертного насилия» экономических и социальных структур и тех безжалостных механизмов, которые участвуют в его воспроизводстве.

Я хочу подробнее остановиться на второй части альтернативы — демагогической ошибке. Прогресс в области «социальной технологии» (не путать с «социальной наукой», у которой порой заимствуются ее инструменты) таков, что мы бываем хорошо осведомлены лишь относительно внешнего запроса — актуального, точечного, заявленного во всеуслышание. Существуют технические специалисты в области доксы, мнения, торговцы опросами общественного мнения и маркетинговыми исследованиями, сегодняшние наследники тех, кого Платон замечательно назвал доксософами, поверхностными учеными поверхностного.

Социальная наука указывает на ограниченность такой техники, которая, под видом опроса, представляет лишь обобщенные мнения по типу голосования, и в таком виде может стать рациональным инструментом демагогического правления, подвластного любым социальным силам. Она позволяет увидеть, что техника, удовлетворяющая поверхностный запрос стремящегося к сиюминутному успеху политика, противоречит собственной цели, которая состоит в определении целей, отвечающих истинному интересу большинства, и что такая машинерия есть ни что иное, как слегка прикрытая форма маркетинга. «Демократическая» иллюзия относительно демократии заключается в том, что забывается о существовании определенных условий, обеспечивающих доступ к сформированному и высказываемому

политическому мнению: «Иметь мнение,— говорил Платон, — doxazein — это говорить», вывести на уровень речи. Между тем, как известно, не все равны перед языком. Возможность высказать свое мнение по поводу какого-либо вопроса (особенно, если речь идет о политической проблеме, которая как таковая создается политическим микрокосмом) существенно различна у мужчин и женщин, у людей образованных и необразованных, богатых и бедных. В конечном счете, за формальным равенством граждан скрывается реальное неравенство. Возможность иметь мнение неодинакова так же, как неодинакова для всех возможность навязать его в качестве авторитетного мнения.

Наука информирует о средствах, но ничего не говорит о целях. Но как только речь заходит о демократии, то цели сразу ясно определяются: стремиться к тому, чтобы экономические и социальные условия доступа к политическому знанию стали всеобщими, т. е. демократическими. Здесь решающее значение приобретает образование — фундаментальное и непрерывное. Оно есть не просто условие получить рабочее место, или занять социальную позицию: оно есть главное условие реального соблюдения гражданских прав.

Неумолимые законы политических аппаратов описаны социологами, называющими себя неомакиавелистами. Эти законы, которые поощряют концентрацию представительной власти в руках нескольких человек и особенно сильно ударяют по организациям, предназначенным представлять наиболее обездоленных, отнюдь не являются естественными, как полагали их создатели. Они опираются на законы производства индивидуальных мнений, которым, как и любым другим социальным законам, можно противодействовать, вооружившись их знанием.

Социология не ограничивается критикой социальных иллюзий, — что, безусловно, является одним из условий демократического выбора; — она может послужить и основанием реалистического утопизма, в равной мере удаленного как от безответственного волюнтаризма, так и от сциентистской покорности существующему порядку. Социология радикально противостоит практике доксософов — этой «науке без ученого», «науке» анкетеров, предлагающих своим респондентам вопросы, которыми задаётся по их поводу сам политический микрокосм. Социология ставит себе задачу выйти за пределы внешнего, за пределы поверхностных рассуждений о поверхностном, будь то рассуждения, производимые самими агентами, или более специфические рассуждения, которые доксософы, специалисты по опросам, политические комментаторы, политики производят о самих себе, бесконечно отражаясь друг в друге, как в зеркалах.

В соответствии с гиппократовской традицией настоящая медицина начинается с познания невидимых болезней, т. е. фактов, о которых больной не говорит либо потому, что их не осознает, либо потому, что забывает на них указать. Такова и социальная наука, пытающаяся познавать и понимать действительные причины социального зла, которое обнаруживает себя в виде социальных знаков, трудно поддающихся интерпретации по причине того, что они кажутся слишком очевидными. Я имею в виду, например, проявления беспричинного насилия на стадионах и в других местах, преступления расизма

и победы на выборах пророков несчастья, которым удалось использовать и усилить самые примитивные выражения морального страдания, порождаемые нищетой и «инертным насилием» экономических и социальных структур, и еще более — бесконечными формами материальной скудости и тихого насилия повседневного существования.

Чтобы выйти за рамки проявлений поверхностного необходимо подняться до настоящих экономических и социальных причин, вследствие которых на законное стремление людей к счастью и самореализации посягают бесчисленные формы принуждений не только со стороны рынка труда и жилья, но и со стороны образовательного рынка (в виде выносимых школой вердиктов), а также в виде открытых запретов или коварных гонений в профессиональной жизни. Довести до осознания механизмы, которые делают жизнь мучительной и даже невозможной, не значит, конечно, их нейтрализовать, а вскрыть противоречия не означает их разрешить. Но как бы скептически ни оценивать социальную эффективность социологического сообщения, нельзя полностью отрицать его воздействия хотя бы потому, что оно открывает страждущим возможность переложить ответственность за свои страдания на социальные причины, освобождая, таким образом, себя от чувства вины. Бездна такого утверждения только кажущаяся: то, что создано социальным миром, то социальный мир, вооружившись этим знанием, может и переделать.

Ясно, что социология раздражает, а раздражает она потому, что разоблачает, впрочем, ничем не отличаясь в этом от других пауков: «Наука - это лишь то, что сокрыто», — говорил Башляр. Но в социологии это скрытое совершенно особого рода: часто речь идет о тайне, которую, как и тайны в некоторых семьях, предпочтительнее не раскрывать, т. е. речь идет скорее о вытесненном. В частности, о таких механизмах или практиках, которые слишком открыто противостоят демократическому кредо (я имею в виду, например, социальные механизмы школьной селекции). В итоге социолог, который, не удовлетворяясь регистрацией и утверждением поверхностного, несет бремя научного труда по разоблачению, может казаться доносчиком.

Тем, кто обличает социологию за то, что она обличает, вторят те, кто не верят в нее потому что она вселяет неверие... Действительно, социология не исчерпывается одной лишь констатацией, которую тем более охотно называют детерминистской, пессимистической и даже деморализующей, чем более она глубока и чем более она выверена. Однако, социология может предоставить реальные средства противодействия тенденциям, имманентно присущим социальному порядку. Те, кто кричат о детерминизме, должны бы помнить, что только опираясь на закон земного притяжения можно создавать летательные аппараты, позволяющие этот закон преодолевать.

Перевод с французского Е.Д. Вознесенской

Пьер Бурдьё Социология и демократия // Поэтика и политика (сборник статей). Альманах Российско-французского центра социологии и

МАКС ВЕБЕР

«ОБЪЕКТИВНОСТЬ» СОЦИАЛЬНО-НАУЧНОГО И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

При появлении нового журнала в области социальных наук, а тем более социальной политики или при изменении состава его редакции у нас обычно прежде всего спрашивают о его «тенденции». Мы также не можем не ответить на этот вопрос и постараемся здесь в дополнение к замечаниям в нашем введении более принципиально заострить саму постановку данной проблемы. Тем самым представляется возможным осветить своеобразие ряда аспектов «исследования в области социальных наук» так, как мы его понимаем; несмотря на то что речь пойдет о вещах «само собой разумеющихся», впрочем, может быть, именно поэтому, это может оказаться полезным если не специалисту, то хотя бы читателю, менее причастному к практике научной работы.

Наряду с расширением нашего знания о «социальных условиях всех стран», то есть о фактах социальной жизни, основной целью «Архива» с момента его возникновения было также воспитание способности суждения о практических проблемах и, следовательно, в очень незначительной степени, в какой ученые в качестве частных лиц могут способствовать реализации такой цели, — критика социально-политической практики вплоть до факторов законодательного характера. Вместе с тем, однако, «Архив» с самого начала стремился быть чисто научным журналом, пользующимся только средствами научного исследования. Невольно возникает вопрос, как же сочетать данную цель с применением одних только упомянутых средств. Какое значение может иметь то, что на страницах данного журнала речь пойдет о мерах законодательства и управления или о практических советах в этой области? Какие нормы могут быть положены в основу таких суждений? Какова значимость оценок, которые предлагает в своих суждениях или кладет в основу своих практических предложений автор? В каком смысле можно считать, что он не выходит за рамки научного исследования, ведь признаком научного познания является «объективная» значимость его выводов, то есть истина. Мы выскажем сначала нашу точку зрения по этому поводу, чтобы затем перейти к вопросу о том, в каком смысле вообще есть «объективно значимые истины» в науках о культуре? Данный вопрос нельзя обойти ввиду постоянного изменения точек зрения и острой борьбы вокруг элементарнейших на первый взгляд проблем нашей науки, таких, как применяемые ею методы исследования, образование понятий и их значимость. Мы не предлагаем решения, а попытаемся указать на те проблемы, которым должен будет уделить внимание наш журнал, если он хочет оправдать поставленную им цель в прошлом и сохранить ее в будущем.

I

Все мы знаем, что наша наука, как и другие науки (за исключением разве что политической истории), занимающиеся институтами и процессами культуры, исторически вышла из практических точек зрения. Ее ближайшая и первоначально единственная цель заключалась в разработке оценочных суждений об определенных политико-экономических мероприятиях государства. Она была «техникой» том же смысле, в каком таковой в области медицины являются клинические дисциплины. Известно, как такое положение постепенно изменялось, хотя принципиальное разъединение в познании «сущего» и «долженствующего быть сущим» не произошло. Этому способствовало как мнение, что хозяйственные процессы подчинены неизменным законам природы, так и мнение, что они подчинены однозначному принципу эволюции и, следовательно, «долженствующее быть сущим» совпадает в одном случае с неизменно «сущим», в другом — с неизбежно «становящимся». С пробуждением интереса к истории в нашей науке утвердилось сочетание этического эволюционизма с историческим релятивизмом, которое поставило перед собой цель лишить этические нормы их формального характера, чтобы посредством включения всей совокупности культурных ценностей в область «нравственного» определить содержание последнего и тем самым поднять политическую экономию до уровня «этической науки» на эмпирической основе. Поставив на всей совокупности всевозможных культурных идеалов штамп «нравственного», сторонники данного направления уничтожили специфическое значение этических императивов, ничего не выиграв в смысле «объективной» значимости этих идеалов. Здесь не может и не должно быть принципиального размежевания различных точек зрения. Мы считаем нужным указать лишь на тот факт, что и (сегодня эта недостаточно ясная позиция сохраняется, что и теперь в кругах практических деятелей распространено — что вполне понятно — представление, согласно которому политическая экономия разрабатывает — и должна разрабатывать — оценочные суждения, отпавляясь от чисто «экономического мировоззрения».

Наш журнал, представляющий специальную эмпирическую дисциплину, вынужден (это следует сразу же подчеркнуть) принципиально занять отрицательную позицию по данному вопросу, ибо мы придерживаемся мнения, что задачей эмпирической науки не может быть создание обязательных норм и идеалов, из которых потом будут выведены рецепты для практической деятельности.

Какие же выводы можно сделать из сказанного? Безусловно, это не означает, что оценочные суждения вообще не должны присутствовать в научной дискуссии, поскольку в конечном счете они основаны на определенных идеалах и поэтому «субъективны» по своим истокам. Ведь вся практика и сама цель нашего журнала постоянно дезавуировали бы данный тезис. Критика не останавливается перед оценочными суждениями. Вопрос заключается в следующем: в чем состоит значение научной критики идеалов и оценочных суждений, какова ее цель? Этот вопрос требует более детального рассмотрения.

Размышление о последних элементах осмысленных человеческих действий всегда связано с категориями «цели» и «средства». Мы *in concreto* (лат. конкретно) стремимся к чему-нибудь либо «из-за его собственной ценности», либо рассматривая его как средство к достижению некоей цели. Научному исследованию прежде всего и безусловно доступна проблема соответствия средств поставленной цели. Поскольку мы (в границах нашего знания) способны установить, какие средства соответствуют (и какие не соответствуют) данной цели, мы можем тем самым взвесить шансы на то, в какой мере с помощью определенных средств, имеющихся в нашем распоряжении, вообще возможно достигнуть определенной цели и одновременно косвенным образом подвергнуть критике, исходя из исторической ситуации, саму постановку цели, охарактеризовав ее как практически осмысленную или лишенную смысла в данных условиях. Мы можем также установить, если осуществление намеченной цели представляется нам возможным — конечно, только в рамках нашего знания на каждом данном этапе, — какие следствия будет иметь применение требуемых средств наряду, с эвентуальным достижением поставленной цели, поскольку все происходящее в мире взаимосвязано. Затем мы предоставляем действующему лицу возможность взвесить, каково будет соотношение этих непредусмотренных следствий с предусмотренными им следствиями своего поведения, то есть даем ответ на вопрос, какой «ценой» будет достигнута поставленная цель и какой удар предположительно может быть нанесен другим ценностям. Поскольку в подавляющем большинстве случаев каждая цель достигается такого рода ценой или может быть достигнута такой ценой, то все люди, обладающие чувством ответственности, не могут игнорировать необходимость взвесить, каково будет соотношение цели и следствий определенных действий, а сделать это возможным — одна из важнейших функций критики посредством той, которую мы здесь рассматриваем. Что же касается решения, принятого на основе такого взвешивания, то это уже составляет задачу не науки, а самого человека, действующего в силу своих желаний он взвешивает и совершает выбор между ценностями, о которых идет речь, так, как ему велят его совесть и его мировоззрение. Наука может лишь довести до его сознания, что всякое действие и, конечно, в определенных обстоятельствах также и бездействие сводятся в итоге к решению занять определенную ценностную позицию, а тем самым (что в наши дни особенно охотно не замечают), как правило, противостоять другим ценностям. Сделать выбор — личное дело каждого.

В наших силах только дать человеку знания, которые, помогут ему понять значение того, к чему он стремится; научить его видеть цели, которые его привлекают и между которыми он делает выбор в их взаимосвязи и значении, прежде всего посредством выявления «идей», лежащих, фактически или предположительно, в основе конкретной цели и логической их связи в дальнейшей эволюции. Ведь не может быть никакого сомнения в том, что одна из существеннейших задач каждой науки о культуре и связанной с ней жизни людей — открыть духовному проникновению и пониманию суть тех «идей», вокруг которых действительно или предположительно шла и до сих

пор идет борьба. Это не выходит за рамки науки, стремящейся к «мысленному упорядочению эмпирической действительности», хотя средства, которые служат такому истолкованию духовных ценностей, весьма далеки от «индукции» в обычном понимании данного слова. Правда, подобная задача, по крайней мере частично, претупает границы строгой экономической науки в ее принятом разделении на определенные специальные отрасли — здесь речь идет о задачах социальной философии. Ибо власть идей в социальной жизни на протяжении всей истории была — и продолжает оставаться — столь сильной, что наш журнал не может игнорировать эту проблему; более того, она всегда будет входить в круг его важнейших задач.

Научное рассмотрение оценочных суждений состоит не только в том, чтобы способствовать пониманию и сопереживанию поставленных целей и лежащих в их основе идеалов, но и в том что бы научить критически судить о них. Однако эта критика может быть только диалектической по своей природе, то есть способна дать только формально-логическое суждение о материале, который лежит в основе исторических данных оценочных суждений и идей, проверку идеалов в аспекте того, насколько в поставленной индивидом цели отсутствует внутренняя противоречивость. Такая критика, ставя перед собой упомянутую цель, может помочь индивиду постичь сущность тех последних аксиом, которые лежат в основе его желаний, важнейшие параметры ценностей, из которых он бессознательно исходит или должен был бы исходить, если хочет быть последовательным. Довести до сознания эти параметры, которые находят свое выражение в конкретных оценочных суждениях — последнее, что может совершить научная критика, не вторгаясь в область спекуляции. Должен ли выносящий свое суждение субъект признать свою причастность к упомянутым ценностным параметрам, решает он сам. Это дело его воления и совести, а не проблема опытного знания.

Эмпирическая наука никого не может научить тому, что он должен делать, она указывает только на то, что он может, а при известных обстоятельствах на то, что он хочет совершить. Верно, что мировоззрения различных людей постоянно вторгаются в сферу наших наук, даже в нашу научную аргументацию, внося в нее туман неопределенности, что вследствие этого по-разному оценивается убедительность научных доводов (даже там, где речь идет об установлении простых каузальных связей между фактами) в зависимости от того, как результаты исследования влияют на шансы реализовать свои идеалы, то есть увеличивается ли или уменьшается в таком случае возможность осуществить определенные желания. В этом отношении редакторам и сотрудникам нашего журнала также «ничто человеческое не чуждо». Однако одно дело — признание человеческой слабости и совсем другое — вера в то, что политическая экономия является «этической» наукой и что в ее задачу входит создание идеалов на основе своего собственного материала или конкретных норм посредством применения к этому материалу общих этических императивов. Верно и то, что мы ощущаем как нечто «объективно» ценностное именно те глубочайшие пласты «личности», те высшие, последние оценочные суждения,

которые определяют наше поведение, придают смысл и значение нашей жизни. Ведь руководствоваться ими мы можем лишь в том случае, если они представляются нам значимыми, проистекающими из высших ценностей жизни, если они формируются в борьбе с противостоящими им жизненными явлениями. Конечно, достоинство «личности» состоит в том, что для нее существуют ценности, с которыми она соотносит свою жизнь, пусть даже в отдельных случаях они заключены в глубинах индивидуального духа. Тогда индивиду важно «выразить себя» в таких интересах, чью значимость он требует признать как ценность, как идею, с которой он соотносит свои действия. Попытка утвердить свои оценочные суждения вовне имеет смысл лишь в том случае, если этому предпослана вера в ценности. Однако судить о значимости этих ценностей — дело веры, быть может, также задача спекулятивного рассмотрения и толкования жизни и мира с точки зрения их смысла, но уже, безусловно, не предмет эмпирической науки в том смысле, как мы ее здесь понимаем. Для такого разделения важен совсем не тот эмпирически выявляемый факт, что (как это часто предполагают) на протяжении истории эти последние цели меняются и оспариваются. Ведь самые непреложные положения нашего теоретического — естественнонаучного или математического — знания совершенно так же, как углубление и рафинирование совести людей, — продукт культуры. Если мы непосредственно обратимся к практическим проблемам экономической и социальной политики (в обычном значении слова), то окажется, правда, что есть бесчисленное множество отдельных практических вопросов, при решении которых люди в полном согласии исходят из уверенности в том, что определенные цели сами собой разумеются, что они им заданы — достаточно упомянуть о чрезвычайных кредитах, о конкретных задачах социальной гигиены, благотворительности, о таких мерах, как фабричная инспекция, арбитраж, биржа труда, значительная часть законов по охране труда, — во всех этих случаях вопрос сводится (по-видимому, во всяком случае) только к средствам для достижения цели. Однако даже если мы примем видимость очевидности за истину (за что наука всегда расплачивается) и будем рассматривать конфликты, к которым обязательно приведет попытка практически реализовать такие цели, как чисто технические вопросы целесообразности (что в целом ряде случаев было бы заблуждением), мы очень скоро заметим, что даже, эта видимость очевидности регулятивных ценностных масштабов сразу же исчезает, как только мы переходим от конкретных проблем благотворительности и полицейского порядка к вопросам экономической и социальной политики. Ведь признаком социально-политического характера проблемы и является именно тот факт, что она не может быть решена на основе чисто технических соображений, вытекающих из твердо установленных целей, что спор может и должен идти о самих параметрах ценности, ибо такая проблема поднимается до уровня общих вопросов культуры. Причем сталкиваются в таком споре отнюдь не только «классовые интересы» (как мы теперь склонны думать), но и мировоззрения; впрочем, это ни в коей степени не умаляет справедливости того, что мировоззрение каждого человека наряду с

другими факторами также в очень значительной степени находится, безусловно, под влиянием того, в какой степени он связан с «интересами своего класса» (если уж принять здесь это лишь кажущееся однозначным понятие). Одно, во всяком случае, не подлежит сомнению: чем «более общий» характер носит проблема, о которой идет речь (здесь это означает: чем дальше проникает ее культурное значение), тем менее она доступна однозначному решению на материале опытного знания, тем большую роль играют последние сугубо личные аксиомы веры и ценностных идей. Некоторые учёные всё еще наивно толкуют о том, что задача практической социальной науки состоит прежде всего в разработке «принципа» и аргументации его научной значимости, на основании чего можно будет вывести однозначные нормы для решения конкретных практических проблем. Сколь ни необходимо в социологии «принципиальное» рассмотрение практических проблем, то есть сведение неосознанно воспринятых ценностных суждений к их идейному содержанию, сколь ни серьезно намерение нашего журнала уделить им особое внимание — создание общего знаменателя для наших практических проблем в виде неких общезначимых последних идеалов не может быть задачей ни нашей, ни вообще какой бы то ни было эмпирической науки; она оказалась бы не только практически неразрешимой, но и по своему существу абсурдной. И как бы ни относиться к основанию или характеру убедительности этических императивов, из них, как из норм конкретно обусловленных действий отдельного человека, безусловно, не может быть выведено однозначно обязательное культурное содержание; и эта невозможность тем безусловнее, чем шире содержание, о котором идет речь. Лишь позитивные религии — точнее, догматические по своему характеру секты — могут придавать содержанию культурных ценностей достоинство безусловно значимых этических заповедей. За их пределами культурные идеалы, которые индивид хочет осуществить, и этические обязательства, которые он должен выполнить, принципиально отличаются друг от друга. Судьба культурной эпохи, «вкусившей» плод от древа познания, состоит в необходимости понимания, что смысл мироздания не раскрывается исследованием, каким бы совершенным оно ни было, что мы сами призваны создать этот смысл, что «мировоззрения» никогда не могут быть продуктом развивающегося опытного знания и, следовательно, высшие идеалы, наиболее нас волнующие, во все времена находят свое выражение лишь в борьбе с другими идеалами, столь же священными для других, как наши для нас.

Только оптимистический синкретизм, возникающий иногда как следствие релятивистского понимания исторического развития, может позволить себе игнорировать страшную серьезность такого положения вещей либо с помощью теоретических выкладок, либо уклоняясь от его практических последствий. Само собой разумеется, что в отдельном случае субъективным долгом практического политика может быть как посредничество между сторонниками противоречивых мнений, так и переход на сторону кого-нибудь из них. Однако с научной «объективностью» это ничего общего не имеет. «Средняя линия» ни на йоту не ближе к научной истине, чем

идеалы самых крайних правых или левых партий. Интересы науки в конечном итоге меньше всего играют роль там, где пытаются не замечать неприятные факты и жизненные реальности во всей их остроте. «Архив» считает своей непрременной задачей бороться с опасным самообманом, будто можно получить практические нормы, обладающие научной значимостью, посредством синтезирования ряда партийных точек зрения или построения их равнодействующей, ибо такая позиция, стремящаяся часто к релятивированию и маскировке собственных ценностных масштабов, представляет собой значительно большую опасность для объективного исследования, чем прежняя наивная вера партий в научную «доказуемость» их догм. В способности различать знание и оценочное суждение, в выполнении своего научного долга — видеть истину, отраженную в фактах, и долга своей практической деятельности — отстаивать свои идеалы, в этом состоит наша ближайшая задача.

Неодолимым различием остается на все времена — именно это для нас важнее всего, — вызывает ли аргументация к нашему чувству, к нашей способности вдохновляться конкретными практическими целями, формами и содержанием культуры, а если речь идет о значимости этических норм, к нашей совести, или она вызывает к нашей способности и потребности мысленно упорядочить эмпирическую действительность таким способом, который может притязать на значимость в качестве эмпирической истины. Данное положение остается в силе, не смотря на то что (как мы увидим далее) упомянутые высшие «ценности» в области практического интереса имеют и всегда будут иметь решающее значение для направления, в котором пойдет упорядочивающая деятельность мышления в области наук о культуре. Правилен и всегда останется таковым тот факт, что методически корректная научная аргументация в области социальных наук, если она хочет достигнуть своей цели, должна быть, признана правильной и китайцем, точнее, должна к этому, во всяком случае, стремиться, пусть даже она из-за недостатка материала полностью не может достигнуть указанной цели. Далее, логический анализ идеала, его содержания и последних аксиом, выявление следующих из него логических и практических выводов должны быть, если аргументация убедительна, значимыми и для китайца, хотя он может быть «глух» к нашим этическим императивам, может и, конечно, будет отвергать самый идеал и проистекающие из него конкретные оценки, не опровергая при этом ценность научного анализа.

Само собой разумеется, что наш журнал не будет игнорировать постоянные и неотвратимые попытки однозначно определять смысл культурной жизни. Напротив, ведь такие попытки составляют важнейший продукт именно этой культурной жизни, а подчас в соответствующих условиях входят в число ее важнейших движущих сил. Вот почему мы будем внимательно следить за ходом «социально-философских» рассуждений и в этом смысле. Более того, мы весьма далеки от предвзятого мнения, согласно которому рассмотрение культурной жизни, выходящее за рамки теоретического упорядочения эмпирически данного и пытающееся метафизически истолковать мир, уже в

силу этого не может решать задачи, поставленные в сфере познания. Вопрос, в какой области будут находиться подобные задачи, относится к проблематике теории познания, а поэтому должен и может в данном случае остаться нерешенным. Для нашего исследования нам важно установить одно: журнал по социальным наукам, в нашем понимании, должен, поскольку он занимается наукой, быть той сферой, где ищут истину, которая претендует на то, чтобы (мы повторяем наш пример) и в восприятии китайца обладать значимостью мысленного упорядочения эмпирической действительности.

Конечно, редакция журнала не может раз и навсегда запретить самой себе и своим сотрудникам высказывать в форме оценочных суждений идеалы, которые их вдохновляют. Однако из этого проистекают два серьезных обязательства. Одно из них заключается в том, чтобы в каждый данный момент со всей отчетливостью доводить до своего сознания и до сознания своих читателей, каковы те масштабы, которые они прилагают к измерению действительности и из которых выводится оценочное суждение, вместо того чтобы — как это часто происходит — посредством неоправданного смешения идеалов самого различного рода пытаться избежать конфликтов, «предоставив каждому что-нибудь». Если строго следовать этому требованию, то вынесение определенного практического суждения может быть не только безвредным, но даже полезным, более того, необходимым в чисто научных интересах. Так, в научной критике законодательных и других практических предложений выявление мотивов законодателя или идеалов критикуемого писателя во всем их значении в ряде случаев может быть дано в наглядной, понятной форме только посредством конфронтации положенных ими в основу ценностей с другими и лучше всего, конечно, с их собственными ценностями. Каждая рациональная оценка чужого воления может быть только критикой, которая исходит из собственных «мировоззренческих» позиций; борение с чужим идеалом возможно, только если исходить из собственного идеала. Если в отдельном случае последняя ценностная аксиома, лежащая в основе практического воления, должна быть не только установлена и подвергнута научному анализу, но и наглядно показана в ее отношении к другим ценностным аксиомам, то необходимо «позитивную» критику последних в связном изложении.

Таким образом, на страницах нашего журнала, в частности при обсуждении законов, наряду с социальной наукой — мысленным упорядочением фактов, — право голоса неминуемо должно быть предоставлено и социальной политике — изложению определенных идеалов. Однако мы ни в коей мере не помышляем о том, чтобы выдавать подобные дискуссии за «науку», и будем тщательно следить, чтобы такого рода смешение и путаница не происходили. В противном случае это уже не наука. Поэтому второе фундаментальное требование научной объективности заключается в том, чтобы отчетливо пояснить читателям (и, повторяем опять, прежде всего самим себе), что (и где) мыслящий исследователь умалчивает, уступая место волящему человеку, где аргументы обращены к рассудку и где к чувству. Постоянное смешение научного толкования фактов и оценивающих размышлений остается, правда,

самой распространенной, но и самой вредной особенностью исследований в области нашей науки. Все сказанное здесь направлено против такого смешения, но отнюдь не против верности идеалам. Отсутствие убеждений и научная «объективность» ни в коей степени не родственны друг другу. «Архив» никогда не был — по крайней мере по своему намерению — и не должен быть впредь ареной полемики с определенными политическими или социально-политическими партиями, на его страницах не вербуются сторонники или противники политических или социально-политических идеалов; для подобной цели существуют другие органы. Специфика журнала с момента его возникновения состояла и, поскольку это зависит от редакции, всегда будет состоять в том, что на его страницах в рамках чисто научного исследования встречаются ярые политические противники. «Архив» не был в прошлом «социалистическим органом» и не будет впредь органом «буржуазным». В число его сотрудников беспрепятственно может входить каждый, кто готов участвовать в научной дискуссии. Журнал не может быть ареной «возражений», реплик и ответов на них; но он никого, в том числе и своих сотрудников и редакторов, не защищает от объективной научной критики, какой бы резкой она ни была. Тот, кому данные условия не подходят, кто полагает, что сотрудничать с людьми, идеалы которых не совпадают с его собственными, невозможно и в области научного знания, пусть лучше остается в стороне.

Однако нельзя не признать (мы не хотим впасть в самообман), что в настоящее время такое требование, к сожалению, связано с большими практическими трудностями, чем представляется на первый взгляд. Во-первых, возможность открыто обмениваться мнениями со своими противниками на нейтральной почве (общественной или идейной), к сожалению, как мы уже указывали, повсюду, а в условиях Германии, как нам известно из опыта, особенно, наталкивается на психологические барьеры. Данный факт, будучи признаком фанатизма и партийной ограниченности, неразвитости политической культуры, уже сам по себе должен вызывать серьезное противодействие, а для журнала такого типа, как наш, он становится еще опаснее, поскольку в области социальных наук толчком к постановке научных проблем, как правило, что известно из опыта, служат практические «вопросы», таким образом, простое признание того, что определенная научная проблема существует, находится в прямой связи с направленностью волеия ныне живущих людей. Поэтому на страницах журнала, вызванного к жизни общей заинтересованностью в конкретной проблеме, будут постоянно встречаться люди, чей личный интерес к данной проблеме объясняется тем, что определенные конкретные условия находятся, как им представляется, в противоречии с теми идеальными ценностями, в которые они верят, или угрожают им. Близость родственных идеалов объединит тогда постоянных сотрудников журнала и привлечет новых людей; это придаст журналу определенный «характер», по крайней мере при рассмотрении практических проблем социальной политики, ибо таково неизбежное следствие сотрудничества людей, обладающих живой восприимчивостью, оценочная позиция которых по

отношению к проблемам чисто теоретического характера никогда не может быть полностью устранена; в критике же практических предложений и мероприятий эта позиция находит — при указанных предпосылках — свое законное выражение. «Архив» стал выходить в свет в период, когда определенные практические проблемы, связанные с «рабочим вопросом» в унаследованном нами смысле, занимали первое место в дискуссии по вопросам социальных наук. Те лица, которые связывали с интересующими журнал проблемами высшие и решающие для них ценностные идеи и поэтому стали его постоянными сотрудниками, были по той же причине сторонниками понимания культуры, полностью или частично аналогичного указанным ценностным идеям. Всем известно, что журнал, категорически отрицавший, что он преследует определенную «тенденцию», декларируя с этой целью строгое ограничение чисто «научными» методами и настойчиво приглашая в качестве сотрудников «представителей всех политических партий», тем не менее носил такой «характер», о котором шла речь выше. Подобная направленность создавалась постоянными сотрудниками журнала. Этих людей, при всем различии их взглядов, объединяла общая цель, которую они видели в сохранении физического здоровья рабочих, в возможности способствовать большему распространению в рабочей среде материальных и духовных благ нашей культуры; средством для этого они считали сочетание государственного вмешательства в сферу материальной заинтересованности с продолжением свободного развития существующего государственного и правового порядка. Каковы бы ни были их взгляды на формирование общественного устройства в будущем, для настоящего времени они принимали капиталистическую систему, и не потому, что считали ее лучше предшествующих ей форм общественного устройства, а потому, что верили в ее практическую неизбежность и полагали, что все попытки вести с ней решительную борьбу приведут не к большему приобщению рабочего класса к достижениям культуры, а к замедлению данного процесса. В условиях, сложившихся в последнее время в Германии (подробно пояснять их природу здесь незначительно), этого нельзя было избежать тогда, нельзя избежать и теперь. Более того, именно это обстоятельство прямо стимулировало успех научной дискуссии и всесторонность участия в ней и явилось для нашего журнала едва ли не фактором силы, а в сложившейся ситуации, может быть, даже одним из оснований его права на существование.

Не подлежит сомнению, что утверждение такого «характера» научного журнала может явиться угрозой его объективности и научности и должно было бы действительно явиться таковой, если бы подбор сотрудников велся преднамеренно однотипно — в этом случае создание такого «характера» было бы практически равносильно наличию «тенденции». Редакция журнала вполне осознает ответственность, которую возлагает на нее такое положение дел. Она не предполагает ни планомерно изменять характер «Архива», ни искусственно консервировать его посредством намеренного ограничения круга сотрудников учеными определенных партийных взглядов. Редакция принимает характер журнала как нечто данное в ожидании его дальнейшей «эволюции». Как его характер сложится в будущем и как он, быть может преобразуется вследствие

неизбежного расширения круга наших сотрудников, будет в первую очередь зависеть от тех лиц, которые вступят в этот круг, намереваясь служить науке, привыкнут к предъявляемым им требованиям и воспримут их раз и навсегда. Зависит это также от расширения проблематики, рассмотрение которой журнал ставит своей целью.

Последнее замечание подводит нас к доселе еще не рассмотренному вопросу об ограничении предмета нашего исследования. На него также нельзя ответить, не поставив и здесь вопрос о природе познавательной цели в области социальных наук. До сих пор, принципиально разделяя «оценочные суждения» и «опытное знание», мы исходили из предпосылки, что в области социальных наук действительно бытует безусловно значимый тип познания, то есть мысленного упорядочения эмпирической действительности. Эта предпосылка теперь сама становится для нас проблемой в той мере, в какой нам надлежит определить, в чем же может состоять в нашей области объективная «значимость» истины, к которой мы стремимся. Каждый, кто наблюдает за постоянным изменением «точек зрения» в борьбе методов, «основных понятий» и предпосылок, за постоянным преобразованием используемых «понятий», кто видит, какая пропасть, кажущаяся неодолимой, все еще разделяет теоретическое и историческое видение (один экзаменовавшийся в Вене студент утверждал, отчаянно жалуясь, что есть «две политические экономики»), поймет, что данная проблема не выдумана, а действительно существует. Что же мы называем объективностью? Именно этот вопрос мы попытаемся здесь разъяснить.

II

С момента своего возникновения журнал «Архив» рассматривал исследуемые им объекты как социально-экономические явления. Хотя мы и не видим смысла в том, чтобы давать здесь определение понятий и границ отдельных наук, мы тем не менее считаем необходимым пояснить в самой общей форме, что это означает.

Тот факт, что наше физическое существование и в равной степени удовлетворение наших самых высоких идеальных потребностей повсюду наталкивается на количественную ограниченность и качественную недостаточность необходимых внешних средств, что для такого удовлетворения требуется планомерная подготовка, работа, борьба с силами природы и объединение людей в обществе, это обстоятельство является — в самом общем определении — основополагающим моментом, с которым связаны все явления, именуемые нами «социально-экономическими» в самом широком смысле данного понятия. Качество явления, позволяющее считать его «социально-экономическим», не есть нечто, присущее ему как таковому «объективно». Оно обусловлено направленностью нашего познавательного интереса, формирующейся в рамках специфического культурного значения, которое мы придаем тому или иному событию в каждом отдельном случае. Во всех случаях, когда явление культурной жизни в тех частях своего своеобразия, на которых основывается для нас его специфическое значение, непосредственно или опосредствованно уходит своими корнями в

упомянутую сферу, оно содержит или, во всяком случае, может в данной ситуации содержать проблему социальной науки, то есть задачу дисциплины, предметом которой служит раскрытие всего значения названной основополагающей сферы.

Социально-экономическую проблематику мы можем делить на события и комплексы таких норм, институтов и т. п., культурное значение которых в существенной для нас части состоит в их экономической стороне, которые серьезно нас интересуют только под этим углом зрения, — примером могут служить события на бирже или в банковском деле. Подобное обычно происходит (хотя и не обязательно) тогда, когда речь идет об институтах, преднамеренно созданных или используемых для осуществления какой-либо экономической цели. Такие объекты нашего познания можно в узком смысле назвать «экономическими» процессами или институтами. К ним присоединяются другие, которые — как, например, события религиозной жизни, — безусловно, в первую очередь интересуют нас не под углом зрения их экономического значения и не из-за этого, но которые в определенных обстоятельствах обретают значение под этим углом зрения, так как они оказывают воздействие, интересующее нас с экономической точки зрения, а именно «экономически релевантные» явления. И наконец, в числе не «экономических» в нашем понимании явлений есть такие явления, экономическое воздействие которых вообще не представляет для нас интереса или представляет интерес в весьма незначительной степени, как, например, направленность художественного вкуса определенной эпохи. Однако явления такого рода в ряде своих значительных специфических сторон могут в свою очередь иногда испытывать влияние экономических мотивов — в наше время, например, большее или меньшее влияние социального расслоения в той части общества, которая интересуется искусством; это — экономически обусловленные явления. Так, например, комплекс отношений между людьми, норм и определяемых этими нормами, связей, именуемых нами «государством», есть явление «экономическое» под углом зрения его финансового устройства. В той мере, в какой государство оказывает влияние на хозяйственную жизнь посредством своей законодательной функции или другим образом (причем и тогда, когда оно сознательно руководствуется в своем поведении совсем иными, отнюдь не экономическими мотивами), оно «экономически релевантно»; и наконец, в той мере, в какой его поведение и специфика определяются и в других — не только «экономических» - аспектах также и экономическими мотивами, оно «экономически обусловлено». Из сказанного явствует, что, с одной стороны, сфера «экономических» явлений не стабильна и не обладает твердыми границами, с другой — что «экономические» аспекты явления отнюдь не «обусловлены только экономически» и оказывают не только «экономическое влияние», что вообще явление носит экономический характер лишь в той мере и лишь до тех пор, пока наш интерес направлен исключительно на то значение, которое оно имеет для материальной борьбы за существование.

Наш журнал, как и социально-экономическая наука вообще со времен Маркса и Рошера, занимается не только «экономическими», но и «экономически релевантными» и «экономически обусловленными» явлениями. Сфера подобных объектов охватывает (сохраняя свою нестабильность, зависящую от направленности нашего интереса) всю совокупность культурных процессов. Специфические экономические мотивы, то есть мотивы, коренящиеся в своей значимой для нас специфике в упомянутой выше основополагающей сфере, действуют повсюду, где удовлетворение, пусть даже самой нематериальной потребности, связано с применением ограниченных внешних средств. Их мощь повсюду определяла и преобразовывала не только формы удовлетворения культурных потребностей, в том числе и наиболее глубоких, но и само их содержание. Косвенное влияние социальных отношений, институтов и группировок людей, испытывающих давление «материальных» интересов, распространяется (часто неосознанно) на все области культуры без исключения, вплоть до тончайших нюансов эстетического и религиозного чувства. События повседневной жизни в не меньшей степени, чем «исторические» события в области высокой политики, коллективные и массовые явления, а также «отдельные» действия государственных мужей или индивидуальные свершения в области литературы и искусства, являются объектом их влияния, они «экономически обусловлены». С другой стороны, совокупность всех явлений и условий жизни в рамках исторически данной культуры воздействует на формирование материальных потребностей, на способ их удовлетворения, на образование групп материальных интересов, на средства осуществления их власти, а тем самым и на характер «экономического развития», то есть становится «экономически релевантной». В той мере, в какой наша наука сводит в ходе каузального регрессивного движения экономические явления культуры к индивидуальным причинам — экономическим или неэкономическим по своему характеру, — она стремится к «историческому» познанию. В той мере, в какой она прослеживает один специфический элемент явлений культуры, элемент экономический, в его культурном значении, в рамках самых различных культурных связей, она стремится к интерпретации истории под специфическим углом зрения и создает некую частичную картину, предварительное исследование для полного исторического познания культуры.

Хотя экономическая проблема возникает и не повсюду, где экономические моменты выступают как причина или следствие, — ведь возникает она только там, где проблемой становится именно значение этих факторов и где с точностью установить его можно только методами социально-экономической науки, — но область социально-экономического исследования тем не менее остается почти необозримой.

Наш журнал уже раньше ограничил сферу своей деятельности и отказался от целого ряда очень важных специальных отраслей нашей науки, таких, как дескриптивная экономика, история хозяйства в узком смысле

слова и статистика. Передано другим органам также изучение вопросов финансовой техники и технических проблем — образования рынка и ценообразования в современном меновом хозяйстве. Областью исследования «Архива» с момента его создания были определенные констелляции интересов и конфликты в их сегодняшнем значении и в их историческом становлении, возникшие вследствие ведущей роли в хозяйстве современных культурных стран инвестируемого капитала. При этом редакция журнала не ограничивала круг своих интересов практическими и эволюционно историческими проблемами, связанными с «социальным вопросом» в узком смысле слова, то есть отношением современного рабочего класса к существующему общественному строю. Правда, одной из ее основных задач должно было стать выявление научных корней распространившегося в 80-х годах XIX в. интереса именно к этому специальному вопросу. Однако чем в большей степени практическое рассмотрение условий труда становилось предметом законодательной деятельности и публичных дискуссий и у нас, тем больше центр тяжести научной работы перемещался в сторону установления более общих связей, в которые входят и эти проблемы, что ставило перед нами задачу дать анализ всех культурных проблем, созданных своеобразием экономической основы нашей культуры и поэтому современных по своей специфике. Вскоре журнал действительно начал исторически, статистически и теоретически исследовать различные как «экономически релевантные», так и «экономически обусловленные» стороны жизни и других крупных классов современных культурных народов и их взаимоотношения. И если мы теперь определяем как непосредственную область нашего журнала научное исследование общего культурного значения социально-экономической структуры совместной жизни людей и исторические формы ее организации, то мы лишь делаем выводы из сложившейся направленности журнала. Именно это, и ничто другое, мы имели в виду, назвав наш журнал «Архивом социальных наук». Это наименование охватывает историческое и теоретическое изучение тех проблем, практическое решение которых является делом «социальной политики» в самом широком смысле слова. Мы считаем себя вправе применять термин «социальный» в том его значении, которое определяется конкретными проблемами современности. Если называть «Науками о культуре» те дисциплины, которые рассматривают события человеческой жизни под углом зрения их культурного значения, то социальная наука в нашем понимании относится к данной категории. Скоро мы увидим, какие принципиальные выводы из этого следуют.

Нет сомнения в том, что выделение социально-экономического аспекта культурной жизни существенно ограничивает наши темы. Нам, конечно, скажут, что экономическая или, как ее не совсем точно называют, «материалистическая» точка зрения, с которой здесь будет рассматриваться культурная жизнь, носит «односторонний» характер. Это справедливо, но такая односторонность преднамеренна. Убеждение в том, что задача прогрессивного научного исследования состоит в устранении «односторонности»

экономического рассмотрения посредством расширения его до границ общей социальной науки, свидетельствует о непонимании того, что «социальная» точка зрения, то есть изучение связи между людьми, позволяет с достаточной определенностью разграничить научные проблемы лишь в том случае, если эта точка зрения характеризуется каким-либо особым содержательным предикатом. В противном случае ее объектом окажется не только предмет филологии или истории церкви, но и вообще всех дисциплин, занимающихся таким важнейшим конститутивным элементом культурной жизни, как государство, и такой важнейшей формой его нормативного регулирования, как право. То, что социально-экономическое исследование занимается «социальными» отношениями, в такой же степени не может служить основанием для того, чтобы видеть в нем необходимую стадию в развитии «общественных наук» в целом, как то, что оно занимается явлениями жизни, не превращает его в часть биологии, или то, что оно изучает процессы на одной из планет, не превращает его в часть будущей, более разработанной и достоверной, астрономии. В основе деления наук лежат не «фактические» связи «вещей», а «мысленные» связи проблем: там, где с помощью нового метода исследуется новая проблема и тем самым обнаруживаются истины, открывающие новые точки зрения, возникает новая «наука».

И не случайно, когда мы проверяем возможность применения понятия «социального», как будто общего по своему смыслу, то оказывается, что его значение носит совершенно особый, специфически окрашенный, хотя в большинстве случаев и достаточно неопределенный характер. В действительности его всеобщность — следствие именно этой его неопределенности. Взятое в своем «общем» значении, оно не дает специфических точек зрения, которые могли бы осветить значение определенных элементов культуры.

Отказываясь от устаревшего мнения, будто всю совокупность явлений культуры можно дедуцировать из констелляций «материальных» интересов в качестве их продукта или функции, мы тем не менее полагаем, что анализ социальных явлений и культурных процессов под углом зрения их экономической обусловленности и их влияния был и — при осторожном свободном от догматизма применении — останется на все обозримое время творческим и плодотворным научным принципом. Так называемое «материалистическое понимание истории» в качестве «мировоззрения» или общего знаменателя в каузальном объяснении исторической действительности следует самым решительным образом отвергнуть; однако (экономическое толкование истории является одной из наиболее существенных целей нашего журнала. Это требует дальнейшего пояснения.

Так называемое «материалистическое понимание истории» в старом гениально-примитивном смысле «Манифеста Коммунистической партии» господствует теперь только в сознании любителей и дилетантов. В их среде все еще бытует своеобразное представление, которое состоит в том, что их потребность в каузальной связи может быть удовлетворена только в том случае, если при объяснении какого-либо исторического явления, где бы то

ни было и как бы то ни было, обнаруживается, или как будто обнаруживается, роль экономических факторов. В этом случае они довольствуются самыми шаткими гипотезами и самыми общими фразами, поскольку имеется в виду их догматическая потребность видеть в «движущих силах» экономики «подлинный», единственно «истинный», «в конечном счете всегда решающий» фактор. Впрочем, это не является чем-то исключительным. Почти все науки, от филологии до биологии; время от времени претендуют на то, что они создают не только специальное знание, но и «мировоззрение». Под влиянием огромного культурного значения современных экономических преобразований, и в частности господствующего значения «рабочего вопроса», к этому естественным образом соскальзывал неискоренимый монизм каждого некритического сознания. Теперь, когда борьба наций за мировое господство в области политики и торговли становится все более острой, та же черта проявляется в антропологии. Ведь вера в то, что все исторические события в «конечном итоге» определяются игрой врожденных «расовых качеств», получила широкое распространение. Некритичное описание «народного характера» заменило еще более некритичное создание собственных «общественных теорий» на «естественнонаучной» основе. Мы будем тщательно следить в нашем журнале за развитием антропологического исследования в той мере, в какой оно имеет значение для наших точек зрения. Надо надеяться, что такое состояние науки, при котором возможно каузальное сведение культурных событий к «расе», свидетельствующее лишь об отсутствии у нас подлинных знаний — подобно тому как прежде объяснение находили в «среде», а до этого в «условиях времени», — будет постепенно преодолено посредством строгих методов профессиональных ученых. До настоящего времени работе специалистов больше всего мешало представление ревностных дилетантов, будто они могут дать для понимания культуры нечто специфически иное и более существенное, чем расширение возможности уверенно сводить отдельные конкретные явления культуры исторической действительности к их конкретным, исторически данным причинам с помощью неопровержимого, полученного в ходе наблюдения со специфических точек зрения материала. Только в той мере, в какой они могут предоставить нам это, их выводы имеют для нас интерес и квалифицируют «расовую биологию» как нечто большее, чем продукт присущей нашему времени лихорадочной жажды создавать новые теории.

Так же обстоит дело с экономической интерпретацией исторического процесса. Если после периода безграничной переоценки указанной интерпретации теперь приходится едва ли не опасаться того, что ее научная значимость недооценивается, то это следствие беспримерной некритичности, которая лежала в основе экономической интерпретации действительности в качестве «универсального» метода дедукции всех явлений культуры (то есть всего того, что в них для нас существенно) к экономическим факторам, то есть тем самым рассматриваемых как в конечном итоге экономически обусловленные. В наши дни логическая форма этой интерпретации бывает

разной. Если чисто экономическое объяснение наталкивается на трудности, то существует множество способов сохранить его общезначимость в качестве основного причинного момента. Один из них состоит в том, что все явления исторической действительности, которые не могут быть выведены из экономических мотивов, именно поэтому считаются незначительными в научном смысле, «случайностью». Другой способ состоит в том, что понятие «экономического» расширяется до таких пределов, когда все человеческие интересы, каким бы то ни было образом связанные с внешними средствами, вводятся в названное понятие. Если исторически установлено, что реакция на две в экономическом отношении одинаковые ситуации была тем не менее различной — из-за различия политических, религиозных, климатических и множества других неэкономических детерминантов, — то для сохранения превосходства экономического фактора все остальные моменты сводятся к исторически случайным «условиям», в которых экономические мотивы действуют в качестве «причин». Очевидно, однако, что все эти «случайные» с экономической точки зрения моменты совершенно так же, как экономические, следуют своим собственным законам и что для того рассмотрения, которое исследует их специфическую значимость, экономические «условия» в таком же смысле «исторически случайны», как случайны с экономической точки зрения другие «условия». Излюбленный способ спасти, невзирая на это, исключительную значимость экономического фактора состоит в том, что константное действие отдельных элементов культурной жизни рассматривается в рамках каузальной или функциональной зависимости одного элемента от других, вернее, всех других от одного, от экономического. Если какой-либо не хозяйственный институт осуществлял исторически определенную «функцию» на службе экономических классовых интересов, то есть служил им, если, например, определенные религиозные институты могут быть использованы и используются как «черная полиция», то считается, что такой институт был создан только для этой функции, или — совершенно метафизически — утверждается, что на него наложила отпечаток коренящаяся в экономике «тенденция развития».

В наше время специалисты не нуждаются в пояснении того, что это толкование цели экономического анализа культуры было отчасти следствием определенной исторической констелляции, направлявшей свой научный интерес на определенные экономически обусловленные проблемы культуры, отчасти отражением в науке неумемного административного патриотизма и что теперь оно по меньшей мере устарело. Сведение к одним экономическим причинам нельзя считать в каком бы то ни было смысле исчерпывающим ни в одной области культуры, в том числе и в области «хозяйственных» процессов. В принципе история банковского дела какого-либо народа, в которой объяснение построено только на экономических мотивах, столь же невозможна, как «объяснение» Сикстинской мадонны, выведенное из социально-экономических основ культурной жизни времени

ее возникновения; экономическое объяснение носит в принципе ничуть не более исчерпывающий характер, чем выведение капитализма из тех или иных преобразований религиозного сознания, игравших определенную роль в генезисе капиталистического духа, или выведение какого-либо политического образования из географических условий среды. Во всех этих случаях решающим для степени значимости, которую следует придавать экономическим условиям, является то, к какому типу причин следует сводить те специфические элементы данного явления, которым мы в отдельном случае придаем значение, считаем для нас важными. Право одностороннего анализа культурной действительности под каким-либо специфическим «углом зрения» — в нашем случае под углом зрения ее экономической обусловленности — уже чисто методически проистекает из того, что привычная направленность внимания на воздействие качественно однородных причинных категорий и постоянное применение одного и того же понятийно-методического аппарата дает исследователю все преимущества разделения труда. Этот анализ нельзя считать «произвольным», пока он оправдан своим результатом, то есть пока он дает знание связей, которые оказываются ценными для каузального сведения исторических событий к их конкретным причинам. Однако «односторонность» и недейственность чисто экономической интерпретации исторических явлений составляет лишь частный случай принципа, важного для культурной действительности в целом. Пояснить логическую основу и общие методические выводы этого — главная цель дальнейшего изложения.

Не существует совершенно «объективного» научного анализа культурной жизни или (что, возможно, означает нечто более узкое, но для нашей цели, безусловно, не существенно иное) «социальных явлений», независимого от особых и «односторонних» точек зрения, в соответствии с которыми они избраны в качестве объекта исследования, подвергнуты анализу и расчленены (что может быть высказано или молча допущено, осознанно или неосознанно); это объясняется своеобразием познавательной цели любого исследования в области социальных наук, которое стремится выйти за рамки чисто формального рассмотрения норм — правовых или конвенциональных — социальной жизни.

Социальная наука, которой мы хотим заниматься, — наука о действительности. Мы стремимся понять окружающую нас действительную жизнь в ее своеобразии — взаимосвязь и культурную значимость отдельных ее явлений в их нынешнем облике, а также причины Того, что они исторически сложились именно так, а не иначе. Между тем как только мы пытаемся осмыслить образ, в котором жизнь непосредственно предстает перед нами, она предлагает нам бесконечное многообразие явлений, возникающих и исчезающих последовательно или одновременно «внутри» и «вне» нас. Абсолютная бесконечность такого многообразия остается неизменной в своей интенсивности и в том случае, когда мы изолированно рассматриваем отдельный ее «объект» (например, конкретный акт обмена), как только мы делаем серьезную попытку хотя бы только исчерпывающе

описать это «единичное» явление во всех его индивидуальных компонентах, не говоря уже о том, чтобы постигнуть его в его каузальной обусловленности. Поэтому всякое мысленное познание бесконечной действительности конечным человеческим духом основано на молчаливой предпосылке, что в каждом данном случае предметом научного познания может быть только конечная *часть* действительности, что только ее следует считать «существенной», то есть «достойной знания». По какому же принципу вычленяется эта часть? Долгое время предполагали, что и в науках о культуре решающий признак в конечном итоге следует искать в «закономерной» повторяемости определенных причинных связей. То, что содержат в себе «законы», которые мы способны различить в необозримом многообразии смен явлений, должно быть — с этой точки зрения — единственно «существенным» для науки. Как только мы установили «закономерность» причинной связи, будь то средствами исторической индукции в качестве безусловно значимой, или сделали ее непосредственно зримой очевидностью для нашего внутреннего опыта — каждой найденной таким образом формуле подчиняется любое количество однородных явлений. Та часть индивидуальной действительности, которая остается непонятой после вычленения «закономерного», рассматривается либо как не подвергнутый еще научному анализу остаток, который впоследствии в ходе усовершенствования системы «законов» войдет в нее, либо это просто игнорируют как нечто «случайное» и именно поэтому несущественное для науки, поскольку оно не допускает «понимания с помощью законов», следовательно, не относится к рассматриваемому «типу» явлений и может быть лишь объектом «праздного любопытства». Таким образом, даже представители исторической школы все время возвращаются к тому, что идеалом всякого, в том числе и исторического, познания (пусть даже этот идеал перемещен в далекое будущее) является система научных положений, из которой может быть «дедущирована» действительность. Один известный естествовед высказал предположение, что таким фактически недостижимым идеалом подобного «препарирования» культурной действительности можно считать «астрономическое» познание жизненных процессов. Приложим и мы свои усилия, несмотря на то что указанный предмет уже неоднократно привлекал к себе внимание, и остановимся несколько конкретнее на данной теме.[...]

Отправным пунктом интереса в области социальных наук служит, разумеется, действительная, то есть индивидуальная, структура окружающей нас социокультурной жизни в ее универсальной, но тем самым, конечно, не теряющей своей индивидуальности связи и в ее становлении из других, также индивидуальных по своей структуре культур. Очевидно, здесь мы имеем дело с такой же ситуацией, которую выше пытались обрисовать с помощью астрономии, пользуясь этим примером как пограничным случаем (обычный прием логиков), только теперь специфика объекта еще определеннее. Если в астрономии наш интерес направлен только на чисто количественные, доступные

точному измерению связи между небесными телами, то в социальных науках нас прежде всего интересует качественная окраска событий. К тому же в социальных науках речь идет о роли духовных процессов, «понять» которую в сопереживании — совсем иная по своей специфике задача, чем та, которая может быть разрешена (даже если исследователь к этому стремится) с помощью точных формул естественных наук. Тем не менее такое различие оказывается не столь принципиальным как представляется на первый взгляд. Ведь естественные науки — если оставить в стороне чистую механику — также не могут обойтись без качественного аспекта; с другой стороны, и в нашей специальности бытует мнение (правда, неверное), что фундаментальное по крайней мере для нашей культуры явление товарно-денежного обращения допускает применение количественных методов и поэтому может быть постигнуто с помощью законов. И наконец, будут ли отнесены к законам и те закономерности, которые не могут быть выражены в числах, поскольку к ним неприменимы количественные методы, зависит от того, насколько узким или широким окажется понятие «закона». Что же касается особой роли «духовных» мотивов, то она, во всяком случае, не исключает установления правил рационального поведения; до сих пор еще бытует мнение, будто задача психологии заключается в том, чтобы играть для отдельных «наук о духе» роль, близкую математике, расчлняя сложные явления социальной жизни на их психические условия и следствия и сводя эти явления к наиболее простым психическим факторам, которые должны быть классифицированы по типам и исследованы в их функциональных связях. Тем самым была бы создана если не «механика», то хотя бы «химия» социальной жизни в ее психических основах. Мы не будем здесь решать, дадут ли когда-либо подобные исследования ценные или — что отнюдь не то же самое — приемлемые для наук о культуре результаты. Однако для вопроса, может ли быть посредством выявления закономерной повторяемости достигнута цель социально-экономического познания в нашем понимании, то есть познание действительности в ее культурном значении и каузальной связи, это не имеет ни малейшего значения. Допустим, что когда-либо, будь то с помощью психологических или любых иных методов, удалось бы проанализировать все известные и все мыслимые в будущем причинные связи явлений совместной жизни людей и свести их к каким-либо простым последним «факторам», затем с помощью невероятной казуистики понятий и строгих, значимых в своей закономерности правил исчерпывающе их осмыслить, — что это могло бы значить для познания исторически данной культуры или даже какого-либо отдельного ее явления, например капитализма в процессе его становления и его культурном значении? В качестве средства познания — не более и не менее чем справочник по соединениям органической химии для биогенетического исследования животного и растительного мира. В том и другом случае, безусловно, была бы проделана важная и полезная предварительная работа. Однако в том и другом случае из подобных «законов» и «факторов» не могла бы быть дедуцирована реальность жизни, и

совсем не потому, что в жизненных явлениях заключены еще какие-либо более высокие, таинственные «силы» (доминанты, «энтелехии» и как бы они ни назывались) — это вопрос особый, — но просто потому, что для понимания действительности нам важна констелляция, в которой мы находим те (гипотетические!) «факторы», сгруппированные в историческое, значимое для нас явление культуры, и потому, что, если бы мы захотели «каузально объяснить» такую индивидуальную группировку, нам неизбежно пришлось бы обратиться к другим, столь же индивидуальным группировкам, с помощью которых мы, пользуясь теми (конечно, гипотетическими!) понятиями «закона», дали бы ее «объяснение». Установить упомянутые (гипотетические!) «законы» и «факторы» было бы для нас лишь первой задачей среди множества других, которые должны были бы привести к желаемому результату. Второй задачей было бы проведение анализа и упорядоченного изображения исторически данной индивидуальной группировки тех «факторов» и их обусловленного этим конкретного, в своем роде значимого взаимодействия, и прежде всего пояснение основания и характера этой значимости. Решить вторую задачу можно, только используя предварительные данные, полученные в результате решения первой, но сама по себе она совершенно новая и самостоятельная по своему типу задача. Третья задача состояла бы в том, чтобы познать, уходя в далекое прошлое, становление отдельных, значимых для настоящего индивидуальных свойств этих группировок, их историческое объяснение из предшествующих, также индивидуальных констелляций. И наконец, мыслимая четвертая задача — в оценке возможных констелляций в будущем.

Нет сомнения в том, что для реализации всех названных целей наличие ясных понятий и знания таких (гипотетических) «законов» было бы весьма ценным средством познания, но только средством; более того, в этом смысле они совершенно необходимы. Однако, даже используя такую их функцию, мы в определенный решительный момент обнаруживаем границу их значения и, установив последнюю, приходим к выводу о безусловном своеобразии исследования в области наук о культуре. Мы назвали «науками о культуре» такие дисциплины, которые стремятся познать жизненные явления в их культурном значении. Значение же явления культуры и причина этого значения не могут быть выведены, обоснованы и пояснены с помощью системы законов и понятий, какой бы совершенной она ни была, так как это значение предполагает соотнесение явлений культуры с идеями ценности. Понятие культуры — ценностное понятие. Эмпирическая реальность есть для нас «культура» потому, что мы соотносим ее с ценностными идеями (и в той мере, в какой мы это делаем); культура охватывает те — и только те — компоненты действительности, которые в силу упомянутого отнесения к ценности становятся значимыми для нас. Ничтожная часть индивидуальной действительности окрашивается нашим интересом, обусловленным ценностными идеями, лишь она имеет для нас значение, и вызвано это тем, что в ней обнаруживаются связи, важные для нас вследствие их соотнесенности с ценностными идеями. Только

поэтому — и поскольку это имеет место — данный компонент действительности в его индивидуальном своеобразии представляет для нас познавательный интерес. Однако определить, что именно для нас значимо, никакое «непредвзятое» исследование эмпирически данного не может. Напротив, установление значимого для нас и есть предпосылка, в силу которой нечто становится предметом исследования. Значимое как таковое не совпадает, конечно, ни с одним законом как таковым, и тем меньше, чем более общезначим этот закон. Ведь специфическое значение, которое имеет для нас компонент действительности, заключено совсем не в тех его связях, которые общи для него и многих других. Отнесение действительности к ценностным идеям, придающим ей значимость, выявление и упорядочение окрашенных этим компонентами действительности с точки зрения их культурного значения — нечто совершенно несовместимое с гетерогенным ему анализом действительности посредством законов и упорядочением ее в общих понятиях. Эти два вида мыслительного упорядочения реальности не находятся в обязательной логической взаимосвязи. Они могут иногда в каком-либо отдельном случае совпадать, однако следует всячески остерегаться чрезвычайно опасного в своем последствии заблуждения, будто подобное случайное совпадение меняет что-либо в их принципиальном различии по существу. Культурное значение какого-либо явления, например обмена в товарно-денежном хозяйстве, может состоять в том, что оно принимает массовый характер; и таков действительно фундаментальный компонент культурной жизни нашего времени. В этом случае задача исследователя состоит именно в том, чтобы сделать понятным культурное значение того исторического факта, что упомянутое явление играет именно эту роль, дать каузальное объяснение его исторического возникновения. Исследование общих черт обмена как такового и техники денежного обращения в товарно-денежном хозяйстве — очень важная (и необходимая!) подготовительная работа. Однако оно не только не дает ответа на вопрос, каким же образом исторически обмен достиг своего нынешнего фундаментального значения, но не объясняет прежде всего того, что интересует нас в первую очередь, — культурного значения денежного хозяйства, что вообще только и представляет для нас интерес в технике денежного обращения, из-за чего вообще в наши дни существует наука, изучающая этот предмет; ответ на такой вопрос не может быть выведен ни из одного общего «закона». Типовые признаки обмена, купли-продажи и т. п. интересуют юриста; наша же задача — дать анализ культурного значения того исторического факта, что обмен стал теперь явлением массового характера. Когда речь идет об объяснении данного явления, и мы стремимся понять, чем же социально-экономические отношения нашей культуры отличаются от аналогичных явлений культур древности, где обмен обладал совершенно теми же типовыми качествами; когда мы, следовательно, пытаемся понять, в чем же состоит значение «денежного хозяйства», тогда в исследование вторгаются логические принципы, совершенно гетерогенные по своему происхождению: мы,

правда, пользуемся в качестве средства изображения теми понятиями, которые предоставляет нам изучение типовых элементов массовых явлений экономики, в той мере, в какой в них содержатся значимые компоненты нашей культуры. Однако каким бы точным ни было изложение этих понятий и законов, мы тем самым не только не достигнем своей цели, но и самый вопрос, что же должно служить материалом для образования типовых понятий, вообще не может быть решен «непредвзято», а только в зависимости от значения, которое имеют для культуры определенные компоненты бесконечного многообразия, именуемого нами «денежным обращением». Ведь мы стремимся к познанию исторического, то есть значимого в индивидуальном своеобразии явления. И решающий момент заключается в следующем: лишь в том случае, если мы исходим из предпосылок, что значима только конечная часть бесконечной полноты явлений, идея познания индивидуальных явлений может вообще обрести логический смысл. Даже при всеохватывающем знании всего происходящего нас поставил бы в тупик вопрос: как вообще возможно каузальное объяснение индивидуального факта, если даже любое описание наименьшего отрезка действительности никогда нельзя мыслить исчерпывающим? Число и характер причин, определивших какое-либо индивидуальное событие, всегда бесконечно, а в самих вещах нет признака, который позволил бы вычленив из них единственно важную часть. Серьезная попытка «непредвзятого» познания действительности привела бы только к хаосу «экзистенциальных суждений» о бесчисленном количестве индивидуальных восприятий. Однако возможность такого результата иллюзорна, так как при ближайшем рассмотрении оказывается, что в действительности каждое отдельное восприятие состоит из бесконечного множества компонентов, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть исчерпывающе отражены в суждениях о восприятии. Порядок в этот хаос вносит только то обстоятельство, что интерес и значение имеет для нас в каждом случае лишь часть индивидуальной действительности, так как только она соотносится с ценностными идеями культуры, которые мы прилагаем к действительности. Поэтому только определенные стороны бесконечных в своем многообразии отдельных явлений, те, которым мы приписываем общее культурное значение, представляют для нас познавательную ценность, только они являются предметом каузального объяснения. Однако и в каузальном объяснении обнаруживается та же сложность: исчерпывающее каузальное сведение какого бы то ни было конкретного явления во всей полноте его действительных свойств не только практически невозможно, но и бессмысленно. Мы вычленим лишь те причины, которые в отдельном случае могут быть сведены к «существенным» компонентам события: там, где речь идет об индивидуальности явления, каузальный вопрос — вопрос не о законах, а о конкретных каузальных связях, не о том, под какую формулу следует подвести явление в качестве частного случая, а о том, к какой индивидуальной констелляции его следует свести; другими словами, это вопрос сведения. Повсюду, где речь идет о каузальном объяснении

«явления культуры», об «историческом индивидууме» (мы пользуемся здесь термином, который начинает входить в методологию нашей науки и в своей точной формулировке уже принят в логике) знание законов причинной обусловленности не может быть целью и является только средством исследования. Знание законов облегчает нам произвести сведение компонентов явлений, обладающих в своей индивидуальности культурной значимостью, к их конкретным причинам. В той мере — и только в той мере, — в какой знание законов способствует этому, применение его существенно в познании индивидуальных связей. И чем «более общи», «то есть абстрактны, законы, тем менее они применимы для каузального сведения индивидуальных явлений, а тем самым косвенно и для понимания значения культурных процессов.

Какой же вывод можно сделать из всего сказанного? Разумеется, это не означает, что в области наук о культуре знание общего, образование абстрактных родовых понятий, знание закономерности и попытка формулировать связи на основе «законов» вообще не имеют научного оправдания. Напротив, если каузальное познание историка есть сведение конкретных результатов к их конкретным причинам, то значимость сведения какого-либо индивидуального результата к его причинам без применения «номологического» знания, то есть знания законов каузальных связей, вообще немыслима. Следует ли приписывать отдельному индивидуальному компоненту реальной связи *in concreto* каузальное значение в осуществлении того результата, о каузальном объяснении которого идет речь, можно в случае сомнения решить, только если мы оценим воздействие, которого мы обычно ждем в соответствии с общими законами от данного компонента связи и от других принятых здесь во внимание компонентов того же комплекса; вопрос сводится к определению адекватного воздействия отдельных элементов данной причинной связи. В какой мере историк (в самом широком смысле слова) способен уверенно совершить это сведение с помощью своего основанного на личном жизненном опыте и методически дисциплинированного воображения и в какой мере он использует при этом выводы других специфических наук, решается в каждом отдельном случае в зависимости от обстоятельств. Однако повсюду, а следовательно, и в области сложных экономических процессов, надежность такого причинного сведения тем больше, чем полнее и глубже знание общих законов. То, что при этом всегда, в том числе и во всех без исключения так называемых «экономических законах», речь идет не о «закономерностях» в узком естественнонаучном смысле, но об «адекватных» причинных связях, выраженных в определенных правилах, о применении категории «объективной возможности» (которую мы здесь подробно не будем рассматривать), ни в коей мере не умаляет значения данного тезиса. Следует только всегда помнить, что установление закономерностей такого рода — не *цель*, а *средство* познания; а есть ли смысл в том, чтобы выражать в формуле в виде «закона» хорошо известную нам из повседневного опыта

закономерность причинной связи, является в каждом, конкретном случае вопросом целесообразности.

Для естественных наук важность и ценность «законов» прямо пропорциональна степени их общезначимости; для познания исторических явлений в их конкретных условиях наиболее общие законы, в наибольшей степени лишенные содержания, имеют, как правило, наименьшую ценность. Ведь чем больше значимость родового понятия — его объем, тем дальше оно уводит нас от полноты реальной действительности, так как для того, чтобы, содержать общие признаки наибольшего числа явлений, оно должно быть абстрактным, то есть бедным по своему содержанию. В науках о культуре познание общего никогда не бывает ценным как таковое.

Из сказанного следует, что «объективное» исследование явлений культуры, идеальная цель которого состоит в сведении эмпирических связей к «законам», бессмысленно. И совсем не потому, что, как часто приходится слышать, культурные или духовные процессы «объективно» протекают в менее строгом соответствии законам, а по совершенно иным причинам. Во-первых, знание социальных законов не есть знание социальной действительности; оно является лишь одним из целого ряда вспомогательных средств, необходимых нашему мышлению для этой цели. Во-вторых, познание культурных процессов возможно только в том случае, если оно исходит из значения, которое для нас всегда имеет действительность жизни, индивидуально структурированная в определенных единичных связях. В каком смысле и в каких связях обнаруживается такая значимость, нам не может открыть ни один закон, ибо это решается в зависимости от ценностных идей, под углом зрения которых мы в каждом отдельном случае рассматриваем «культуру». «Культура» — есть тот конечный фрагмент лишенной смысла мировой бесконечности, который, с точки зрения человека, обладает смыслом и значением. Такое понимание культуры присуще человеку и в том случае, когда он выступает как злейший враг какой-либо конкретной культуры и требует «возврата к природе». Ведь и эту позицию он может занять, только соотнося данную конкретную культуру со своими ценностными идеями и определяя ее как «слишком поверхностную». Данное чисто формально-логическое положение имеется в виду, когда речь здесь идет о логически необходимой связи всех «исторических индивидуумов» с «ценностными идеями». Трансцендентальная предпосылка всех наук о культуре состоит не в том, что мы считаем определенную — или вообще какую бы то ни было — «культуру» ценной, а в том, что мы сами являемся людьми культуры, что мы обладаем способностью и волей, которые позволяют нам сознательно занять определенную позицию по отношению к миру и придать ему смысл. Каким бы этот смысл ни был, он станет основой наших суждений о различных явлениях совместного существования людей, заставит нас отнести к ним (положительно или отрицательно) как к чему-то для нас значительному. Каким бы ни было содержание этого отношения, названные явления будут иметь для нас культурное значение, которое только и придает им

научный интерес. Говоря в терминах современной логики об обусловленности познания культуры идеями ценности, мы уповаем на то, что это не породит столь глубокого заблуждения, будто, с нашей точки зрения, культурное значение присуще лишь ценностным явлениям. К явлениям культуры проституция относится не в меньшей степени, чем религия или деньги, и все они относятся потому, только потому, что их существование и форма, которую они обрели исторически, прямо или косвенно затрагивают наши культурные интересы; и только в этой степени потому, что они возбуждают наше стремление к знанию с тех точек зрения, которые выведены из ценностных идей, придающих значимость отрезку действительности, мыслимому в этих понятиях.

Отсюда следует, что познание культурной действительности — всегда познание с совершенно специфических особых точек зрения. Когда мы требуем от историка или социолога в качестве элементарной предпосылки, чтобы он умел отличать важное от неважного и основывался бы, совершая такое разделение, на определенной «точке зрения», то это означает только, что он должен уметь осознанно или неосознанно соотносить явления действительности с универсальными «ценностями культуры» и в зависимости от этого вычленять те связи, которые для нас значимы. Если часто приходится слышать, что подобные точки зрения «могут быть почерпнуты из материала», то это — лишь следствие наивного самообмана ученого, не замечающего, что он с самого начала в силу ценностных идей, которые он неосознанно прилагает к материалу исследования, вычленил из абсолютной бесконечности крошечный ее компонент в качестве того, что для него единственно важно. В этом всегда и повсеместно, сознательно или бессознательно производимом выборе отдельных особых «сторон» происходящих событий проявляется и тот элемент научной работы в области наук о культуре, на котором основано часто высказываемое утверждение, будто «личный» момент научного труда и есть собственно ценное в нем, что в каждом труде, достойном внимания, должна отражаться «личность» автора. Очевидно, что без ценностных идей исследователя не было бы ни принципа, необходимого для отбора материала, ни подлинного познания индивидуальной реальности; и если без веры исследователя в значение какого-либо содержания культуры любые его усилия, направленные на познание индивидуальной действительности, просто бессмысленны, то направленность его веры, преломление ценностей в зеркале его души придадут исследовательской деятельности известную направленность. Ценности же, с которыми научный гений соотносит объекты своего исследования, могут определить «восприятие» целой эпохи, то есть играть решающую роль в понимании не только того, что считается в явлениях «ценностным», но и того, что считается значимым или незначимым, «важным» или «неважным».

Следовательно, познание в науках о культуре так, как мы его понимаем, связано с «субъективными» предпосылками в той мере, в какой оно интересуется только теми компонентами действительности, которые каким-

либо образом — пусть даже самым косвенным — связаны с явлениями, имеющими в нашем представлении культурное значение. Тем не менее это, конечно, — чисто *каузальное* познание, совершенно в таком же смысле, как познание значимых индивидуальных явлений природы, которые носят качественный характер. К числу многих заблуждений, вызванных вторжением в науки о культуре формально-юридического мышления, присоединилась недавно остроумная попытка в принципе «опровергнуть» «материалистическое понимание истории» с помощью ряда следующих будто бы убедительных выводов: поскольку хозяйственная жизнь проходит в юридически или конвенционально урегулированных формах, всякое экономическое «развитие» неизбежно принимает форму устремления к созданию новых правовых форм, следовательно, оно может быть понято только под углом зрения нравственных максим и потому по своей сущности резко отличается от любого развития «в области природы». В силу этого познание экономического развития всегда телеологично по своему характеру. Не останавливаясь на многозначном понятии «развития» в социальных науках и на логически не менее многозначном понятии «телеологического», мы считаем нужным указать здесь лишь на то, что такое развитие, во всяком случае, «телеологично» не в том смысле, какой в это слово вкладывается сторонниками данной точки зрения. При полной формальной идентичности значимых правовых норм культурное значение нормированных правовых отношений, а тем самым и самих норм может быть совершенно различным. Если решиться на фантастическое прогнозирование будущего, то можно, например, представить себе «обобществление средств производства» теоретически завершённым, без того, чтобы при этом возникли какие бы то ни были сознательные «устремления» к реализации указанной цели, и без того, чтобы наше законодательство уменьшилось на один параграф или пополнилось таковым. Правда, статистика отдельных нормированных правовых отношений изменилась бы коренным образом, число многих из них упало бы до нуля, значительная часть правовых норм практически перестала бы играть какую-либо роль, и их культурное значение тоже изменилось бы до неузнаваемости. Поэтому «материалистическое» понимание истории могло бы с полным правом исключить соображения *de lege ferenda*, так как его основополагающим тезисом было именно неизбежное изменение значения правовых институтов. Тот, кому скромный труд каузального понимания исторической действительности представляется слишком элементарным, пусть лучше не занимается им, но заменять его какой-либо «телеологией» невозможно. В нашем понимании «цель» — это такое представление о результате, которое становится причиной действия, и так же, как мы принимаем во внимание любую причину, способствующую значимому результату, мы принимаем во внимание и данную. Специфическое значение данной причины состоит лишь в том, что наша цель — не только конституировать поведение людей, но и понять его. Нет никакого сомнения в том, что ценностные идеи «субъективны». Между «историческим» интересом к семейной хронике и

интересом к развитию самых важных явлений культуры, в одинаковой степени общих для нации или всего человечества на протяжении целых эпох и вплоть до наших дней, проходит бесконечная градация «значений», последовательность степеней которых иная для каждого из нас. Такому же преобразованию они подвергаются в зависимости от характера культуры и господствующих в человеческом мышлении идей. Из этого, однако, отнюдь не следует, что выводы исследования в области наук о культуре могут быть только «субъективными» в том смысле, что они для одного человека значимы, а для другого нет. Меняется лишь степень интереса, который они представляют для того или другого человека. Иными словами: что становится предметом исследования и насколько глубоко это исследование проникает в бесконечное переплетение каузальных связей, определяют господствующие в данное время и в мышлении данного ученого ценностные идеи. [...]

В чем же состоит значение подобных идеально-типических понятий для эмпирической науки в нашем понимании? Прежде всего следует подчеркнуть, что надо полностью отказаться от мысли, будто эти «идеальные» в чисто логическом смысле мысленные образования, которыми мы здесь занимаемся, в какой бы то ни было мере носят характер долженствования, «образца». Речь идет о конструировании связей, которые представляются нашей фантазии достаточно мотивированными, следовательно, «объективно возможными», а нашему номологическому знанию — адекватными.

Тот, кто придерживается мнения, что знание исторической действительности должно или может быть «непредвзятым» отражением «объективных» фактов, не увидит в идеальных типах никакого смысла. Даже тот, кто понял, что в реальной действительности нет «непредвзятости» в логическом смысле и что даже самые простые данные актов и грамот могут иметь какое бы то ни было научное значение лишь в соотнесении со «значимостью», а тем самым с ценностными идеями в качестве последней инстанции, все-таки сочтет, что смысл таких сконструированных исторических «утопий» состоит только в их наглядности, которая может представлять опасность для объективной исторической работы, а чаще увидит в них просто забаву. В самом деле, априорно вообще никогда нельзя установить, идет ли речь о чистой игре мыслей или о научно плодотворном образовании понятий; здесь также существует лишь один критерий: в какой мере это будет способствовать познанию конкретных явлений культуры в их взаимосвязи, в их причинной обусловленности и значении. Тем самым в образовании абстрактных идеальных типов следует видеть не цель, а средство. [...]

Тогда понятия станут идеально-типическими, поскольку в полной понятийной чистоте данные явления либо вообще не встречаются, либо встречаются очень редко; здесь, как и повсюду, каждое не чисто классификационное понятие уводит нас от действительности. Однако дискурсивная природа нашего познания, то обстоятельство, что мы постигаем действительность только в сцеплении измененных представлений, постулирует подобное стенографирование понятий. Наша фантазия, безусловно, может часто обходиться без такого точного понятийного формулирования в качестве

средства исследования; однако для изображения, которое стремится быть однозначным, применение его в области анализа культуры в ряде случаев совершенно необходимо. Тот, кто это полностью отвергает, должен ограничиться формальным, например историко-правовым, аспектом культурных явлений. [...]

Выше мы намеренно рассматривали «идеальный тип» преимущественно (хотя и не исключительно) как мысленную конструкцию для измерения и систематической характеристики индивидуальных, то есть значимых в своей единичности связей, таких, как христианство, капитализм и пр. Это было сделано для того, чтобы устранить распространенное представление, будто в области явлений культуры абстрактно типическое идентично абстрактно родовому, что не соответствует истине. Не имея возможности дать здесь анализ многократно обсуждаемого и в значительной степени дискредитированного неправильным применением понятия «типическое», мы полагаем — все наше предшествующее изложение свидетельствует об этом,— что образование типических понятий в смысле исключения «случайного» также происходит именно в сфере «исторических индивидуумов». Конечно, и те родовые понятия, которые мы постоянно обнаруживаем в качестве компонентов исторического изложения и конкретных исторических понятий, можно посредством абстракции и усиления определенных существенных для них понятийных элементов превратить в идеальные типы. Именно это чаще всего происходит на практике и являет собой наиболее важное применение идеально-типических понятий; каждый индивидуальный идеальный тип составляется из понятийных элементов, родовых по своей природе и превращенных в идеальные типы. И в этом случае обнаруживается специфически логическая функция идеально-типических понятий. Простым родовым понятием в смысле комплекса признаков, общих для ряда явлений, выступает, например, понятие «обмен», если отвлечься от значения понятийных компонентов, то есть просто анализировать повседневное словоупотребление. Если же соотнести данное понятие с «законом предельной полезности» и образовать понятие «экономический обмен» в качестве экономического рационального процесса, то последнее, как вообще любое полностью развитое понятие, будет содержать суждение о «типических» условиях обмена. Оно примет генетический характер и тем самым станет в логическом смысле идеально-типическим, то есть отойдет от эмпирической действительности, которую можно только сравнивать, соотносить с ним. То же самое относится ко всем так называемым «основным понятиям» политической экономии: в генетической форме они могут быть развиты только в качестве идеальных типов. Противоположность между простыми родовыми понятиями, которые просто объединяют общие свойства эмпирических явлений, и родовыми идеальными типами, такими, например, как идеально-типическое понятие «сущности» ремесла, в каждом отдельном случае, конечно, стерта. Однако ни одно родовое понятие как таковое не носит характер «типического», а чисто родового «среднего» типа вообще не существует. Во всех тех случаях, когда мы, например, при статистическом обследовании говорим о «типичных»

величинах, речь идет о чем-то большем, чем средний тип. Чем в большей степени речь идет о простой классификации процессов, которые встречаются в действительности как массовые явления, тем в большей степени речь идет о родовых понятиях; напротив, чем в большей степени создаются понятия сложных исторических связей, исходя из тех их компонентов, которые лежат в основе их специфического культурного значения, тем в большей степени понятие — или система понятий — будет приближаться по своему характеру к идеальному типу. Ведь цель образования идеально-типических понятий всегда состоит в том, чтобы полностью довести до сознания не родовые признаки, а своеобразие явлений культуры.

Тот факт, что идеальные типы, в том числе и родовые, могут быть использованы и используются, представляет особый методический интерес в связи с еще одним обстоятельством.[...]

Мы подходим к концу наших рассуждений, преследующих только одну цель — указать на водораздел между наукой и верой, часто очень небольшой, и способствовать пониманию того, в чем смысл социально-экономического познания. Объективная значимость всякого эмпирического знания состоит в том — и только в том, — что данная действительность упорядочивается по категориям в некоем специфическом смысле субъективным, поскольку, образуя предпосылку нашего знания, они связаны с предпосылкой ценности истины, которую нам может дать только опытное знание. Тому, для кого эта истина не представляется ценной (ведь вера в ценность научной истины не что иное, как продукт определенной культуры, а совсем не данное от природы свойство), мы средствами нашей науки ничего не можем предложить. Напрасно, впрочем, будет он искать другую истину, которая заменила бы ему науку в том, что может дать только она — понятия и суждения, не являющиеся эмпирической действительностью и не отражающие ее, но позволяющие должным образом мысленно ее упорядочить. В области эмпирических социальных наук о культуре возможность осмысленного познания того, что существенно для нас в потоке событий, связана, как мы видели, с постоянным использованием специфических в своей особенности точек зрения, соотносящихся в конечном итоге с идеями ценностей, которые, будучи элементами осмысленных человеческих действий, допускают эмпирическую констатацию и сопереживание, но не обоснование в своей значимости эмпирическим материалом. «Объективность» познания в области социальных наук характеризуется тем, что эмпирически данное всегда соотносится с ценностными идеями, только и создающими познавательную ценность указанных наук, позволяющими понять значимость этого познания, но не способными служить доказательством их значимости, которое не может быть дано эмпирически. Присущая нам всем в той или иной форме вера в надэмпирическую значимость последних высочайших ценностных идей, в которых мы видим смысл нашего бытия, не только не исключает бесконечного изменения конкретных точек зрения, придающих значение эмпирической действительности, но включает его в себя. Жизнь в ее иррациональной действительности и содержащиеся в ней возможные значения

неисчерпаемы, конкретные формы отнесения к ценности не могут быть поэтому постоянными, они подвержены вечному изменению, которое уходит в темное будущее человеческой культуры. Свет, расточаемый такими высочайшими ценностными идеями, падает на постоянно меняющуюся конечную связь чудовищного хаотического потока событий, пронсящегося сквозь время.

Из всего этого не следует, конечно, делать ложный вывод, будто задача социальных наук состоит в непрерывных поисках новых точек зрения и понятийных конструкций. Напротив, мы со всей решительностью подчеркиваем, что главная цель образования понятий и их критики состоит в том, чтобы служить (наряду с другими средствами) познанию культурного значения конкретных исторических связей. Среди исследователей социальной действительности также есть «сторонники фактов» и «сторонники смысла» (по терминологии Ф. Т. Фишера). Ненасытная жажда фактов, присущая первым, может быть удовлетворена только материалами актов, фолиантами статистических таблиц и анкетами — тонкость новых идей недоступна их восприятию; изощренность мышления приводит сторонников второй группы к утрате вкуса к фактам вследствие непрерывных поисков все более «дистиллированных» мыслей. [...]

В век специализации работа в области наук о культуре будет заключаться в том, что, выделив путем постановки проблемы определенный материал и установив свои методические принципы, исследователь будет затем рассматривать обработку этого материала как самоцель, не проверяя более познавательную ценность отдельных фактов посредством сознательного отнесения их к последним идеям и не размышляя вообще о том, что вычленение изучаемых фактов ими обусловлено. Так и должно быть. Однако наступит момент, когда краски станут иными: возникнет неуверенность в значении бессознательно применяемых точек зрения, в сумерках будет утерян путь. Свет, озарявший важные проблемы культуры, рассеется вдали. Тогда и наука изменит свою позицию и свой понятийный аппарат, с тем чтобы взирать на поток событий с вершин человеческой мысли. Она последует за теми созвездиями, которые только и могут придать ее работе смысл и направить ее по должному пути.

Перевод Н. Холодковского

Вебер М. Избранные произведения: Пер с нем. / Сост., общ.ред. и послесл. Ю.Н.Давыдова, Предисл. П.П. Гайденоко. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с. – (Социологическая мысль Запада).

ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН

**НАСЛЕДИЕ СОЦИОЛОГИИ,
БУДУЩЕЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ**

Президентское обращение Валлерстайна называлось «Наследие социологии, обещание социальной науке». Наследием Валлерстайн считает «культуру социологии» и Валлерстайн попытался доказать, что на протяжении нескольких десятилетий эта культура претерпела значительные изменения. Вызовы этой культуре и явились факторами, повлекшими эти изменения. Главная задача сегодня — это создать новую открытую культуру, не просто социологии, но всей социальной науки. Эта новая культура должна находиться в рамках гносеологически воссоединенного мира знаний.

Знания можно разделить на три аспекта: интеллектуально — на научные дисциплины; организационно — на корпоративные структуры, а культурно — на общности ученых, разделяющих определенные общие посылки. Можно рассматривать научную дисциплину как некий интеллектуальный конструкт, определенное эвристическое средство. Это — способ определения так называемой области изучения со своим специфическим объектом, соответствующими методами и, следовательно, собственными границами. Она и называется дисциплиной потому, что стремится дисциплинировать интеллект. Дисциплина определяет не только, что думать по конкретному поводу и как об этом думать, но также и что находится за пределами данного подхода. Сказать, что данный предмет является научной дисциплиной — это сказать не только, что это такое, но и чем этот предмет не является. Утверждение поэтому, что социология является научной дисциплиной это — среди прочих вещей, утверждение, что она не является экономикой, или историей, или антропологией. Это говорит, что социология не является данными дисциплинами, потому что предполагается, что она имеет другую область изучения, другой набор методов, другой подход к социальному знанию.

Социология как дисциплина является изобретением конца XIX века, наряду с другими дисциплинами, которые мы помещаем под общее название социальных наук. В качестве дисциплины социология более или менее была разработана в период между 1880 до 1945 годами. Все ведущие фигуры в этой области в этот период стремились написать как минимум одну книгу, содержащую определение социологии, как научной дисциплины. Наверное, последней крупной работой в рамках этой традиции была книга «Структура социального действия» Толкота Парсонса (1937), имеющая важное значение в нашем наследии. В первой половине XX века различные подразделения социальных наук утвердили себя и получили признание в качестве дисциплины. Все они утверждали себя способами, ясно подчеркивавшими, как они отличаются от других, соседних дисциплин. Результатом этого стало то, что остается мало сомнений, в рамках какой именно дисциплины написана данная книга или статья. Для этого периода характерно утверждение: «Это не социология, это экономическая история, или же это политическая наука».

Границы наук отражали три дихотомии в подходе к объекту изучения. Этот подход подчеркивался, а дихотомии являлись решающими. Первое размежевание касалось прошлого и настоящего, и оно различало идеографическую дисциплину — историю от номотетического трио: экономики, политической науки и социологии. Существовало различие:

цивилизованные/ другие, или европейцы/неевропейцы, которое отделяло все четыре вышеназванные дисциплины (изучавшие преимущественно пан-европейский мир) от антропологии и востоковедения. Было еще одно различие, достаточно относительное, которое, как считалось, относилось к современному цивилизованному миру — миру рынка, государства и гражданского общества, и это различие создавало области, соответственно экономики, политической науки и социологии. Интеллектуальная проблемы с этими различиями — это те изменения, которые произошли в мировой системе после 1945 года — возвышение США в качестве мирового гегемона, политическое возвышение не западного мира и экспансия мировой экономики наряду с соответствующей экспансии мировой университетской системы — все это привело к подрыву логики этих трех различий. Поэтому к 70-м годам на практике началось серьезное размывание границ этих дисциплин. Размывание это стало настолько экстенсивным, что сегодня невозможно уже больше отстаивать не названия дисциплин, ни их границы, в качестве интеллектуально обоснованных или даже очень полезных. В результате, различные дисциплины социальных наук прекратили быть дисциплинами, потому что они не представляют больше очевидно определенных областей изучения собственными методами и, следовательно, с твердыми, четкими границами.

Но названия, тем не менее, не перестали существовать. Более того, различные дисциплины задолго до того институционализировались в качестве корпоративных организаций, в форме университетских факультетов, учебных программ, научных степеней и званий, академических журналов, национальных и международных ассоциаций, и даже библиотечных классификаторов. Институционализация дисциплины — это способ сохранения и воспроизводства существующей практики. Она представляет собой создание реальных сетей с собственными границами, сетей, которые принимают форму корпоративных структур, имеющих требования для вхождения в них и коды, необходимые для признаваемых путей вертикальной карьерной мобильности. Академические организации стремятся дисциплинировать не интеллект, но практику. Они создают границы гораздо более жесткие, нежели те, что созданы дисциплинами в качестве интеллектуальных конструктов, и они могут пережить теоретические оправдания своих корпоративных пределов. В действительности, они уже сделали это. Анализ социологии в качестве организации в мире знания глубоко отличается от анализа социологии в качестве интеллектуальной дисциплины. Если у Мишеля Фуко можно сказать, что он намеревался проанализировать, как академические дисциплины определяются, создаются и уточняются в его книге «Археология знания», то книга Пьера Бурдьё «Хомо академикус» — это анализ того, как академические организации формируются, выживают и реформируются в рамках институтов знания.

Валлерстайн полагает, что все мы находимся в очень аномальной ситуации, продолжающей сохранять мифическое прошлое, что с точки зрения реальности является делом очень сомнительным. Поэтому он обращает внимание на социологию как культуру, то есть как сообщество ученых, разделяющих определенные общие предпосылки. Обсуждая эти вопросы, мы

конструируем наше будущее. В этой связи Валлерстайн утверждает, что культура социологии является вновь возникшей и энергичной, но также и хрупкой и что она сможет продолжать развиваться, только если будет трансформирована.

1. Наследие

Что же означает понятие «культура социологии»? Первое замечание — то, что мы обычно называем культурой, это набор всеобщих разделяемых предпосылок и практик, если не всеми членами сообщества, то большинством; разделяемых открыто, но что гораздо важнее, и подсознательно, так что эти предпосылки редко являются предметом дискуссии. Такой набор предпосылок по необходимости должен быть очень простым и, даже, банальным. Если же допущения сложные, тонкие, интеллектуальные, очень мала вероятность, что их будут разделять слишком многие, и, следовательно, чтобы на них можно было создать мировую общность ученых. Валлерстайн полагает, что существует четко набор простых допущений, разделяемых большинством социологов, но совсем не обязательно теми, кто называет себя историками или экономистами.

Второе, — эти разделенные предпосылки можно обнаружить, но не определить по тому, кого мы называем в качестве мыслителей, сформировавших нас профессионально. Стандартный набор для социологов наших дней — это Дюркгейм, Маркс и Вебер. Если же поставить такой вопрос об отцах-основателях для историков, экономистов, антропологов или географов, наверняка мы получим отличающийся список. Наш список не содержит имен Мишле или Гиббона, Адама Смита или Джона Мейнарда Кейнса, Джона Стюарта Милля или Макиавелли, Канта или Гегеля, Малиновского или Боаса.

Поэтому возникает вопрос, откуда взялся наш список? В конце концов, если Дюркгейм действительно называл себя социологом, а Вебер делал это только в самый последний период своей жизни, и даже тогда очень неопределенно, в одной из своих последних статей «Политика как профессия» Вебер идентифицировал себя как политэконома. Далее в тексте, однако, он пишет «Социологи обязательно должны применять...», — определенно подразумевая под ними и себя, то Маркс вообще никогда этого не делал. Более того, хотя есть социологи, называющие себя дюркгеймианцами, марксистами, веберианцами, но нет таких, кто называл бы себя дюркгеймианцем-марксистом-веберианцем. В каком же смысле может это трио быть отцами-основателями данной области? Однако, книга за книгой, и особенно учебник за учебником, это утверждают.

Но не всегда было так. Это в основном результат работы Толкотта Парсонса «Структура социального действия». Конечно, вы скажете, что Парсонс намеревался канонизировать трио Дюркгейма, Вебера и Парето. Однако ему не удалось убедить других в важности Парето, остающегося в основном не признанным. А Маркс был добавлен в этот список вопреки самым сильным стараниям Парсонса вычеркнуть его из такого списка. А список этот является, главным образом, созданием периода после 1945 года.

Областью социологии Дюркгейм считал «социальный факт». В предисловии к первому изданию одной из своих работ, Дюркгейм обсуждает вопрос, как его лучше называть. Он хотел бы, чтобы его называли ни материалистом или идеалистом, но рационалистом. Этот термин сам, в свою очередь, был объектом многовековых споров и не согласий в философии, но, по крайней мере ясно, что почти все социологи во времена Дюркгейма объединялись этим понятием. Аксиома номер один дюркгеймова понятия «культуры социологии» гласит: существуют социальные группы, которые имеют объяснимые рациональные структуры. Однако, с точки зрения Валлерстайна, проблема не столько в существовании таких групп, сколько в недостатке внутри них внутреннего единства.

Именно здесь и вступает в дело Маркс. Он стремится ответить на вопрос: как же происходит, что социальные группы, которые по определению должны быть едиными, на деле подвержены внутренней борьбе. Первую главу «Коммунистического манифеста» открывает предложение: «История всех существовавших до нынешнего момента обществ — это история классовой борьбы». Конечно, Маркс не был настолько наивным, чтобы считать официальную риторику конфликта объяснением причин этого конфликта. В этой работе, создавшей марксизм, содержится доктрина и аналитический взгляд на то, что являлось причиной большого противоречия в рамках и за пределами социологического сообществ. С точки зрения Валлерстайна, Маркс обсуждал то, что очевидно является центральным для социальной жизни, а именно, социальный конфликт. Маркс предложил объяснение социального конфликта, группирующееся вокруг того факта, что люди имеют различные отношения к средствам производства, некоторые владеют ими, а другие — нет, некоторые контролируют их использование, а другие — нет. Когда-то было очень модным доказывать, что Маркс в этом был не прав, и что классовая борьба является не единственным и, даже, не основным источником социального конфликта. Взамен предлагались различные варианты: статусные группы, группы с политической принадлежностью, раса, пол и т.д. Однако, любой заменитель класса все равно предполагает центральность процесса борьбы, он просто заменяет список соперников. Но был ли кто-нибудь, кто отверг Маркса, сказав: «Все это чепуха, поскольку не существует социальных конфликтов» ?

Рассмотрим столь существенный метод в практике социологов, как обзор общественного мнения. Что мы делаем при этом? Мы обычно составляем то, что называется репрезентативной выборкой, и ставим перед этой выборочной совокупностью серию вопросов о чем-нибудь. Обычно мы предполагаем, что мы получим ранжированное распределение ответов на эти вопросы, хотя у нас заранее может и не быть четкой идеи, каким окажется это распределение. Если мы полагаем, что все ответили на вопросы идентично, то у нас никакого обзора мнений и не получится. Когда мы получаем ответы на эти вопросы, что мы должны делать дальше? Мы сопоставляем, коррелируем ответы на ответы с набором базовых переменных, таких, как социо-экономическое положение, профессия, пол, возраст, образование и т.д. Почему мы это делаем? Потому что мы предполагаем, что часто, даже обычно, что каждая переменная содержит

континуум индивидов с определенными параметрами, и что, наемные рабочие бизнесмены, мужчины и женщины, молодые и старые, и т.д., будут давать разные ответы на вопросы. Если бы не предполагали социальных вариаций (а чаще всего акцент, на самом деле, делается на различия в социо-экономическом статусе) мы вообще бы не ввязались в это дело. Шаг от вариации до конфликта не очень длинный, и в общем-то тех людей, которые пытаются отрицать, что различия ведут к конфликту, можно подозревать в том, что они стремятся не принимать во внимание очевидную реальность по чисто идеологическим причинам. Вот почему в этом плане мы все марксисты и, в этом контексте, Валлерстайн формулирует аксиому номер два «культуры социологии»: все социальные группы одержат в себе подгруппы, иерархично ранжированные и находящиеся в конфликте друг с другом. Является ли это допущение марксизмом? Конечно да, это серьезное допущение. А является ли это допущение позицией большинства социологов? Конечно, также, да.

Но можем ли мы остановиться на этом? Нет, не можем. Решив, что социальные группы — это реальные группы, и что мы можем объяснить их способ действия (аксиома номер один), и решив, что они содержат внутри себя повторяющиеся конфликты (аксиома номер два), мы сталкиваемся с очевидным вопросом: почему же все эти общества просто не взрываются, или не раскалываются, или не уничтожают себя каким-нибудь другим способом. Совершенно очевидно, что хотя такие взрывы время от времени случаются, они все же, очевидно, не случаются каждый раз. Очевидно существует подобие «порядка» в социальной жизни несмотря на аксиому номер два. И здесь вступает в дело Вебер, поскольку Вебер имеет объяснение, почему существует порядок, несмотря на конфликт.

Мы обычно идентифицируем Вебера, как антимарксиста, как исследователя, настаивающего на культурном, в противовес экономическому, объяснению, настаивающему скорее на бюрократизации, нежели аккумуляции, центральной движущей силы современного мира. Однако, ключевым понятием Вебера, которое служит ограничению влияния Маркса, или, по крайней мере, серьезно его модифицирует, является понятие легитимности. Вебер озабочен основой власти. Почему, спрашивает он, люди подчиняются тому, кто дает команды? Существуют различные очевидные причины, такие как обычаи и предвкушение материальных преимуществ. Однако, говорит Вебер, этого недостаточно для объяснения общепринятости подчинения. Он добавляет третий решающий фактор «вера в законность, легитимность». Обще известны три типа господства по Веберу, но поскольку, традиционная власть по Веберу — это структура прошлого, а не современности, и, поскольку харизма, как бы ни важна была играемая ею роль в исторической реальности и в веберовском анализе, является по преимуществу переходным феноменом, всегда в конце концов «рутинизируемым», остается лишь «рационально-легальная власть» как «специфический современный тип администрации».

Предлагаемая Вебером картина рассматривает власть, как осуществляемую аппаратом, бюрократией, которой «не заинтересован», в том смысле, что у него нет *parti pris*, как в отношении граждан, так и в отношении

государства. Бюрократией он называет «обезличенной», т.е. принимающей свои решения в соответствии с законом, вот почему этот тип власти Вебером назван рационально-легальным. Если упростить веберовский взгляд, то у нас будет разумное объяснение того факта, почему в государствах обычно есть порядок, т.е. почему власть обычно принимают и ей более или менее подчиняются. Это и есть аксиома номер три: то, что группы и государства содержат свои конфликты, в значительной степени объясняется тем, что нижестоящие подгруппы испытывают легитимность в отношении к структуре власти в данной группе на тех основаниях, которые позволяют этой группе выжить, а подгруппы видят долгосрочные преимущества в выживании группы.

До сих пор рассматривалась культура социологии, которую разделяют все социологи, и которая наиболее сильно проявилась в период 1945—1970 гг. Эта культура содержит три простых предположения — реальность социальных фактов, постоянный характер социальных конфликтов, существование механизмов легитимности сохранять конфликт — и это дополняет когерентный минимум базовых допущений при изучении социальной реальности. Валлерстайн не считает свой набор аксиом сугубо теоретичным, являющийся наиболее адекватным способом рассмотрения социальной реальности. Это просто стартовая позиция, которую большинство из нас интернализовали, и действующая, главным образом, на уровне не подвергаемых сомнению аксиом, которые скорее подразумеваются, чем обсуждаются. Это и есть наследие конструкта, который создан недавно и, хотя он жизнеспособен, он также и хрупок.

II. Вызовы

Есть шесть вызовов, ставящих серьезные вопросы перед набором аксиом, называемым «культура социологии». Они будут рассмотрены в том порядке, в котором они начинали влиять на мир социологии и, в целом, на обществоведение. Следует подчеркнуть, что это вызовы, а не истины. Вызовы являются серьезными, если они ставят перед учеными серьезные требования пересмотреть предпосылки. А если мы признаем, что вызовы серьезны, то у нас возникает стимул переформулировать предпосылки таким образом, чтобы они были менее уязвимы для вызовов. Или же мы будем вынуждены отказаться от предпосылок или, как минимум, кардинально их реализовать. Вызов, таким образом, это часть процесса, это начало, а не конец процесса.

Первый вызов ассоциируется с Зигмундом Фрейдом. В некотором роде психология Фрейда является частью наших коллективных допущений. Однако речь здесь, главным образом, пойдет о социологии Фрейда. Главный внутренний вызов Фрейда обращен к самому понятию рациональности. Отцы-основатели социологии все были детьми Просвещения. Фрейд совсем не чужд был этой традиции. Он сказал миру, особенно медицинскому миру, что поведение, которое нам кажется странным и иррациональным, на деле является вполне объяснимым. Если мы поймем, что многое в сознании индивида действует на уровне, который Фрейд назвал подсознательным. Подсознание, по определению, нельзя увидеть или услышать, но существуют косвенные способы, позволяющие узнать, что же происходит в подсознании. Его первая

основная работа «Интерпретация снов» 1900, была посвящена как раз этой теме. Сны раскрывают, что Эго загоняется в подсознание. Он также полагал, что сны являются не единственным аналитическим инструментом в нашем распоряжении. В целом психоаналитическая практика, так называемое разговорное лечение, разработало серию практик, которые смогли помочь как аналитику, так и анализируемому осознать, что же в подсознании. Этот метод, по своей сущности, происходит из верований эпохи просвещения. Он отражает ту точку зрения, что улучшенное осознание может привести к улучшенному принятию решений, т. е. к более рациональному поведению. Однако дорога к этому более рациональному поведению лежит через понимание так называемого невротического поведения, которое в действительности «рационально», если мы поймем, чего индивид намеревается достичь таким поведением и, следовательно, почему это происходит. Поведение может быть, по мнению аналитика, субоптимальным, но оно не является из-за этого иррациональным.

Объясняя, что такое «метапсихология подавления», Фрейд показал многочисленные формы, принимаемые подавлением, различные трансферентные неврозы — например, в истерии тревожности может быть откат от импульса, а затем, бегство в замещающую идею. Но тогда индивид может ощущать необходимость «ингибировать развитие тревожности, которая возникает из замещения».

Здесь описан интересный социальный процесс. Что-то вызвало тревожность. Индивид стремится избежать негативности средств и последствий с помощью средств подавления. Это действительно облегчает тревожность, но определенной ценой. Фрейд полагает, что цена слишком высока (или она может быть слишком высокой?). А что предположительно пытается сделать психоаналитик, так это помочь индивиду, столкнувшемуся с тем, что вызывает тревожность и быть в состоянии облегчить страдания меньшей ценой. Таким образом, индивид пытается рационально уменьшить страдания, а психоаналитик пытается рационально подвести пациента к пониманию того, каков лучше способ (более рациональный способ?) снизить страдания. Прав ли аналитик? Является ли это более рациональным способом уменьшения страданий? Фрейд завершает эту дискуссию о подсознании, придя к еще более сложным ситуациям.

Нечто может быть описано как рациональное, только если существуют другие вещи, которые могут быть описаны как иррациональные. Фрейд проник в область того, что является социально признанным в качестве иррационального невротического поведения. Его подход стремился раскрыть глубинную рациональность этого внешне иррационального поведения. Он углубился в даже более иррациональное, в психотическое, и здесь он также нашел объяснение, которое можно назвать рациональным — бегство от опасности.

Продвигая, однако, логику поиска рационального объяснения внешне иррационального, Фрейд привел нас на тот путь, где логическое заключение состоит в том, что нет ничего иррационального с точки зрения актора. А кто

тот внешний наблюдатель, который может сказать, что они правы, а пациент не прав? Фрейд не уверен в том, как далеко аналитик может зайти в навязывании своих приоритетов пациенту. «Каждый человек должен найти для себя, каким конкретным способом он может быть спасен». Но если ни что не является иррациональным, что дает нам основание славословить модернизм, цивилизацию, рациональность. Это настолько глубокий вызов, что мы даже еще как следует не осознали его. Единственное состоятельное заключение, которое мы из этого можем вывести, состоит в том, что не существует такой вещи, как формальная рациональность; или точнее, для того, чтобы решить что является формально рациональным, надо четко прописать конечные детали, сложности и специфичности той цели, которой мы добиваемся. А в этом случае все зависит от точки зрения и баланса между различными соображениями акторами. И в этом смысле постмодернизм в его наиболее радикальной солипсистской версии принимает это фрейдово допущение в своем окончательном предназначении, не давая Фрейду малейшего шанса поучаствовать в данном процессе. Вероятно потому, что они не знакомы с культурным источником этих допущений. Но, конечно же, такие постмодернисты принимают вызов Фрейда не как вызов, а как вечную универсальную истину. А с такого рода самопротиворечиями эта экстремальная позиция ведет к саморазрушению.

Второй вызов — это вызов европоцентризму. Сегодня он очень распространен, а лет тридцать назад его почти не упоминали. Одним из тех, кто поднял этот вопрос, был Анвар Абдель-Малек, чье осуждение «ориентализма» (1963) опередило аналогичные идеи Эдварда Сайда больше, чем на десятилетие. Абдель-Малек предложил «альтернативный цивилизационный проект». Абдель-Малек начинает с допущения, что в трансформированной геополитической реальности «репостулируемый универсализм, прилагаемый в качестве рецепта, просто не будет работать». А в качестве «значимой социальной теории» он предлагает использовать не-редукционистский компаративизм, сравнивающий три взаимосвязанных круга — цивилизации, культурные легионы и нации (или «национальные формации»). Для него существуют только две цивилизации: индоарийская и китайская. Каждая содержит многочисленные культурные регионы. Индоарийская сдержит египетскую древность, греко-римскую антику, Европу, Северную Америку, Африку южнее Сахары, арабо-исламскую и персо-исламскую зоны и основные части Латинской Америки. Китайская включает: собственно Китай, Японию, Центральную Азию, Юго-Восточную Азию, Индийский субконтинент, Океанию и азиатско-исламскую зону. Ключевой фактор по Абдель-Малеку — это цивилизация, ключевое понятие — это специфичность, а это требует, по его словам, добавить «географическую нить к исторической». Затем он добавляет, что центральной проблемой в общей теории и гносеологии является «углубление и определение отношений между концепцией времени и созвездием понятий, касающихся, в частности, плотности времени, в царстве человеческих обществ».

Хотя можно сравнивать цивилизации в терминах производства, воспроизводства и социальной властью, ключевое различие — это отношения с временными параметрами, в которых мы находим самую большую «плотность демонстрируемой, эксплицитной специфичности. Так как именно здесь мы находимся в самой сердцевине культуры и мысли...». Он подчеркивает «все превосходящее центральное конституирующее влияние временных параметров, глубины исторического поля».

Таким образом, географический вызов оборачивается альтернативным понятием времени. На одной стороне западное видение времени, «операциональный взгляд», прослеживаемый от Аристотеля «подъем формальной логики, гегемония аналитического мышления», время как «инструмент для действия, а не концепция места человека в исторической протяженности...». А «на другом берегу реки» мы находим не аналитическое понятие, где «время — хозяин» и, следовательно, к нему нельзя относиться как к удобству. Он завершает призывом к «неантагонистическому, однако противоречивому диалектическому взаимодействию между двумя берегами нашей общей реки». Это оставляет нас с несводимыми специфичностями, по поводу которых мы можем тем не менее теоретизировать. Он оставляет нас с цивилизационным вызовом относительно природы времени, проблемой, которая не может даже рассматриваться в качестве классической культуры социологии. И все это приводит нас непосредственно к третьему вызову.

Третий вызов тоже касается времени, а именно многочисленных реалий времени, социальной конструкции времени. Время может быть хозяином, но если это так, то согласно Фернану Броделю, оно одновременно и хозяин, которые конструирует нас самих, и то, чему трудно сопротивляться. Бродель выделяет четыре типа социального времени. Однако подавляющее большинство обществоведов XIX и XX веков видели только два из них. С одной стороны, были те, кто считал, что время по своей сути состоит из последовательности событий, Поль Лакомб назвал по-французски это событийной историей, а по-английски это переводится как «эпизодическая история». Согласно этому взгляду, время эквивалентно евклидовой линии, имеющей бесконечное количество точек на ней. Эти точки и есть события, и они расположены в диахронической последовательности. Это, конечно, созвучно древнему взгляду, что все постоянно меняется в каждый момент, что объяснение последовательно, и что опыт не повторим. Это также лежит в основе того, что мы называем идеографической историографией, но это является также основой атеоретического эмпиризма и обе эти позиции широко распространены в современном обществознании.

Альтернативная, широко распространенная концепция времени состоит в том, что социальные процессы не имеют времени, в том смысле, что то, что объясняет события, это правила или теоремы, которые приложимы во всем времени и пространстве, даже если в данный момент мы не можем эксплицировать все эти правила. В XIX веке эту концепцию иногда называли «социальной физикой», связывая ее с ньютоновой механикой, давшей модель для такого рода анализа. Бродель обращался к этой концепции времени, как «la

trs longue dure» (не путать с «la longue dure»). Можно назвать это вечным временем. Бродель рассматривал работы Клода Леви-Стросса в качестве изначального примера этого подхода, но, конечно же, это понятие широко использовалось и другими авторами. Можно сказать, что оно составляет преобладающее использование в рамках культуры социологии, это то, что мы обычно имеем в виду, говоря о «позитивизме».

Сам Бродель об этой разновидности социального времени пишет: «Если оно существует, оно может быть только временным периодом мудрецов». Главный контраргумент Броделя против этих двух концепций времени состоит в том, что ни одна из них не воспринимает время серьезно. Вечное время — это миф, а эпизодическое время, время события — это в его знаменитой фразе «пыль». Он полагает, что социальная реальность на самом деле случается главным образом в двух других типах времени, которые чаще всего игнорируются как идеографическими историками, так и номотетическим обществоведами. Эти типы времен называют *longue dure* или структурное время, длинное, но не вечное и, конъюнктурное или циклическое, среднесрочное время, время циклов в рамках структур. Оба этих типа времени являются конструктами аналитика, но они одновременно также являются социальными реальностями, ограничивающими акторов. Поскольку три отца-основателя социологии были социально инкорпорированы в культуру социологии, в ней не было места для социально сконструированного времени, следовательно Бродель представляет фундаментальный вызов этой культуре.

Тенденция такова, что вызов европоцентризму принуждает нас к более сложной географии, поэтому протест против игнорирования социального времени вынуждено вводит нас в гораздо более длительную временную перспективу, чем та, к которой мы раньше привыкли. Но все-таки в такую, которая значительно меньше, чем неопределенная. Несомненно, появление в семидесятых годах того, что сегодня называется исторической социологией, было ответом, как минимум частичным, на вызов Броделя, но он был абсорбирован в качестве специализации в рамках социологии, и имплицитное требование Броделя относительно большей гносеологической реконфигурации встретило сопротивление.

Четвертый вызов пришел извне социальных наук. Он начался с возникновения движения в рамках естествознания и математики, которое сегодня называется теория сложности. В этом движении много важных фигур. Наиболее радикально этот взгляд был изложен Ильей Пригожиным. Джон Маддокс, бывший редактор журнала «Nature» отметил важное значение деятельности Пригожина и предположил, что исследовательское сообщество многим обязано ему «за его почти одиночное занятие на протяжении более сорока лет проблемами несбалансированности и сложности». Пригожин является нобелевским лауреатом по химии за работы по диссипативным структурам, затем он ввел два ключевых методологических — понятия «стрела времени» и «конец определенностей».

Оба концепта стремятся опровергнуть наиболее фундаментальные допущения ньютоновой механики, которые, как полагает Пригожин, пережили

даже ревизии, вызванные квантовой механикой и теорией относительности. Ньютоновы понятия энтропии и вероятностей, конечно же, не появились в самое последнее время. Они лежат в основе химии, развивавшейся в XIX веке и, по существу, оправдывают различия между физикой и химией. Однако, с точки зрения физиков, обращение к таким понятиям показывает второстепенность химии. Химия была неполной наукой именно потому, что она была недостаточно детерминистской. А Пригожин не только отказался признать меньшие достоинства этих понятий, он пошел гораздо дальше, он захотел доказать, что сама физика должна быть построена на этих понятиях. Он, в частности, допустил, что необратимость является «источником порядка» и «играет фундаментальную и конструктивную роль в природе». Пригожин дал ясно понять, что он не хочет опровергнуть значимость ньютоновской физики. Она имеет дело с поддающимися интеграции системами и держит их в рамках своей «области валидности». Однако, эта область ограничена, поскольку «поддающиеся интеграции системы являются исключением». Большинство систем «включает как детерминистические процессы (между бифуркациями), так и вероятностные процессы (в выборе отраслей)», и оба этих процесса совместно создают историческое измерение, фиксирующее последовательные выборы.

Модель Пригожина полностью инвертирует отношения социальных наук к наукам естественным. Сам Пригожин пишет: «Мы видим, что человеческое творчество и инноватика могут быть поняты как расширение законов природы, которые уже присутствуют в физике и химии». Таким образом, Пригожин воссоединил обществознание и естествознание, но не допущении XIX века о том, что человеческая деятельность может рассматриваться просто как вариант еще одной физической деятельности, но на инвертируемой основе того, что физическая деятельность может рассматриваться как процесс творчества и инновации. Несомненно, такой подход является вызовом нашей культуре, более того, Пригожин также говорит по поводу рациональности о «возвращении к реализму», которое не является «возвращением к детерминизму». Рациональность являющаяся реалистической — это как раз та рациональность, которую Вебер назвал «субстантивной», то есть рациональность, являющаяся результатом реалистического выбора.

Пятым вызовом является феминизм. Феминисты говорят миру знания, что он искажен по многим направлениям. Он игнорирует женщин как субъектов человеческого предназначения. Он исключил женщин как исследователей социальной реальности, он использует априорные допущения о том, что существуют гендерные различия и допущения эти не базируются на реалистичном исследовании. Этот мир игнорирует положение женщин. Эти обвинения представляются Валлерстайну справедливыми в историческом смысле, а феминистское движение, как в социологии, так и в более широкой области мира социального знания, имело определенное влияние в последние десятилетия на исправление этих искажений, хотя, конечно же, надо пройти еще долгий путь, прежде чем эти проблемы перестанут быть проблемами. Однако при всем этом, феминисты не бросали вызов культуре социологии.

Скорее они использовали ее, просто говоря, что большинство социологов (и шире, обществоведов) не уважали те самые правила, которые они установили для практики социальных наук.

Хотя все это — важные вещи, но есть нечто еще более важное, а именно, допущение о том, что существуют маскулинистское искажение не только в области социального знания, (где, так сказать, его можно теоретически ожидать), но также в области знания природного мира (где, по теории, оно не должно было существовать). И в этом допущении они атаковали легитимность принципа объективности в его святая святых, который является центральным для классической культуры социологии.

Подобно тому, как Пригожин не согласился рассматривать химию в качестве исключения из физического детерминизма, но настоял, что сама физика не есть и не может быть детерминистичной, и феминисты не соглашались определить лишь социальное знание как область, в которой социальные искажения ожидаемы (если они нежелательны); они настаивают, что это относится равным образом к знанию о природных явлениях.

Что же предлагают феминисты? Эвелин Келлер пишет об интраличностной динамике «теоретического выбора». Ей не трудно продемонстрировать, как творцы бэконовской науки сопровождали свою работу маскулинистскими метафорами, включая сюда мужское господство и покорение природы, и что претензии ученых, что они отличаются от натурфилософов на том основании, что только ученые избегали проекции субъективности, просто не выдерживают аналитической проверки.

Таким образом, Келлер наблюдает «андроцентризм» в науке, но отказывается сделать вывод либо об отвержении науки как таковой, либо о необходимости создать так называемую радикально другую науку. Она пишет: «Мой взгляд на науку — и на возможности, как минимум, частичного отделения когнитивного от идеологического — более оптимистичен. И, соответственно, цель этих очерков более конкретна: это рекламация, звучащая из недр самой науки, которая должна быть человеческим, а не маскулинистским проектом, и это новое обращение к разделению эмоционального труда, которое поддерживает науку, как мужской заповедник».

Валлерстайн говорит, что его поразили две постоянные в вызове, сформулированном феминистками. Одна — это то, что критика естествознания, как оно практиковалось, никогда не переходит на отражение науки как познавательной деятельности, но скорее переходит в научный анализ научного знания и практики. Второе - критика естествознания, как оно практиковалось, ведет к призыву применять ответственное социальное суждение. Своими сомнениями о любом априорном допущении, что гендер не имеет отношения к научной практике, феминизм бросает фундаментальный вызов культуре социологии.

Шестой, и последний вызов — наиболее удивителен и наименее обсуждаем. Это то, что модернизм, центр всей нашей работы, - в действительности никогда не существовал. Этот тезис наиболее четко был высказан Бруно Латуром, чья книга называется «Мы никогда не были

модерновыми». Латур начинает свою книгу с утверждения, что не чистые смеси конституируют реальность. Гибриды являются центральным явлением, поднимающимся над временем, их плохо анализируют и совсем не боятся. Ключевым по Латуру является преодоление академического и социального разделения реальности на три категории: природы, политики и дискурса. Для Латура сети реальности «одновременно реальны как природа, рассказываемы как дискурс и коллективный как общество».

Иногда концепцию Латура неправильно воспринимают как разновидность постмодернизма. И это странно, поскольку он с равной энергией нападает на тех, кого он называет антимодернистами, на тех, кого он называет модернистами, и на тех, кого он называет постмодернистами. Для него все три группы предполагают, что мир, в котором мы жили последние несколько веков, и все еще живем сейчас, был «модернистским» согласно дефиниции, которую все три группы дают модернизму: «ускорение, разрыв, революция во время (по котрасту с) архаического и стабильного прошлого».

Латур доказывает, что слово «модерновый» прячет два набора совершенно разных практик: с одной стороны, постоянное создание с помощью «трансляции» новых гибридов природы и культуры; а с другой стороны процесс «пурификации», разделения двух онтологических зон: человеческой и нечеловеческой. Однако, доказывает он, эти два процесса неразрывны, их нельзя анализировать отдельно, потому что, как не парадоксально, именно благодаря запрещению гибридов (пурификации) и становится возможным создать гибриды и, проще говоря, именно задумываясь о гибридах, мы ограничиваем их размножение. Чтобы выделить так называемый современный мир, Латур рекомендует использовать «антропологию», под которой он подразумевает «схватывание всего одновременно».

Латур размышляет о мире, в котором мы живем, как основанном на том, что он считает конституцией, которая делает модернистов «непобедимыми», провозглашая, что природа трансцендентна и вне рамок человеческого созидания, а что общество не трансцендентно и, следовательно, люди полностью свободны. Вся концепция модерна является ошибкой.

«Никто никогда не был модерновым. Модернизм никогда не начинался. Никогда не было современного мира. Использование времени Present Perfect здесь очень важно, поскольку это дело ретроспективного чувства, перечитывание нашей истории. Я не говорю, что мы входим в новую эру, наоборот, мы не должны больше продолжать длинный полет пост-пост-постмодернистов, мы не должны больше пристраиваться к авангарду авангарда, мы не должны больше стремиться быть даже умнее, даже более критичными, даже глубже в «эру подозрений». Нет, вместо этого мы открываем, что мы никогда не начинали входить в современную эпоху. Отсюда нелепый намек, постоянно сопровождающий постмодерновых мыслителей - они призывают поспевать за временем, которое даже не началось!»

Но кое-что новое все-таки есть, а именно - мы достигли точки насыщения. И это приводит Латура к проблеме времени, которое является центром большинства вызовов. [...] Природа и общество не есть два различных полюса, это одно и то же производное последовательных состояний обществ-природ, коллективов». Признавая это, и делая это центром нашего анализа мира, мы можем продвигаться вперед.

Подводя итог анализу вызовов, Валлерстайн напоминает, что вызовы, это не истины, приглашение к размышлению о базовых предпосылках. Все вместе эти вызовы составляют серьезную атаку на культуру социологии и не могут оставить нас равнодушными. Существует ли такая вещь, как формальная рациональность? Существует ли цивилизационный вызов западной/модерновой картине мира, который мы должны воспринять серьезно? Заставляет ли реальность множественных социальных времен реструктурировать наше теоретизирование и наши методологии? Какими способами изучение сложности и конец определенности заставляет нас вновь изобретать научный метод? Можем ли мы показать, что гендер является структурной переменной, вмешивающейся повсюду, даже в области, которые кажутся невероятно отдаленными, такие как математическая концептуализация? Является ли современность (модернизм) обманом — не иллюзией, но обманом — которая обманула, прежде всего, всех обществоведов?

Могут ли три аксиомы, выводимые из Дюркгейма, Маркса и Вебера, аксиомы, составляющие культуру социологии, адекватно разобраться со всеми этими вопросами, а если нет, распадается ли, следовательно, культура социологии? И если да, чем мы можем ее заменить?

III. Перспективы

Валлерстайн считает, что есть три наиболее вероятных и наиболее желаемых перспективы, ожидающих нас в XXI веке: гносеологическое воссоединение так называемых двух культур, естествознания и обществознания; организационное воссоединение и перепрофилирование социальных наук; допущение, что социальная наука займет центральное место в мире знания.

Каковы же заключения, вытекающие из проведенного анализа? Прежде всего, очень простое, — сверхспециализация, от которой страдала социология, и на деле все другие социальные науки, была как неизбежна, так и саморазрушительна. И, тем не менее, мы должны бороться против нее в надежде создать некий разумный баланс между глубиной и широтой знания, между микроскопическим и синтетическим видением. Второе, как недавно сформулировал Смелзер, существуют социологически наивные акторы. Но существуют ли социологически хорошо информированные акторы? То есть рациональны ли наши акторы? И какой мир знают наши акторы?

Социальные факты, с которыми мы имеем дело, являются социальными в двух смыслах: они разделяют восприятие реальности, разделяемое более или менее некой средней широкой группой, с различными оттенками для каждого индивидуального наблюдателя. И они являются социально

сконструированными восприятиями. Здесь надо уточнить, нас интересует не аналитик с его социальной конструкцией мира, а коллектив акторов, которые создали социальную реальность благодаря своим кумулятивным действиям. Мир находится в данном положении благодаря всему тому, что предшествовало данному моменту. В чем аналитик пытается разобраться, так это как данная коллективность сконструировала данный мир, используя, конечно, свое собственное социально сконструированное видение.

Стрела времени, таким образом, неотклонима, но также и не предсказуема, поскольку всегда существуют бифуркации вокруг нас, исход которых внутренне не детерминирован. Хотя существует лишь одна стрела времени, существует множество времен. Мы не можем позволить себе игнорировать ни структурные *longue dure*, ни циклические ритмы исторических систем, которые мы анализируем. Время — это гораздо нечто большее, чем хронометрия и хронология. Время — это также длительность, циклы и дизъюнкция.

Несомненно, реальный мир существует. Солипсисты не могут разговаривать даже сами с собой, поскольку мы все меняемся в каждое мгновение и, следовательно, если принять точку зрения солипсиста, наши собственные вчерашние взгляды не совместимы с нашими творческими видениями сегодняшнего дня так же, как и с точки зрения других. Солипсизм — это величайшая из всех форм изобретений, более великая даже, чем объективизм. Это вера в то, что наши рациональные построения создают то, что мы воспринимаем, и что мы, следовательно, воспринимая то, что существует, воспринимаем то, что мы создали.

Но, с другой стороны, также верно то, что мы только можем узнать мир посредством нашего видения его, коллективного социального видения, конечно, но, тем не менее, человеческого видения. Это очевидно также верно по отношению к нашему видению физического мира, как и по отношению к нашему видению социального мира.

В этом смысле мы все зависим от очков, которые мы используем в этом восприятии, — от организованных мифов, которые МакНейлл (1986) называет «мифисторией», без которых мы беспомощны что-либо сказать. Из этих ограничений вытекает, что не существует понятий, которые бы не были плюральными; что все универсалии являются частными; и что существует множественность универсалий. Из этого также следует, что все используемые нами глаголы должны быть написаны в прошедшем времени. Настоящее кончилось прежде, чем мы можем произнести это, а все утверждения должны быть привязаны к своему историческому контексту. Номотетическое искушение также опасно, как и идеографическое искушение и, создает западню, в которую очень часто культура социологии приводила многих из нас.

Да, мы в конце определенности. Что это означает на практике? В истории мысли нам постоянно предлагали определенность. Теологи предлагали нам определенности, какими их видели пророки, священники и канонизированные тексты. Философы предлагали нам определенности в качестве рационально дедуцированных, или индуцированных, или интуитивно найденных ими. А

современные ученые предлагают нам определенности, эмпирически верифицированные ими с помощью критериев, которые они изобрели. Все они утверждают, что их истины были, очевидно, проверены на состоятельность в реальном мире, но эти видимые доказательства были просто внешним и ограниченным выражением более глубоких и более сокрытых истин тех секретов и открытий, чьими индикативными посредниками они являлись.

Каждый набор определенностей превалировал некоторое время в некоторых местах, но ни один из них — везде и вечно. Но если вселенная на самом деле внутренне неопределенна, из этого не следует, что теологические, философские и научные предприятия не имеют никаких достоинств и уж точно из этого не следует, что каждая из них представляет лишь гигантский обман. Что из этого действительно следует, так это то, что будет мудро, если мы будем формулировать наши поиски в свете постоянной неопределенности, и рассматривать эту неопределенность не как неудачную и временную слепоту, и не как не преодолемое препятствие к знанию, но скорее как невероятную возможность для воображения, творчества, поиска. Плюрализм в таком случае становится не индальгенцией слабости и невежества, но как зародыш возможностей для лучшего мира.

В 1998 году группа, состоящая главным образом из физиков, опубликовала книгу, которую они назвали словарем невежества, доказывая, что наука играет большую роль в создании зон невежества, чем в создании зон знания. Вот что написано в заключении этой книги: «В процессе того, как наука расширяет нашу область знания, мы, как это не парадоксально, ощущаем, что наше невежество также растет. Каждая новая проблема, которую мы разрешаем, приводит к появлению новых загадок, так то процессы исследований и открытий возобновляют себя постоянно. Границы знания, кажется, расширяются непрерывно, порождая ранее не ожидавшиеся вопросы. Но эти новые проблемы благотворны. Создавая новые вызовы науке, они заставляют нас двигаться вперед в постоянном движении, без чего, вероятно, ее свет быстро погаснет».

Одна из проблем относительно создания новых невежеств состоит в том, что нет надежных причин полагать, что их лучше всего решать только в той узкой области, где эти невежества были открыты. Физик может открыть свое незнание, которое требует для своего решения концепций, ранее разработанных в биологии и философии. И это, очевидно, справедливо для новых незнаний, которые открывают социологи. Защита собственных дорожки перед лицом новых незнаний — это худший из академических грехов и наибольший возможный вред для прояснения ситуации.

Именно эта проблема собственной дорожки подчеркивает организационные проблемы социальных наук. Институционализация номинального разделения социальных наук сегодня исключительно сильна, несмотря на все попытки «междисциплинарного подхода». Более того, Валлерстайн считает, что междисциплинарность сама по себе является приманкой, дающей наибольшую возможную поддержку существующему списку академических дисциплин, предполагая, что каждая из них имеет

специфическое знание, которое может быть полезным в комбинации с другими специальными знаниями для того, чтобы решить некоторую практическую проблему.

Фактом является то, что три важнейших среза социальной науки XIX века: прошлое — настоящее, цивилизованное — другие и государство — рынок — гражданское общество — все три сегодня совершенно беспомощны в качестве интеллектуальных вех. Нет разумных утверждений, которые можно сделать в так называемых областях социологии, экономики или политологии, которые не являлись бы историческими. И нет разумного исторического анализа, если не использовать так называемых обобщений, применяемых в других социальных науках. Аналогичные вещи можно сказать и по поводу двух других срезов.

Но тогда, если ни один из существующих способов деления социальных наук сегодня в самостоятельные организации знания не имеет смысла, то что же делать? Отдельные ученые ищут коллег, с помощью которых создаются малые группы и сети, необходимые для проведения своей работы. И все больше такие сети не обращают никакого внимания на ярлыки дисциплин.

С возрастанием специализации, те, кто занимается распределением бюджетов, все более спокойно относятся к кажущейся нерациональности связей, особенно в отношении всеобщих давлений по поводу того, что надо сокращать, а не увеличивать расходы на высшее образование. Именно бухгалтера могут побуждать нас делать те или иные шаги, и, вполне возможными способами, которые не являются интеллектуально оптимальными. Валлерстайн считает, что крайне важно, чтобы ученым, занятым в организационных исследованиях было позволено широкое экспериментирование, и к их попыткам относились терпимо для того, чтобы увидеть, какого рода организационные объединения могут сработать наилучшим образом. Возможно, в качестве способа организации групп ученых, может сработать подход микро-макро, хотя он и не уверен.

А может быть надо разделять свои усилия по времени: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты. Просто надо пробовать различные подходы. Очень важно для ученых открыться и признать собственные шоры. Читать надо гораздо больше, чем сегодня читают обществоведы, и к этому надо энергично поощрять наших студентов. Аспирантов надо рекрутировать из гораздо более широких областей знания, чем это делается сейчас. И надо отводить им ведущую роль в определении того, в чем мы можем им помочь. Крайне важно изучать иностранные языки. Ученый, который не может читать на трех-пяти основных академических языках, серьезно ограничен в своих возможностях.

Со времен так называемого развода между философией и наукой, происшедшего в конце XVIII века, у социальных наук были плохие отношения — ни рыба, ни мясо — их критиковали со всех сторон в этой войне «двух культур». Тогда обществоведы интернализировали свой имидж, чувствуя, что у них нет иной судьбы, кроме как присоединится или к ученым, или к гуманитариям. Сегодня ситуация радикально изменилась. В физических науках

существует сильное и растущее движение, теория сложности, которая говорит о стреле времени, о неопределенностях и полагает, что человеческие социальные системы являются наиболее сложными из всех систем. А в гуманитарных науках существует сильное и растущее движение, культурные исследования, которые полагают, что нет каких-либо базовых эстетических канонов, и что культурные продукты имеют корни в своем социальном происхождении, в социальном приеме и социальных искажениях.

Валлерстайну представляется, что теория сложности и культурные исследования продвинули естествознание и гуманитарные науки соответственно в область обществоведения, что раньше было центробежным полем сил в мире знаний, стало центростремительным полем, и обществоведение сегодня является центральным для знания. Мы находимся в процессе попыток преодоления «двух культур», попыток воссоединить в единую область поиск истины, добра и красоты. Это, конечно, повод порадоваться, но это будет очень трудный путь. Знание перед лицом неопределенностей предполагает выборы разного рода, и, конечно же выборы, делаемые социальными акторами, а среди них и учеными. А выборы предполагают решения относительно того, что является субстанционально-рациональным. Сегодня уже невозможно даже притворяться, что ученые могут быть нейтральными, то есть отделенными от своей социальной реальности. Но это отнюдь не означает, что можно делать все, что угодно. Это означает, что мы должны тщательно взвешивать все факторы, во всех областях, чтобы попытаться прийти к оптимальным решениям. В свою очередь это означает, что мы должны вести диалог друг с другом и делать это как равные. Умения каждого участника не растворяются в некой бесформенной пустоте, но они всегда имеют частный характер и нуждаются в интеграции с другими умениями. В современном мире мы занимаемся этим очень мало. И наше образование не подготовило нас к этому должным образом. Как только мы поймем, что функциональной реальности не существует, тогда и только тогда мы начнем достигать субстантивной рациональности.

Наверное, это именно то, что Пригожин и Стенгерс называют «возрождением очарования миром» (reenchantment of the world). Это не отрицает очень важной роли «разочарования» миром, но подчеркивает, что мы должны снова сложить отдельные куски вместе.

Наконец, мир знания — это эгалитарный мир. И это является одним из самых значительных вкладов науки. Каждый имеет право бросить вызов истинности существующих суждений при условии, что он представляет эмпирическое подтверждение контрсуждения, и предлагает его на коллективную оценку. Но поскольку ученые отказались быть социальными учеными, они не заметили, и даже не поняли, что этот энергичный упор на эгалитаризм в науке невозможен, и даже не является вероятным в неэгалитарном социальном мире. Политики возбуждают страх в ученых, и те находят безопасность в изоляции. Ученые боятся могущественного меньшинства, меньшинства у власти. Они боятся могущественного большинства, большинства, которое может прийти к власти. Очень непросто

будет создать эгалитарный мир. И, тем не менее, для того, чтобы достичь цели, завещанной естествознанием, требуется гораздо более эгалитарный уклад, чем мы имеем сегодня. Борьба за равенство в науке и борьба за равенство в обществе — это не два разных процесса, это одна и та же борьба.

Реферативный перевод с английского В.П. Култыгина.

И.Валлерстайн Наследие социологии, будущее социальной науки. Реферативный перевод с английского В.П. Култыгина // Хрестоматия по общей социологии. Сост. В.П. Култыгин, А.Г. Кузнецов. – М.: Научная книга, 2004. – 212 с.

ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР

ОБЩЕСТВО ЕСТЬ ОРГАНИЗМ

„Когда мы говорим, что социальные агрегаты и органические агрегаты имеют общие явления роста, то этим мы вовсе не исключаем еще всякой общности с неорганическими агрегатами; ибо многие из последних, напр., кристаллы, заметно растут, и все они, согласно эволюционной гипотезы, должны были раньше или позже возникнуть путем интеграции. Тем не менее, живые существа, а равно общества, по сравнению с упомянутыми неодушевленными вещами, обнаруживают массовый прирост столь очевидным образом, что мы справедливо можем считать этот признак характерным для первых двух. Многие организмы растут в течение всей своей жизни, а другие растут, по крайней мере, в течение значительной части своей жизни. Социальный рост продолжается обычно до тех пор, пока общество либо распадется, либо будет поглощено другим обществом.

Итак, мы нашли тут первую черту, благодаря которой общества примыкают к органическому миру и весьма существенно отличаются от мира неорганического.

Далее, к особенностям социальных, как и живых организмов вообще, относится то, что, помимо увеличения в размерах, растет и сложность их строения. Низшее животное, а также зародыши высшего, обнаруживают лишь немного различных частей; но при большем объеме увеличиваются и дифференцируются также его части. То же самое происходит и с обществом. Вначале различия между отдельными группами его единств весьма незначительны по числу и по характеру, но по мере роста народонаселения все больше и явственнее выступают всякого рода деления и подразделения. Затем эти процессы дифференцирования прекращаются в социальных организмах, как и в отдельных живых существах, лишь вместе с завершением типа, который характеризует состояние зрелости и предшествует упадку”.

«Эта аналогия станет еще яснее, если мы укажем на то, что прогрессирующая дифференциация структуры всегда сопровождается прогрессирующей дифференциацией функций.

Первичные, вторичные, третичные и т.д. части, выступающие у развивающегося животного, приобретают большие и меньшие различия не без определенной цели. Одновременно с изменениями в их внешней и внутренней структуре происходят всегда изменения и в их функциях; вырастающие различные органы имеют всегда различные задачи. Напр., пищеварительная система берет на себя всю задачу поглощения пищи, но по мере обособлений в ее строении она распадается на различные части, из которых каждая имеет особую функцию, составляющую часть общей функции. Отдельный орган, служащий для продвижения или для схватывания, расчленяется на большие и меньшие части, каждая из которых принимает более или менее существенное участие в выполнении этой деятельности.

То же самое относится и к частям, на которые распадается общество. Когда на сцену выступает господствующий класс, то он при этом не только становится не похож на все другие классы, но и приобретает над ними власть принуждения, а когда этот класс вновь дробится на другие классы с большей или меньшей степенью господства, то и последние начинают стремиться к тем или иным видам контролирующей деятельности. То же самое находим мы и у классов, деятельность которых подвергается контролю. Различные группы, на которые они распадаются, имеют каждая особые свойства, а в пределах каждой отдельной группы вырабатываются опять-таки менее значительные противоречия между отдельными частями, соответствующие менее значительным противоречиям в степени их подчиненности».

„Почему этот различный характер деятельности неодинаковых частей в государственном организме и в живом существе рассматривается как настоящая функция, между тем как мы не называем так различных процессов, происходящих в несходных частях неорганического тела? Мы поймем это еще яснее, если обратимся к дальнейшим и лучше всего характеризующим их сходным чертам. И в органическом и в неорганическом мире развитие производит не простые различия, но определенно связанные друг с другом, т. е. такие, из которых одно делает возможным другое. Части неорганического агрегата находятся в таком отношении между собой, что одна из них может существенно изменяться без того, чтобы на других это заметно отразилось. Совсем иначе обстоит дело с частями органического или социального агрегата. И в том и в другом изменения в его частях взаимно определяют друг друга, и, равным образом, изменившиеся деятельности частей взаимно зависят друг от друга. А кроме того, и тут и там степень этой взаимной зависимости растет по мере прогресса развития. На низшей ступени, животное — это один желудок, одна дыхательная поверхность, один орган. Превращение в более высокий тип с особыми придатками, которые служат для перемещения животного с места на место или для схватывания пищи, возможно лишь тогда, когда эти придаточные образования теряют свою прежнюю способность всасывать пищу из непосредственно окружающей тело среды и когда эта функция выполняется другими частями, сохранившими эту способность всасывания. Дыхательная поверхность, служащая для обеспечения питательных соков кислородом, может возникнуть лишь при том условии,

чтобы связанная с этим потеря ее способности самой добывать нужный материал для восстановления и для роста была возмещена развитием особого органа, который доставляет ей этот материал.

То же самое происходит и с обществом. Мы с полным основанием говорим об его организации, и этим хотим сказать, что в нем имеются особенности того же характера. На первобытной своей ступени общество, как целое, есть одновременно воин, охотник, строитель, оружейник и т. д., т. е. здесь каждая отдельная часть удовлетворяет все потребности. Прогрессивное развитие к такой ступени, которая характеризуется наличием постоянной армии, возможно лишь с образованием учреждений, обеспечивающих снабжение этой армии продовольствием, одеждой и военным снаряжением со стороны всего прочего общества. Когда население в одном месте занимается исключительно земледелием, а в другом — только горным делом, когда одни производят товары, в то время как другие распределяют их, то это предполагает, что в возмещение особого рода услуг, которые оказывает каждая из этих частей другим, эти другие части, с своей стороны, предоставляют первым соответствующую долю собственных услуг.

Это разделение труда, которое, как известно, впервые было доказано экономистами, как социальное явление, а затем признано было для живых существ биологами, назвавшими его «физиологическим разделением труда», есть то, что только и делает живым целым как общество, так и отдельное животное.

Я особенно подчеркиваю ту истину, что по отношению к этому основному признаку социальный и индивидуальный организм совершенно сходны друг с другом. Когда мы видим, что у млекопитающего прекращение деятельности легких очень скоро влечет за собой остановку сердца; что с невозможностью для желудка выполнять его функцию мало-по-малу замирают и все прочие части; что паралич членов ведет, в конце концов, к смерти всего тела вследствие недостатка питания или неспособности противостоять опасности, что даже потеря незначительного органа, напр., глаза, лишает все прочее тело услуги, необходимой для его сохранения, — то мы не можем не признать, что взаимная зависимость частей составляет весьма существенную характерную черту организма. А когда мы, с другой стороны, наблюдаем в обществе, как рабочие железодельной промышленности прекращают свою деятельность, когда горнопромышленные рабочие перестают доставлять им материал; как изготовление готового платья не может продолжаться при недостатке текстильного сырья; как вся фабричная работа приостанавливается, когда не действуют органы, производящие и распределяющие продовольствие; как, наконец, и господствующие силы: правительство, чиновники, судьи, полиция, не в состоянии более сохранять порядок, когда подчиненные им части не снабжают их всем необходимым для жизни, — тогда ясно, что и тут имеется столь же тесная взаимная зависимость частей, как и там. Как бы ни были различны во всем остальном оба рода агрегатов, они вполне сходны между собой в отношении этой существенной характерной черты и обусловленных ею особенностей.

До какой степени жизнь целого составляется из комбинированной деятельности взаимно зависящих частей и каким образом отсюда вытекает

параллелизм между социальной и животной жизнью, нам станет еще яснее, если мы примем во внимание, что жизнь каждого видимого организма складывается из жизней единиц, которые слишком малы, чтобы их можно было видеть невооруженным глазом.

Разительный пример тому дает нам замечательная группа *Mucomicetes*. Споры или зародыши этих форм становятся реснитчатыми монадами, которые после некоторого периода оживленного движения превращаются в подобие амебы, чтобы медленно ползти, принимать пищу, расти и размножаться путем деления. Затем эти амебообразные особи снова сползаются вместе, начинают сливаться в большие группы, каковые опять-таки соединяются вместе, так что получается масса, которая иногда едва видима, а иногда величиною с ладонь. Этот так называемый *plasmodium*, будучи неправильной формы, сетчатого строения и студенистой массы, в свою очередь, сам производит движения своих частей, подобные движениям гигантской корненожки; он медленно ползет по поверхности гниющих веществ и даже подымается по стеблям растений. Здесь, таким образом, мы ясно видим, как множество незначительных живых особей соединяются, чтобы создать относительно большой агрегат, в котором, повидимому, утрачивается их отдельная индивидуальность, но совместная жизнь которых составляется из комбинаций их отдельных жизней.

В других случаях вместо единиц, которые первоначально раздельны и теряют свою индивидуальность лишь путем соединения, перед нами выступают такие формы, где единицы происходят путем размножения из одного и того же зародыша и затем никогда не теряют своей связи, хотя, тем не менее, еще весьма ясно обнаруживается особое существование каждой такой единицы. У живой губки, напр., находятся роговые волокна, одетые в студенистое вещество, которое, как нам показывает микроскопическое исследование, состоит из подвижных монад. Мы не можем отрицать жизнь губки, как целого, ибо она проявляет известную деятельность, как совокупность. Наружные амебообразные единицы частично теряют свою индивидуальность путем слияния в охранный слой, или кожу; сеть волокон, служащая для поддержания внешней формы целого, образуется общей деятельностью монад; точно так же, благодаря этой совокупной деятельности образуются и те потоки воды, которые всасываются через мелкие отверстия и выталкиваются обратно через крупные. Но в то время как в этих явлениях выражается слабая общая жизнь, все же жизни многих тысяч составляющих целое единиц лишь мало подчинены этой общей жизни; они представляют как бы народ, в котором едва только начинается разделение функций, или, как это выразил профессор Гексли: „губка представляет собой нечто вроде подводного города, где люди выстроились вдоль улиц и переулков таким образом, что каждый легко может выловить свое питание из воды, проплывающей мимо него“.

«Даже у высших животных можно проследить эти отношения между жизнью общности и отдельных ее составных частей. Кровь есть жидкость, в которой на ряду с питательными веществами, обращается бесчисленное множество живых единиц — кровяных телец. Каждое из них имеет собственную

биографию. В первой своей стадии, в которой его называют белым или бесцветным кровяным шариком, каждое кровяное тельце производит самостоятельные движения, на подобие амебы. „Можно затем заметить краску, которая скоро собирается внутри нее“; „и во многих случаях фактически наблюдали, как бесцветные кровяные тельца поглощали своих меньших товарищей — красные кровяные тельца».

«Таким образом, после того, как мы видели, что обыкновенный живой организм можно рассматривать, как народ, состоящий из единиц, каждая из которых ведет свою особую жизнь и среди которых многие обладают довольно значительной независимостью, нам будет совсем нетрудно рассматривать народ, состоящий из человеческих существ, также как организм.

Отношение между жизнью единиц и жизнью агрегата представляет еще одну особенность, общую обоим случаям. Жизнь агрегата может быть разрушена благодаря какой-либо катастрофе без того, чтобы тем самым была уничтожена также жизнь всех составляющих его единиц, между тем как, с другой стороны, жизнь агрегата, если только ее преждевременно не прерывает катастрофа, продолжается гораздо дольше, чем жизнь его единиц.

У холоднокровных животных реснитчатые клетки продолжают свои движения с совершенной правильностью еще долго после того как животное, часть которого они составляют, становится мертвым и недвижимым. И мышечные волокна еще сохраняют способность сокращаться под влиянием раздражений».

«Подобным же образом может прекратиться всякая торговая деятельность, всякая работа правительственной машины и т. д. которые составляют общую жизнь народа, напр., вследствие внутренних взрывов, без того, чтобы тем самым должна была прекратиться и деятельность отдельных его единиц. Некоторые классы этого народа, в особенности широко-распространенные и проживающие в более отдаленных местностях, которые занимаются производством средств питания, еще долго могут продолжать существовать и, как прежде, заниматься своим особым делом.

С другой стороны, мы видим, как каждый из мелких живых элементов, которые составляют взрослых животных, развивается, выполняет свою особую задачу, вновь распадается и, наконец, замещается другим, в то время как животное в качестве целого спокойно продолжает жить. В более глубоком слое кожи путем постоянного деления образуются клетки, которые по мере своего увеличения продвигаются наружу, затем сплющиваются, чтобы образовать эпидермис, и, наконец, отшелушиваются, уступая место находящимся под ними более молодым клеткам".

„Это замещение происходит в одних тканях очень быстро, а в других лишь медленно, но в среднем в продолжение всего существования отдельного организма каждая его частица, по крайней мере, несколько раз воспроизводится и разрушается.

То же самое происходит и с обществом и его единицами. Общество в целом, а также более крупные его подразделения, продолжают существовать из года в год, несмотря на умирание некоторого числа входящих в его состав

граждан. Совокупность живых лиц, которые, напр., производят в фабричном городе известный продукт для народного потребления, остается по истечении ста лет столь же крупной совокупностью, несмотря на то, что все мастера и рабочие, которые ее составляли, уже давно умерли. То же самое относится и к меньшим частям этого промышленного организма. Фирма, возникшая при одном из прежних поколений и продолжающая свою деятельность под именем своего основателя, быть может, несколько раз уже переменяла своих владельцев и служащих, продолжая, тем не менее, занимать то же положение и сохранять те же отношения с покупателями и продавцами. Это наблюдаем мы повсюду. Правительственные учреждения более широкого и местного характера, церковные корпорации, армия, учреждения всякого рода, вплоть до цехов, клубов, обществ взаимопомощи и т.д., обнаруживают более продолжительное существование, чем жизнь составляющих их лиц. Мало того. Из того же закона вытекает, что существование общества в целом превосходит по продолжительности существование ближайших его составных частей. Частные объединения, местные правительственные установления, второстепенные национальные учреждения, отдельные города, посвятившие себя особым отраслям промышленности, могут распасться, в то время как весь народ сохраняет свою целостность и увеличивается в размерах и сложности своего внутреннего строения.

В обоих случаях, где, таким образом, взаимно зависимые между собой функции различных отделов слагаются каждая из деятельностей многочисленных единиц, это имеет своим следствием то, что, когда эти единицы одна за другой умирают и замещаются новыми, это не влияет заметным образом на то общественное отправление, в котором они принимали участие. Каждое отдельное новое волокно мышцы в свое время изнашивается, и на его месте образуется новое, в то время как прочие продолжают, как и прежде, свои комбинированные сокращения; и отставка чиновника и смерть купца так же мало потрясают деятельность того учреждения или торгового предприятия, в которых они были заняты.

Тем самым, в социальном организме, как и в индивидуальном, жизнь целого возвышается над жизнями единиц и совершенно отлична от последних, хотя и составляется из них.

От этих черт сходства между социальным и индивидуальным организмом мы должны обратиться к чертам существенного различия между ними. Отдельные части животного составляют конкретное целое, напротив, части общества составляют раздельное, дискретное целое. В то время, как живые единицы, составляющие животное, тесно связаны между собой и находятся в ближайшем соприкосновении, единицы, образующие общество, являются свободными существами, не соприкасающимися между собой и более или менее рассеянными. Какой же может тут быть параллелизм?

Хотя это различие очень глубоко и как будто не допускает аналогии, но более тщательное исследование доказывает, что оно менее существенно, чем это могло бы показаться с первого взгляда. Ниже я докажу, что полное признание этого различия вполне совместимо с упомянутыми аналогиями; но

сначала посмотрим, как, в случае надобности, можно было бы сделать попытку доказать, что даже в этом отношении существует менее значительное противоречие, чем это кажется с первого взгляда.

Можно сказать, что в физическом смысле сложное тело животного не во всей своей массе состоит из живых единиц, но значительную часть его составляют обособившиеся части, которые были образованы жизнедеятельными частями, ставшими потом полу-живыми, и во многих случаях, наконец, совсем безжизненными. В качестве примера можно привести протоплазматический слой, который лежит под кожей, и указать на то, что он состоит из действительно живых единиц, но образующиеся в нем клетки, превращаясь в чешую эпидермиса, становятся неживыми охранительными образованиями; и по отношению к нечувствительным волосам, ногтям, рогам и т. д. можно было бы указать, что хотя подобные образования и представляют составные части тела, но едва ли их можно назвать его живыми частями. Кто пожелал бы продолжать это исследование, тот мог бы указать, что и во многих других частях тела существуют подобные слои с обильной протоплазмой, из которых вырастают ткани, составляющие разнообразные органы; эти слои одни только сохраняют полную жизнеспособность, в то время как развившиеся из них образования теряют свою жизненность по мере своей специализации, таковы, напр., хрящи, сухожилия и соединительная ткань, где это особенно заметно. Из всего этого можно вывести заключение, что, хотя тело животного и представляет одно связанное целое, но его существенные единицы, рассматриваемые сами по себе, образуют такую целостность лишь там, где находятся протоплазматические слои.

К этому можно было бы прибавить ряд фактов, которые показывают, что социальный организм, при правильном взгляде на него, представляется гораздо менее прерывистым, чем это обычно думают. Точно так же, как мы включаем в понятие индивидуального организма, на ряду с действительно живыми частями, также и менее живые и даже совсем не живые, принимающие участие в деятельности целого, так, в соответствии с этим, нам следовало бы, собственно, и в социальном организме иметь в виду не только наиболее жизненные единицы — человеческие существа, которые, главным образом, обуславливают его явления, но и всякого рода домашних животных, которые, хотя и стоят на низшей ступени жизни и подчинены человеку, все же оказывают ему свое содействие; можно было бы привлечь сюда и существа, гораздо более низки — растения, которые, размножаясь благодаря человеческой деятельности, доставляют материал для животной и человеческой деятельности. В защиту такого взгляда можно было бы указать, в какой мере эти низшие классы организмов, сосуществующие с людьми, объединенными в общества, влияют на организацию и на деятельность этих обществ; как особенности пастушеского типа зависят от природы животных, содержащихся в стадах, и как в оседлых обществах растения, из которых извлекаются предметы питания, материал для текстильных товаров и т. д., обуславливают вполне определенную форму социального уклада и жизненных проявлений. А поскольку физические и духовные особенности и образ жизни

человеческих единиц, отчасти по крайней мере, складываются в зависимости от отношений к этим растениям и животным, которые существуют благодаря людям и, в свою очередь, полезны для их жизни и потому так тесно связаны с социальной жизнью, что даже являются предметом законодательства, — постольку можно с основанием утверждать, что эти низшие формы не должны быть исключены из представления о социальном организме. Отсюда можно было бы вывести заключение, что если, кроме человеческих существ, включить в понятие общества и стоящих на менее высокой ступени животных и растения, находящиеся на занимаемой обществом земной поверхности, то перед нами будет такой агрегат, в котором непрерывность частей весьма значительно приближается к непрерывности индивидуального организма. Сходство проявляется еще и в том, что такой социальный агрегат составляется из местных объединений, состоящих из единиц, обладающих высокой жизненностью, вложенных в обширный агрегат единиц с разнообразными, более низкими степенями жизненности, каковые, в свою очередь, в известном смысле производятся, преобразуются и регулируются более высокими единицами.

Но даже не разделяя этого взгляда и допуская, что раздельность (дискретность) социального организма стоит в резком противоречии с цельностью (конкретностью) индивидуального организма, это возражение можно вполне удовлетворительно опровергнуть.

Хотя связь между частями индивидуального организма является предпосылкой для того взаимодействия, благодаря которому происходит его жизнь, и хотя члены социального организма, не составляя подобного конкретного целого, не могут и проявлять взаимодействия при помощи подобных непосредственно передаваемых от одной части к другой физических влияний, однако подобная кооперация может происходить и происходит на самом деле иным путем. Не находясь в соприкосновении между собой, они все же влияют друг на друга через пространство при помощи языка чувств, а также при помощи языка ума, устного и письменного. Для выполнения взаимозависимых действий требуется, чтобы импульсы, приспособленные друг к другу в отношении их характера, степени и времени, могли передаваться от одной части к другой. В живых существах это условие выполняется молекулярными движениями волн, которые у самых низших форм распространяются совершенно неопределенно, напротив, у более высоких форм устремляются по определенным каналам (их функция носит весьма характерное наименование „посреднической“). В человеческом же обществе та же самая функция выполняется путем знаков, выражающих чувства и мысли, каковые переносятся от одного лица к другому, сперва неопределенным образом и на короткие расстояния, но позднее в более определенной форме и на большие расстояния. Иными словами: эта посредническая функция, хотя и не проводится путем физически-передаваемых раздражений, тем не менее выполняется при помощи языка, передающего душевные и умственные движения.

Таким образом, весьма действительно устанавливается та взаимная зависимость частей, которая образует основу организации. И хотя социальный

агрегат не разделен, но конкретен, тем не менее он составляет одно живое целое.

Продолжая мысленно следовать по пути, открытому этими возражениями и ответам на них, мы наталкиваемся на другой контраст, имеющий большое значение, контраст, существенно влияющий на наше понимание целей, к достижению которых должна стремиться социальная жизнь.

Хотя эта раздельность социального организма отнюдь не препятствует прогрессирующему разделению функций и взаимной зависимости частей, однако, она не допускает такой дифференциации, при которой одна часть превращается в орган чувствования и мышления, в то время как другие части утрачивают всякую чувствительность. Высшие животные любого класса отличаются от низших своею сложной и высоко интегрированной нервной системой. Можно сказать, что в то время как у низших форм крошечные, повсюду рассеянные нервные клетки существуют лишь для блага прочих образований, у высших форм концентрированные в большие массы нервные узлы являются теми органами, в интересах которых существует все остальное. Хотя задачей и вполне развитой нервной системы является такое управление деятельностью всего тела, чтобы последнее по возможности сохраняло свою целостность, однако, конечной целью всех этих видов деятельности является в результате все же благосостояние самой нервной системы: вред, нанесенный другому органу, приобретает значительность в зависимости от того, насколько он приносит нервной системе страдание или лишает ее удовольствия. Но раздельность общества делает совершенно невозможной дифференциацию, которая могла бы возрасти до таких крайних размеров. В индивидуальном организме, где живые единицы, по большей части, длительно локализованы и прирастают к одному месту, где зарождаются, размножаются и отмирают, они в течение целого ряда поколений, благодаря отмежеванной им деятельности, подвергаются таким изменениям, что одни становятся особенно чувствительными, а другие совсем бесчувственными. Не так обстоит дело с социальным организмом. Составляющие последний единицы не соприкасаются непосредственно между собой, а также далеко не так крепко привязаны к данному положению, и потому далеко не могут так дифференцироваться, чтобы могли возникнуть совершенно нечувствительные единицы, с одной стороны, а с другой — такие, которые монополизируют бы чувство.

Впрочем, имеются некоторые следы подобной дифференциации. На самом деле человеческие существа различаются между собой по степени восприимчивости и душевных движений, вызываемых одними и теми же причинами: у одних мы находим тупость, у других исключительную восприимчивость, как характерный признак. Единицы, занимающиеся механическим трудом и ведущие скудный образ жизни, менее чувствительны, чем единицы, занимающиеся умственным трудом и лучше обеспеченные. Но хотя регулятивные аппараты социального организма, подобно таковым же индивидуального организма, и обнаруживают известную склонность специализироваться в качестве обиталища чувства, однако, эта тенденция очень

скоро встречает препятствие в том, что тут нет той физической связи, которая делает возможным длительное и постоянное разделение функций, а кроме того, этому препятствует то обстоятельство, что и механически работающие единицы для надлежащего выполнения своих функций также постоянно нуждаются в чувстве.

Таким образом, в этом лежит основное различие между обоими видами организма. В одном — сознание сконцентрировано в небольшой части агрегата, в другом — распространено по всему агрегату: все его единицы обладают способностью испытывать наслаждение и страдание, если и не в равной степени, то все же приблизительно одинаково. А поскольку нет общественного чувствилища (*sensorium*), постольку благосостояние агрегата, взятого отдельно и независимо от составляющих его единиц, не может быть целью, к которой должно стремиться. Общество существует для блага своих членов, а не члены—для блага общества. Следует всегда помнить о том, что как бы велики ни были усилия, делаемые для процветания государственного организма, все же притязания последнего сами по себе ничто и приобретают значение лишь постольку, поскольку они, до некоторой степени, воплощают в себе притязания составляющих его индивидов.

От этого последнего соображения, которое скорее является отклонением от нашей аргументации, чем ее частью, мы вернемся назад, чтобы резюмировать основания, которые побуждают нас рассматривать общество, как организм.

Общество подвержено постоянному росту. По мере его роста, части его становятся несходными между собой: таким образом, оно обнаруживает увеличение разнообразия во внутреннем строении. Вместе с тем, неодинаковые части принимают на себя выполнение деятельности разного рода. Эти разные виды деятельности не просто отличаются друг от друга, но их различия стоят в таком отношении между собой, что одна деятельность делает возможной другую. Взаимная поддержка, которую они таким путем оказывают друг другу, вызывает в свою очередь взаимную зависимость частей, и эти взаимозависимые части, живя благодаря друг другу и друг для друга, образуют агрегат, построенный на том же общем принципе, как и индивидуальный организм. Аналогия между обществом и организмом покажется еще яснее, когда мы примем во внимание, что каждый организм мало-мальски заметной величины представляет собой общество, и когда мы узнаем, что в том и в другом жизнь единиц продолжается еще некоторое время после того как жизнь агрегата внезапно прекращается, между тем, как наоборот, когда агрегат не уничтожается насильственным образом, жизнь его, в отношении продолжительности, далеко превосходит жизнь отдельных составляющих его единиц. Хотя оба эти агрегата обнаруживают важное различие, а именно: один является раздельным (дискретным), а другой—конкретным, и хотя отсюда вытекает и различие в целях, достигаемых путем организации, однако, это не ведет к различию по отношению к законам организации: требуемые взаимные влияния частей происходят и в обществе, где они проводятся не прямым путем, но косвенным".

ЗИНОВЬЕВ А. А.

Часть третья

Общество

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В сочинениях на тему об обществе обычно смешиваются условия возникновения обществ, условия их самосохранения и признаки, указываемые в определении понятия «общество». Тут имеют место частичные совпадения, но полного совпадения нет. Среди условий возникновения общества могут быть такие, которые, сыграв роль, исчезают в прошлое. Среди условий самосохранения могут появиться такие, в которых не было необходимости при возникновении. А в определении понятия указывается совокупность признаков, по которой общества отличаются от всех прочих объектов, независимо от того, как они возникают и воспроизводятся. Они предполагаются данными как эмпирическая реальность.

Назову некоторые условия возникновения обществ, знание которых важно для составления предварительного (ориентировочного) представления о том объекте, который нас интересует.

Общество образуется тогда, когда в каком-то ограниченном пространстве скапливается достаточно большое число людей и вынуждается на постоянную совместную жизнь в течение многих поколений не в силу родственных отношений (хотя они не исключаются), как это имеет место в предобществах, а по каким-то другим причинам. Например, это может быть скопление в одном регионе множества разноплеменных людей для защиты от врагов или в силу природных условий. Эти люди по крайней мере в значительной части являются чужими друг другу, а то и вообще враждебными, как это имеет место, например, при завоевании одних человекоподобных другими. Среди людей в рассматриваемом скоплении могут быть и связанные родственными узами, что очевидно, поскольку тут имеются и образуются семьи. Но в данных условиях чуждость людей друг другу приобретает решающее значение. Для общества необходим некоторый минимум людей, не связанных родственными отношениями, хотя бы для того, чтобы родственные связи утратили прежнее значение. Конечно, эти связи не исчезают совсем. Но для человека как члена общества число родственно близких людей невелико в сравнении с числом тех чужих людей, с которыми ему приходится иметь дело, не говоря уж о численности прочих членов скопления людей, с которыми ему вообще не приходится сталкиваться.

Для общества необходимо не просто скопление достаточно большого числа разрозненных людей, но нечто большее, – необходим достаточно многочисленный народ или группа народов, по каким-то причинам вынужденная объединиться. Думаю, что важнейшим случаем такого объединения является покорение одних народов другими или представителями других народов. Общество, скорее всего, образуется не столько из друзей, вынужденных враждовать, сколько из врагов, вынужденных дружить.

Рассмотренный человеческий материал в обществе подвергается дальнейшей эволюции. Высшим результатом этой эволюции является образование человеческого единства, большинство или по крайней мере наиболее важная часть которого осознает (идентифицирует) себя прежде всего в качестве граждан своего общества. Можно было бы в этом случае употребить слово «нация». Но и оно многозначно. Национальностью называют множество людей, имеющих юридическое гражданство данной страны, этническую группу, охваченное «национальной» идеологией множество жителей страны и т.д. Я буду такое человеческое единство называть гражданством.

Скопление людей, образующих общество, состоит не непосредственно из отдельных людей. Это – не толпа. Оно состоит из множества устойчивых групп. Эти группы сравнительно невелики по размерам. Если даже какие-то из них состоят из родственников, небольшая семья например, основу их образуют не родственные связи, а интересы какого-то общего (совместного) дела. Они до известной степени автономны в своей жизнедеятельности. Каждая из них имеет свои частные интересы. Последние могут совпадать для некоторых из них, могут различаться для других и даже быть противоположными, могут совпадать в одних отношениях и различаться в других. Но всем им свойственно одно общее: эти частные интересы различных групп могут быть удовлетворены только в составе объединения этих групп в единое целое. Общество возникает как общее для разнородных людей и их групп с различными интересами условие удовлетворения их частных интересов.

Возникновение общества предполагает возникновение каких-то общих интересов у разрозненных частных групп людей и порождает какие-то общие интересы общества как целого, и прежде всего – интересы самосохранения его как целого. Частные интересы никогда не совпадают полностью с общественными. Части общества всегда отдают предпочтение своим частным интересам перед общественными. Они отдают предпочтение общественным интересам только в двух случаях: когда это явно в пользу их частным интересам и когда они на это вынуждаются силой и обстоятельствами. Трудно сказать, каково соотношение добровольности и принуждения в образовании и сохранении общества. Я склонен считать, что элемент принуждения является доминирующим. Даже в тех случаях, когда общественные интересы становятся функциями отдельных людей и их объединений (учреждений, организаций), частные интересы последних не совпадают полностью с общественными, вторые становятся средством удовлетворения первых. Так что всегда требуется какое-то принуждение, чтобы общественные интересы удовлетворялись.

Человеки образуются отчасти стихийно и неосознанно, а отчасти в результате сознательно-волевых действий людей. Пропорции тех и других факторов различны. В образовании предобществ доминируют неосознанные факторы. Люди, создающие предобщества, суть скорее очеловечившиеся животные, я бы даже назвал их предлюдьми. В образовании обществ доминируют сознательные факторы.

Создатели общества осознают необходимость каких-то мер для создания или сохранения единства данного им скопления людей, принимают сознательные решения для этого и изобретают средства, реализующие их решения. Это не означает, будто люди собираются и договариваются создать именно общество, причем по некоторому разумному проекту. Ничего подобного не происходит. С этой точки зрения концепция общественного договора – наивная сказка, хотя и близкая к реальности. Сознательность тут заключается в том, что некоторые члены данного скопления людей совершают некоторое множество сознательных и волевых действий, благодаря которым в течение исторического (длительного) времени и в ожесточенной борьбе, через массу проб и ошибок, неудач и успехов формируется общество.

Сознательность действий по созданию общества не означает, будто его создатели на научном уровне понимают то, что они творят. В системе государственности западных стран занято более пятнадцати процентов работающих людей. Это – десятки миллионов человек. А многие ли из них, сознательно исполняя свои функции, имеют в головах научное понимание общественных феноменов?!

Конечно, не все люди, участвующие в процессе создания общества, в какой-то мере осознают происходящее, а только часть из них, возможно – единицы. Большинство служит лишь строительным материалом для сознательных творцов общества. К тому же последние редко осознают творимое ими так, как это делают их потомки, глядя на их деятельность с высот результатов истории. И творят они историю не как абстрактные мыслители, а как живые существа, имеющие свои личные интересы и использующие для удовлетворения их свое сознание и волю.

Общество есть продукт сознательной деятельности людей, есть их искусственное изобретение. Но это не означает, будто оно создается по произволу строителей. Если бы люди создавали общество полностью по своему произволу, никаких проблем не было бы. Они изначально жили бы как в раю. А скорее всего, никакое общество у них не получилось бы, – они передрались бы, ибо вряд ли достигли бы единства в своем произволе. Творцы общества вынуждены считаться с объективными факторами, в их числе – с социальными законами.

Сказанное не исчерпывает всех условий возникновения общества. Упомяну еще такие, как необходимость пространственных границ (внешней «оболочки»), сосредоточение основной жизнедеятельности членов общества во внутреннем его пространстве, способность добывать и производить самое необходимое для своего существования, создавать внутреннюю самоорганизацию и свой образ жизни. Общество обладает достаточно высоким уровнем суверенитета, т.е. независимости от других человеков. Для этого общество должно иметь

достаточно высокий уровень материальной культуры. Другие условия станут ясны из дальнейшего изложения.

Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000. – 638.

ЭДУАРД ШИЛЗ

ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВА: МАКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Говоря об американском обществе, об английском обществе, об арабских или африканских обществах, мы, конечно, имеем в виду что-то совсем отличное от такой добровольной ассоциации, как кооперативное общество, или дискуссионное общество, или общество по охране памятников старины. Не имеем мы при этом в виду и «общества» богатых, красивых, влиятельных и элегантно одетых людей, которых живописал когда-то «Тэтлер» и которых мы по сей день видим на страницах газет и журналов многих и многих стран мира. Нет, мы подразумеваем нечто «более глубокое», более постоянное, более укоренившееся в конститутивных свойствах человеческого бытия; мы подразумеваем нечто менее частное в своих целях, менее искусственное по своему происхождению, менее расчетливое в своих действиях, менее тривиальное, менее поверхностное. Но ведь такие качества, как глубина, основательность, постоянство и серьезность, присущи семьям, общинам, деревням – всем тем способам организации жизни, которые социологи называют «первичным сообществами». Однако эти последние могли бы быть признаны обществами только при наличии особых условий. Важнейшим из этих особых условий является самостоятельность: саморегулирование, самовоспроизводство, самозарождение.

Иными словами, социальная система является обществом только в том случае, если она не входит в качестве составной части в более крупное общество. Объединение родственников, или племя, не является частью более крупного общества, если браки заключаются между его членами; если оно имеет территорию, которую считает своей собственной; если оно пополняет свой членский состав главным образом за счет детей тех людей, которые уже являются его признанными членами; если оно имеет свою собственную систему правления; если у него есть свое собственное название и своя собственная история, то есть такая история, в которой многие его взрослые члены – или большинство таковых – видят историческое объяснение их связей со «своим собственным прошлым», и, наконец, если у него имеется своя собственная культура.

Впрочем, и кооперативное общество обладает некоторыми из этих характерных черт. У него есть свое собственное название; в известной мере оно имеет свою собственную систему правления и даже может иметь свою собственную историю, но ему недостает некоторых других чрезвычайно важных черт. Так, у него нет территории, которая была бы его исключительной собственностью; его членский состав не пополняется за счет потомков людей, уже являющихся его членами; что же касается его системы правления, то она должна функционировать в рамках законов, установленных более могущественным институтом правления, осуществляющим свою власть над территорией, на которой расположено кооперативное общество. Исключительность категории, которую мы хотим выделить из ряда других, состоит в том, что она представляет собой такую социальную систему, которая обладает генетической историей и своей собственной территорией, имеет отдельные части, но сама не является частью более широкой системы власти, осуществляемой над данной территорией и сосредоточенной где-то в другом месте. Определение общества применительно к современному предполагает существование семей, общин и городов, церквей и сект, штатов и провинций, школ и университетов, фирм, ферм, промышленных предприятий и кооперативных обществ, причем все они взаимно проникают друг в друга и взаимно обслуживают друг друга в пределах общей территории, имеющей определенные границы; обладают общей всеобъемлющей системой власти вырабатывающей и проводящей в жизнь правила и нормы, ликвидирующей или улаживающей конфликты. Но подобное определение вполне применимо и к несовременным, прежде всего аграрным, обществам с менее дифференцированными институциональными системами. В подобных обществах понятие общества также предполагает наличие родственных и территориальных единиц, религиозных убеждений и религиозной организации, экономической организации и т.д. Главное, что все эти категории являются единицами, или подсистемами, более широкого целого. Сами по себе они не являются самостоятельными, но зато самостоятельно это более широкое целое.

Что же входит в общества? Как мы уже говорили, наиболее дифференцированные из них состоят не только из семей и родственных групп, но также из ассоциаций, союзов, фирм и ферм, школ и университетов, армий, церквей и сект, партий и многочисленных других корпоративных органов или организаций, которые в свою очередь имеют границы, определяющие круг членов, над которым соответствующие корпоративные власти – родители, управляющие, председатели и т.д. и т. п. – осуществляют известную меру контроля. Сюда входят также системы, формально и неформально организованные по территориальному принципу – общины, деревни, округа, города, районы,— причем все они тоже имеют некоторые черты обществ. Далее, сюда входят неорганизованные совокупности людей внутри обществ – социальные классы или слои, занятия и профессии, религии, языковые группы,— которые обладают культурой, присущей в большей степени тем, кто имеет определенный статус или занимает определенное положение, чем всем остальным. Почему же все эти образования или некоторые из них не являются

обществами? Мы уже дали ответ на этот вопрос, но теперь мы сформулируем его несколько иначе. Каждое из этих образований осуществляет имеющуюся у него власть внутри структуры или в условиях подчинения общей власти, которая находится за их пределами и представляет собой власть всего общества.

Само собой разумеется, независимость и самостоятельность относительно. Ни одна социальная система, которую мы называем обществом, не является полностью самостоятельной или независимой. Лишь очень немногие общества, признаваемые нами в качестве таковых, пополняют свое население исключительно за счет естественного его прироста. У большинства достаточно крупных обществ нет единой истории – ее заменяет смесь историй различных народов, включенных в данное общество путем завоевания или иммиграции. У некоторых обществ нет четко очерченных территориальных границ, причем в прошлом обществ с нечетко обозначенными границами было относительно больше, чем в наше время. Ни одно современное общество не обладает культурой, которая была бы исключительно его собственной. Даже у лучших и наиболее прочно утвердившихся обществ Северной Америки или Западной Европы культуры не являются абсолютно самобытными. Соединенные Штаты имеют общий язык и литературу с Великобританией, Мексика – с Испанией. Франция имеет общий язык с отдельными частями Бельгии и Швейцарии, а также с теми странами Африки, где говорят по-французски, а культуру свою она разделяет с большей частью мира. Ни одно общество, в котором наука поставлена на современную ногу, не является независимым в научном отношении: даже самые передовые по своему научному развитию страны заимствовали и заимствуют многие из своих основополагающих научных идей у других стран.

В экономическом отношении также нет ни одного общества, которое было бы полностью самообеспечивающимся и независимым. Все общества осуществляют импорт из других стран и экспорт в другие страны. Они связаны друг с другом сложными взаимоотношениями и договорными обязательствами, которые они обычно соблюдают и нарушение которых чревато для них невыгодными последствиями (хотя и не всегда).

В наше время одним из характерных признаков общества является суверенитет по отношению к другим суверенным государствам – впрочем, что-то вроде суверенитета всегда было отличительной чертой обществ даже в те эпохи и в тех культурах, которым была неведома нынешняя четкая концепция суверенитета. Кстати, сегодня, когда понятие суверенитета получило сравнительно четкое определение, Организация Объединенных Наций представляет собой нарушение суверенитета. Споры нет, нарушение это не так уже велико, но тем не менее оно остается нарушением – не столько ввиду наличия у Организации Объединенных Наций сколько-нибудь реальной принудительной власти, сколько ввиду мнений, выражаемых и отражаемых ее органами.

Таким образом, мы видим, что полная самостоятельность не является абсолютно необходимым предварительным условием определения социальной

системы как общества. Для того чтобы быть обществом, социальная система должна обладать своим собственным внутренним «центром тяжести», то есть она должна иметь свою собственную систему власти в рамках своих собственных границ. Кроме того, она должна иметь свою собственную культуру. Какую-то часть своей культуры она по необходимости разделяет с другими обществами, от которых происходит и с которыми поддерживает отношения. Другая же часть этой культуры самобытна и принадлежит только ей. Эта культура составляется из убеждений, касающихся истории и характера данного общества, его связи с определенными идеальными или трансцендентными ценностями, его происхождения и предназначения. Сюда же входят убеждения о правомерности его существования как общества и о качествах, дающих членам общества право принадлежать к нему. Разумеется, культура включает в себя произведения искусства, литературы и отвлеченной мысли, многие из которых посвящены упомянутым убеждениям. Общества имеют тенденцию быть «национальными».

Современные «национальные» общества – общества, претендующие на то, что они служат воплощением национального единства, и обладающие своими собственными национальными культурами, своими собственными, скорее независимыми, чем зависимыми, экономическими системами, своими собственными системами правления, своим собственным генетическим самовоспроизводством и своим собственным суверенитетом над территорией, обозначенной границами, – представляют собой наиболее самостоятельные из всех социальных систем, известных нам из истории человечества, самые независимые общества своих эпох.

II

Итак, мы убедились в том, что общество – это по просто совокупность объединившихся людей, изначальных и культурных коллективов, взаимодействующих и обменивающихся услугами друг с другом. Все эти коллективы образуют общество в силу своего существования под общей властью, которая осуществляет свой контроль над территорией, обозначенной границами, поддерживает и насаждает более или менее общую культуру. Именно эти факторы превращают совокупность относительно специализированных изначальных корпоративных и культурных коллективов в общество.

На каждой из составных частей лежит печать принадлежности к обществу, именно к данному обществу и ни к какому другому. Одна из многочисленных задач социологии, и в частности ее конкретной отрасли, получившей название макросоциологии, состоит в освещении механизмов или процессов, в силу которых это собрание, или совокупность, изначальных корпоративных и культурных групп функционирует как общество.

Главными факторами, создающими и сохраняющими общество, являются центральная власть, согласие и территориальная целостность. Центральная власть формирует общество не просто через посредство осуществляемой ею фактической власти над любыми конкретными действиями в любых

конкретных обстоятельствах, хотя подобные акты власти и имеют важное значение, как таковые. Конкретные акты власти, кроме того, производят остаточное действие на тех, по отношению к кому они применяются. Это остаточное действие складывается из: 1) сосредоточения внимания на центре; 2) чувства отождествления с другими людьми, тоже ощущающими свою подчиненность той же власти, – всеми теми, кто разделяет территорию, над которой осуществляется власть; и 3) убеждения в правомочности власти действовать так, как она действует. Вот эти-то три остаточных эффекта подчиненности общей власти и превращают лиц, подчиняющихся ей, в членов данного общества, формируя их представления и убеждения. Экологическая взаимозависимость и принудительная власть еще не образуют необходимую обществу культуру, хотя и весьма способствуют ее возникновению.

Эти три остаточных эффекта входят в культуру, то есть в убеждения и символы членов общества. Членство в обществе, как таковое, само по себе не создает культуры общества. Культура общества является продуктом творческих усилий и щедрой фантазии творческих личностей – религиозных пророков и святых, ученых, великих (и не только великих) писателей, художников, журналистов, философов, старейшин и мудрецов, – чье мирозерцание приходится по сердцу их современникам и потомкам. Культура представляет собой продукт потребности простых, творчески менее одаренных людей иметь представление об окружающем их мире, помогающее осмыслить важнейшие события человеческого бытия, объяснить их причины и отличить хорошее от дурного. Главная культура общества и его варианты культуры являются в известной мере самозарождающимися. Никогда еще не бывало, чтобы они были полностью созданием существующих центральных властей какого бы то ни было общества (да и не полностью – весьма редко).

Вместе с тем три упомянутых мною выше остаточных эффекта усваиваются культурой различных культурных групп. Происходит это в силу того, что создатели культуры сплошь и рядом непосредственно касаются в своих религиозных проповедях или философских рассуждениях, в своих литературных трудах или произведениях изобразительного искусства фактов и символов центральной власти. Центральная власть занимает их мысли, и они не могут не думать о ней. Дело в том, что могущество и величие центральной власти имеют обертоны, которые конститутивно входят в мир мыслей и чувств творческих личностей. Кроме того, три остаточных эффекта центральной власти принадлежат к сфере убеждений, и в этом своем качестве они сами представляют собой часть культуры. Они к тому же не могут не соединяться и не сплавляться самыми различными способами с продуктами или содержанием самостоятельно возникающей религиозной, литературной, художественной и умозрительной или философской культуры.

Итак, вследствие этих процессов каждое общество приобретает наряду с центральной системой власти – которая, как мы убедимся ниже, никоим образом не сводится исключительно к власти правительственной, политической или военной – центральную культурную систему. Эта центральная культурная система складывается из тех убеждений и экспрессивных символов, которые имеют

отношение к центральной институциональной системе и к категориям, превосходящим эту центральную институциональную систему и отражающимся на ней. Центральная культурная система имеет свою собственную институциональную систему: церкви, секты, школы, университеты, библиотеки, музеи и т. п. Элиты людей, управляющие этими культурными институтами, вступают в многообразные и тесные отношения с центральной институциональной системой и становятся ее частью. Система образования представляет собой такую часть комплекса институтов центральной власти и культурных институтов, которая внедряет значительные компоненты центральной культурной системы в другие секторы общества. Тем самым она способствует формированию и распространению общей культуры.

Центральная культурная система в большинстве обществ включает в себя за основную часть времени их существования многие продукты культуры, положительно ориентированные по отношению к центральной институциональной системе. Там, где центральная культурная система преимущественно отчуждается от центральной институциональной системы или же никогда не достигает единства с ней, центральная институциональная система утрачивает (либо вообще не приобретает) некоторую толику своей законности, а вместе с тем и своей способности мирно и эффективно осуществлять свою власть. Это приводит к резким конфликтам и подготавливает коренные изменения.

III

Каждое общество, рассматриваемое под макросоциологическим углом зрения, может быть представлено как центр и периферия. Центр состоит из тех институтов (и ролей), которые осуществляют власть, будь то власть экономическая, правительственная, политическая, военная или культурная (в области религии, литературы, образования и т.д.). Периферия же состоит из таких слоев, или секторов, общества, которые воспринимают распоряжения и убеждения, вырабатываемые и назначаемые к распространению помимо них. Периферия слагается из множества сегментов; она, можно сказать, охватывает обширную сферу вокруг центра. Одни секторы общества более периферийны, другие – менее. Чем более периферийное положение они занимают, тем менее они влиятельны, менее созидательны, менее проникнуты культурой, исходящей из центра, и менее непосредственно охватываются властью центральной институциональной системы.

Центр не только заставляет повиноваться, но и завладевает вниманием. Он обладает властью притягивать умы, которая захватывает воображение и зачастую приковывает к себе все мысли людей. Он и сам стремится к этому – хотя, впрочем, в разной степени при различных режимах – и автоматически достигает этого в силу самого факта своего существования.

Следует в скобках отметить, что все общества, имеющие обширную территорию, обычно обладают также и пространственным центром, который является или считается местоположением центральной институциональной и центральной культурной систем. Большинство населения смотрит на центр

(или центры), как на источник руководящих указаний, инструкций и распоряжений, касающихся поведения, стиля жизни и убеждений. Центр определенного конкретного общества может также быть в некоторых отношениях центром других обществ (так, например, Париж в течение нескольких веков являлся культурным и художественным центром не только Франции, но и значительной части Европы, а также Африки, говорящей на французском языке).

Пока мы рассуждали об обществе вообще – почти как если бы все общества были одинаковы. Но общества отнюдь не одинаковы. Подобно тому как непохожи друг на друга семьи и семейные системы в разные эпохи в разных обществах и районах, подобно тому как непохожи друг на друга университеты и университетские системы, отличаются друг от друга и общества. С точки зрения нашего макросоциологического анализа наиболее интересно их отличие друг от друга в плане отношений между центром и периферией.

В одних обществах отношения между центром и периферией более интенсивны, в других – менее. Тогда как в некоторых обществах, где имеется главный центр, существуют также и второстепенные центры, наличие которых ослабляет центральную роль главного центра, в обществах того типа, на которых мы собираемся сейчас остановиться, существует центр, исключаящий все прочие центры и стремящийся взять на себя их функции. Другими словами, периферия в рассматриваемом типе общества испытывает более интенсивное, более непрерывное вмешательство со стороны центра. В подобных обществах центр и периферия, кроме того, отделены большой дистанцией друг от друга: они редко сближаются, но зато из центра постоянно исходит направленный наружу поток распоряжений и убеждений, которыми деятели центра пытаются пропитать периферию. Именно к этому образцу стремились некоторые общества XX века. Элиты этих обществ старались навязать массе населения, вплоть до обитателей мельчайших и самых захолустных сельских районов, свои собственные убеждения по каждому вопросу; они также стремились добиться того, чтобы поведение масс полностью соответствовало образцам и предписаниям, исходящим из центра. Центр господствует над периферией и пропитывает ее – во всяком случае, он стремится к этому и в известной степени добивается успеха. Общество становится более интегрированным – от центра к периферии – в своих убеждениях и действиях.

Таков один из типов модели односторонних отношений между центром и далеко отстоящей от него периферией. Другой тип гораздо чаще встречался в мировой истории. Он тоже характеризуется наличием большой дистанции между центром и периферией, но в обществе этого второго типа периферия преимущественно, то есть большую часть времени и в большинстве сфер действия и убеждений, лежит за пределами радиуса действия центра. Самые отдаленные от центра окраины периферии остаются вне его досягаемости, и, если не считать эпизодического сбора налогов и дани да возложения время от времени некоторых повинностей, периферия предоставлена самой себе. Эти отдаленные зоны периферии, в которых, возможно, сосредоточено большинство

населения общества, имеют свои собственные относительно независимые центры. Более того, во многих важных отношениях эта модель находится на самой границе нашего представления о том, что является обществом. Здесь существует лишь минимум общей культуры, а проблема законности возникает лишь от случая к случаю ввиду чрезвычайно нерегулярного характера действий правительства. Обычно в таких обществах слабо развита общественная политическая жизнь; та общественная жизнь, которая происходила в них, и вся их тайная политическая жизнь осуществлялись либо в самом центре, либо в самой непосредственной близости от его внешних кругов.

Эта модель была характерна для больших бюрократически-имперских обществ, которые, несмотря на устремления – то усиливающиеся, то ослабевающие – их правителей к более высокой степени интеграции, в общем и целом были минимально интегрированными обществами. Модель бюрократически-имперских обществ, напоминающая тоталитарные общества нашего века в том, что касается различия центра и периферии по высоте положения, полярно противоположна тоталитарным обществам в том, что касается объема господства и степени пропитывания периферии, которых домогался и фактически добивался центр.

Существует и промежуточная модель общества, характеризующаяся большой дистанцией между центром и периферией. Здесь эта дистанция заполняется целой лестницей уровней власти, каждый из которых в известной степени самостоятелен, но признает главенствующую роль большого центра. Примерами этой модели, характеризующейся наличием главного центра и множества субцентров, являются феодальные системы (и в меньшей степени федеральные системы). Феодальное поместье было маленьким квазиобществом. Его неполнота была обусловлена производным характером власти владельца поместья от власти феодала, стоящего над ним в иерархии знати, и зависимостью его культуры и культуры, которую он стремился привить своим подданным, от культуры королевства и связанного с ним религиозного института.

Кроме того, имеются общества, в которых центр и периферия не отстоят далеко друг от друга. Некоторые из так называемых традиционных или родоплеменных африканских обществ в определенных отношениях напоминали древнегреческий полис: почти все люди там лично знали друг друга. В подобных обществах, даже когда правители и управляемые не соединялись в одном лице, оба эти слоя характеризовались связывавшим их друг с другом сильным чувством близости, взаимной привязанности. Они были «ближе» друг к другу.

Подобную близость правителей и управляемых, элит и масс можно обнаружить и в современных «массовых обществах». Эти последние гораздо более сложны и дифференцированы, чем прочие общества, где имеет место сходная близость. Вот почему обнаруживаемая современными «массовыми обществами» близость не проявляется в ситуациях личного контакта между обитающими в центре и обитающими на периферии. Ощущение приблизительного равенства скорее проявляется через представительные институты, а в конечном счете – через сознание близости, через убеждения в

общности существования у всех или большинства членов общества определенных важнейших качеств, которые, как предполагается, приблизительно равномерно распределены между ними. Самые важные из них – это простой и не поддающийся определению факт человеческой сущности и ясный и очевидный факт членства в гражданском сообществе, находящий свое проявление в долгом проживании в нем.

IV

Таково одно из главных отличий современных индустриальных обществ от обществ предшествовавших эпох и обществ Востока. Тогда как практически во всех крупных обществах, предшествовавших современному массовому обществу, и в большинстве малых обществ, переросших свою родовую основу, считалось, что харизма пребывает в центре, в современном массовом обществе считается, что харизма распределена более широко. Общая культура в современном массовом обществе включает в себя убеждение в том, что люди, как таковые, в силу самого своего членства и национальной общности и своего проживания на общей для них всех территории, имеющей определенную границу, обладают харизматическим качеством, которое ранее считалось достоянием элит центральных институциональных и культурных систем.

Что же представляет собой упомянутое харизматическое качество? Это такое качество, которым обладает либо отдельный человек, либо класс, либо род, либо совокупность ролей. Данным качеством обладают в силу «связанности» с «метафизической сущностью» или «проникнутости» ею. Эта метафизическая сущность представляет собой творение человеческого разума, который сознает, что некоторые вещи в жизни имеют особо важное значение – настолько важное, что они требуют к себе почтения, уважения, пиетета. Коронное их значение обусловлено их «абсолютным» характером – абсолютным в смысле чего-то предельно справедливого, доброго и сильного.

На протяжении большей части истории человечества понятно «абсолютное» символизировалось в виде понятия «божество»; и даже теперь, в эпоху, когда по крайней мере образованные классы менее религиозны в любом традиционном смысле, чем когда бы то ни было раньше, эта концепция абсолютного по-прежнему сплошь и рядом определяется в категориях, носящих на себе отпечаток религиозных образов. Но независимо от того, формулируется ли эта метафизическая сущность в традиционных религиозных категориях или в категориях современной политической теории, трактующей о «правах человека» либо «суверенитете народа», факт остается фактом: население периферии изменило свой статус по отношению к центру. Оно приобрело некоторые из основных качеств, которые некогда считались монополией центра и доступ к которым, как полагали, был возможен только лишь через посредство центра, как это имело место при отправлении священниками религиозных обрядов либо при предоставлении светскими правителями титулов, рангов и привилегий.

Попытка объяснить данную переменную увела бы нас далеко в сторону. Здесь достаточно будет сказать, что ей в значительной степени способствовали экономический прогресс по пути повышения производительной способности национального хозяйства, перемены в политических институтах и идеях, придавшие обитателям периферии большее влияние и вес, более широкое распространение образования и сдвиги в религиозных верованиях в сторону большего равенства.

V

Важным следствием этого начавшегося на Западе сдвига в культуре современных обществ явилась деколонизация – рост националистических движений на колониальных территориях и создание многочисленных новых государств в Азии и Африке. Перед тем как попасть под империалистическое господство европейских стран, Азия состояла из обществ того типа, который, как говорилось выше, характеризовался большой дистанцией между центром и периферией. В странах с феодальными либо бюрократически-имперскими режимами контакт между правителями и управляемыми осуществлялся лишь эпизодически, а чувство близости, привязанности между ними было крайне слабо. Центр не пропитывал периферию.

В подобных условиях непрочной интеграции приход нового иностранного правящего класса, с негодованием встреченный прежними правителями, на первых порах был с безразличием воспринят периферией. Иностранное правление и постепенное частичное включение колониальных обществ в экономическую систему, государственный строй и культуру западного общества вызвали в обществах, находившихся под колониальным господством, весьма важные сдвиги. Создание небольшого класса образованных людей, урбанизация, некоторое усовершенствование методов ведения сельского хозяйства и какая-то, пусть незначительная, степень индустриализации – все это вызвало к жизни некоторые из тех же самых тенденций, которые в прошлом действовали в более широком масштабе в Западной Европе и в Америке. Здесь и там на колониальных территориях (и у отдельных людей и организаций) стало возникать стремление к созданию общества, более сходного с обществом, развившимся на Западе. Правда, в какой-то мере это стремление обуславливалось самим содержанием западного образования и западной политической мысли. Однако это культурное влияние было лишь частью более широкой картины.

Начали изменяться основные установки. Возникло стремление к образованию общества с большей близостью между центром и периферией. [...]

VI

[...] Однако, после того как изменилось содержание чувства близости, а правительства стали более активными и сильными, главный центр общества начал подчинять себе менее важные центры. Ему так и не удалось полностью уничтожить эти второстепенные центры – даже в обществах, правители которых стремились к тоталитарному господству; но сдвиг в сторону

преобладания главного центра все-таки произошел. Этот сдвиг с неизбежностью изменил круг понятий, охватываемых тенденцией к замкнутости. Теперь замыкалось то, что проявлялось среди обитателей более обширной территории. Место родственной связи и принадлежности к деревне и племени стало занимать гражданство. Биологические изначальные критерии не были полностью упразднены. Сохраняется семья, а этническая общность даже выдвинулась на первый план, заменив собой расширенную родственную и родовую общность.

Этническая общность представляет собой умозрительный конструкт, причем, когда более широкая территориальная общность стала главным критерием для распознавания своих соотечественников, этническая общность сублимировалась и трансформировалась в общность национальную. Даже когда национальная общность освобождалась от этнической (или расовой) общности, в концепции национальной общности по-прежнему оставалось много от мифологии, поскольку она является плодом воображения.

Независимо от того, является она мифологической или нет, национальная общность образует ныне существенный компонент – компонент культуры— современных обществ. В некоторых из этих обществ, например обществах Азии и Африки, которые не стали еще обществами в современном смысле слова и для которых по сей день типичны слабости центра и значительная сила родовых, этнических и местных субцентров, национальная общность еще недостаточно упрочилась в широкой массе населения. По этой причине центр остается слабым. Впрочем, если административный аппарат и аппарат по поддержанию порядка будут укреплены (или останутся сильными), а экономика приобретет общенациональный либо рыночный характер, главный центр покорит периферию и завладеет умами живущих там. Тем самым центр мало-помалу станет не только центром институциональной системы, но также и центром культурной системы. Таким способом новым государствам, возможно, удастся стать современными – то есть интегрированными – обществами, каковыми в настоящее время хотят их сделать некоторые члены их элит.

Интегрированные общества, в которых прочно утвердились системы власти, институциональные и культурные системы, могут стать гражданскими обществами, характеризующимися широким распространением добродетелей, требуемых для эффективных гражданских отношений. Это может произойти в тех случаях, когда замыкание вокруг центра сопровождается сближением центра и периферии. Именно по этому пути шли в течение последних полутора столетий страны Западной Европы, Соединенные Штаты и Австралия, а в меньшей степени—Япония и Канада. В этих странах взаимный обмен между центром и периферией и сопутствующее этому обмену повышенное чувство близости привлекли в центр более значительную долю населения и до некоторой степени уничтожили границу, отделявшую в прошлом центр от периферии. [...]

Эдуард Шилз **Общество и общества: макросоциологический подход // Американская социология. Перспективы, проблемы, методы / Пер. с англ. Редакция и вступительная статья д. филос. н. Г.В. Осипова. – Изд-во «Прогресс». – М., 1972.**

ПИТЕР БЕРГЕР, ТОМАС ЛУКМАН

Глава 2

ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

1. Институционализация

а. Организм и деятельность

Человек занимает особое положение в животном царстве. В отличие от других высших млекопитающих, у него нет ни специфической для данного вида окружающей среды, ни жестко структурированной его собственной инстинктуальной организацией окружающей среды. Не существует человеческого мира в том смысле, в каком можно говорить о мире собак или лошадей. Несмотря на определенную степень индивидуального научения и приручения, каждая отдельная лошадь или собака весьма прочно связаны со своим окружением, и эта взаимосвязь характерна для других представителей соответствующего вида. Очевидным следствием этого оказывается то, что, по сравнению с человеком, собаки и лошади гораздо в большей степени зависят от ограничений того или иного географического размещения. Однако специфика окружающей среды этих животных не сводится лишь к географическому размещению. Эта специфика проявляется в биологически фиксированном характере взаимосвязи этих животных с окружающей средой, даже если установлены различия географического характера. В этом смысле все животные, кроме людей, и как виды, и как индивиды живут в закрытых мирах, структуры которых предопределены биологическим оснащением отдельных видов животных.

Взаимосвязь человека с его окружающей средой, напротив, характеризуется открытостью миру. Не только человек преуспел в том, что обосновался на большей части земной поверхности, но его взаимосвязь с окружающей средой повсюду обусловлена его собственной, весьма несовершенной, биологической конституцией. Конечно, последняя позволяет человеку заниматься разными видами деятельности. Однако тот факт, что он продолжал вести кочевой образ жизни в одном месте и земледельческий – в другом, не может быть, объяснен в терминах биологических процессов. Это, конечно, не означает, что не существует биологических ограничителей для связей человека с окружающей средой; его специфически-видовой сенсорный и моторный аппарат накладывает очевидные ограничения на весь спектр его

возможностей. Специфичность биологической конституции человека заключается скорее в ее инстинктуальном компоненте.

В сравнении с другими высшими животными инстинктуальную организацию человека можно считать недостаточно развитой. Конечно же, у человека есть стимулы. Но эти стимулы в высшей степени неспециализированны и ненанравленны. Это значит, что человеческий организм может использовать свой конституционально данный аппарат в очень широком и постоянно меняющемся спектре разных видов деятельности. Эта специфичность человеческого организма, коренится в его онтогенетическом развитии. Действительно, если взглянуть на этот вопрос с точки зрения организмического развития, можно сказать, что эмбриональный период у человеческого существа продолжается еще в течение года после рождения. Жизненно важные процессы организмического развития, которые у животных завершаются в чреве матери, у ребенка происходят и после его появления на свет. Однако в это время человеческое дитя не просто находится во внешнем мире, но и взаимодействует с ним самыми различными способами.

Человеческий организм все еще биологически развивается, хотя уже находится во взаимосвязи со своим окружением. Иными словами, процесс становления человека происходит во взаимосвязи с окружающей средой. Это утверждение приобретает особое значение, если помнить, что окружающая среда является как природной, так и человеческой. То есть, развиваясь, человек взаимодействует не только с природной окружающей средой, но и с особым социо-культурным порядком, опосредуемым для него значимыми другими, которые несут за него ответственность. Не только выживание ребенка зависит от определенных социальных порядков, но и направление его организмического развития социально детерминированно. С самого рождения организмическое развитие человека и большая часть его биологического существа как такового подвергаются постоянному вмешательству со стороны общества.

Несмотря на очевидные физиологические пределы различных возможных способов становления человека в этой двойной взаимосвязи с окружающей средой, человеческий организм проявляет необычайную пластичность, касающуюся его реакции на воздействия окружающей среды. Это становится особенно очевидным, когда наблюдаешь гибкость биологической конституции человека, подвергающейся самым разнообразным социо-культурным детерминациям. В этнологии общепризнано, что способы становления и существования человека столь же многочисленны, сколь и человеческие культуры. Человеческая природа – социо-культурная переменная. Иными словами, не существует человеческой природы в смысле некоего биологически фиксированного субстрата, определяющего многообразие социо-культурных образований. Человеческая природа существует лишь в смысле антропологических констант (например, открытость миру и пластичность инстинктуальной структуры), определяющих границы и возможности человеческих социо-культурных образований. Но специфическая форма проявления человеческой природы определяется этими социо-культурными

образованиями и соответствует их многочисленным разновидностям. Хотя можно сказать, что у человека есть природа, гораздо важнее сказать, что человек конструирует свою собственную природу или, проще говоря, что человек создает самого себя. [...]

Период, в течение которого человеческий организм завершает свое развитие во взаимосвязи с окружающей средой, – это также и период формирования человеческого Я. Формирование Я тогда следует рассматривать в связи с непрерывным организмическим развитием и социальным процессом, в котором природное и человеческое окружение опосредуются значимыми другими. Генетические предпосылки Я, конечно, являются врожденными. Однако то Я, которое впоследствии воспринимается в качестве субъективно и объективно распознаваемой идентичности, врожденным не является. Те же самые социальные процессы, которые детерминируют завершение развития организма, формируют Я, в его особой, соответствующей данной культуре, форме. Характер Я как продукта данного общества не сводится к отдельной конфигурации, с которой индивид отождествляет себя (например, «в качестве человека», идентичность которого тем или иным образом определяется и формируется в рассматриваемой культуре), а представляет собой всесторонний психологический аппарат, служащий дополнением к определенному рода конфигурации (например, "человеческие" эмоции, установки и даже соматические реакции). Поэтому нет нужды говорить, что организм, а тем более Я нельзя адекватно понять отдельно от конкретного социального контекста, в котором они были сформированы.

Общее развитие человеческого организма и человеческого Я в социально детерминированной окружающей среде зависит от особой человеческой взаимосвязи между организмом и Я. Эта взаимосвязь является эксцентрической. С одной стороны, человек есть тело в том же самом смысле, как это можно сказать о любом другом животном организме. С другой стороны, человек имеет тело. То есть человек, воспринимает себя как существо, не идентичное своему телу, а, напротив, имеющее это тело в своем распоряжении. Другими словами, восприятие человеком самого себя всегда колеблется между тем, что он является телом и обладает им, и равновесие между ними нужно вновь и вновь восстанавливать. Эта эксцентричность восприятия человеком своего тела имеет определенные последствия для анализа человеческой деятельности как поведения в материальной окружающей среде и как экстернализации субъективных значений. Для адекватного понимания любого человеческого феномена следует принимать в расчет оба эти аспекта на том основании, что корни их в фундаментальных антропологических фактах.

Из сказанного выше должно быть понятно, что утверждение о том, что человек создает себя сам, никоим образом не означает своего рода прометеевского видения заброшенного индивида. Создание человеком самого себя всегда и неизбежно – предприятие социальное. Люди вместе создают человеческую окружающую среду во всей совокупности ее социо-культурных и психологических образований; ни одно из которых нельзя понять в качестве продуктов биологической конституции человека, которая, как уже отмечалось,

устанавливает лишь внешние пределы производительной деятельности человека. Подобно тому как человек не может развиваться как человек в изоляции, так и человеческую окружающую среду он не может создавать в изоляции. Одинокое человеческое существование – это существование на животном уровне (которое человек, безусловно, разделяет с другими животными). Как только наблюдаются феномены специфически человеческие, мы вступаем в сферу социального. Специфическая природа человека и его социальность переплетены необычайно сложно. Homo Sapiens всегда и в той же степени есть Homo Socius.

Человеческому организму недостает необходимых биологических средств, чтобы обеспечить стабильность человеческого поведения. Человеческое существование, если бы оно опиралось только на ресурсы организма, было бы весьма хаотическим. Хотя подобный хаос и можно представить в теории, на практике он маловероятен. В действительности человеческое существование помещено в контекст порядка, управления, стабильности. Тогда возникает вопрос: откуда берется существующая в реальности стабильность человеческого порядка? Ответ можно дать на двух уровнях. Сначала можно указать на очевидный факт, что данному социальному порядку предшествует организмическое развитие любого индивида. То есть, хотя открытость-миру и свойственна биологической природе человека, преимущественные права на нее всегда предъясвляет социальный порядок. Можно сказать, что свойственная биологической природе человеческого существования, открытость-миру всегда трансформируется (и, в сущности, должна быть трансформирована) социальным порядком в относительную закрытость-миру. Несмотря на то что эта закрытость никогда не может приблизиться к закрытости животного существования хотя бы только потому, что она создана человеком и имеет "искусственный" характер, тем не менее в большинстве случаев она в состоянии обеспечить управление и стабильность большей части человеческого поведения. Вопрос можно перевести в другую плоскость, спросив, каким образом возникает сам социальный порядок.

Наиболее общий ответ на этот вопрос таков: социальный порядок – это человеческий продукт или, точнее, непрерывное человеческое производство. Он создается человеком в процессе постоянной экстернализации. Социальный порядок в своих эмпирических проявлениях не является биологически данным или происходящим из каких-либо биологических данных. Нет нужды добавлять, что социальный порядок не является также данностью человеческой природной среды, хотя отдельные ее черты могут быть факторами, определяющими те или иные характеристики социального порядка (например, экономические мероприятия; технологические приспособления). Социальный порядок не является частью "природы вещей" и не возникает по "законам природы". Он существует лишь как продукт человеческой деятельности. Никакой другой онтологический статус ему нельзя приписать без того, чтобы окончательно не запутать понимание его эмпирических проявлений. И в своем генезисе (социальный порядок как результат прошлой человеческой деятельности), и в своем настоящем (социальный порядок существует, только

поскольку человек продолжает его создавать в своей деятельности) – это человеческий продукт. Хотя социальные продукты человеческой экстернализации имеют характер *sui generis* по отношению к их организмическому контексту и природной среде, важно подчеркнуть, что экстернализация как таковая есть антропологическая необходимость. Человеческое существование невозможно в закрытой сфере внутреннего бездействия. Человек должен непрерывно экстернализовать себя в деятельности. Эта антропологическая необходимость коренится в биологическом аппарате человека. Внутренняя нестабильность человеческого существования вынуждает его к тому, чтобы человек сам обеспечивал стабильное окружение для своего поведения. Человек должен сам классифицировать свои влечения и управлять ими. Эти биологические факты выступают в качестве необходимых предпосылок создания социального порядка. Иначе говоря, хотя ни один из существующих социальных порядков не может быть установлен на основе биологических данных, необходимость в социальном порядке как таковом возникает из биологической природы человека.

Чтобы понять причины (отличные от тех, в основе которых лежат биологические константы) возникновения, поддержания и передачи социального порядка, следует проанализировать то, что содержится в теории институционализации.

б. Истоки институционализации

Всякая человеческая деятельность подвергается хабиутализации (т.е. опривычиванию). Любое действие, которое часто повторяется становится образцом, впоследствии оно может быть воспроизведено с экономией усилий и *ipso facto* осознано как образец его исполнителем. Кроме того, хабиутализация означает, что рассматриваемое действие может быть снова совершенно в будущем тем же самым образом и с тем практическим усилием. Это касается деятельности как в социальной сфере, так и вне ее. Даже изолированный индивид на вошедшем в поговорку пустынном острове делает свою деятельность привычной. Когда он просыпается утром и возобновляет свои попытки построить каноэ из спичек, он может бормотать себе под нос «Попробую-ка я снова» по мере того как он приступает к процедуре, состоящей, скажем из десяти шагов, и делает первый шаг. Другими словами, даже одинокий человек находится в компании тех действий, которые он должен совершить.

Конечно, действия, ставшие привычными, сохраняют для индивида свой многозначительный характер, хотя значения, которые они содержат, включаются в качестве рутинных в общий запас знания, считающийся само собой разумеющимся и наличным для его планов в будущем. Важным психологическим последствием хабиутализации оказывается уменьшение различных выборов. Хотя в теории могут существовать сотни способов проектирования строительства каноэ из спичек, в процессе хабиутализации они сводятся к одному. Это освобождает индивида от бремени "всех этих решений",

принося психологическое облегчение, основанием которого является ненаправленная инстинктуальная структура человека. Хабитуализация предусматривает направление и специализацию деятельности, которых недостает биологическому аппарату человека, ослабляя тем самым аккумуляцию напряжений как следствия ненаправленных влечений. И, предусматривая стабильную основу протекания человеческой деятельности с минимумом затрат на принятие решений в течение большей части времени, хабитуализация освобождает энергию для принятия решений в тех случаях, когда это действительно необходимо. Другими словами, задний план опривыченной деятельности предоставляет возможности переднему плану для рассуждения и инновации.

В терминах значений, которые человек придает своей деятельности, благодаря хабитуализации становится необязательно определять каждую ситуацию заново, шаг за шагом. Огромное разнообразие ситуаций может быть отнесено к разряду тех определений, которые были даны раньше. И тогда можно предвидеть действия, которые нужно совершить в этих ситуациях. Даже альтернативным вариантам поведения можно придать стандартные значения.

Эти процессы хабитуализации, предшествующие любой институционализации могут быть применены и к гипотетическому уединенному индивиду, удаленному от какого-либо социального взаимодействия. Тот факт, что даже такой, уединенный индивид, предположительно сформировавшийся как Я (что следовало бы предположить и в нашем случае со строителем каноэ из спичек), будет делать свою деятельность привычной в соответствии со своим биографическим опытом в мире социальных институтов, предшествовавшим его изоляции, в данный момент нас не интересует. На практике наиболее важная часть хабитуализации человеческой деятельности сопряжена с процессом институционализации. И тогда встает вопрос, как же возникают институты.

Институционализация имеет место везде, где осуществляется взаимная типизация опривыченных действий деятелями разного рода. Иначе говоря, любая такая типизация есть институт. Что здесь следует подчеркнуть, так это взаимность институциональных типизаций и типичность не только действий, но и деятелей в институтах. Типизации опривыченных действий, составляющих институты, всегда разделяются; они доступны для понимания всех членов определенной социальной группы, и сам институт типизирует как индивидуальных деятелей, так и индивидуальные действия. Институт исходит из того, что действия типа X должны совершаться деятелями типа X. Например, правовой институт устанавливает правило, согласно которому головы будут рубить особым способом в особых обстоятельствах и делать это будут определенные типы людей (скажем, палачи, представители нечистой касты, девственницы определенного возраста или те, кто назначен жрецами).

Далее, институты предполагают историчность и контроль. Взаимные типизации действий постепенно создаются в ходе общей истории. Они не могут быть созданы моментально. Институты всегда имеют историю, продуктом которой они и являются. Невозможно адекватно понять институт, не понимая

исторического процесса, в ходе которого он был создан. Кроме того, институты, уже благодаря самому факту их существования контролируют человеческое поведение, устанавливая предопределенные его образцы, которые придают поведению одно из многих, теоретически возможных направлений. Важно подчеркнуть, что этот контролирующий характер присущ институционализации как таковой, независимо от и еще до того, как созданы какие-либо механизмы санкций, поддерживающих институт. Эти механизмы (совокупность которых составляет то, что обычно называют системой социального контроля), конечно же, существуют во многих институтах и во всех агломерациях институтов, которые мы называем обществами. Однако эффективность их контроля – вторичного, дополнительного рода. Как мы увидим позднее, первичный социальный контроль задан существованием института как такового. Сказать, что часть человеческой деятельности была институционализирована, – уже значит сказать, что часть человеческой деятельности была подвергнута социальному контролю. Дополнительные механизмы контроля требуются лишь в том случае, если процессы институционализации не вполне успешны. Так, например, законом может быть предусмотрено рубить головы тем, кто нарушает инцестуозные табу. Эта мера может быть необходимой, так как имелись случаи нарушения табу. Однако маловероятно, что эта санкция будет, сохраняться постоянно (видимо, лишь до тех пор, пока институт инцестуозных табу не исчезнет в процессе его дезинтеграции, особый случай чего нет нужды освещать здесь). Поэтому нет смысла говорить, что человеческая сексуальность контролируется обществом посредством отсечения головы определенным индивидам; скорее это происходит посредством ее институционализации в ходе конкретного исторического развития. Можно добавить, конечно, что инцестуозное табу само по себе есть не что иное, как негативная сторона совокупности типизаций, в первую очередь определяющих, какое сексуальное поведение инцестуозно, а какое – нет. В действительности, институты, как правило, появляются в довольно многочисленных общностях. Однако важно подчеркнуть, что в теории процесс институционализации взаимной типизации будет иметь место даже в том случае, если только два индивида начинают взаимодействие заново. Зачатки институционализации появляются в каждой социальной ситуации, продолжающейся какое-то время. Предположим, что две личности из совершенно разных социальных миров начинают взаимодействовать. Говоря слово "личности", мы предполагаем, что два индивида сформировали свои Я, что, конечно, могло произойти лишь в социальном процессе. Так что в данный момент мы исключаем случаи Адама и Евы, или двух "диких" детей, встречающихся в первобытных джунглях. Мы предполагаем, что два индивида прибывают на место встречи из социальных миров, исторически сформировавшихся на отдалении друг от друга, и поэтому их взаимодействие происходит для них обоим. Можно было бы представить "Пятницу", встречающего нашего знакомого, строящего каноэ из спичек на пустынном острове, при этом первый пусть был бы папуасом, а второй – американцем. Однако в таком случае есть вероятность, что американец мог читать или по

крайней мере слышать историю Робинзона Крузо, а это придает ситуации некоторую предопределенность по крайней мере для него. Лучше назовем их просто А и В.

По мере того как А и В взаимодействуют каким бы то ни было образом, типизации будут создаваться довольно быстро. А наблюдает за тем, что делает В. Он приписывает мотивы действиям В; глядя, как действие повторяется, типизирует мотивы как повторяющиеся. По мере того как В продолжает совершать действия, А уже в состоянии сказать себе: "А-а, он снова это делает". В то же время А в состоянии допустить, что В делает то же самое по отношению к нему. С самого начала А и В допускают эту взаимность типизации. В ходе из взаимодействия эти типизации будут проявляться в специфических образцах поведения. То есть А и В будут играть роли по отношению друг к другу. Это будет происходить даже в том случае, если каждый продолжает совершать действия, отличные от действий других. Появится возможность принятия роли другого по отношению к одним и тем же действиям, совершаемым обоими. То есть А будет незаметно примерять к себе роли, все время повторяемые В, делая их образцами своего ролевого поведения. Например, роль В в сфере приготовления пищи не только типизируется А в качестве таковой, но и становится составным элементом собственной роли А в аналогичной сфере деятельности. Таким образом, возникает совокупность взаимно типизированных действий, хабиитуализированных для каждого в ролях, некоторые из которых они играют отдельно, а некоторые – сообща. Несмотря на то что эта взаимная типизация еще далека от институционализации (пока присутствуют только два индивида, нет возможности для типологии деятелей), ясно, что институционализация уже присутствует здесь *in nucleo*.

На этой стадии можно спросить, что нового приобретает каждый индивид при этом. Наиболее важным приобретением, является то, что теперь каждый может предвидеть действия другого. Значит, их взаимодействие становится предсказуемым. "Он делает это снова" превращается в "Мы делаем это снова". Это, значительно ослабляет напряжение обоих. Они берегут время и усилия не только при решении внешних задач, в которое они вовлечены порознь или сообща, но и в терминах своих индивидуальных психологических затрат. Теперь их совместная жизнь определяется более обширной сферой само собой разумеющихся рутинных действий. Многие действия теперь не требуют большого внимания. И любое действие одного из них больше не является источником удивления и потенциальной опасности для другого. Напротив, повседневная жизнь становится для них все более тривиальной. Это означает, что два индивида конструируют задний план – в указанном выше смысле, – который будет способствовать стабилизации как их отдельных действий, так и взаимодействия. Конструирование этого заднего плана рутинных действий в свою очередь делает возможным разделение труда между ними, открывая дорогу инновациям, которые требуют более высокого, уровня внимания.

Благодаря разделению труда и инновациям будет открыта дорога для новых хабитуализаций и расширения общего для обоих индивидов заднего

плана. Иначе говоря, социальный мир – в том числе и зачатки расширяющегося институционального порядка – будет находиться в процессе конструирования.

В общем, все повторяющиеся действия становятся в некоторой степени привычными, так же как все действия, которые наблюдает другой, обязательно включают некую типизацию с его стороны. Однако, для того чтобы имела место взаимная типизация только что описанного типа, необходима продолжающаяся социальная ситуация, в которой происходило бы соединение опривыченных действий двух или более индивидов. Какие действия вероятнее всего будут взаимно типизироваться подобным образом?

Общий ответ – те действия, которые релевантны и для А и для В в рамках их общей ситуации. Конечно, в различных ситуациях релевантные сферы будут разными. Некоторые – это те, с которыми А и В сталкивались раньше в их прошлой биографии, другие могут быть результатом природных, досоциальных обстоятельств их ситуации. Но что в любом случае подвергается хабиитуализации – так это процесс коммуникации между А и В. Другие объекты типизации и хабиитуализации – труд, сексуальность и территориальное размещение. Ситуация А и В в этих различных сферах является парадигмой институционализации, имеющей место в более крупных сообществах.

Расширим несколько нашу парадигму и представим, что у А и В есть дети. Тогда ситуация качественно меняется. Появление третьих лиц меняет характер социального взаимодействия, существующего между А и В, оно будет меняться и дальше по мере присоединения все новых индивидов. Институциональный мир, существовавший в первоначальной ситуации – *in statu nascendi* – А и В, теперь передается другим. В этом процессе институционализация сама совершенствуется. Хабиитуализации и типизации, совершаемые в совместной жизни А и В – эти образования, которые до сих пор еще имели качество *ad hoc* представлений двух индивидов, теперь становятся историческими институтами. С обретением историчности этим образованиям требуется совершенно иное качество, появляющееся по мере того, как А и В начали взаимную типизацию своего поведения, качество это – объективность. Это означает, что институты, которые теперь выкристаллизовались (например, институт отцовства, как он видится детям), воспринимаются независимо от тех индивидов, кому "довелось" воплощать их в тот момент. Другими словами, институты теперь воспринимаются как обладающие своей собственной реальностью, реальностью, с которой индивид сталкивается как с внешним и принудительным фактом.

Пока зарождающиеся институты только создаются и поддерживаются лишь во взаимодействии А и В, их объективность остается незначительной, легко изменяемой, почти игровой, даже когда они достигают определенной степени объективности благодаря одному лишь факту их создания. Если выразить это несколько иначе, ставший рутинным задний план деятельности А и В остается довольно доступным для обдуманного вмешательства со стороны А и В. Хотя однажды установленные, рутинные действия имеют тенденцию упорно сохраняться, возможность их изменения и даже аннулирования остается в сознании. Только А и В ответственны за конструирование этого мира. А и В в

состоянии изменить или аннулировать его. Более того, пока они сами создают этот мир в ходе их общей биографии, которая на их памяти, созданный таким образом мир кажется им абсолютно прозрачным. Они понимают мир, который создан ими. Все это меняется в процессе передачи новому поколению. Объективность институционального мира "увеличивается" и "укрепляется" не только для детей, но и (благодаря зеркальному эффекту) для родителей тоже. Формула «Мы делаем это снова» теперь заменяется формулой «Так это делается». Рассматриваемый таким образом мир приобретает устойчивость в сознании, он становится гораздо более реальным и не может быть легко изменен. Для детей, особенно на ранней стадии социализации, он становится их миром. Для родителей он теряет свое игровое качество и становится "серьезным". Для детей переданный родителями мир не является абсолютно прозрачным. До тех пор, пока они не принимают участия, в его создании, он противостоит им как данная реальность, которая, подобно природе, является непрозрачной, по крайней мере отчасти.

Только сейчас становится возможным говорить о социальном мире вообще, в смысле всеобъемлющей и данной реальности, с которой индивид сталкивается, наподобие реальности природного мира. Только таким образом в качестве объективного мира социальные учреждения могут быть переданы новому поколению. На ранних стадиях социализации ребенок совершенно не способен различать объективность природных феноменов и объективность социальных учреждений. Представляя собой наиболее важную деталь социализации, язык кажется ребенку присущим природе вещей и он не может понять его конвенциональности. Вещь есть то, чем ее называют, и она не может быть названа как-нибудь еще. Все институты точно так же кажутся уму данными, неизменными и самоочевидными. Даже в нашем практически невероятном случае с родителями, создающими институциональный мир заново, объективность этого мира будет увеличиваться для них по мере социализации их детей, так как объективность, воспринимаемая детьми, будет отражать их собственное восприятие этого мира. Конечно, на практике институциональный мир, передаваемый большинством родителей, уже имеет характер исторической и объективной реальности. Процесс передачи этого мира просто усиливается родительским восприятием реальности. Хотя бы только потому, что если кто-то говорит: "Именно так это делается", то он сам довольно часто верит в это.

Институциональный мир тогда воспринимается в качестве объективной реальности. У него есть своя история, существовавшая до рождения индивида, которая недоступна его индивидуальной памяти. Он существовал до его рождения и будет существовать после его смерти. Сама эта история, как традиция существующих институтов, имеет характер объективности. Индивидуальная биография воспринимается как эпизод в объективной истории общества. Институты в качестве исторических и объективных фактичностей предстают перед индивидом как неоспоримые факты. В этом отношении институты оказываются для индивида внешними, сохраняющими свою реальность, независимо от того, нравится она ему или нет. Он не может

избавиться от них. Институты сопротивляются его попыткам изменить их или обойтись без них. Они имеют над ним принудительную власть и сами по себе, благодаря силе своей фактичности, и благодаря механизмам контроля, которыми обычно располагают наиболее важные институты. Объективная реальность институтов не становится меньше от того, что индивид не понимает их цели и способа действия. Он может воспринимать большие сектора социального мира как непостижимые и даже подавляющие своей непрозрачностью, но тем не менее реальные. До тех пор, пока институты существуют как внешняя реальность, индивид не может понять их посредством интроспекции. Он должен "постараться" изучить их так же, как он изучает природу. Это остается верным, несмотря на то что социальный мир в качестве созданной человеком реальности потенциально доступен его пониманию таким способом, который невозможен в случае понимания природного мира.

Важно иметь в виду, что объективность институционального мира – сколь бы тяжелой ни казалась она индивиду – созданная человеком, сконструированная объективность. Процесс, посредством которого экстернализированные продукты человеческой деятельности приобретают характер объективности, называется объективацией. Институциональный мир – как и любой отдельный институт – это объективированная человеческая деятельность. Иначе говоря, несмотря на то что социальный мир отмечен объективностью в человеческом восприятии, тем самым он не приобретает онтологический статус, независимый от человеческой деятельности, в процессе которой он и создается. К парадоксу, состоящему в том, что человек создает мир, который затем воспринимается как нечто совсем иное, чем человеческий продукт, мы обратимся чуть позже. Сейчас важно подчеркнуть, что взаимосвязь между человеком – создателем и социальным миром – его продуктом является диалектической и будет оставаться таковой. То есть человек (конечно, не в изоляции, но в своей общности) и его социальный мир взаимодействуют друг с другом. Продукт оказывает обратное воздействие на производителя. Экстернализация и объективация – два момента непрерывного диалектического процесса. Третьим моментом этого процесса является интернализация (посредством которой объективированный социальный мир переводится в сознание в ходе социализации), которая будет детально обсуждаться позднее. Однако уже можно видеть фундаментальную взаимосвязь трех диалектических моментов социальной реальности. Каждый из них соответствует существенной характеристике социального мира. Общество – человеческий продукт. Общество – объективная реальность. Человек – социальный продукт. Уже должно быть ясно, что анализ социального мира, который исключает хотя бы один из этих трех моментов, будет неполным и искажающим. Можно также добавить, что лишь с передачей социального мира новому поколению (т.е. с интернализацией его в процессе социализации) фундаментальная социальная диалектика приобретает завершенность. Повторим еще раз, что лишь с появлением нового поколения можно говорить о собственно социальном мире.

В то же время институциональному миру требуется легитимация, то есть способы его "объяснения" и оправдания. И не потому, что он кажется менее реальным. Как мы уже видели, реальность социального мира приобретает свою массивность в процессе передачи ее новым поколениям. Однако эта реальность является исторической и наследуется новым поколением скорее как традиция, чем как индивидуальная память. В нашем парадигмическом примере с А и В впервые творцы социального мира всегда в состоянии реконструировать обстоятельства, в которых создавался весь мир и любая его часть. То есть они могут вернуться к исходному значению института благодаря своей памяти. Дети А и В оказываются в совершенно иной ситуации. Знание истории института передается им через "вторые руки". Первоначальный смысл институтов недоступен их пониманию в терминах памяти. Поэтому теперь необходимо истолковать им этот смысл в различных формулах легитимации. Они должны быть последовательными и исчерпывающими в терминах институционального порядка, чтобы стать убедительными для нового поколения. Так сказать, ту же самую историю следует рассказать всем детям. Отсюда следует, что расширяющийся институциональный порядок создает соответствующую завесу легитимаций, простирающую над ним свое защитное покрывало когнитивной и нормативной интерпретаций. Эти легитимации заучиваются новым поколением в ходе того же самого процесса, который социализирует их в институциональный порядок. Более детальным анализом этого процесса мы займемся чуть позже.

В связи с историзацией и объективацией институтов становится необходимой и разработка специальных механизмов социального контроля. Отклонение от институционально "запрограммированного" образа действий оказывается вероятным, как только институты становятся реальностями, оторванными от первоначальных конкретных социальных процессов, в контексте которых они возникают. Проще говоря, более вероятно, что, отклоняясь индивид будет от тех программ, которые установлены для него другими, чем от тех, которые он сам для себя устанавливает. Перед новым поколением встает проблема выполнения существующих правил, и для его включения в институциональный порядок в ходе социализации требуется введение санкций. Институты должны утверждать свою власть над индивидом (что они и делают) независимо от тех субъективных значений, которые он может придавать каждой конкретной ситуации. Должен постоянно сохраняться и поддерживаться приоритет институциональных определений ситуации над попытками индивида определить их заново. Детей следует "научить вести себя", и, однажды научившись, они должны "придерживаться этой линии поведения". То же самое, конечно, касается и взрослых. Чем более поведение институционализировано, тем более предсказуемым, а значит, и контролируемым оно становится. Если социализация была успешной, то откровенно принудительные меры применяются выборочно и осторожно. Большую часть времени поведение будет "спонтанным" в рамках институционально установленных каналов. Чем более само собой разумеющимся является поведение на уровне значений, тем меньше возможных

альтернатив остается институциональным "программам" и тем более предсказуемым и контролируемым будет поведение.

В принципе институционализация может иметь место в любой сфере релевантного для данной общности поведения. В действительности, различные процессы институционализации происходят одновременно. Нет никакой априорной причины для предположения, что эти процессы обязательно должны быть функционально "неразрывными", не говоря уж о том, что они образуют логически связную систему. [...]

Тем не менее факт остается фактом, что институты имеют тенденцию "быть неразрывными". Если этот феномен не считать само собой разумеющимся, то его следует объяснить. Как это сделать? Во-первых можно утверждать, что некоторые релевантности (т.е. интересы и предпочтения) будут общими у всех членов данного коллектива. С другой стороны, многие сферы поведения будут релевантными лишь для определенных типов. Это означает, что возникает дифференциация по крайней мере способов, посредством которых этим типам придаются некоторые относительно стабильные значения. Основой подобного придания значений могут быть такие досоциальные различия, как пол, различия, связанные с направлением социального взаимодействия и разделением труда. Например, магией плодородия могут заниматься только женщины, а пещерной настенной живописью – только охотники. Только старики могут совершать ритуал дождя, и только оружейных дел мастера могут спать со своими кувинами по материнской линии. В терминах их внешней социальной функциональности эти некоторые сферы поведения необязательно интегрировать в одну связную систему. Они могут продолжать параллельное сосуществование на той основе, что действия в них совершаются независимо друг от друга. Но хотя совершение действий в этих сферах может быть изолированным, на уровне значений, соответствующих различным сферам поведения, возникает тенденция по крайней мере к минимальной согласованности. По ходу размышлений о сменяющих друг друга моментах своего опыта индивид пытается поместить присущие им значения в непротиворечивую биографическую систему отсчета. Эта тенденция возрастает по мере того, как индивид начинает разделять с другими людьми свои значения, интегрируя их в своей биографии. Возможно, что эта тенденция к интеграции значений основана на психологической потребности, которая в свою очередь тоже может иметь психологические корни (то есть может существовать "потребность" в связности, являющаяся неотъемлемой частью психо-физиологической конституции человека). Однако наша аргументация покоится не на подобных антропологических утверждениях, она связана, скорее, с анализом смыслового взаимодействия в процессе институционализации.

Отсюда следует, что к любым утверждениям относительно "логики" институтов нужно подходить с большой осторожностью. Логика свойственна не институтам и их внешней функциональности, но способу рефлексии по их поводу. Иначе говоря, рефлектирующее сознание переносит свойство логики на институциональный порядок.

Язык предусматривает фундаментальное наложение логики на объективированный социальный мир. Система легитимации построена на языке и использует язык как свой главный инструмент. "Логика", таким образом, приписываемая институциональному порядку, является частью социально доступного запаса знания и само собой разумеющейся в качестве таковой. Так как хорошо социализированный индивид "знает", что его социальный мир представляет собой связанное целое, он будет вынужден объяснять его хорошее и плохое функционирование в терминах этого "знания". В результате исследователю любого общества очень легко предположить, что социальные институты действительно функционируют и осуществляют интеграцию так, как им "положено".

Тогда *de facto* институты интегрированы. Но их интеграция не есть функциональный императив для социальных процессов, в ходе которых они создаются; скорее интеграция институтов имеет вторичный характер. Индивиды совершают разрозненные институционализированные действия на протяжении и в контексте всей своей биографии. Эта биография представляет собой отрефлектированное целое, где разрозненные действия воспринимаются не как изолированные события, но взаимосвязанные части субъективно значимого универсума, значения которого не являются характерными только для данного индивида, но социально сформулированы и распределены. Лишь благодаря этому обращению социально распределенных смысловых универсумов возникает необходимость в институциональной интеграции.

Это имеет огромное значение для анализа социальных феноменов. Если интеграцию институционального порядка понимать лишь в терминах "знания", имеющегося у его членов, это означает, что анализ этого "знания" является существенным для анализа рассматриваемого институционального порядка. Важно подчеркнуть, что при этом речь не идет лишь исключительно и преимущественно о сложных теоретических системах, служащих легитимациями институционального порядка. Конечно, теории тоже нужно принимать в расчет. Но теоретическое знание – лишь небольшая и отнюдь не самая важная часть того, что считается знанием в обществе. Теоретически сложные легитимации появляются в определенный момент истории институционализации. Знание, имеющее первостепенное значение для институционального порядка, – это дотеоретическое знание. И в сумме оно представляет собой все "то, что каждый знает" о социальном мире – это совокупность правил поведения, моральных принципов и предписаний, пословицы и поговорки, ценности и верования, мифы и тому подобное, для теоретической интеграции которых требуются значительные интеллектуальные усилия, учитывая, сколь длинен путь от Гомера до создателей современных социологических систем и теорий. Однако на дотеоретическом уровне у каждого института имеется массив знания рецептов, передаваемого по наследству, то есть того знания, которое поддерживает, соответствующие данному институту правила поведения.

Такое знание составляет мотивационную динамику институционализированного поведения. Оно определяет

институционализированную сферу поведения и все, попадающие в ее рамки, ситуации. Оно определяет и конструирует роли, которые следует играть в контексте рассматриваемых институтов. *Ipso facto* такое поведение становится контролируемым и предсказуемым. Поскольку это знание социально объективировано как знание, то есть как совокупность общепринятых истин относительно реальности, любое принципиальное отклонение от институционального порядка воспринимается как уход от реальности. Такое отклонение можно назвать моральной испорченностью, умственной болезнью или полным невежеством. Хотя эти четкие отличия, очевидно, важны при изучении отклоняющегося поведения, все они имеют более низкий когнитивный статус в определенном социальном мире. Таким образом, каждый конкретный социальный мир становится миром *tout court*. То знание, которое считается в обществе само собой разумеющимся, существует наряду с известным или еще не известным, но которое при определенных условиях может стать известным в будущем. Это знание, которое приобретается в процессе социализации и опосредует объективированные структуры социального мира, когда оно интернализируется в рамках индивидуального сознания. В этом смысле знание – сердцевина фундаментальной диалектики общества. Оно программирует каналы, по которым в процессе экстернализации создается объективный мир. Оно объективирует этот мир с помощью языка и основанного на нем когнитивного аппарата, то есть оно упорядочивает мир в объекты, которые должны восприниматься в качестве реальности. А затем оно опять интернализируется как объективно существующая истина в ходе социализации. Знание об обществе является, таким образом, реализацией в двойном смысле слова – в смысле понимания объективированной социальной реальности и в смысле непрерывного созидания этой реальности.

Например, в процессе разделения труда развиваются те области знания, которые имеют отношение к конкретным видам деятельности. В своей лингвистической основе это знание уже является необходимым для институционального "программирования" новых видов экономической деятельности. Это может быть, к примеру, словарь обозначений различных способов охоты, использующегося для этого оружия, животных, на которых охотятся и т.д. Кроме того, оно может включать совокупность рецептов, которые нужно знать, чтобы правильно охотиться. Это знание само по себе служит в качестве канализирующей, контролирующей силы, необходимой составляющей институционализации этой области поведения. По мере того как институт охоты принимает определенные очертания и продолжает существовать во времени, эта область знания выступает в качестве объективного (и потому эмпирически проверяемого) описания этого института. Целая часть социального мира объективируется посредством этого знания. Может возникнуть объективная "наука" охоты, соответствующая объективной реальности охоты, как экономической деятельности. Наверное, нет нужды объяснять, что понятия "эмпирическая верификация" и "наука" понимаются здесь не в смысле современных научных канонов, а скорее в том смысле, что

знание может рождаться из опыта и, следовательно, может стать систематически организованным в качестве области знания.

И опять эта самая система знания передается следующему поколению. Оно воспринимает ее как объективную истину в ходе социализации, интернализируя таким образом в качестве субъективной реальности. В свою очередь эта реальность может оказывать влияние на формирование индивида. Она создает особый тип человека, а именно охотника, идентичность и биография которого в качестве охотника имеют смысл лишь в том мире, который сформирован указанной выше системой знания в целом (скажем, в сообществе охотников) или отчасти (скажем, в нашем обществе, где охотники составляют собственную субкультуру). Другими словами, ни одна часть институционализации охоты же может существовать без определенного знания, которое было создано обществом и объективировано по отношению к этой деятельности. Быть охотником и охотиться – значит вести такое существование в социальном мире, которое определяется и контролируется этой системой звания. *Mutatis mutandis*, то же самое применимо к области институционализированного поведения. [...]

Питер Бергер, Томас Лукман Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / Пер. Е. Руткевич. – М.: "Медиум", 1995. – 323.

ТАЛКОТТ ПАРСОНС

ОБЩЕСТВА

SOCIETIES. Evolutionary and comparative perspectives

[...] Серия книг под общим названием «Основы современной социологии», частью которой является и эта небольшая книга, занимается обществом и его составными частями со многих точек зрения и на многих уровнях. В некоторых работах рассматриваются главным образом небольшие элементы общества, такие как семья, местная община, в других же — такие специальные предметы, как теория и метод исследования. Данная работа стоит в этой серии несколько особняком, она рассматривает наиболее всеобъемлющую единицу, которую обычно изучают социологи — общество как целое. [...]

Рассмотрение общества как целого ни в коем случае не исчерпывает возможностей эмпирического применения понятия социальная система. Многие социальные системы, такие как местная община, школа, предпринимательская фирма и единица родства — это не общество, а подсистемы общества. Таким образом, в достаточно плюралистическом мире многие социальные системы, которые являются частными системами, если говорить о понятии общество, могут быть частью более чем одного общества.

[...] И, наконец, в некотором смысле общество — это и самая широкая социальная система, и часть еще более широкой интернациональной или интерсоциальной системы.

Понятие общество мы будем обсуждать еще подробнее в последующих главах. В данном же случае достаточно сказать, что общество — это по сравнению с другими наиболее самодостаточный (self-sufficient) тип социальной системы. Обществу в гораздо большей степени внутренне присуще все необходимое для независимого существования, чем таким единицам, как фирма, которая слишком специализирована, или христианская церковь, которая слишком свободно организована для того, чтобы функционировать согласованно, как единое общество. Поэтому единицы общества, поскольку они дифференцированы или сегментированы, более зависят от других единиц того же самого общества, чем от единиц других обществ.

По причинам, которые мы будем разбирать ниже, общество — это первая политически организованная инстанция, если применить здесь выражение Roscoe Pound. Должна соблюдаться лояльность как к духу общины, так и к некоторому корпоративному агентству такого рода, который мы обычно расцениваем как правительственный, и должен быть установлен сравнительно эффективный нормативный порядок внутри определенной территориальной области.

В нашем исследовании обществ мы будем руководствоваться как эволюционной, так и сравнительной точками зрения. Это помогает создать представление о человеке как о некотором интеграле органического мира, человеческого общества и культуры, который следует анализировать в общей системе координат, применимых к жизненному процессу. Будем мы использовать дополнительно его биологическое измерение или нет, принцип эволюции твердо установлен в применении к миру всего живого. Следует включить сюда также социальный аспект человеческой жизни. [...]

Как мы уже указывали, общество — это особый вид социальной системы. Мы рассматриваем социальную систему как одну из первичных подсистем системы человеческого действия, другие первичные подсистемы — это организм, обладающий поведением (behavioral organism), личность индивида и культурная система.

Действие включает структуры и процессы, посредством которых человеческие индивиды продуцируют осмысленные намерения и применяют их, более или менее успешно, в конкретных ситуациях. Мир сознательного (meaningful) предполагает символический или культурный уровень представления (representation) или отношения (reference). Намерения и использование (implementation), взятые вместе, предполагают возможность для системы действия — коллективного или индивидуального — изменить свои отношения с ситуацией или с окружением в желаемом направлении.

Мы предпочитаем термин действие термину поведение, т.к. нас интересуют не физические проявления поведения сами по себе, а их стандартизация, их стандартизованные осознанные результаты (физические,

культурные и прочие), от инструментов до произведений искусства, а также механизмы и процессы, которые контролируют такую стандартизацию.

Человеческое действие в этом смысле «окультурено» и намерения, касающиеся действий, оформляются в терминах символических систем (включая и коды, посредством которых они действуют в моделях и которые сосредоточены в том, что наиболее универсально для всех человеческих обществ, — в языке).

В некотором смысле любое действие есть действие индивидов. Однако же как организм, так и культурная система включают в себя существенные элементы, которые не могут быть исследованы на уровне индивида.

Для организма первичный структурный референт — это не анатомия отдельного организма, а тип вида [генотип]. Этот тип сам по себе не существует, он действует через генетические конструкции отдельных индивидуальных организмов, которые включают в себя и изменяющиеся комбинации генетических материальных характеристик видов, и результаты действия различных окружающих условий. Однако важные индивидуальные различия могут входить в детерминацию отдельного действия, это общие стандарты больших человеческих групп, включающие разделение их на два пола, которые образуют большие органические подстраты действия. [...]

Кроме того, несмотря на общую способность человеческих организмов к обучению и следовательно, к созданию культурных элементов, ни один индивид не способен создать культурную систему. Главные стандарты культурной системы изменяются только на протяжении многих поколений, и они всегда являются общими для сравнительно больших групп; они никогда не бывают специфичными для одного или нескольких индивидов. Поэтому они все гда усваиваются индивидом, который может творчески вносить в них изменения (или разрушение) только по второстепенным вопросам. Таким образом, более общие культурные стандарты обеспечивают системы действия в высшей степени стабильной структурной опорой, аналогичной той опоре, которую дает ему генетический материал типа вида, заключающейся в элементах действия, приобретаемых посредством обучения, так же как гены дают врожденные элементы.

В рамках, которые образованы, с одной стороны, генетическим типом вида, с другой же — стандартизацией культуры, лежат возможности данных индивидов и групп создавать независимо структурированные системы, обладающие поведением. Поскольку актер генетически является человеком и поскольку его обучение имеет место в контексте той или иной культурной системы, его система поведения (которую я буду называть его личностью), прошедшая процесс обучения, имеет некоторые общие черты с другими личностями, например язык, которым он обычно говорит. В то же время его организм и окружение этого организма — физическое, социальное и культурное — всегда в определенных отношениях уникальны.

А потому его собственная система поведения будет уникальным вариантом культуры и ее отдельных стандартов действия. Поэтому очень важно рассмотреть систему личности как систему, не сводимую ни к организму, ни к

культуре — то, что обучено, не является ни частью структуры организма в обычном смысле этого слова, ни характеристикой культурной системы. Это аналитически независимая система.

Протекающий в тесном взаимодействии с личностями общающихся между собой индивидов и стандартами культурной системы процесс социального взаимодействия образует четвертую систему, которая аналитически независима ни от личностных, ни от культурных систем, ни от организма. Эта независимость наиболее очевидна по отношению к требованиям интеграции, что ставит под угрозу систему социальных отношений, потому что ей присуще способность к конфликту и дезорганизации. Эта проблема известна под названием проблемы порядка в обществе, в классической форме изложенной Томасом Гоббсом. Система взаимодействия образует социальную систему, подсистему действия, которой мы главным образом и будем заниматься в нашей работе.

Приведенная выше классификация четырех в высшей степени обобщенных подсистем человеческого действия — организм, личностная социальная система и культурная система — это применение общей парадигмы, которая может быть использована в сфере действия и которую я буду использовать ниже для анализа социальных систем. Эта парадигма позволяет анализировать любую систему действия в терминах следующих четырех функциональных категорий: 1) сохранения высших управляющих или контролирующих стандартов системы; 2) внутренней интеграции системы; 3) ее ориентации на сохранение целей по отношению к окружению; 4) ее общей адаптации к широко понимаемым условиям окружения, т. е. не-действия, физического окружения. Внутри систем действия культурные системы специализируются на сохранении стандартов, социальные системы — на функции интеграции единиц действия (человеческих индивидов, или, точнее, личностей, занимающих те или иные роли), системы личности — на достижении целей, а организм, обладающий поведением — на адаптации.

Поскольку социальные системы создаются взаимодействием человеческих индивидов, каждый член такой системы является одновременно актором (обладающими целями, идеями, установками и т. д.) и объектом ориентации как для других акторов, так и для себя самого. Система взаимодействия, таким образом, это аналитический аспект, который можно абстрагировать от совокупности всех процессов действия участников этой системы. И в то же время эти индивиды являются организмами, личностями и участниками культурных систем.

В результате такой интерпретации каждая из трех других систем (система культуры, система личности и система организма, обладающего поведением) образует составную часть окружения — можно сказать любого окружения — социальной системы. Поскольку такие системы служат окружением самого действия, они стоят вверху и внизу общей иерархии факторов, контролирующих действие в мире живого.[...]

В функциональных терминах нашей парадигмы социальная система — это интегративная подсистема действия в целом. Три другие подсистемы действия

по отношению к ней создают основное ее окружение. Следовательно, при анализе общества или других социальных систем можно применить изложенный выше принцип.[...]

При определении общества мы можем воспользоваться критерием, который восходит к Аристотелю. Общество есть такой тип социальной системы во всей совокупности социальных систем, которая достигла высшей степени самодостаточности в отношениях со своим окружением.

Это определение имеет в виду абстрактную систему, для которой другие столь же абстрактные подсистемы действия являются первичными окружениями. Такая точка зрения резко противоречит нашему обыденному представлению об обществе как о некотором образовании, состоящем из конкретных человеческих индивидов. Организмы и личности членов общества были бы тогда чем-то внутренним для общества, а не частью окружения. Мы не будем здесь разбирать достоинства обоих этих взглядов на общество, но читателю должно быть ясно, как мы используем их в данной работе.

При таком понимании критерий самодостаточности можно разложить на пять субкритериев, так что каждый из них окажется связанным с одним из пяти окружений социальной системы: «конечной реальностью», культурными системами, системами личности, организмами, обладающими поведением и физико-органическим окружением. Самодостаточность общества зависит от гармоничной комбинации контроля этого общества за его отношения со всеми пятью окружениями и состояния его внутренней интеграции. [...]

Суть общества как системы — это стандартизованный нормативный порядок, благодаря которому жизнь популяции организована на коллективных основаниях. Общество, поскольку оно так упорядочено, содержит в себе ценности, а также дифференцированные и специализированные нормы и правила, которые все нуждаются в культурных референтах для того, чтобы быть осмысленными и узаконенными. Общество, поскольку оно является коллективом, выдвигает стандартизованную концепцию принадлежности к нему, согласно которой и различаются индивиды, входящие в это общество и не входящие в него. [...]

Говоря об обществе как коллективе, мы назвали одним из образцов общества социальную общину (community). Она образована как нормативной системой порядка, так и статусами, правами и обязанностями, которые принадлежат ее членам и которые могут быть различными в зависимости от характера групп внутри данной общины. Чтобы существовать и развиваться, социальная община должна сохранять и укреплять интеграцию общей культурной ориентации, в общем (хотя и не обязательно единообразно и единодушно) разделяемую ее членами как основу своей социальной идентичности. Этот вопрос затрагивает ее связь с культурной системой, находящейся на порядок выше. Вместе с тем, она должна в соответствии с обстоятельствами систематически интегрировать организмы своих членов (и их отношения с физической средой), а также их личности. Все эти факторы находятся в сложной зависимости друг от друга, и каждый из них является

центром для кристаллизации социального механизма совершенно особого рода.[...]

Главная функциональная необходимость интеграции общества с культурной системой — это установление законности нормативного порядка общества. Эти системы законов определяют права членов общины и запреты, с которыми они обязаны считаться.

Прежде всего требует узаконения возможность использования силы (power), но это не исключительное требование. Современное понимание законности не предполагает с необходимостью добавочную мораль в современном смысле этого слова. Однако оно предполагает, что в некоторых отношениях справедливо поступать в соответствии с институционализированным порядком.

Функция законности независима от оперативных функций социальной системы. Не существует такого нормативного порядка, который был бы всегда законен сам по себе в том смысле, что его разрешения и запреты, касающиеся образа жизни, были бы просто правильны или же неправильны и не подлежали никакому обсуждению. Он всегда адекватно узаконивается ссылкой на необходимость, которую испытывают низшие уровни иерархии контроля, т.е. тем, что нечто должно делаться таким-то образом потому, что стабильность и даже жизнеспособность системы зависит от этого. [...]

Культурные ценностные модели обеспечивают наиболее прямую связь социальной и культурной систем в узаконении нормативного порядка общества. Вид законности, в свою очередь, базируется на религиозных ориентациях. По мере все большей дифференциации культурных систем другие культурные структуры начинают приобретать все более независимое значение, в частности искусство, особым образом связанное с анатомией личности и эмпирической познавательной деятельностью, которая на более высоком уровне превращается в науку.[...]

Главная функциональная проблема касается отношения социальной системы к системе личности, включая обучение, развитие и сохранение на протяжении всего жизненного цикла адекватной мотивации участия в социально признанных и контролируемых моделях действия. И напротив, обществу, следовательно, должно быть адекватным образом гарантировано со стороны его членов получение именно таких моделей действия, если оно постоянно продолжает находиться в процессе функционирования как социальная система. Эту связь осуществляет социализация, целый комплекс процессов, посредством которых индивиды становятся членами социальной общины и сохраняют этот статус.

Поскольку личность — это подвергнутая обучению организация индивида, обладающего поведением, процесс социализации всегда имеет огромное значение для ее формирования и функционирования. Успешная социализация требует, чтобы социальное и культурное обучение было эффективно мотивировано посредством воздействия на механизмы удовольствия данного организма. [...]

Все разнообразие функциональных отношений личности с ее окружением должно рассматриваться в других контекстах в связи с социальной системой. Тот факт, что индивид признает ценности и поддерживает их, в первую очередь зависит от культурной системы и в особенности от того, как она связана с обществом через религию. Поддержание мотивации на соответствующем уровне включает в себя главным образом социальные структуры, связанные с социализацией и отчасти — с родством. [...]

Может показаться удивительным, что отношение личности к социальной системе, социально структурированное тем, что мы называем деятельностью (service), дает главную единицу для политического аспекта обществ. Политические структуры связаны с организацией коллективного действия для достижения целей, определенных коллективно, независимо от того, происходит это в масштабе всего общества или в более узком масштабе и определены ли они территориально или функционально. Прогрессивное политическое развитие требует дифференциации статусов взрослого населения на некотором основании, представляющем собою комбинацию двух составных частей. Первая — степени ответственности за коллективно координированное действие, она образует основу институтов лидерства и власти (authority). Вторая связана с уровнями компетенции, основанной на знаниях, умениях и т.п. и предполагает, что при коллективных обсуждениях большее значение имеют те, кто более компетентен. Отделение политической системы от матрицы социальной общины заключается в институционализации иерархически расположенных статусов в обоих этих контекстах, часто в очень сложных комбинациях. Связь таких статусов с религиозным лидерством, в частности разграничения лидерства в религиозном и политическом контекстах, в настоящее время может быть очень сложным делом. Императив законности не только социального порядка, но также и политической власти, в частности, показывает основную часть этой сложности.

Если спуститься ниже, следуя кибернетической иерархии, то там существуют другие основания для возникновения сложностей. Как мы уже указывали выше, сохранение нормативного порядка предполагает, что он будет обеспечиваться в различных отношениях; должна существовать значительная — хотя она часто бывает весьма несовершенна — согласованность ожиданий, предъявляемых к поведению (behavioral expectation) и подтверждаемых ценностями и нормами. Самое главное условие такой согласованности — интернализация ценностей и норм общества его членами, т. к. такая социализация лежит в основе консенсуса, составляющего базис социальной общины. В свою очередь социализация, для того чтобы она могла стать основанием консенсуса, должна опираться на связующие людей интересы, преимущественно экономические и политические. Тем не менее ни одно общество не может сохранить свою стабильность в условиях различных чрезвычайных обстоятельств и напряжений, если системы интересов его членов не будут основаны на солидарности, на интернализированных ими лояльности и обязанностях.

Даже при наличии консенсуса и переплетенности интересов (intermeshing interests) всегда существует необходимость некоторого механизма принуждения. Эта необходимость связана, в свою очередь, с необходимостью авторитарной интерпретации (authoritative interpret) институционализированных нормативных обязанностей. Следовательно, все общества имеют какие-то узаконенные процедуры, посредством которых могут быть установлены справедливость и несправедливость без применения насилия и посредством которых те, кто считается неправым, могут быть ограничены при помощи воздействия на их разум, интересы или чувства со стороны других.

В силу указанного выше территориального включения в определенное место жительства и место работы, религиозные и политические организации и иные факторы поддержания нормативного порядка не могут быть отделены от контроля за деятельностью внутри некоторой территориальной области. Функция управления должна включать ответственность за обеспечение территориальной интеграции нормативного порядка общества. Этот императив имеет как внутренний, так и внешний аспект. Первый касается состояния принудительно проводимых общих норм и облегчения выполнения различными единицами их важнейших функций в обществе. Второй касается предупреждения разрушительного влияния на общину людей, которые не являются ее членами. В силу локально-органических условий, которые мы уже рассмотрели, эти два аспекта имеют одно общее свойство: для максимального устранения разрушительного влияния используется физическая сила. Использование силы принимает различные формы, преимущественно обороны от населения с определенной территории и лишения свободы (заключение в тюрьму) тех, кто находится внутри данной территории. Контроль или нейтрализации организованного использования силы — одна из функциональных необходимостей укрепления социальной общины. В более глубоко дифференцированных обществах всегда присутствует в некоторой степени монополизация правительством этой социально организованной силы.

Таким образом, первая необходимость, которую испытывает общество по отношению к личности члена данного общества — это мотивация его участия (participation), включая сюда также и его согласие с требованиями нормативного порядка данного общества. [...]

Экономика — это аспект социальной системы, ее функции состоят не только в том, чтобы социально упорядочивать технологические процедуры, но, что гораздо важнее, в том, чтобы включать их в социальную систему и контролировать их в интересах социальных единиц, будь то индивиды или коллективы. Институциональные комплексы собственности, договора и регулирования сроков найма — это важные интегрирующие элементы в данной сфере. Наиболее определенные экономические аспекты этого комплекса в примитивных и архаических обществах рассеяны в диффузных структурах, где доминируют родство, религия или политические интересы. При определенных условиях, однако, возникает рынок одновременно с развитием денежной системы как средством обмена.

Технологическую организацию, таким образом, следует рассматривать как пограничную систему между обществом, как системой, и физико-органической средой. Экономика является главной структурой, обеспечивающей связь в социальной общине.

Согласно традиции в экономической теории строго подчеркивается, что главной ее функцией является размещение (распределение). Ресурсы должны распределяться с целью удовлетворить огромное многообразие желаний, которые существуют в любом обществе, и возможности удовлетворения желаний должны распределяться между различными категориями населения. Технологическая точка зрения, как социально организованная, таким образом применима для реализации трудовых усилий (services). Когда эти трудовые усилия индивидов превращаются в мобильные и распределяемые богатства, становится неизбежным включение их в экономическую категорию, соединяя их с благами в формуле экономистов блага и услуги (goods and services). Они включены (посредством найма) в действующую организацию, однако они оказываются вовлеченными в то, что в аналитических терминах является политически функционирующими организационными процессами, ориентированными на достижение конкретных целей общества или релевантных субколлективов.[...]

Определенный порядок (приоритет) контроля характерен для связи между социальными подсистемами, которые связывают общество с его различными окружениями и саму социальную общину. Социальная община зависит от расположенной на порядок выше культурной системы ориентаций, которая является прежде всего источником законности ее нормативного порядка. Этот порядок, следовательно, образует референт более высокого порядка по отношению к экономической и политической подсистемам, которые более прямо связаны соответственно с личностью и физико-органическими видами окружений. В политической области приоритет социального нормативного порядка наиболее ярко выступает в функции принуждения и в необходимости для агентов (представителей) общества осуществлять некоторый наивысший контроль за санкционированием посредством физического принуждения не потому, что физическая сила является таким кибернетическим контролером, а потому, что ее следует контролировать на более высоких уровнях. В экономической области этому соответствует необходимость институционального контроля за экономическими процессами в обществе (т. е. за распределением). И тот и другой случаи, следовательно, указывают на значение нормативного контроля за организмом и физическим окружением. Сила и другие физико-органические факторы, когда их используют в качестве санкций, гораздо больше способствуют обеспечению коллективных процессов, чем они могли бы это делать, будучи необходимостью, обусловленной обстоятельствами. Подобным же образом приоритет экономических точек зрения по сравнению с технологическими — вопросов о том, что следует производить (и для кого), по сравнению с вопросами о том, как это производить — главное условие действительной полезности технологии.

Теперь можно суммировать все производные критерии самодостаточности, которые мы использовали при определении понятия общество. Общество должно представлять социальную общину, которая имела бы соответствующую степень интеграции или солидарности и особый статус принадлежности. Это не устраняет отношений контроля или симбиоза элементов популяции, только частично интегрированных в социальную общину, как, например, евреи в диаспоре, но должно существовать ядро из более сильно интегрированных членов.

Такая община является несущей конструкцией для культурной системы, достаточно генерализованной и интегрированной, чтобы узаконить нормативный порядок. Для такого узаконения необходима система конституирующего символизма, которая основывается на тождественности и солидарности общины, а также на убеждениях, ритуале и других культурных компонентах, которые являются воплощением такого символизма. Культурные системы обычно гораздо шире какого бы то ни было общества и его общинной организации, хотя, если взять некоторую область, включающую в себя много обществ, культурные системы могут постепенно переходить друг в друга. «Самодостаточность» общества в этом контексте, таким образом, заключается в институционализации им достаточного количества культурных компонентов для того, чтобы достаточно сносно обеспечить свои социальные нужды. Разумеется, отношения между обществами с одними и теми же или же тесно связанными системами культуры рождают целый ряд особых вопросов. Некоторые из них мы рассмотрим ниже.

Этот элемент коллективной организации требует добавочного критерия «самодостаточности». «Самодостаточность» вовсе не означает, что все ролевые включения всех членов находятся внутри данного общества. Однако общество должно обладать достаточным набором ролевых возможностей, чтобы индивид мог обеспечить свои основные потребности на всех стадиях жизненного цикла, не выходя за пределы общества, а также для того, чтобы само общество могло удовлетворять свои собственные потребности. [...]

Мы показали, что обеспечение нормативного порядка в коллективно организованной популяции предполагает контроль в некоторой территориальной области. Это очень важное требование с точки зрения интеграции управляющих институтов. Кроме того, это основной довод в пользу того, что такие функционально специфические коллективы, как церковь и общество предпринимателей, нельзя назвать обществом. По отношению же к членам как индивидам социальная «самодостаточность», следовательно, требует — и это требование имеет, по-видимому, наибольшее значение — адекватного контроля за мотивационной включенностью (commitments). За некоторыми, впрочем, естественным образом ограниченными, исключениями (например, основание новых колоний) это означает требование, чтобы состав общества пополнялся за счет рождения и социализации в первую очередь через систему родства, однако же многое в этом отношении можно сделать через систему формального образования и другие механизмы. Процесс пополнения в

целом можно рассматривать как механизм социального контроля за структурами личности членов общества.

Наконец «самодостаточность» подразумевает адекватный контроль за экономико-технологическим комплексом, так что физическое окружение может быть использовано в качестве базы, откуда черпаются ресурсы, целесообразно и планомерно. Этот контроль перекрещивается с политическим контролем определенной территории и с контролем за отношениями принадлежности в комплексе родство — место жительства.

Ни один из этих субкритериев «самодостаточности» не является главным, если не принимать во внимание их общих отношений в кибернетической и условной иерархиях. Недостаточность какого-нибудь одного из них или какой-либо комбинации этих критериев может привести к дезорганизации общества или к состоянию хронической нестабильности или жесткости, что воспрепятствовало бы дальнейшей эволюции. Таким образом, эта схема может быть иногда полезна при объяснении перерывов, которые наступают в процессе эволюции.

Описывая выше отношения общества с его окружением, мы пользовались относительно систематической классификацией структурных компонентов. Нам кажется очень важным четкое выявление этой схемы, потому что она лежит в основе всего дальнейшего изложения.

Наше первоначальное определение социальной общины подчеркивало взаимодействие двух факторов, а именно: нормативного порядка и коллективно организованной популяции. Для того, чтобы достичь главных целей, которые мы поставили себе при анализе обществ, нет необходимости расширять нашу классификацию компонентов сверх того, что мы проведем единственное разграничение внутри каждого из этих факторов. В каждом из факторов мы выделим те аспекты, которые в первую очередь являются внутренними для социальной общины, и те, которые преимущественно связывают ее с окружающими ее системами.

С нормативной точки зрения мы можем выделить нормы и ценности. Ценности — в общепринятом смысле — мы рассматриваем как элемент, по преимуществу связывающий социальную и культурную системы. Нормы же в основном социальны. Они имеют значение регуляторов социальных процессов и отношений, но не олицетворяют принципов, которые были бы пригодны для социальной организации или даже для отдельной социальной системы. В обществах наиболее высокого типа структурным фокусом норм является юридическая система.

С точки зрения организованной популяции, коллектив — это категория интрасоциальной структуры, а роль — категория пограничной структуры. Релевантное пограничное отношение связывает социальную систему с личностью ее отдельного члена. Граница с физико-органическим комплексом — это такая граница, которая не требует в данном контексте более тонкой классифицирующей концептуализации, хотя результаты действия и личности, и социальной системы влияют на организм как через процессы социализации, через обучение, так и различными другими способами.

Эти четыре структурные категории — ценности, нормы, коллективы и роли — можно соотнести с нашей общей функциональной парадигмой. Ценности преобладают в моделях, поддерживающих функционирование социальной системы. Нормы по преимуществу интегративны; они регулируют огромное разнообразие процессов, которые способствуют соблюдению общепризнанных ценностей. Функционирование коллектива в первую очередь связано с достижением актуальной цели во имя социальной системы. Когда индивиды выполняют социально важные функции, они выполняют их как члены коллектива. Наконец, функция роли в социальной системе по преимуществу адаптивна. Это становится особенно ясным на категории работы (service) как способности выполнять ролевые виды деятельности, имеющие ценность, что является самым главным общим адаптивным ресурсом любого общества, хотя эти ресурсы должны координироваться с культурными, органическими и физическими ресурсами.

Любая конкретная структурная единица социальной системы всегда является комбинацией всех четырех компонентов: представленная здесь классификация содержит компоненты, а не типы. Часто мы говорим о роли или коллективе так, как если бы они были конкретной реальностью, но они, строго говоря, не что иное, как эллиптическое высказывание. Нет коллективов без ролей входящих в них членов и, напротив, нет такой роли, которая не являлась бы частью коллектива. Нет такой роли и такого коллектива, которые не регулировались бы нормами и не характеризовались бы соблюдением ценностных моделей. Для целей теоретического анализа мы можем абстрагировать, например, ценностные компоненты от структуры и описывать их как культурные объекты, но если их использовать конкретно в качестве категорий социальной структуры, они всегда соотносятся с компонентами социальных систем, которые в свою очередь содержат все три компонента других типов.

Тем не менее четыре категории компонентов в данном случае являются независимыми переменными. Зная ценностную модель коллектива, например, невозможно заключить, какова композиция его ролей. Конечно, в некоторых весьма редких случаях содержания двух или более типов компонентов изменяются одновременно, так, что содержание одного из них может быть непосредственно выведено из содержания другого, но такие случаи нехарактерны.

Таким образом, одни и те же ценностные модели образуют структурные части огромного множества разнообразных единиц или подсистем общества и часто создают несколько уровней в структурных иерархиях. И одни и те же нормы часто имеют значение для функционирования различных видов действующих единиц. Следовательно, законное право собственности включает в себя общие нормативные элементы, является ли носителем этого права семья, религиозная организация или же коммерческая фирма. Разумеется, нормы дифференцированы в зависимости от ситуаций и функций, но основы их дифференциации совершенно другие, чем основы дифференциации коллективов

или ролей. Таким образом, оказывается, что любой коллектив, находящийся в определенной ситуации и выполняющий определенную функцию, будет регулироваться определенной нормой, независимо от всех других его особенностей. И, наконец, такое независимое изменение характерно также и для ролей, например, роли исполнителей и руководителей, а некоторые типы профессиональных ролей одинаковы для многих видов коллективов, а не только для кого-нибудь одного из них.

Тот же основной принцип независимости изменения применим и к отношению социальной системы с системами, составляющими ее окружение. Это — человек в роли, а не конкретный индивид вообще, который является членом коллектива и даже социальной общины. Например, я — член некоторых международных коллективов, которые не являются частью американской социальной общины. Многогранный характер ролей, совмещаемых одним и тем же индивидом — главная посылка социологической теории, и это постоянно необходимо иметь в виду. По мере того, как общество развивается, ролевое многообразие приобретает все большее значение, и это характерно для любого общества.[...]

Теперь следует рассмотреть общие схемы, по которым, по-видимому, протекает дифференциация в обществе. В силу кибернетического характера социальных систем эта схема должна быть функциональной. Возрастание сложности систем, поскольку это не простая сегментация, приводит к развитию подсистем, которые специализируются на конкретных функциях в действии данной подсистемы как целого и интегративных механизмов, которые связывают между собою функционально дифференцированные подсистемы.

Для наших целей очень важно проанализировать функцию двух главных уровней: общей системы действия и социальной системы. Каждый уровень может потенциально увеличивать степень дифференциации своих подсистем в направлении четырех функциональных референтов, которые мы очертили.[...]

Любая отдельная подсистема общества может включать в себя все три типа сложности в конкретной комбинации. Это, однако, не имеет значения для чисто теоретических целей, т. е. стремления разрешить проблему чисто аналитическим путем. И хотя тому типу системы, который мы анализируем, соответствует очень сложная конкретная специфика, исходные точки подсистем общества — поддержание модели, интеграция, политика и экономика — можно рассматривать как важный аналитический инструмент нашего анализа в целом.[...]

Парсонс Т. О социальных системах / Под ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. Белановского. – М.: Академический Проект, 2002. – 832 с.

РЕЙНХАРД БЕНДИКС

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Выражение «современное общество» взято из обиходной речи. Оно обозначает социальные условия нашего времени или недавнего прошлого и настоящего в отличие от социальных условий, существовавших прежде. Социологи нередко начинают свои работы с употребления этого выражения, основывающегося на простом здравом смысле, но обычно они стараются уточнить значение, в котором используют это понятие. Так, например, они могут отметить, что значение термина «современное общество» зависит от подразумеваемого сравнения с обществом прошлого. Изменяя содержание понятия «общество прошлого», мы вместе с тем изменяем и смысл, вкладываемый нами в понятие «современность».

Возьмем область техники. Возможно, первое, что нам придет в голову, – это отнести понятие «современное» исключительно к таким категориям, как реактивные пассажирские лайнеры, исследование космоса, ядерная энергия. Но такое сведение понятия «современное» только к самым последним техническим достижениям весьма сужает его значение. Нам, к примеру, пришлось бы причислить винтомоторную авиацию или иные источники энергии, скажем электричество, к характерным чертам прежней, более старой техники. И в этом есть определенный смысл. Исключительные технические достижения последней четверти века побудили некоторых ученых во весь голос заговорить о «второй промышленной революции» в отличие от первой, начавшейся в конце XVIII века с изобретения паровой машины и использования ее в целях промышленного производства. Но, с другой стороны, употреблять слово «современное» только лишь применительно к последним техническим достижениям – значит смешивать общее понятие с одним из наиболее узких его значений, иначе говоря, ставить знак равенства между «современное» и «самое современное». Более широкая интерпретация, безусловно, плодотворней. Она позволяет нам охарактеризовать как «современную технику, которая зависит от «неодушевленных» источников энергии и применения на практике результатов научных исследований. Она хорошо согласуется с общепринятым словоупотреблением. Поэтому есть все основания утверждать, что термин «современное общество» охватывает всю современную эпоху начиная с конца XVIII века, когда была заложена техническая основа для индустриализации обществ. Более того, термины «индустриальное общество» и «современное общество» зачастую употребляются взаимозаменяемо.

Подобные определения всегда носят несколько произвольный характер. Можно, например, утверждать, что содержание понятия «современное общество» надлежит расширить, включив в него и век великих географических открытий, начинающийся для нас с открытия Колумбом Америки в 1492 году. Это открытие было составной частью кругосветной экспансии Европы.

Размышляя о таких ученых XVI века, как Коперник и Галилей, отдаешь себе отчет в том, что без научных основ, заложенных в эпоху Возрождения, европейская экспансия, вероятно, не имела бы таких прочных, длительных последствий. Но сегодня несколько неевропейских стран имеют свой собственный независимый научный истеблишмент, используемый не только в их промышленности, но и в деле развития ядерной энергетики. Если считать, что начало современному обществу положил век европейской экспансии, основанной на превосходстве пушек и ружей, то, возможно, упомянутое приобретение наукой ряда неевропейских стран способности работать в области ядерной энергии знаменует собой конец этого века. Эта возможность наводит на мысль о том, что такое выражение, как «современное общество», в известном смысле ограничивается каким-то историческим периодом, имеющим не только начало, но и конец, при всей произвольности подобной датировки. Неудивительно поэтому, что некоторые ученые уже используют формулировки типа «постиндустриальное» или «послесовременное» общество, призванные выразить их представление о временном или переходном характере того, что мы понимаем под «современным обществом». Всякая социальная структура, в том числе и «современное общество», может рассматриваться в качестве переходной от того, что уже ушло, к тому, что грядет. Эти общие соображения сами по себе не лишены интереса, но они ни в коей мере не отменяют нашего анализа характерных отличительных черт современного общества.

В сущности, этот интерес зародился вместе с самим современным обществом, если мы датировем его возникновение примерно концом XVIII столетия. Именно тогда отдельные авторы стали использовать выражение «гражданское общество», говоря о нравах и обычаях всего народа в целом, в отличие от прежнего словоупотребления, ограничивавшего значение слова «общество» тем, что мы назвали бы сейчас «высшим обществом», то есть меньшинством, сосредоточившим в своих руках богатство и власть. Употребление слова «общество» в его более широком значении служило отражением народившегося осознания большой человеческой ценности простых людей, пусть даже они и не имели голоса в политических делах. Это распространение понятия «общество» на все более и более широкий круг людей было постепенным процессом, который продолжается по сей день. Для того чтобы составить себе представление о «современном обществе», возникшем в результате такого хода событий, проще всего будет сопоставить то, что мы видим сегодня, с тем, что было характерно для общества лет двести-триста назад.

К концу XVII века население Англии и Уэльса составляло 5,2 млн. человек; ныне же соответствующая цифра достигает примерно 45 млн., что представляет собой девятикратное увеличение. Сравнение показателей рождаемости и смертности в ту эпоху и в настоящее время выявляет главную причину быстрого роста народонаселения. В 1750 году на 1000 человек населения в Англии и Уэльсе приходилось 35 рождений и 30 смертей, тогда как к 1950 году эти цифры сократились до 16 рождений и 12 смертей на 1000 человек населения. Благодаря успехам современной медицины, улучшению

санитарных условий и улучшению питания смертность резко сократилась: три столетия назад средняя продолжительность жизни составляла чуть больше 30 лет; сегодня она превышает 70 лет. Наряду с этими демографическими переменами совершались перемены в установках, хотя здесь мы зависим от косвенных свидетельств. Когда жизнь была в среднем очень коротка, смерть по вполне понятным причинам была частой гостьей в семье, а ее излюбленными жертвами были младенцы и роженицы. В таких обстоятельствах родители стремились иметь побольше детей, чтобы хотя бы некоторые из них выжили; вдовцы же зачастую вступали в новый брак. Можно предположить, что в те времена отношение к детям в корне отличалось от нашего; как явствует из исследования, недавно проведенного Филиппом Арье, грудных младенцев не окружали особой заботой; зато, как только детей отнимали от груди, с ними начинали обращаться, как с маленькими взрослыми. Само понятие детства складывалось весьма медленно, появившись лишь где-то в XVI веке. В конце концов заботливое чувство по отношению к каждому ребенку стало нормой, что хорошо согласуется с практикой регулирования рождаемости и с установкой на сохранение единства нуклеарной семьи, состоящей из родителей и детей. Это изменившееся отношение к детям может рассматриваться в качестве показателя того значения, которое мы придаем каждому индивиду как личности, причем подобный индивидуализм пустил в современном обществе многочисленные корни.

Возьмем, к примеру, политическую область. Социологи и политологи обычно проводят различие между правителями и управляемыми, но в «современном обществе» эти слова лишены четкого смысла. Люди, стоящие у кормила правления, являются лицами, временно занимающими высокие должности, тогда как народ в целом, будучи управляемым, вместе с тем осуществляет власть при помощи периодических выборов. Однако в более ранние времена нашей истории это различие было ясным и недвусмысленным. Обратимся вновь к Англии XVII века. Большинство взрослых людей, в том числе все женщины, находились в экономической зависимости от главы того семейства, к которому они принадлежали. Да и много лет спустя после того, как наступил XIX век, людей отказывались считать полноправными членами общества, если они пребывали в таком экономически зависимом положении. От них всегда ожидалось почтение к вышестоящим лицам, и главы даже заурядных семей пользовались благодаря своему праву голоса на местных выборах таким же уважением, как и люди, обладавшие богатством и чинами. Эта полная подчиненность низводила большинство людей до какого-то второразрядного положения. Будучи взрослыми, они тем не менее ничего не значили: ведь государственные дела входили в исключительную компетенцию «вышестоящих лиц». В этих условиях простой человек даже не принимался в расчет как личность; с вниманием относились лишь к личности тех, кто «имел вес» в обществе, кто принадлежал к правящему меньшинству страны в силу своей знатности и богатства.

Все это изменилось, и самым наглядным свидетельством этой перемены является, пожалуй, расширение избирательного права. На протяжении XIX

столетия гражданские условия преобразовывались исподволь, постепенно, так что всеобщее избирательное право – право всех взрослых людей, достигших 21 года, участвовать в голосовании – было введено только после первой мировой войны. (В некоторых европейских странах женщины и по сей день не имеют права голоса; во многих государствах сохраняется некоторый минимальный ценз оседлости.) Надо полагать, такое расширение избирательного права встречалось с сильным противодействием – иначе дело пошло бы гораздо быстрее; между прочим, это красноречиво говорит о том, что для осуществления модернизации западным обществам понадобилось немало времени.

Тем не менее тот факт, что каждый взрослый человек имеет право голоса, символизирует собой то уважение, которое ему оказывается и как личности и как гражданину. Вместе с тем лица, чьи права все еще остаются урезанными в силу их положения граждан второго сорта, ратуют за предоставление им всей полноты прав, апеллируя к принципу равенства. Как писал в 1835 году знаменитый французский ученый Алексис де Токвиль, «государства нашей эпохи не в силах помешать уравниванию общественного положения людей». Если бы он имел возможность наблюдать, как многие страны, достигшие независимости после второй мировой войны, незамедлительно вводили всеобщее избирательное право, он еще больше утвердился бы в этом своем мнении.

Параллельно великим изменениям, происходившим в семье и в политической сфере, совершались изменения и в экономической жизни. Выше уже упоминалось о сдвигах в области техники, причем и в этом случае мы тоже сможем лучше всего понять подлинную сущность «современного общества», сравнив его с обществом прошлого. Три столетия назад типичной производственной единицей было домашнее предприятие, состоявшее либо из помещика, его семьи, слуг, управляющих имением и крестьян с чадами и домочадцами, находившихся в разной степени экономической зависимости, либо из мастера-ремесленника, его жены, детей, неженатых подмастерьей, вольнонаемных ремесленников и слуг. В подобных экономических условиях лишь очень немногие категории лиц – такие, как шахтеры и моряки, – работали вдали от своего родного дома. Нищих, живущих подаянием, принудительно поселяли в работные дома. Совсем иное положение наблюдается в современном обществе. Теперь лишь очень немногие – по большей части мелкие независимые фермеры, писатели, художники да еще лица некоторых профессий – могут работать, оставаясь дома. Все прочие зарабатывают средства к жизни по месту работы – где-то вне дома. Объясняется это, конечно, тем, что современные условия производства требуют концентрации рабочей силы на предприятии, использующем такие сложные механизмы, как сборочные конвейеры, мартеновские печи, счетно-решающие устройства и т.д. Даже труд ученых невозможен вне библиотек и лабораторий, сосредоточенных в научно-исследовательских институтах и университетах.

Причина подобного развития событий была уяснена давным-давно. Такие авторы, как Адам Фергюсон, Джон Миллар и Адам Смит, еще в конце XVIII

века отмечали, что производительность возрастает в результате все большего разделения труда. В ту пору это чаще всего означало расчленение производственного процесса на отдельные операции, так чтобы каждый рабочий мог специализироваться и повышать производительность. Таким путем рабочие операции все больше упрощались, пока не оказалось возможным заменить во многих случаях ручной труд машиной. В конце концов это привело к беспрецедентному в истории человечества повышению производительности труда.

[...] Признаки возникшего в результате всего этого изобилия окружают нас со всех сторон; нет никакой необходимости приводить здесь примеры тех чудес производительности, которые способно совершать высокоиндустриализированное общество. Однако, как я отмечал выше, работа вне дома и все возрастающее разделение труда являются собой важные черты современного общества. Вот почему изучение того, каким образом самодеятельное население распределяется между отдельными занятиями, поможет нам лучше понять это общество. Уже говорилось об уменьшении процента людей, занятых в сельском хозяйстве; уменьшилась также и доля неквалифицированных рабочих и домашней прислуги. Доля же прочих занятий пропорционально возросла, и особенно заметно – в порядке перечисления – доля «белых воротничков», представителей привилегированных профессий, квалифицированных рабочих и мастеров, управленческого персонала. Вся эта картина распределения самодеятельного населения отражает относительный сдвиг из сельского хозяйства в так называемый «третий» сектор экономики, а именно в занятия, связанные с транспортом, коммуникациями, торговлей, обслуживанием, преподаванием, здравоохранением, юриспруденцией и пр. Важнейшей составной частью этой картины является рост значения образования в современном обществе, поскольку это общество зависит не только от дальнейшего усложнения техники, но, кроме того, и от повышения уровня квалификации населения. [...]

Пока в данной главе речь шла о некоторых общих характерных чертах «современного общества». Остаток главы вполне можно было бы посвятить дальнейшему развитию этой же темы, но тогда читатель получил бы, пожалуй, несколько бледное представление о ней. Во избежание этого зададимся лучше вопросом, какие страны надлежит называть «современными» в свете высказанных выше соображений и полностью ли удовлетворительно отнесение их к подобной категории.

На первый из этих вопросов мы могли бы ответить, перечислив все страны, где в сельском хозяйстве занято менее 50% самодеятельного населения. [...]

Нам не известно ни одно общество, заслуживающее того, чтобы его называли «современным», которое достигло бы такого состояния без расширения специализации профессий или без отделения места работы от местожительства семьи. Во всех современных обществах можно обнаружить и другие характерные черты: большую среднюю продолжительность жизни, концентрацию населения в городских районах и прочие явления,

представляющие собой побочные продукты технического прогресса, основывающегося на прикладной науке. Труднее с уверенностью говорить о менее заметных последствиях модернизации.

Одна из причин этого состоит в том, что общества включаются в процесс модернизации, обладая своими собственными конкретными природными ресурсами, историческим опытом и культурным укладом. Два столь явно родственные общества, как Англия и Соединенные Штаты, одинаково «современных», согласно большинству критериев, все-таки разительно отличаются друг от друга. Взять хотя бы область образования. В 1956 году в высших учебных заведениях Англии и Уэльса училось всего лишь 4% молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет по сравнению с 27% в Соединенных Штатах. Ныне в Англии многое делается для расширения системы образования, но различия носят не только количественный, но также и качественный характер.

Мой коллега Ральф Тернер, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, указывает, что на занятиях в американских школах учащиеся соревнуются друг с другом, как на спортивных состязаниях. Они принимают участие в соревновании равных, где наибольшее восхищение вызывают такие качества, как инициативность и упорство тех, кому для победы приходится преодолеть дополнительные препятствия. В свете основополагающего принципа равенства их победе придается большее значение, чем, скажем, успеху наиболее одаренных и глубоко образованных учащихся, которым не приходится преодолевать дополнительные трудности личного порядка. Хотя выражение: «Пусть победит сильнейший» употребляется достаточно часто, культ человека, самостоятельно поднявшегося наверх, ставит в особую заслугу умение победить, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. В кредо американца это умение стоит выше, чем совершенство, как таковое, хотя на практике четкой грани не существует. В этом можно усмотреть печать наследия американской истории. Становясь на ноги в Америке, иммигранты сталкивались с огромными дополнительными трудностями. Идеал человека, успешно преодолевающего стоящие перед ним трудности, вероятно, пришелся им по душе, подобно тому как он пришелся по душе – по совсем другим причинам – преуспевающему дельцу.

Эти американские шаблоны не имеют точного соответствия в английской культуре. Там процессу отбора лучших среди учащихся чужда идея «соревнования равных». О них в Англии судят с другой точки зрения: обладают ли они соответствующими качествами ума и характера и в какой степени. Вместо того чтобы побеждать в соревновании или завладеть высокими положениями, к которым открыл бы им доступ успех в области образования, студент занимает эти положения, если будет отобран элитой судей, устанавливающих, что он обладает требуемыми качествами. Пользуясь выражением профессора Тернера, подобная «организуемая» мобильность разительно отличается от американской «соревновательной» мобильности. В Англии ценится совершенство, как таковое, высокое качество независимо от того, каким образом оно достигнуто; более того, особо похвальным считается успех, достигнутый без заметного приложения усилий. Это находит отражение

в свойственной англичанам манере писать, пикироваться и во многом другом. Англия стала буржуазным обществом, но в ее культуре сохраняется склонность предоставлять приоритет ценностям, по существу аристократическим. [...]

Этот пример возвращает нас к мысли, высказанной мною в самом начале главы, где я отметил, что обычно мы употребляем выражение «современное общество» применительно к целому периоду, наступившему после первой промышленной революции в Англии XVIII века. Теперь я добавил еще одну идею: время вступления той или иной страны на путь модернизации, а также скорость и методы осуществления этого процесса накладывают большой отпечаток на отличительный характер «современности» этого общества. Такова вторая причина сохранения заметных различий между обществами, которые на основе многочисленных критериев должны быть отнесены к числу современных.

Рейнхард Бендикс Современное общество // Американская социология. Перспективы, проблемы, методы / Пер. с англ. Редакция и вступительная статья д. филос. н. Г.В. Осипова. – Изд-во «Прогресс». – М., 1972.

БЕЛЛ ДАНИЕЛ

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА

Понятие «постиндустриальное общество» делает упор на центральное место теоретических знаний как на тот стержень, вокруг которого будут организованы новые технологии, экономический рост и социальная стратификация. Эмпирически можно показать, что этот осевой принцип становится все более доминирующим в развитых индустриальных обществах.

В данном случае речь идет не о принципе конвергенции. Он базируется на предпосылке, согласно которой существует один основополагающий институт, определяющий общество. Так, много лет назад П.Сорокин и Ч. Райт Миллс пришли к выводу, что Советский Союз и Соединенные Штаты становятся «похожими» друг на друга, поскольку обе державы превращаются в централизованные бюрократизированные общества, подчиненные единственной цели - подготовке к войне. Несколько иным образом Я.Тинберген и его коллеги утверждали, что в силу экономической рациональности и коммунистические, и капиталистические страны развиваются в направлении единой модели модифицированного планирования (прямого или индикативного), связанного с использованием рынков. М.Леви и в некоторой степени У.Мур доказывали, что в своих главных чертах все индустриальные общества оказываются схожими вследствие унифицированных требований промышленного производства, взаимозависимости образования и профессиональной принадлежности, а

также характера технических знаний. Однако немногие общества как сложившиеся исторические и политические единицы могут быть определены исключительно исходя из единственного института как это полагал К.Маркс; вряд ли возможно охарактеризовать систему как капиталистическую и полагать, что все остальные взаимоотношения – культурные, религиозные, политические – вытекают из этого базового принципа. Общества отличаются друг от друга типом соотношения их политических систем с социальной структурой и культурой. Внутри же самой социальной структуры (как и внутри политического строя и культуры) существуют различные осевые принципы, вокруг которых строятся общественные институты. И даже когда различные общества относительно сходны в экономическом или социальном аспектах, они могут заметно отличаться, если за основу сравнения будет взят иной принцип. Так, исходя из осевого принципа собственности, ряд обществ может быть определен как капиталистические; однако если взять, скажем, принцип политического консенсуса, то эти общества распадаются на демократические и авторитарные.

В несколько ином смысле можно утверждать, что оба последовательных ряда – феодализм, капитализм и социализм, а также доиндустриальное и постиндустриальное общества – исходят от К.Маркса. Он определил способ производства состоящим из общественных отношений и производительных сил (то есть технических средств). К.Маркс назвал существующий способ производства капиталистическим, но если мы отнесем термин «капиталистический» только к социальным отношениям, а «индустриальный» – к техническим средствам, то сможем понять, каким образом разворачиваются различные ряды последовательности. В этом смысле возможно существование как социалистических, так и капиталистических постиндустриальных обществ, а Советский Союз и Соединенные Штаты, хотя и разделены осевым принципом собственности, являются индустриальными державами.

Кроме того, следует проводить различие между конвергенцией и интернационализацией. Возможна, например, интернационализация стиля, вследствие чего «современные» художники во Франции, в Англии, Японии и Мексике создают одинаковые по манере исполнения полотна. Возможна и интернационализация научных знаний и технологических процессов, но общества как специфические исторические единицы представляют собой особые институционализированные системы, которые трудно непосредственно сопоставить друг с другом. В некоторых измерениях (технология, архитектура) они могут иметь сходство и отталкиваться от общего источника знаний или стиля; при этом в других (ценности, политическая структура, традиции), а также в способах их закрепления, например, в системах образования, они могут различаться. Если идея конвергенции и имеет смысл, то он состоит том, что общества сходны друг с другом до некоторой степени в определенных измерениях или могут сталкиваться с похожими совокупностями проблем. Тем не менее это ни в коей мере не гарантирует аналогичного или даже схожего отклика на них. Отклик будет зависеть от политической и культурной организации конкретного общества.

Идея постиндустриального общества, равно как и идея индустриального общества, или капитализма, имеет значение лишь в качестве концептуальной схемы. Она обозначает новый осевой принцип социальной организации и определяет единую сумму проблем, с которыми придется столкнуться обществам, становящимся постиндустриальными. Идея постиндустриального общества не опирается, как считает Ж.Флу, на концепцию социальной системы. Я не думаю, что общества являются столь органичными или настолько интегрированными, чтобы их можно было рассматривать как единую систему. В действительности сегодня в теоретическом плане меня больше всего волнует разрушающаяся в западном обществе связь между культурой и социальной структурой, когда первая становится все более антиинституциональной и антиномичной, а вторая ориентируется на функциональную рациональность и меритократию. Концепция постиндустриализма служит попыткой обозначить перемены в социальной структуре. Однако, как я неоднократно доказывал, не существует очевидной зависимости между изменениями в данной области и в двух других аналитических измерениях общества – политическом и культурном.

Я полагаю, что основные установления, или сферы, общества лучше всего изучать, определяя осевые институты или принципы, вокруг которых сосредотачиваются другие институты и которые ставят перед обществом важнейшие проблемы, требующие своего решения. В капиталистическом обществе осевым институтом была частная собственность, в постиндустриальном им является центральная роль теоретических знаний. В западной культуре последнего столетия в качестве осевого принципа утвердился «модернизм» с его яростными атаками на традиции и укоренившиеся институты. В политических системах западных обществ на место ключевой проблемы выдвинулось противоречие между стремлением населения участвовать в делах общества и бюрократией.

Одна из трудностей социального анализа заключается в переплетении и противоречивом характере этих принципов, если сравнивать их друг с другом в пределах одной и той же системы. Так, в системе стратификации, которую социологи считают основополагающей для любого общества, исторической базой власти служила собственность, а способом ее получения было наследование. Сегодня, хотя собственность и остается важным базовым принципом, еще одним, иногда конкурирующим с ней принципом становится техническое мастерство, доступ к которому обеспечивается образованием. В равной степени политические должности превращаются в основу власти и привилегий (особенно для некоторых групп, таких, как этнические, встречающих препятствия на путях использования двух других способов), а политическая активность и кооптация становятся средствами доступа к этим постам. Именно противоречивый характер трех способов достижения власти делает столь трудной идентификацию соответствующих социальных групп и политических интересов. Культурная сфера заменила технологию в качестве источника социальных изменений, и напряженность, возникшая в отношениях между размываемой протестантской этикой и альтернативной ей культурой,

стала источником заметных противоречий в системе ценностей американского общества.

Каким образом постиндустриальное общество отличается от предшествующего? В историческом аспекте К.Томинага прав: постиндустриальное общество есть продолжение тенденций, вытекающих из индустриального, и многие новые явления были предсказаны довольно-таки давно. Для А. де Сен-Симона и К.Маркса, например, были очевидны идеи решающей роли инженерных работников (в первом случае) и науки (во втором) в преобразовании общества, хотя ни один из них не имел или не мог иметь никакого представления о коренном изменении взаимозависимости между наукой, экономическим и технологическим развитием, так как большинство ведущих отраслей экономики девятнадцатого и начала двадцатого столетия – сталелитейная промышленность, телеграф, телефон, электричество, автомобилестроение и авиация – в значительной степени развивались талантливыми одиночками, действовавшими независимо от фундаментальных научных исследований, а первой современной отраслью экономики стала химия, поскольку здесь необходимы априорные теоретические знания о свойствах молекул, манипулирование с которыми должно привести к созданию новых продуктов.

Однако для аналитических целей можно подразделить общества на доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные и противопоставить их в различных аспектах. [...] Это, конечно, идеальные типы, но цель такой конструкции – наглядно показать существенные различия. Так, доиндустриальное общество организовано вокруг «взаимодействия с природой»: ресурсы обеспечиваются добывающими отраслями промышленности, а общество подчиняется законам снижающейся отдачи и низкой производительности. Индустриальное общество— это «взаимодействие с преобразованной природой», которое основано на взаимоотношениях человека и машины и использует энергию для превращения естественной окружающей среды в техническую. Постиндустриальное общество основано на «игре между людьми», в которой на фоне машинной технологии поднимается технология интеллектуальная, основанная на информации. Вследствие столь серьезных различий существуют огромные расхождения в характере экономического сектора и типах занятости. Методологическая основа каждого общества различна, и, что более важно, существуют качественно отличные осевые принципы, вокруг которых сконцентрированы институциональные и организационные атрибуты того или иного социума.

Результатом всего этого становятся резкие отличия характера структурных проблем, с которыми сталкивается общество каждого типа. В индустриальном обществе главной экономической проблемой была проблема капитала: как институционализировать процесс накопления достаточных сбережений и превратить их в инвестиции? Ее решили с помощью фондового рынка, инвестиционных банков, самофинансирования и государственного налогообложения. Ячейкой социальных отношений являлись предприятие или фирма, а основной социальной проблемой – проблема конфликта между

работодателем и рабочим. В той мере, в какой инвестиционные процессы приобрели рутинный порядок, а «классовые конфликты» были изолированы таким образом, что вопрос классовой борьбы перестал быть единственным фактором социальной поляризации, прежние проблемы индустриального общества оказались если не «решенными», то, во всяком случае, лишены остроты.

В постиндустриальном обществе главная проблема состоит в организации науки, а важнейшим институтом выступает университет или научно-исследовательская лаборатория, где проводится эта работа. В девятнадцатом и начале двадцатого века влияние государств определялось их производственной мощностью, основным показателем которой был выпуск стали. Мощь Германии накануне первой мировой войны оценивалась по тому факту, что она перегнала Великобританию по производству стали. После второй мировой войны научные возможности страны стали решающим показателем ее потенциала, а исследования и разработки пришли на смену производству стали в качестве относительного критерия силы государства. По этой причине характер и формы государственной поддержки науки, ее политизация, социологические проблемы организации научных исследований заняли центральное место среди политических проблем постиндустриального общества.

Крупные социальные перемены порождают соответствующую реакцию. Студенческие волнения конца 60-х годов отчасти явились отражением влияния новой, альтернативной культуры, сопротивляющейся развитию общества, базирующемуся на достижениях науки. Однако в еще большей степени студенческие волнения стали реакцией на «организационные шоры», которые постиндустриальное общество навязывает науке, что выражалось в усилении давления на молодых людей все более и более раннего возраста с целью заставить их выбрать хороший колледж, основной предмет, а также сориентироваться в вопросах, относящихся к будущей деятельности и карьере.

С политической точки зрения проблемой постиндустриального общества, как правильно отмечает Ф.Буррико, является развитие нерыночной экономики благосостояния и отсутствие адекватных механизмов оценки общественных благ. По техническим и концептуальным причинам невозможно определить стоимость таких товаров в рыночных категориях; вследствие того, что они распределяются между всеми людьми, некоторая часть населения проявляет сдержанность при одобрении осуществляемых затрат. Наиболее важно то, что природа нерыночных политических решений ведет к прямому конфликту: в противоположность рынку, который рассредоточивает ответственность, в политике суть решений доступна и очевидна; ясны и их последствия; понятно, кто понесет потери, а кто получит преимущества. При наличии такого узлового момента, когда дело доходит до принятия политических решений, конфликт вспыхивает без особого труда.

В самом широком смысле наиболее сложной дилеммой, с которой сталкиваются все современные общества, является бюрократизация, или «власть правил». Исторически бюрократизация сыграла положительную роль в

укреплении гражданских свобод. В условиях деспотической и непредсказуемой власти принятие обезличенных правил было гарантией соблюдения прав человека. Однако когда обезличенным становится весь мир и организации автоматически руководствуются существующими правилами (причем часто ради блага и в интересах бюрократического персонала), приходится констатировать, что действие упомянутого принципа, бесспорно, зашло слишком далеко.

Все эти изменения происходят в недрах общества, которое наращивает свою внутреннюю сложность (особенно в сфере науки и технологий), смешивает технократические и политические решения и становится свидетелем подъема нового класса, способного как вступить в борьбу за конституирование самого себя в качестве нового правящего класса, так и отказаться от нее. Именно такие вопросы определяют основные проблемы постиндустриального общества.

Концепция постиндустриального общества не есть законченная картина социального устройства, а лишь попытка охарактеризовать и объяснить коренное изменение в социальной структуре (определяемой как совокупность экономики, технологии и системы стратификации). Однако подобное изменение не предполагает определенности соотношения между «надстройкой» и «базисом»; напротив, инициатива реорганизации общества сегодня исходит в значительной степени от политической системы. Как различные индустриальные общества – Соединенные Штаты, Великобритания, нацистская Германия, Советский Союз и Япония послевоенных лет – заметно расходились между собой в политическом и культурном отношении, так и многие общества, вступающие в постиндустриальный период развития, вполне вероятно, будут иметь разные политические и культурные конфигурации. Принципиальный водораздел современного общества не проходит между собственниками средств производства и однородным пролетариатом, а обозначен бюрократическими и властными отношениями между теми, кто имеет полномочия принимать решения, и теми, кто лишен таковых, и это касается любых организационных единиц – политических, экономических и социальных. Задачей политической системы становится управление этими отношениями в соответствии с разного рода давлениями, оказываемыми с целью перераспределения национального достояния и обеспечения социальной справедливости.

Концепция постиндустриального общества наводит на мысль, что существует общий круг проблем, во многом зависящих от взаимоотношений между наукой и политикой, которые придется решать этим обществам; однако они могут быть решены разными методами и в разных целях. Социолог стремится найти те «определяющие механизмы», которые позволяют понять путь, по которому направляются социальные изменения. Концепция постиндустриального общества выступает в качестве одного из механизмов, позволяющих сделать более понятными сложные изменения в социальной структуре западных стран.[...]

Белл Даниел Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Перевод с англ. – М.: Academia, 1999. – 956.

МЕРДОК ДЖОРДЖ ПИТЕР

Глава 5 ОБЩИНА

Антропологи, начиная с Моргана и заканчивая Лоуи, проявили значительно больше интереса к изучению форм семьи, сиба и клана, чем к исследованию организации социальных групп, построенных на чисто территориальной основе. С другой стороны, социологи уже долгое время уделяют большое внимание общинной организации, и сходный интерес в последнее время намечается и в антропологии, где особенно заметный вклад в исследование проблемы был внесен Стюардом и Линтоном.

Социологический термин «община» (community) представляется здесь предпочтительнее менее определенных или описательных терминологических альтернатив, таких, как «локальная группа» (local group) или «бэнд» (band) в качестве родового обозначения групп, организованных на преимущественно территориальной/локальной основе. Одно из предложенных определений общины рассматривает ее как «максимальную группу лиц, которые обычно живут в одном месте и находятся в непосредственном общении друг с другом». Община и нуклеарная семья – это единственные действительно универсальные социальные группы. Они встречаются во всех известных науке обществах, а в зачаточной форме могут быть прослежены и на дочеловеческом уровне.

Нигде на земле люди не живут постоянно изолированными семьями. Повсеместно территориальная близость в совокупности с разнообразными связями других типов объединяет как минимум несколько соседних семей в более крупное социальное образование, все члены которого поддерживают прямые личные отношения друг с другом. Вейер, демонстрируя этот факт применительно к эскимосам, отмечает, что общинная организация облегчает жизнь своим членам через социальное взаимодействие, дает им хозяйственные преимущества через кооперацию в добывании продуктов питания, а также страхует их от временной нетрудоспособности или всякого рода несчастий через взаимопомощь и дарообмен. К этим преимуществам можно добавить совершенствование специализации и разделения труда, достигаемое в рамках общинной организации. Таким образом, общинная организация увеличивает шансы выживания своих членов, а это, вместе с непосредственными преимуществами, которые она дает, вне всякого сомнения, становится причиной ее универсального распространения.

Община имеет различные формы у народов с разными типами хозяйства. Там, где хозяйство основано, прежде всего, на собирательстве, охоте или скотоводстве, обычно требующих сезонного перемещения с места на место, локальная группа, как правило, состоит из нескольких семей, регулярно

располагающихся вместе лагерем. Этот тип общины называется бродячей локальной группой (band). С другой стороны, земледелие требует более постоянного обитания в едином поселении, хотя истощение земель может заставлять общину перемещаться на новое место каждые несколько лет. Постоянное поселение также совместимо с экономикой, основанной на рыболовстве, иногда даже и на охоте – в исключительных обстоятельствах, когда охотничьи ресурсы изобильны, а основные объекты охоты не совершают сезонных миграций. При более или менее оседлом поселении община может принять форму деревни, занимающей сконцентрированный кластер жилищ рядом с центром эксплуатируемой территории, либо общинной округи, состоящей из разбросанных по полуизолированным хуторам семей. Возможен также и промежуточный тип – например, американский сельский городок с разбросанными по округе фермами и локальным центром, где размещаются церковь, школа, почта и универсальный магазин. Существует и вариант, когда люди живут в постоянных деревнях в течение одного сезона, а на следующий сезон разбиваются на мелкие бродячие группы. Из 241 общества нашей выборки, по которым мы имеем соответствующую информацию, 39 организованы в бродячие локальные группы (bands), 13 – в общинные округи без выраженного общинного центра, а 189 живут деревнями или городами.

Что касается размера общины, то на уровне его нижней границы (к ней близки, например, чукчи-оленоводы) она может состоять из двух-трех семей. Верхняя граница, по всей видимости, задается «практической невозможностью установления устойчивых тесных связей с очень большим числом людей». Видимо, по этой причине наблюдается тенденция к сегментации крупных городских поселений (при отсутствии избыточной географической мобильности) на локальные округи или кварталы, обладающие очевидными признаками общин. Исследование Гуденафа выявило, что средние размеры общин колеблются в пределах от 13 до 1000 человек; при этом средний размер общины для бродячих локальных групп – это 50 человек, для рассеянной общинной округи – 250, а для оседлых деревень – 300 человек. Это же самое исследование показало, что нормальный размер общины зависит прежде всего от типа хозяйства. Например, если локальная экономика основана прежде всего на охоте, собирательстве и рыболовстве, средний размер общины составляет менее 50 человек, в то время как при сочетании земледелия со скотоводством он достигает приблизительно 450 человек.

По всей видимости, община всегда связана с определенной территорией; при этом члены общины эксплуатируют ее ресурсы в соответствии с технологическими достижениями своей культуры. При охотничье-собирательском типе хозяйства общинные земли находятся в коллективной собственности и подвергаются коллективной эксплуатации, хотя в некоторых случаях, как было показано Спеком применительно ко многим алгонкинским племенам северо-востока Североамериканского континента, общинная территория делится на участки, принадлежащие отдельным семьям. В скотоводческих обществах в тенденции наблюдается сходная ситуация. При земледельческом хозяйстве в ряде случаев обрабатываемая земля находится в

коллективной собственности и периодически перераспределяется между семьями. Однако значительно более часто она находится в феодальной или частной собственности, хотя неземледельческие участки общинной территории могут продолжать оставаться в коллективной собственности и коллективном пользовании. Территориальная основа общины сохраняется даже в обществах с рыночной или промышленной экономикой, несмотря на резкое уменьшение в данном случае относительной важности земли как источника средств к существованию.

Вследствие наличия общей территории и взаимозависимости составляющих ее семей община становится базовым фокусом общественной жизни. Каждый из ее членов обычно достаточно близко знаком с остальными членами общины и через постоянное взаимодействие научился адаптировать свое поведение к поведению сообщинников; таким образом, группа оказывается сплоченной воедино сложной сетью межличностных отношений. Многие из них получают культурное оформление, в результате чего формируются стандартизированные социальные отношения, например родственные или отношения, основанные на иерархии половозрастных статусов. Они облегчают социальное взаимодействие и в значительной степени агрегируются в кластеры вокруг общих интересов, образуя группы, подобные кланам и ассоциациям, помогающие связать образующие общину семьи в единое целое.

Так как сообщинники оказывают влияние на поведение индивида именно через непосредственные личные отношения (которые мотивируются, направляются, вознаграждаются и наказываются), община оказывается первичной базой социального контроля. Именно здесь наказывается отклонение от следования нормам, а жизнь в соответствии с ними получает поощрение. Примечательно, что изгнание из общины в разных концах земного шара рассматривается как самое серьезное наказание, и именно угроза изгнания служит конечной санкцией, направленной на обеспечение следования нормам со стороны индивидов. Через действие социальных санкций человеческие представления и поведения в тенденции становятся относительно стереотипными в пределах общины; в результате получают развитие локальные культуры. В самом деле, община, по-видимому, выступает в качестве наиболее типичной группы, поддерживающей тотальную культуру. Между прочим, это дает теоретическое обоснование направлению «исследований общины», области, к которой в последние десятилетия антропологи, социологи и социальные психологи в равной степени проявляют выраженный интерес.

В условиях относительной изоляции каждая община имеет собственную культуру. Степень, в какой она обладает характеристиками, общими с культурой соседних локальных групп, в немалой мере зависит от средств и объемов коммуникации между ними. Легкость коммуникации и географическая мобильность могут привести к высокому уровню культурной однородности на больших пространствах, как, например, в современных Соединенных Штатах, но она может привести и к появлению важных

социальных разломов, линии которых могут пройти и через локальные образования, как это наблюдается в случае классового расслоения. Тем не менее для большинства народов Земли община всегда была и первичной единицей социального участия, и выраженной группой – носителем культуры.

Объединенные отношениями взаимопомощи и общей культурой члены общины образуют «мы-группу» (in-group), характеризующуюся внутренним миром, порядком и высоким уровнем кооперации. Поскольку они помогают друг другу в удовлетворении основных влечений и производных потребностей, а удовлетворение последних возможно только в социальной жизни, среди них развивается коллективное чувство групповой солидарности и лояльности, имеющее разные обозначения – «сингенизм», «мы-чувство», *esprit de corps*, «чувство общности».

Социальная жизнь, несмотря на все те многообразные преимущества и плюсы, что она дает ее участникам и которые в свою очередь укрепляют ее саму, тем не менее также время от времени ведет к тем или иным фрустрациям и расстройствам. Индивид должен сдерживать свои некоторые импульсы, если хочет продолжать сотрудничать с сообщинниками, а когда ему не удастся сдержаться, он испытывает на себе применение болезненных социальных санкций. Как всегда, фрустрации порождают агрессивные тенденции. Однако последние не могут найти полного выражения в пределах мы-группы, ведь иначе к индивиду будут применены дополнительные санкции и он лишится поддержки сообщинников полностью. Следовательно, они выходят наружу, канализуясь в форме антагонистических чувств и враждебного поведения в отношении других групп. Межгрупповой антагонизм становится, таким образом, неизбежным спутником внутригрупповой солидарности.

Тенденция превозносить свою мы-группу и принижать другие (феномен, технически известный как «этноцентризм»), хотя она и была, видимо, изначально ассоциирована именно с общиной, стала с расширением общественных горизонтов характерной для всех социальных групп людей. Сегодня, например, этноцентризм встречается в самых разных обличьях – от «местного патриотизма», «гордости за родной колледж» и *esprit de corps* коммерческой организации до религиозной нетерпимости, расовых предрассудков, «классового самосознания» и международных конфликтов. Сколь бы ни был этот феномен достоин сожаления с этической точки зрения, он неизбежен для самой общественной жизни; в лучшем случае его можно направить таким образом и по таким адресам, чтобы это наносило наименьший вред социуму.

Так как ее члены имеют большой опыт прямой личностной кооперации, община обычно способна предпринять скоординированную коллективную акцию, по крайней мере в чрезвычайных обстоятельствах, вне зависимости от того, делает ли она это под руководством неформальных или формальных лидеров, либо ее организуют коллективные органы, чья сфера компетенции, властные полномочия и функции определены культурно. Более того, в качестве основного центра социального контроля она поддерживает внутренний

порядок и обеспечивает следование традиционным нормам поведения, если даже и не при помощи юридических органов и процедур, то по крайней мере через коллективное применение санкций в случаях, когда общественное мнение обеспокоено серьезными нарушениями порядка. Таким образом, в основе своей община оказывается политической группой наряду с тем, что она выступает в качестве локализованной, построенной на личностных отношениях группой, обеспечивающей воспроизводство культуры определенного типа. Именно в общине нужно искать зародыши политической организации, как бы ни была она проста и неформальна с точки зрения органов и процедур.

Необходимо указать на обстоятельство, что политическая организация в кросс-культурной перспективе имеет и вторую первичную функцию. Наряду с тем, что она служит средством социального контроля и координации коллективных действий (и это выступает в качестве оправдания ее существования для управляемых), она дает власть имущим возможность использовать свою власть для собственного возвеличивания и обогащения. Вне зависимости оттого, имеем мы дело с вождем варваров, феодальным лордом или муниципальным боссом, все они получают от исполнения своих политических функций заметные привилегии и личные выгоды. Пока правители поддерживают закон и порядок, а их эксплуататорская деятельность не принимает диспропорциональных масштабов в сопоставлении с объемом предоставляемых ими социальных услуг, управляемые обычно не восстают против них из-за их социальных привилегий. Однако чрезмерная эксплуатация может приводить к замене одних управляющих лиц другими.

Общественные отношения, даже имея непосредственный личный (face-to-face) характер, по-видимому, никогда не замыкаются в рамках одной лишь общины, если только она не совершенно изолирована, подобно тому как полярные эскимосы, когда их впервые посетил Росс, поразились, узнав, что они не единственные люди на Земле. Торговля, межобщинные браки и другие факторы создают личные связи между членами различных общин, на базе чего зона мира и порядка может значительно увеличиваться. Воинственность и атомизм простых обществ были очень преувеличены. Первобытный человек в той же степени, что и мы сами, способен представить преимущества, которые он может получить от мирного взаимодействия с соседями и от сдерживания проявлений собственных этноцентрических предрассудков. Даже в регионах постоянных вооруженных конфликтов военные действия идут не постоянно и не против всех окрестных групп; даже при максимальной интенсивности вооруженных конфликтов все-таки наблюдаются перемирия и временные альянсы. Но значительно чаще мы видим преобладание мирного взаимодействия как господствующей нормы общения на обширных территориях.

Распространение личных отношений за пределы общины может облегчаться при помощи разнообразных культурных средств, например локальной экзогамии, побратимства, норм безопасного прохождения через территории чужих общин, перемирий на периоды проведения торговых ярмарок. Оно может регулироваться развитием социальных групп, границы

которых выходят за рамки одной общины, например сибов, религиозных сект и социальных классов. Наконец, межобщинный мир может быть обеспечен политической унификацией, организацией нескольких локальных групп в единый округ как в рамках племенной, так и государственной администрации. Хотя многие общества пошли именно этим путем, около половины культур нашей выборки не развили каких-либо форм собственно политической интеграции, выходящих за границы отдельных общин. Информация о политической организации в доконтактный период имеется по 212 обществам нашей выборки. В 108 общины политически независимы; в 104 определенные политические структуры объединяют общины в более крупные образования разного масштаба.

Среди факторов, благоприятствующих развитию надобщинной политической организации, особо важен оседлый образ жизни. [...] Бродячие локальные группы обычно являются политически независимыми, в то время как деревни и поселения оседлого населения чаще организованы в надобщинные объединения. [...]

Проблема организации скоординированной коллективной акции, а также поддержания закона и порядка в крупной политике более сложна, чем в отдельной общине. Неформальные способы достижения консенсуса, кооперации и социального контроля не могут действовать там, где отсутствуют прямые личные контакты, и они заменяются формальными механизмами и процедурами. Межличностные отношения, связывающие воедино членов надобщинного объединения, будут по необходимости относительно абстрактными или условными, а не конкретными и прямыми. Конечно, они обычно формируются по образцу личных отношений между членами одной общины, но по мере выхода межличностных отношений за пределы общины они становятся формализованными и стереотипизированными. Например, пэттерны личных отношений, регулирующие в большой степени взаимодействие между общинником и главой общины, конвенционализируются в виде формального этикета и явно сформулированных прав и обязанностей, когда речь идет о личных отношениях между подданным и вождем или королем. Сходным образом правила юридической процедуры в тенденции приходят на смену неформальной дискуссии, системы налогообложения и взимания дани – подношению даров, специализированные чиновники, каждый из которых выполняет определенную функцию, – неспециализированному главе общины, выполняющему сразу все административные функции.

Даже в сложных надобщинных политических образованиях община обычно сохраняет функции политической единицы, хотя уже не независимой, а подчиненной, и относительная простота и непосредственность все еще продолжают, как правило, характеризовать формы внутриобщинного общения. По этой причине различия в степени сложности политической организации не делают сравнительное изучение общинной организации невозможным. Однако можно поставить под вопрос обоснованность сравнительных исследований политической организации, имеющих дело с верхним уровнем администрации в самых разных обществах, вне зависимости от того, идет ли речь о

независимых общинах, племенах или сложных государственных образованиях. Например, локальная группа аранда и Инкская империя – несравнимые единицы, хотя, видимо, вполне продуктивным было бы сравнение первой политической единицы с перуанской локальной общиной (айллу), а второй – с догемейским королевством.

В рамках данного исследования мы не собирались предпринимать анализ политических структур. Однако, как будет ясно позднее, община представляет собой одно из социальных объединений, оказывающих значимое воздействие на эволюцию терминологии родства и сексуального поведения, и по этой причине необходим анализ воздействия, оказываемого на общину развитием как надобщинной социально-политической организации, так и эволюцией входящих в общину родственных групп.

Один из типов социальных структур, часто выходящих за рамки общины, – общественные классы. Информация о классовой стратификации была собрана нами в расчете на то, что она окажется полезной при интерпретации сексуального поведения и родственных отношений. [...] Классовая структура обозначается как «сложная», если включает три и более выраженных социальных слоя, не считая рабов, или если она осложнена присутствием наследственных эндогамных каст. Также мы проводим различие между классовой структурой, основанной на имущественном неравенстве, и классовой стратификацией, в рамках которой привилегированный статус прежде всего наследственный. Для ряда обществ мы имеем данные об имущественном расслоении при отсутствии тем не менее существенных различий в поведении. В результате, имущественные различия в таких случаях больше напоминают индивидуальные различия в уровне мастерства, доблести или благочестия, чем статусные градации в строгом смысле понятия. [...]

Как и можно было ожидать, социальная стратификация особенно характерна для оседлого населения. Рабство, например, засвидетельствовано в 55 обществах с деревнями и общинными округами, отсутствуя в 94, в то время как оно встречается лишь в 3 племенах, организованных в бродячие локальные группы, отсутствуя в 33. [...] Собственно социальные классы не засвидетельствованы в нашей выборке ни в одном обществе, организованном в бродячие локальные группы, но встречаются в большинстве культур с оседлыми общинами.

Результатом существования общественных классов становится не только объединение между собой членов разных локальных групп, но и расслоение самой общины, усложнение ее социальной структуры. Таким образом, община может оказаться расслоена на аристократов и простолюдинов или на несколько каст. Социальное взаимодействие внутри этих групп оказывается интенсивнее, чем между ними, в результате чего могут развиваться значимые культурные различия. [...]

Мердок, Джордж Питер. Социальная структура / Пер. с англ. А.В. Коротаяева. – М.: ОГИ, 2003. - 608.

Глава 2 СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ

Данная глава посвящена понятийному аппарату, основным теоретическим моделям стратификации, стратификации на макро-, мезо- и микроуровнях общества, системным характеристикам социального неравенства.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ СТРАТИФИКАЦИИ

Разнообразие отношений, ролей, позиций приводят к различиям между людьми в каждом конкретном обществе. Проблема сводится к тому, чтобы каким-то образом упорядочить эти отношения между категориями людей, различающимися во многих аспектах.

Так, в большинстве стран феодальной Европы главной характеристикой была принадлежность к определенному сословию: господ-феодалов, свободных горожан или зависимых крестьян; «свои» и «чужие» отделялись по цивилизационному признаку принадлежности к той или иной конфессии. А француз ты или англичанин, не имело особого значения. В эпоху складывания национальных рынков и становления капитализма этническая принадлежность из горизонтального деления, не ставившего человека в более высокое или низкое положение, стала превращаться в вертикальное. «Арап Петра Великого», знаменитый предок А.С. Пушкина, в новых обстоятельствах мог бы быть лишь на нижнем ярусе социальной башни. Знатность происхождения и власть над зависимыми людьми вооруженных сеньоров уступает место маркировке людей по богатству и собственности. В современных информационных обществах наблюдатели отмечают сосуществование и переплетение нескольких, если и неравнозначных, то относительно автономных систем неравенства (или иерархии): власти, собственности, престижа.

Для описания системы неравенства между группами (общностями) людей в социологии широко применяют понятие «социальная стратификация». Само слово «стратификация» заимствовано у геологов. Оно латинского происхождения (первоначально *stratum* означало покрывало, постель). В английском языке его стали понимать как пласт, формацию (в геологии), слой общества (в обществознании); множественное число — *strata*, *stratification* (стратификация) — деление на общественные слои («пласты»).

Стратификация подразумевает, что определенные социальные различия между людьми приобретают характер иерархического ранжирования. Что это за различия? Очевидно, что люди различаются во многих отношениях, и далеко не все эти различия приводят к неравенству между членами общества. В самом общем виде неравенство означает, что люди живут в условиях, при которых они имеют неравный доступ к ограниченным ресурсам материального и духовного потребления.

Дальнейшее изложение требует раскрытия нескольких важных понятий, которые органично входят в систему знания о социальной стратификации.

Осмысление реалий социальной стратификации проще всего начать с места отдельного человека среди других людей. Любой человек занимает много позиций в обществе. Эти позиции далеко не всегда можно ранжировать по их значимости. Например, возьмем любого из студентов: студент, молодой мужчина, сын, муж, спортсмен. Каждая из этих позиций может иметь для самого человека большее или меньшее значение. Да и окружающие могут оценивать их применительно к конкретному индивиду по-разному. Например, хороший спортсмен социально будет определяться окружающими именно в этой его позиции (то, что данный человек еще и студент, сын и т.д., — не воспринимается окружающими его людьми как значимые характеристики).

Каждая из социальных позиций, предполагающая определенные права и обязанности, есть «статус». Один из статусов человека определяет его социально, он-то и есть его главный статус. Некоторые из статусов даны от рождения (пол, этническое происхождение и т.д.) и называются «предписанными статусами». Другие достигаются человеком в процессе его жизни. Например, профессия, состояние в браке. Это — «приобретенные статусы».

Социальный статус есть место индивида или группы в иерархически организованной структуре. Под статусом подразумевается неисчерпаемый приписываемый человеку ресурс, открывающий для него возможности влиять на общество и получать посредством этого ресурса привилегированные позиции в системе власти и распределения материальных благ. Социальный статус определяется многочисленными показателями, которые задаются типом социокультурной системы. В современных обществах особенно важны такие критерии, как престиж профессии, уровень дохода, продолжительность и качество образования, объем властных полномочий, размер собственности.

Различные социальные позиции, занимаемые индивидом, могут быть интегрированы в обобщенный социальный статус, который, конечно, есть нечто большее, чем простая сумма частных статусов. Некоторые авторы считают, что социальные статусы (социальные позиции), являясь относительно устойчивыми и воспроизводимыми элементами социальной системы, образуют ее структуру, т.е. содержание социальной структуры составляет совокупность отношений между социальными позициями (статусами).

Со статусом человека связано ожидаемое от него другими людьми поведение, т.е. «роль». Поведение людей, занимающих определенную социальную позицию, задается в большей мере этой позицией, чем их индивидуальными характеристиками. Социальная роль есть социальная функция, модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности в системе общественных или межличностных отношений. Модели (образцы) поведения усваиваются и принимаются личностью либо навязываются ей окружением. Освоение роли требует времени, поскольку речь идет об устойчивом воспроизведении стереотипов поведения. Конкретные индивиды выступают во множестве ролей. Роль, таким образом, есть лишь

отдельно взятый аспект целостного поведения. Каждый статус обычно включает несколько ролей. Совокупность ролей, вытекающих из данного статуса, называется ролевым набором.

Все виды социального поведения человека, его реализация себя как личности обеспечиваются путем освоения и реализации в поведении социальных норм, предписанных ему как представителю той или иной социальной общности. Социальные нормы (от латинского *norma* — руководящее начало, правило, образец) — это средства социальной регуляции поведения индивидов и групп. С помощью социальных норм общество и социальные общности (классы, общины, социальные организации) предъявляют своим представителям требования, которым должно удовлетворять их поведение; общество и отдельные общности на основе социальных норм направляют, контролируют, регулируют, оценивают это поведение.

Социальные нормы выражаются в представлениях людей о должном, допустимом, возможном, желательном, одобряемом, приемлемом или, напротив, о нежелательном, неприемлемом, недопустимом. Посредством социальных норм требования и установления общества, социальных групп переводятся в эталоны, модели, стандарты должного поведения их представителей. Социальные нормы обеспечивают стабильность общества, его нормальное воспроизводство, защиту от внешних и внутренних разрушительных воздействий. Поэтому социальные нормы интегрируют, упорядочивают, поддерживают общество в жизнеспособном состоянии.

Важным моментом социальной жизни является необходимость социализации каждого поколения, обучение социальным нормам. Человек от рождения не является ни бедным, ни богатым, ни руководителем, ни руководимым. Каждого ребенка приходится обучать «правилам игры», т.е. приучать к социальным нормам, опираясь на поощрения и санкции как со стороны родителей, так и институциональной среды вне семьи (школа, община, массовая коммуникация, референтная группа старших детей и т.д.). Передача норм от одного поколения к другому жестко связана с их преемственностью. Каждое общество во всей своей справедливости — несправедливости неравенства воссоздается заново с рождением каждого ребенка.

Устойчивость норм предопределена процессами социализации и существованием санкций за их нарушение, ведущих к конформному поведению; но в то же время нормы не совсем стабильны, в частности и потому, что процессы социализации и санкций не являются совершенными; их эффективность колеблется от семьи к семье и от поколения к поколению. По этой причине (хотя и не только) каждое общество постоянно изменяется.

Все сказанное относится к уровню межличностного взаимодействия. Но на том уровне социального взаимодействия, на котором оперирует социология, изучая социальное неравенство, мы не имеем дела с индивидами. Их статус, роли, индивидуальные особенности для социологов — лишь та поверхность, за которой скрывается подлинность социальности: социальные категории людей,

их потребности и интересы, типы статусов и ролей и, наконец, группы и социальные институты во взаимодействии и взаимоотношениях.

Для обозначения всей гаммы различий между людьми существует особое понятие, по отношению к которому «социальная стратификация» является частным случаем, видовым понятием по отношению к родовому. Это — «социальная дифференциация», объемлющая различия между макро- и микрогруппами, а также индивидами как по объективным характеристикам (экономическим, профессиональным, образовательным, демографическим и т.д.), так и по субъективным (ценностные ориентации, стиль поведения и т.д.). Авторы книги принадлежат к сторонникам оценки социальной дифференциации как источника социального многообразия, двигателя развития социальных систем. Данное понятие, и именно в этом ключе, было использовано Гербертом Спенсером при описании универсального для эволюции общества процесса появления функционально специализированных институтов и разделения труда. Со времен Г. Спенсера социальная дифференциация рассматривается как важное понятие в анализе социальных изменений и при сравнении индустриальных и постиндустриальных обществ.

Термин «дифференциация», применяемый как синоним слова «различие», употребляется для классификации статусов, ролей, социальных институтов и организаций. Именно социальная дифференциация вызывает имущественное, властное и статусное неравенство. Но, кроме того, дифференциация подразумевает и такие социальные различия, которые никак не связаны с социальным неравенством, не являются свидетельством положения в иерархии социальных статусов и социального расслоения.

Как мы видим, в теории стратификации постоянно обсуждается проблема равенства — неравенства. При этом под равенством понимают: 1) равенство личностное; 2) равенство возможностей достигнуть желаемых целей (равенство шансов); 3) равенство условий жизни (благосостояние, образование и т.д.); 4) равенство результатов. Неравенство, как очевидно, предполагает те же четыре типа взаимоотношений людей, но с противоположным знаком. В реальной практике изучения социальной жизни социологи особое внимание уделяют распределению дохода и благосостояния, различиям в продолжительности и качестве образования, участию в политической власти, владению собственностью, уровню престижа.

Рассмотрим теперь основные компоненты неравенства.

Начнем с понятия «власть» (power). Этот термин не следует смешивать с термином «управление», который относится к другой области социологического знания. Власть как социальный феномен многообразна. Поэтому естественно, что столь же многообразны ее дефиниции. Мы предлагаем следующее определение. Власть — это способность социального субъекта в своих интересах определять цели и направленность деятельности других социальных субъектов (безотносительно к их интересам); распоряжаться материальными, информационными и статусными ресурсами общества; формировать и навязывать правила и нормы поведения

(установление запретов и предписаний); предоставлять полномочия, услуги, привилегии.

Властные отношения означают, что между социальными субъектами существуют такие взаимосвязи, при которых один субъект выступает как объект действия другого субъекта, точнее превращает (навязывает) другой субъект в объект своего действия. В структуре властных отношений ключевое значение принадлежит распоряжению ресурсами, что позволяет властвующему субъекту подчинять себе других людей.

Собственность, по широко распространенному определению, это основное экономическое отношение между индивидуальными и групповыми участниками процесса производства, опосредованное их отношениями к средствам производства, один из важнейших социальных институтов. Собственность может быть частной, групповой, общественной, формы ее весьма многообразны. Но в любом случае отношения собственности раскрывают, кто принимает решение: где, что и как производить; как распределять произведенное; кого и как награждать, стимулировать за труд, творчество и организационно-управленческую деятельность. Другими словами, собственность реально раскрывается как процесс распоряжения, владения и присвоения. Это означает, что собственность есть властные отношения, форма экономической власти, т.е. власть владельца предмета над теми, кто им не владеет, но в то же время в нем нуждается. Отношения собственности делят людей на хозяев средств производства (собственников, владельцев), как использующих наемный труд, так и не использующих его, и на людей, не имеющих средств производства. Богатство и бедность, которые проявляются во многих изучаемых социологами признаках людей, разделяющих их по одномерным шкалам, скрывают за собой не столь уж очевидные в современных обществах ранги власти и собственности, задающие многомерную стратификационную иерархию.

Как правило, наряду с властью и собственностью третьим неизменным компонентом измерения неравенства выступает социальный престиж. Это понятие раскрывает сравнительную оценку обществом, общиной или какой-либо другой группой и ее членами социальной значимости различных объектов, явлений, видов деятельности в соответствии с господствующими общепринятыми в данной культуре, данной общности социальными нормами и ценностями. На основе такой оценки определяется место группы или индивида в социальной иерархии престижа. Они наделяются определенным почетом, привилегиями, властью, особыми символами и т.д. Оценки престижности — один из действенных регуляторов социального поведения. По крайней мере, с 1920-х годов особенно широко исследуется престиж профессий в различных обществах и на его основе — профессиональное неравенство.

Следует отметить, что многие сравнительные исследования показали, что под влиянием таких глобальных процессов, как индустриализация, урбанизация, информатизация общества, растет и качественно усложняется социальная дифференциация. Передовая технология дает толчок возникновению большого числа новых профессий. Возникающие профессии

требуют большей квалификации и лучшей подготовки, лучше оплачиваются и являются более престижными. Как следствие, образование и подготовка становятся все более важными факторами, определяющими положение человека в начале его профессиональной карьеры, да и сказываются на всем жизненном пути человека. Кроме того, индустриализация приводит в большее соответствие профессионализм, подготовку и вознаграждение. Иными словами, для индивидов и групп образование становится самостоятельным фактором их позиции в ранжированной стратификационной иерархии.

2. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА И СТРАТИФИКАЦИЯ

Социальное неравенство и социальная иерархия позиций изучаются и описываются разными моделями стратификации. Социологи выделяют различные срезы социального положения групп и индивидов в отношении их друг к другу. В любом случае социальную стратификацию связывают с взаимодействием социальной дифференциации и социальной оценки. Люди (и группы) при этом ранжируются выше и ниже в соответствии с той социальной значимостью, которой обладают выполняемые ими виды деятельности. Поэтому при рассмотрении проблемы социального неравенства вполне оправданно исходить из теории социально-экономического разделения труда.

Выполняя качественно несравнимые виды труда (например, слесарные и проектные работы, художника и летчика, рядового работника или координатора и т.д.), в разной степени удовлетворяя общественные потребности, люди оказываются занятыми экономически неоднородным трудом, ибо такие виды труда имеют разную оценку их общественной полезности. Соответственно будут различными и места соответствующих групп людей в системе общественной организации труда. Эти группы работников побуждаются обществом к возобновляемому выполнению тех видов труда, которыми они заняты (т.е. к закреплению за конкретным видом труда), разной социальной оценкой их производственной деятельности, стимулированием в широком смысле.

Социальная оценка учитывает два момента: во-первых, восстановление способности к труду данного вида (воспроизводство человека как работника); во-вторых, восстановление стимулов, побуждающих людей к возобновляющему участию в данном виде трудовой деятельности. Обычно второй момент имеет определяющее значение в дифференцированной оценке ролей, соответствующем размещении наград. Так, для ряда положений в общественной системе, качество деятельности в которых оказывает особенно сильное влияние на общественное воспроизводство в целом и подготовка к выполнению которых требует наибольших затрат общественного труда (например, крупные менеджеры, руководители национальной армии, ученые экстракласса и т.д.), необходим отбор (конкурс, селекция, конкуренция) кандидатов, способных к более эффективной работе. Поэтому число кандидатов должно превышать число имеющихся «ячеек», позиций, что предполагает повышенную общественную оценку, т.е. предоставление

большого количества материальных и социальных благ. Конечно, социальное происхождение, среда общения, власть и богатство подкрепляют притязания одних и усложняют продвижение других.

Социально-экономическое разделение труда выражается в расщеплении последнего на организаторский и исполнительский, умственный и физический, сложный и простой, квалифицированный и неквалифицированный, самоорганизованный и регламентированный, творческий и стереотипный. Закрепленность различных групп людей за соответствующими родами деятельности (социально-экономически различными) есть основа социального неравенства. Именно социально-экономическая разделенность труда есть не только следствие, но и причина присвоения одними людьми власти, собственности, престижа и отсутствия всех этих знаков продвинутой в общественной иерархии у других.

Группы людей, выполняющих разный по сложности и квалификации труд, обладают, как правило, разным трудовым потенциалом: а) разной квалификацией (различным объемом общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, обуславливающих способность к труду определенного качества); б) разным психофизиологическим потенциалом (способности, здоровье, работоспособность и т.д.); в) разным личностным потенциалом (ценностные ориентации, социальные интересы и т.д.). Следствием различий в потенциале являются неравный вклад в производство общественного продукта и неравные экономические результаты труда.

Социально разделенный труд порождает социально различающиеся потребности, что, в свою очередь, приводит к их относительной сбалансированности. Важное значение для воспроизводства социального неравенства на основе расщепленного труда имеет внепроизводственная деятельность. Функцией этой деятельности и является удовлетворение потребности общества в воспроизводстве индивидов, способных к возобновляемому исполнению закрепленных за ними трудовых социально-дифференцированных функций. Поэтому в контексте теории стратификации было бы оправданным именовать внепроизводственную деятельность социально воспроизводящей.

Границы и элементный состав такой деятельности связаны с воспроизводством индивида как представителя определенного рода труда. Сюда необходимо отнести демографическое воспроизводство, выращивание и воспитание детей, психофизиологическое обеспечение, познание и саморазвитие, общественно-преобразовательную деятельность. Всем этим базовым элементам социально-воспроизводящей деятельности присущи массовость проявления, устойчивость во времени и пространстве, инвариантность в меняющихся условиях жизнедеятельности людей.

Таким образом, социальная разделенность труда порождает различия в потребностях, средствах их удовлетворения и структуре внепроизводственной деятельности, т.е. представители одного рода деятельности — это не статистическая совокупность людей, а реальная социальная группа, характеризующаяся общностью условий существования и причинно

взаимоувязанными сходными формами деятельности в разных сферах жизни, когда качественные особенности деятельности в труде приводят к специфическим имманентным особенностям в потребностях и потреблении. Если эти группы вырабатывают и опираются на свои ценности и нормы, если они размещаются по иерархическому принципу, то они являются социальными слоями. Проведенные многократные исследования подтвердили эти предположения. Да, именно таковы социальные слои в современных индустриальных и постиндустриальных обществах.

Исходя из сказанного, можно считать появление нового рода производственной деятельности лишь исходным моментом в формировании нового социального слоя. Новый род производственной деятельности приводит к реструктурированию существовавшего ранее в обществе обмена деятельностью и в итоге — к новой композиции социальной структуры. Появляется общественная необходимость в закреплении этого нового рода деятельности за особой категорией людей, вступающих в специфические отношения с другими людьми по поводу производства средств к жизни.

Теоретически «слой» появляется тогда, когда данная производственная деятельность становится экономически и социально необходимой и значимой для общества, а ее носители приобретают специфические потребности и средства их удовлетворения, позволяющие им устойчиво функционировать в этом роде деятельности. В процессе формирования слоя его представители приобретают специфические черты внепроизводственной деятельности, вырабатывают свои ценности, нормы. Уже сложившиеся социальные слои в ходе воспроизводства, по мере изменения технологических и экономических позиций профессий, обычных для представителей слоя, и по мере возникновения новых профессий присваивают себе новые технологические роли, сохраняя социальные позиции слоя на шкале стратификационной иерархии. Получается, что профессии как бы «плывут», а слои (классы) сохраняют стабильность. Конечно же, стабильность относительна, но обычно она выше, чем у социальной позиции большинства профессий. Все это не только типические черты, но и этапы непрерывного процесса эволюции социальных слоев.

3. ДРУГИЕ МОДЕЛИ СТРАТИФИКАЦИИ

Преобладающая часть моделей стратификации раскрывает отношения групп людей по поводу распределения власти, собственности и, как будет показано дальше, знания, в сфере трудовой деятельности. Можно признать эту сферу проявления неравенства доминирующей в индустриальных и постиндустриальных обществах. Но значительная часть членов общества (во многих странах — большинство населения) не может быть отнесена к социальным группам по признакам занятости (пенсионеры, учащиеся, неработающие женщины и многие другие категории людей). Проблема определения социальной принадлежности всех этих членов общества — одна из сложных задач стратификационной теории.

Создано множество моделей стратификации, в которых используются в качестве главных иные критерии ранжирования социальных позиций. Речь идет о двух моментах. Во-первых, в современном мире и сегодня ощутимо присутствие нескольких основных типов стратификации, существующих многие столетия на базе различий в культурах и экономических отношениях: кастовой, сословной, классовой (слоевой). Причем во многих современных обществах эти стратификационные системы сосуществуют и взаимодействуют.

Во-вторых, упомянутые «другие модели» отражают различные подходы к выбору тех признаков социальной дифференциации, которые выявляют разделение общества на группы по потребностям, интересам, престижу, образу жизни, ментальности. Такие модели могут представлять различные срезы, аспекты иерархических социальных позиций в обществе как целостности, а могут служить проявлением специфических структур в подсистемах того же конкретного общества.[...]

Исследование социальной стратификации в обществе ведется для различных научно-познавательных и практических целей (например, прогноз поведения электората, проектирование жилой среды, разработка мер по защите материнства и младенчества, определение инновационного потенциала населения), без прояснения которых невозможно определить значимость ее аспектов.

Пожалуй, в позднеиндустриальных и информационных обществах приобретает самостоятельное значение культурно-статусная стратификация. Если властной и собственнической стратификации, связанной со стремлением властных групп к исключительному обладанию властью и престижем, соответствует вертикальное соотношение социальных позиций, то культурно-статусному порядку, смысл которого заключается в сохранении статусными группами своих разнородных (количественно не соизмеримых) ценностных представлений, адекватна неиерархическая модель.

Культурно-статусный порядок позволяет сохранить культурное (т.е. ценностное) разнообразие общества, которое проявляется в разнородности ценностных представлений, в разнообразии видов, форм, способов поведения людей. Статусные группы, образующиеся по признаку культурной принадлежности, обладают общими нормативно-ценностными представлениями и стилем жизни. Культурная составляющая присутствует всюду, во всех элементах социальных отношений, поэтому эмпирическое изучение культурно-статусных групп очень сложно.

4. СТРАТИФИКАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Рассмотрим теперь специфические стратификационные иерархии на мезо- и микроуровнях общества на примере территориальных общностей и социальной организации предприятия. Начнем с небольшого пояснения. В макроструктуре общества большинство социологов при изучении проблем неравенства выделяет большие социальные группы, которые в европейской традиции обычно именуют социальными классами. Но в повседневной жизни,

скажем, в пригороде при соседском общении или на предприятии при взаимодействии владельца и наемного работника, было бы неверно говорить о классовых отношениях, даже если соглашаться с теорией определяющей роли классов и классовой борьбы. При переходе с макроуровня на более низкие уровни социального взаимодействия происходит трансформация связей, зависимостей, взаимодействий.

Территориальная общность представляет собой совокупность людей, живущих на одной хозяйственно освоенной территории. Население города, агломерации, культурно-исторического региона является общностью потому, что объединено системой экономических, социальных, политических, ценностно-нормативных связей, выделяющих его как целостность в качестве самостоятельной единицы пространственной организации жизни общества. Территориальная общность (далее — ТО) объединяет людей, несмотря на все многообразие их классовых, профессиональных, демографических и иных различий, в силу некоторых общих социальных и культурных черт и интересов. ТО обладают своеобразием в социальном составе населения, специфическими традициями труда и досуга, организации семейного быта и общения; разнятся социальная и профессиональная ориентированность молодежи; отличаются уровни образования, общей культуры и профессиональной подготовленности людей.

Сущность функций ТО состоит в том, что именно здесь осуществляется потребительная деятельность людей, продуктом которой и является индивид. Здесь же совершается процесс овладения ценностями и нормами, присущими данному социуму. При всей значимости современных глобальных средств передачи информации межпоколенная неопосредованная диахронная передача культуры опять-таки происходит в пределах «малой родины» социализирующегося индивида. Именно эта «малая родина», т.е. территориальная общность, — основная среда производства людей.

Отсюда с очевидностью следует, что специфическими компонентами стратификационной структуры ТО могут быть потребительские группы, или группы, отличающиеся по образу жизни. Они в значительной мере и складывают ткань местной жизни. Исследования, проведенные автором главы в России, показали, что эти группы не совпадают с социальными слоями, выделенными по критерию социально-экономического неравенства (власть, собственность, характер труда). Объединяющими факторами, формирующими сходство по потреблению и нормативно-ценностным представлениям, являются микросреда социализации (семья, ассоциация), а также профессионализированные институты духовного производства. Например, в российском городе заметно различаются по образу жизни коренные горожане и мигранты в первом поколении; жители социально различающихся внутригородских районов (элитарной застройки, частного домовладения, ведомственных, принадлежащих заводам, микрорайонов, городских трущоб и т.д.); выпускники специальных школ и элитных вузов и остальные жители с тем же (по числу лет обучения) образованием и т.д.

Ценностные представления трудно поддаются формализации, поэтому мы выявили потребительские группы на основе частотных характеристик вовлеченности людей в разнообразные виды внепроизводственной (потребительской) деятельности. Хаотичность и многочисленность занятий людей необходимо было как-то упорядочить. В основу был положен принцип родовидового разнообразия. Смысл его состоит в объединении родственных видов занятий в «роды» и придании доминирующего значения именно степени участия индивида в разных родах занятий (воспитании и обучении детей; культурно-познавательной деятельности; общении и т.д.). Другими словами, разнообразно развлекающиеся личности уступали при таком измерении тем, кто, скажем, сочетал воспитание детей и с занятием любительским трудом, и со спортом.

Выявленные по критерию разнообразия деятельности девять групп включают в свой состав представителей всех основных социальных слоев, людей с разным уровнем образования и т.д. Сами эти группы горизонтальны по отношению к властно-собственническим членениям. Они различаются между собой типами поведения, ориентациями, ценностями.

Гораздо основательнее, чем стратификация ТОО, изучена социологами структура социальной организации (предприятия, учреждения). В ней можно выделить, прежде всего, целевые и должностные группы. Известно, что организация представляет собой определенную координацию взаимодействий и взаимозависимостей работников, строгую регламентацию на рабочих местах, субординацию деятельности.

Осуществление целей, стоящих перед социальной организацией, требует налаженного взаимодействия всех ее членов. Эта система официальных отношений, определенных законами, инструкциями и нормативами, есть целевая (административная) организация. Она состоит из целевых групп — работников самостоятельных подразделений внутри предприятия (цехов, отделов, служб). Именно к производственным целевым группам относится понятие вторичной группы. Целевые (вторичные) группы, в свою очередь, состоят из бригад, лабораторий, секторов и т.д., т.е. из малых производственных групп, или первичных трудовых коллективов.

Особенность первичных коллективов состоит в том, что члены их вступают в непосредственные отношения друг с другом. Другими словами, первичный коллектив — это группа работников низового подразделения предприятия, которые выполняют однородные или взаимосвязанные операции и объединены друг с другом непосредственными и устойчивыми личными контактами в процессе работы. Размер таких трудовых коллективов в зависимости от отрасли и характера производства колеблется от 10 до 50 человек.

На этом уровне социальные отношения выступают в форме межиндивидуальных контактов. В микросреде первичного коллектива в персонифицированном общении выражается вся система социальных отношений, присущих конкретному обществу. Конечно, в процессе непосредственного общения члены коллективов не осознают того, что они

воплощают своей деятельностью сложные социально-экономические отношения, тем более, что на межличностном, первично коллективистском уровне эти отношения выступают в социально-психологической оболочке при определенной эмоциональной окрашенности.

В социальной организации предприятия особую социальную нагрузку несет должностная структура, т.е. строение и взаимодействие групп работников предприятия по их месту в иерархической структуре управления. Признаком позиции (места) в должностной иерархии являются: 1) число подчиненных; 2) уровень образования и квалификации непосредственных подчиненных; 3) число людей, на судьбу которых оказывают влияние принимаемые решения; 4) число нижестоящих звеньев управления; 5) стоимостные показатели контролируемых материальных ресурсов; 6) показатели создаваемых материальных и духовных благ (в натуральном и стоимостном выражении).

Можно выделить несколько основных должностных групп: 1) рабочие; 2) рядовые служащие; 3) рядовые специалисты; 4) старшие служащие и специалисты; 5) руководители первичных рабочих групп (бригадиры, мастера, руководители бюро в составе отделов); 6) руководители автономных подразделений (цехов, отделов, самостоятельных бюро и секторов); 7) руководители предприятий.

Каждая должностная группа характеризуется определенными ролевыми параметрами. Так, сложившееся в обществе представление о роли рабочего складывается из ожидания, во-первых, высокого уровня исполнительности (дисциплинированности, устойчивых показателей выполнения норм выработки, бережливого отношения к сырью, материалам, оборудованию); во-вторых, относительной стабильности в профессии и в производственном коллективе; в-третьих, высокой инициативности.

От мастера ожидают знания характера, интересов, склонностей его подчиненных, наличия организаторских способностей и умения руководить людьми, глубокого знания техники и технологии, научной организации труда и производства.

В заключение рассмотрим ролевые характеристики руководителей предприятий. Эти работники постоянно заняты функциями управления, что отличает их от остальных должностных категорий персонала предприятия. Они выполняют следующие основные функции: целеполагающие, административно-организаторские, дисциплинарно-стимулирующие и воспитательные. «Руководители предприятий» — не только должностная категория, но и профессиональная. Профессией этих людей является не технологическая или конструкторская деятельность, а управление людьми, осуществление властных полномочий. Их значение в современной экономической и политической ситуации неизмеримо выше, чем в стабильные периоды развития страны. Умение взаимодействовать не только с подчиненными, но и с акционерами, отечественными и зарубежными партнерами ныне стали обязательными для руководителей, к тому же в значительной части ставших владельцами и совладельцами предприятий.

5. КЛАССЫ И СЛОИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

В научной литературе длительное время сосуществуют две традиции. По одной из них основными элементами общественного строения признаются классы. Эта линия обычно связывается с марксизмом. Однако ее понятийный аппарат используется и вне марксистского направления. Сторонники классовой теории подчеркивают, что социальная структура не охватывает все важные аспекты общественной жизни. По их мнению, превалирующие в обществе ценности, культурные традиции, общественные институты не являются частями социальной структуры. Последняя связана лишь с дифференциацией между людьми. При этом внимание исследователей направлено не на род занятий индивидов, а на различия в их профессиональных позициях; не на доходы индивидов, а на распределение доходов в обществе, которое отражает неравенство между людьми. Теоретической целью при этом объявляется надобность объяснения форм и степени социальной дифференциации и их значение для социальной интеграции и социальных изменений.

Многие авторы, используя категорию «классовая структура», на деле ведут речь о тех же иерархиях социальных групп, что и у представителей собственно стратификационного подхода. В рамках этой второй традиции понятие «социальная структура» раскрывает внутреннее строение и все многообразие связей в обществе. Та же часть общественных отношений, которая связана с иерархически организованным взаимодействием групп людей, охватывается понятием «стратификация». Попытки смешения категорий «социальная структура» в узком и широком (ныне доминирующем) смысле вносят путаницу и двусмысленность в анализ общественных систем.

Рассмотрим более основательно соотношение понятий «класс» и «слой». В современной социологической литературе одновременно сосуществуют обе эти категории (для многих авторов они вообще являются синонимами). Широко распространена точка зрения, согласно которой общество состоит из групп или множества индивидов, имеющих или носящих определенные характеристики. Эти характеристики берутся как критерий классификации, который может быть одно- или, чаще, многомерным. Соответственно, процедура классификации позволяет выделить большее или меньшее число социальных слоев. При этом центр внимания зачастую смещен с производства на распределение, без осмысления объективных отношений между ними.

Описанная выше ситуация означает также, что в значительной части исследований одни и те же признаки применяются для выделения и классов, и слоев. Вероятно поэтому в работах многих социологов «... концепция «класса» является открытой для нескольких интерпретаций — как статусная группа, как профессиональная группа, как группа по доходу и группа власти», т.е. понятием класса охватываются неоднородные социальные объекты в зависимости от того теоретического контекста, который вкладывают в этот термин различные авторы.

Различен и смысл, вкладываемый разными авторами в термин «социальный слой». Большинство социологов обозначает этим термином общественную дифференциацию в рамках иерархически организованного

общества. Зачастую содержание термина ничем не отличается от содержания, вкладываемого в термин «класс». В тех же случаях, когда данные понятия различают, термином «страта» обозначают группы внутри «классов», выделенные по тем же основаниям, что и сами «классы».

П. Сорокин как-то заметил: «Класс наделал своим теоретикам не меньше хлопот, чем национальность. И в этом случае попытки «схватить этого Протея» оказывались не более успешными: «класс» либо ускользал и ускользает из пальцев своих теоретиков, либо, пойманный, превращается в нечто столь неопределенное и неясное, что становится невозможным отличить его от ряда других кумулятивных групп, либо, наконец, сливается с одной из элементарных группировок». Эти слова, написанные более семидесяти лет назад, совершенно не устарели и сегодня.

Наиболее интересные авторы стремились не игнорировать ни идеи сторонников классовых теорий, ни идеи их оппонентов. В этом отношении плодотворен подход германского социолога Ральфа Дарендорфа. Он подчеркивал, что страты образуют иерархическую систему (иерархический континуум), отличаясь друг от друга постепенными различиями, тогда как «класс — это всегда категория для целей анализа динамики социального конфликта и его структурных корней, и поэтому может быть четко отделен от страты как категории для описания иерархических систем в данный момент времени...». Другой немецкий автор Вернер Хофман отмечал, что социальные классы детерминируются фундаментальными социальными отношениями труда и присвоения; видимая система стратификации (профессия, престиж и т.д.) принадлежит к внешней форме социальной жизни.

Однако, заметим, что проведенные исследования стратификации также не были ограничены ни поверхностью общества, ни его статикой и притязали на то, чтобы объяснить сущность общественной жизни. Лишь с помощью фундаментальных законов функционирования и развития социальных организмов может быть дан анализ и классов с их конфликтами, и страт с их взаимодействиями и противоречиями.

Проблема разграничения теорий стратификации и классовой структуры интересно интерпретирована И.Краусом. «Стратификация и классовое деление, — пишет он, — разные структуры отношений. Стратификация — понятие описательное, подразумевающее некую упорядоченность членов общества на основе какого-нибудь подходящего критерия, вроде дохода, образования, образа жизни, этнического происхождения... Классы... являются конфликтными группами, которые, объединяясь, оспаривают существующее распределение власти, преимуществ и других возможностей... классы формируются, когда совокупность индивидов определяет свои интересы как сходные с интересами других из той же совокупности и как отличающиеся и противостоящие интересам другой совокупности лиц...». И. Краус подчеркивает важную роль в процессе формирования класса собственной идеологии и создания классовой организации. В этом явно чувствуются отголоски знакомства с марксистскими понятиями «класс в себе» и «класс для себя», выработанными для

характеристики процесса формирования пролетариата и подчеркивающими огромную роль в этом процессе субъективного фактора.

И. Краус иначе, чем К. Маркс, представляет себе объективные факторы, обуславливающие существование классов. В марксистской теории это прежде всего место в исторически определенной системе общественного производства, у И. Крауса — отношение к каким-либо социальным благам; поэтому любая страта, выделенная по произвольно выбранному признаку, является потенциальным классом (своего рода «классом в себе»), а любая осознавшая общность своих интересов и организационно оформившаяся страта превращается в действительный класс (т.е. «класс для себя»). Основной вопрос, с точки зрения И. Крауса, как «принадлежавшие к страте становятся представителями класса».

Нам представляется, что для понимания разницы между классовым и стратификационным подходами целесообразно на время забыть об эклектических и компромиссных современных интерпретациях. Сопоставим классы в марксистской теории и страты в функциональной теории. В чем тут разница? Признание класса означает признание антагонизма, противоположности интересов больших общественных групп. Признание же страт означает признание определенных различий между людьми по каким-то признакам, — различий, которые приводят к слоевому размещению индивидов в обществе при продвижении их снизу вверх.

Марксистская теория классов занимается разделением общества, выявлением общественных противоположностей, а теория стратификации занимается общественной дифференциацией. И тут речь идет не о различиях в терминологии. В первом случае выделяются элементы дезинтеграции, внутренних антагонизмов, тогда как дифференциация предполагает целостность общества, его функциональную неразделимость. Теория классов проводит разделение общества по альтернативным признакам на эксплуататоров и эксплуатируемых, на владельцев средств производства и на лишенных их, тогда как теории стратификации разделяют общество на основе одной или нескольких черт, имеющих в наличии в каждой из групп, но в различной степени (так, например, все имеют какой-то доход, но только различных размеров, и все в обществе имеют какой-то престиж, но неодинаковый).

В теории классов специфические экономические, политические и культурные интересы являются именно тем, что отделяет друг от друга классы, а в теории стратификации категория «интересы» вообще не присутствует, а если в исключительных случаях и присутствует, то не является обязательным атрибутом социальных слоев.

С точки зрения приверженцев концепции К. Маркса, классы являются объективно данными, т.е. они существуют независимо от сознания и представлений как их членов, так и внешних наблюдателей. Сознание классового отчуждения марксистами рассматривается не как критерий для выделения класса, а как высокая ступень в развитии самого класса (переход от «класса в себе» к «классу для себя»). В большинстве же стратификационных

подходов сознание самих членов выделенных слоев или внешних наблюдателей играет главную или, по крайней мере, существенную роль в дифференциации общества.

Многие современные сторонники марксистской теории классов отказались от тезиса о растущей общественной поляризации; их классовые схемы, сохраняя экономический детерминизм, все в большей мере отражают растущее усложнение общественных структур и рост значения и доли средних слоев (классов) (достаточно в этой связи вспомнить теорию и схемы классовой структуры О.Э. Райта). Одновременно последователи стратификационных подходов все чаще принимают в расчет конфликтологические аспекты классового подхода.

В этом отношении характерны обобщающие работы британских социологов. Так, в книге Энтони Гидденса «Социология» соответствующая глава так и названа: «Стратификация и классовая структура». Родовым понятием выступает «стратификация», а «классы» — как видовое понятие, частный случай стратификации. Рассматривая проблемы стратификации и неравенства в современных западных обществах, Э. Гидденс именуется основные социальные группы классами, но описывает их не во взаимном противостоянии, а как ранжированные общности («высший класс», «средний класс», «низший класс»).

Следует иметь в виду несколько важных обстоятельств, приводящих к выводу о том, что классы и классовое деление есть частный случай стратификации. Во-первых, в истории помимо классов неравенство существовало в форме кастовой и сословной систем. Кроме того, в этатрастических (государственно-социалистических) обществах функционировала слоевая система, основанная на властных отношениях. Во-вторых, в обществах классового типа всегда значительная (а зачастую и преобладающая) часть населения не входила в состав основных классов, образуя мозаику слоев, сословий и других социальных единиц. В-третьих, в современных обществах все попытки выделения контрастных классов все чаще оказываются безуспешными в силу иерархически слоевого строения социума. В-четвертых, помимо основных социальных групп (классов или слоев) в обществе всегда существует гендерная, этно-расовая, культурно-статусная стратификация.

Можно сделать вывод: обобщающим понятием для научного изучения и понимания отношений между людьми по поводу распределения власти, собственности, престижа, присвоения всех видов ресурсов является «социальная стратификация».

6. СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАТИФИКАЦИИ

В социологии понятия «слой», «класс» и «стратификация» применяют к стабильно существующим реальным социальным группам, принадлежность к которым задается передачей из поколения в поколение социальных позиций либо (и) всей совокупности черт поведения и установок. Тенденция наследования позиций — одно из свойств системы стратификации. Действие

принципа наследования позиций приводит к тому, что далеко не все способные и образованные индивиды имеют равные шансы занять властные, обладающие высоким престижем и хорошо оплачиваемые позиции. Здесь действуют два механизма селекции: 1) неравный (зачастую скрытый) доступ к подлинно качественному образованию; 2) неодинаковые возможности получения позиции в равной степени подготовленными индивидами.

Стратификации присущи несколько системных характеристик (свойств). Из них первая — социальность (внебиологичность) этого явления. Хотя различия между людьми по таким показателям, как пол, возраст, интеллект, здоровье, весьма заметны, сами по себе они не объясняют, почему одни статусы дают людям обладание большей властью, собственностью или престижем, чем другие. Биологические признаки не относятся к моделям господства или подчинения, пока они не включены в систему социальных отношений, установок и ценностей. Так, физически слабый и старый буржуа доминирует над сильным и молодым рабочим. Менеджерами высокого ранга становятся благодаря образованию, опыту работы, социальным навыкам, однако этому способствуют и такие личностные качества, как характер, воля, выносливость, способности.

Социальность стратификации подразумевает, что распределение благ в любом обществе основывается на нормах или на общепризнанных правилах. Нормы эти обычно отражают интересы главным образом тех, кто обладает властью навязать именно те правила, которые они считают наилучшими, выгодными для себя. Почти в любом обществе большинство людей соглашаются с такими правилами (конформны по отношению к ним), хотя они находятся на нижних ступенях социальной иерархии и обладают минимумом социальных и материальных благ.

Важным проявлением социальности феномена стратификации является ее связь с другими институтами общества, (политика, брак и семья, экономика, образование и др.). Например, связь стратификации с институтом политики проявляется в наследовании власти, когда дети членов правящей элиты преемствуют позиции родителей. Связь стратификации с экономикой проявляется в ином, а именно: решения относительно того, что производить, какие услуги предоставлять, какова должна быть заработная плата рабочих и служащих, каковы условия работы, принимаются теми, кто имеет или капитал, необходимый для проведения в жизнь этих решений (как в США), или политическую власть для контроля над реализацией этих решений (как это было в СССР), или то и другое вместе (как в современной России). Благодаря таким связям, структура и функции экономики тесно переплетаются с системой стратификации.

Второй характеристикой стратификации является ее традиционность, поскольку при исторической подвижности формы ее сущность, т.е. неравенство положения разных групп людей, сохраняется на протяжении всей истории цивилизации. Даже в примитивных обществах возраст и пол в сочетании с физической силой были важным критерием стратификации. Письменная история человечества, начиная с Древнего Вавилона и Египта, есть история

богатых и бедных, свободных и рабов, властвующих и зависимых. Подобные иерархии признавались естественным порядком вещей, особенно теми, кто находился на вершине власти и богатства. За последние 2—2,5 тысячелетия идея естественности социального неравенства стала важной чертой социальной жизни. Однако нередки были случаи и сопротивления такому преемственному порядку отношений. Потрясения в виде восстаний и революций, иной раз победоносных, способствовали постепенному смягчению этих отношений, но сохраняли (или восстанавливали) диспропорциональное распределение собственности, власти и престижа. Другими словами, хотя следует различать форму стратификации, учитывать неудовлетворенность членов общества существующей системой распределения власти, собственности и условий индивидуального развития, все же нужно иметь в виду универсальность неравенства людей.

Признание универсальности стратификации, ее исторической обусловленности не отрицает возможности оценки ее оптимальности применительно к конкретному обществу. Дифференциация условий жизни, обстоятельства для реализации жизненных шансов являются сферой регулирования, борьбы социальных групп за более разумное распределение ресурсов, исходя из критериев оптимизации экономического и социального воспроизводства. При всем этом, видимо, трудно оспаривать тезис о том, что стратификация суть системный элемент определенной социальной организации общества, выполняющий функцию его интеграции и координации. В то же время устаревшая система стратификации мешает оптимальному функционированию общества, разрушает его социальную организацию.

Стратификация обычно выражает ценности групп, стоящих у власти. И до тех пор, пока данная стратификационная иерархия адекватна всей общественной системе на определенном витке ее развития, она (т.е. данная стратификация) всем обществом признается как ценность. Изменения стратификационной системы происходили в истории и эволюционным, и революционным путем. Чем сложнее общество, его технологическая и экономическая структуры, тем дороже обходится революционный путь развития, тем оправданнее эволюционная трансформация стратификационной системы.

До сих пор мы говорили о неравенстве без учета его формы. Между тем, от формы неравенства зависит и интенсивность стратификации. Теоретические возможности здесь колеблются от такой крайности, когда любому статусу приписывается одинаковое количество власти, собственности и престижа, и до другой крайности, когда каждому статусу приписывается разное количество и того, и другого, и третьего. Крайних форм стратификации не было ни в одном историческом обществе, хотя, например, в Индии, где существовало более 5000 подкаст, намечался вариант крайней формы неравенства, а, скажем, сельскохозяйственные кооперативы в Израиле (киббуцы) и ныне исчезнувшие коммуны в Китае приблизились к крайней форме равенства.

Признание социологической наукой функциональности стратификации, ее исторической неизбежности предполагает отказ от раннесоциологического

восприятия социального неравенства как зла, нежелательного в обществе феномена, знаменует собой переход к объяснению сути и места этого функционального явления в жизни людей. Тем самым социология переходит от выполнения роли социальной критики, от проявления ценностного чувства справедливости («неравенство — архаизм, пережиток устаревших социальных форм») к научному анализу реальных отношений между людьми, причин и условий их существования, их органичности и полезности для жизни общества, его развития.

Признание функциональности стратификации совсем не означает бессилия и безразличия по отношению к судьбам людей, отсутствия у социологов какой-либо возможности влиять на пути развития общества. Сопоставим ситуацию, когда в обществе многочисленны социальные слои, социальная дистанция между ними невелика, уровень мобильности высок, низшие слои составляют меньшинство членов общества, быстрый технологический рост постоянно повышает «планку» содержательности труда на нижних ярусах производственных позиций, социальная защищенность слабых, помимо прочего, гарантирует сильным и продвинутым спокойствие и реализацию потенций. Трудно отрицать, что такое общественное устройство, такое межслоевое взаимодействие есть, скорее, по-своему идеальная модель, чем обыденная реальность. Однако это прагматическая модель, поскольку она исходит из признания естественности группового и индивидуального неравенства и в то же время предполагает возможность получения высокого социального эффекта при сохранении динамизма экономики.

В большинстве своем современные общества далеки от такой модели. Им присущи концентрация власти и ресурсов, связанных со статусом, у численно небольшой элиты, которая имеет неизмеримо более высокое положение, чем остальные группы населения. Концентрация у элиты таких статусных атрибутов, как власть, собственность и престиж, препятствуют социальному взаимодействию между элитой и остальными стратами, приводит к чрезмерной социальной дистанции между нею и большинством. Это означает, что средний класс немногочислен, а верхи лишены достаточных каналов связи с остальными группами. Очевидно, что такой социальный порядок способствует разрушительным конфликтам. Поэтому социологическое воображение, создающее идеальные модели преобразования общества, служит благой цели его макро-социальной интеграции.

Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. – М.: Аспект-пресс, 1996. – 317.

БЕРГЕЛЬ Е.

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ

Иногда смешивают два понятия – ранжирование и стратификацию. Их необходимо различать. У ранжирования два аспекта – объективный и

субъективный. Когда мы говорим об объективной стороне ранжирования, то подразумеваем зримые, видимые глазу различия между людьми. Субъективное ранжирование предполагает нашу склонность сравнивать людей, как-то оценивать их, наконец, судить их. Любое действие такого рода относится к ранжированию.

Несомненно, ранжирование выполняет позитивную функцию, ведь оно – один из методов, при помощи которого вносится порядок в то, что в ином случае никакого порядка иметь бы не могло. Ранжирование приписывает явлениям и индивидам определенное значение, цену и благодаря этому выстраивает их в значимую систему.

Своего максимума ранжирование достигает в том обществе, где индивидам приходится открыто конкурировать между собой. Например, рынок объективно сравнивает и оценивает не только товары, но и людей, прежде всего на основе их индивидуальных способностей.

Результатом ранжирования выступает ранговая система. Ранг указывает относительную позицию индивида или группы внутри ранговой системы. Поскольку таких систем много, то один человек обладает несколькими разными рангами. Любую группу – большую или малую – можно представить как единую ранговую систему. В малой группе всегда есть лидеры и аутсайдеры. В таком случае единицей ранжирования выступает отдельный индивид. Но единицей может являться целая группа. Если совокупность различных групп упорядочить определенным образом, то можно получить групповую стратификацию, т. е. стратификацию групп. Так, социальная группа, именуемая дворянством, в ранговой системе феодального общества займет более высокое место, а группа, именуемая крестьянством, более низкое. Но если индивидов учитывают независимо от того, к какой группе они принадлежат, и выстраивают по рангам, то мы получаем индивидуальную стратификацию.

Когда ученый принимает во внимание только одну сторону ранжирования, а именно объективную, он употребляет понятие стратификации. Таким образом, стратификация – объективный аспект или результат ранжирования. Стратификация указывает порядок ранжирования, относительную позицию рангов, их распределение внутри ранговой системы.

Не всякие различия между людьми создают стратификацию. Пол и возраст универсальны, но в большинстве обществ они формируют только «статистические страты». Они не способны служить инструментом создания «социальных групп». В примитивном обществе население немногочисленное. Оно разделено на две группы – семью и общину. В таком обществе индивид легко достигает высоких рангов сразу по многим направлениям – социальная лестница невысока. Он может стать хорошим музыкантом, оратором, полководцем, жрецом.

В сложном обществе достичь всего этого одному человеку трудно. Президент США – первый человек на политической шкале. Он может быть очень богатым, как Вашингтон, либо бедным, как Линкольн. Как верующий он всего лишь рядовой прихожанин, стоящий внизу церковной иерархии. Большое

разнообразии систем ранжирования затрудняет их координацию. Невозможно одному индивиду занимать одинаково высокие ранги во всех системах. Поэтому говорят, что один человек, являясь членом нескольких групп, выполняет разные роли в разных группах.

Индивидуальная стратификация характеризуется следующими чертами:

1. Порядок рангов базируется на одном критерии. К примеру, футболиста следует оценивать по его игре на поле, а не по богатству или религиозным убеждениям, ученого – по количеству публикаций, преподавателя – по его успеху у студентов, телекомментатора – по числу привлекаемой аудитории.

2. Ранжирование может учитывать еще и экономический контекст: отличный футболист и выдающийся ученый должны иметь высокие оклады. Однако каждая ранговая система значима и валидна только в своих границах. Иначе говоря, имеющий высокий оклад не обязательно должен пользоваться высоким религиозным или научным признанием.

3. В отличие от групповой индивидуальная стратификация существует непостоянно. Она действует непродолжительное время: футболист, потерявший после 35 лет спортивную форму, никому не нужен, ректор теряет высокое положение после ухода в отставку.

4. Индивидуальная стратификация основана на личном достижении. Но помимо личных качеств индивиды ранжируются и оцениваются в зависимости от репутации своей семьи или группы, к которой они принадлежат, скажем, богатой семьи или группы ученых.

В групповой стратификации оцениваются и ранжируются не отдельные индивиды, а целые группы, например, низко оценивается группа (категория) рабов, а высоко – сословие дворян. Все группы с равной репутацией имеют одинаковый ранг. Данный ранг со временем становится наследственным. Дворянское и рабское положения наследуются. Но это происходит потому, что группы дворянства и рабов сохраняют каждая свое общественное положение – высокое и низкое – на протяжении долгого времени. Наследование возможно только в рамках групповой стратификации, хотя наследует титул или имущество индивид, а не группа.

Другим элементом групповой стратификации выступает солидарность. Солидарность – предпочтение той группы, к которой человек принадлежит. Если сплоченность – свойство малой группы, то солидарность – свойство большой группы. Сплотиться вокруг чего-то важного могут 5 – 7 человек. Хотя говорят о сплочении народа во время войны или класса в классовой борьбе. Подобное происходит в экстремальных ситуациях, в неэкстремальных – сплоченность уступает место солидарности.

Необходимо различать два других понятия – престиж и статус. Рейган и Джонсон – президенты США. У них одинаковый статус, но разный престиж. Престиж относится к специфическим достижениям в хорошо известной или устоявшейся области. Статус и его значение – понятие более широкое, но менее четкое. Престиж удачливого врача создан высоким качеством оказываемых им медицинских услуг. Но статус того же врача определяется высоким званием его

профессии, которая высоко ценится общественным мнением и обществом в целом.

Статус меньше зависит от того, что делает человек, но больше от того, чем он является, кто он есть, особенно если статус предписываемый (предписанный), а не достигаемый. В этом смысле не существует предписываемого престижа. Он может быть только достигаемым. Хотя известно, что статусы бывают двух видов – приписываемые и достигаемые.

Статус – синоним позиции. Но он нечто большее, чем только позиция, так как существует официальная позиция, которую часто называют должностью, реже – статусом. Совокупность прав и обязанностей проистекает из официальной позиции. Но кроме того, существует неофициальный статус с совокупностью неписаных, но строго соблюдаемых правил. Так, статус главы семейства в современном обществе никаким законом не предписан, но соответствующая ему роль всеми выполняется. Неформальные правила поведения предписывают, что низший по статусу должен здороваться словесно, но первым протягивать руку может только высший по статусу. В учреждении начальник отдела, когда коллектив «сбрасывается на подарок», сдает денег больше, чем другие. Таково неписаное правило. Никто его к тому не обязывает. Если он даст меньше, то прослышет скрягой, однако никаких формальных санкций не последует.

Статус обычно обставляется соответствующими символами, прежде всего в одежде. Служащие носят белые рубашки с галстуками, а рабочие – синие комбинезоны. Качество и форма одежды не являются вопросом дохода, ведь многие служащие получают значительно меньше рабочих.

Что касается исторических типов стратификации, то необходимо отметить: все высокоразвитые цивилизации (это определение надо особо подчеркнуть – высокоразвитые) начинали с института рабства. Оно основано на завоеваниях. Самый ранний пример высокой цивилизации, основанной на рабстве, являет собой Шумер. Старинный идеограф, обозначавший здесь врача, переводился так: «человек из чужих земель». В гомеровские времена рабом называли военнопленного, лишенного какой-либо свободы. По римским законам пленник автоматически становился рабом.

Рабство, тем не менее, более сложное явление, чем это принято думать. В античности термином «раб» обозначали скорее род занятий, нежели статус. Наши предки считали унижительным работать на других. Поступать так означало потерять свободу, стать в каком-то отношении зависимым от этих других. Даже работа за плату считалась недостойной. Латинское слово для обозначения раба *servus* «сервус» именовало человека, занимающегося обслуживанием других помимо своей воли. Тогда еще не было работы по контракту. Рабство и принудительные услуги являлись синонимами. Рабство стало рушиться с появлением контрактного труда.

Долговое рабство, касавшееся соплеменников, в отличие от военного, не было постоянным. В Древнем Риме отец продавал сына не в рабство, а в услужение (за плату), т. е. внаем, получая за него жалованье. После трех таких «продаж» по закону сын становился свободным. Конечно, и здесь речь идет о

принудительном труде. Но то же самое можно сказать о современных трудовых лагерях при тоталитаризме. В подобных случаях рабство не переходило на детей, т. е. не являлось наследственным. Оно называлось индивидуальным, или ненаследственным рабством. Наследуемым было только рабство завоевательное. Оно относится к групповому, в то время как долговое – к индивидуальному.

Ученые полагают, что причиной возникновения сословной системы служит не рабство как таковое, а одна из его разновидностей – институциональное групповое рабство. Всего же специалисты выделяют шесть его видов:

1. Женское рабство: из числа завоеванных иноплеменников в живых оставляли только женщин, используя их в качестве жен, наложниц, прислуги.

2. Домашнее рабство: покоренные иноплеменники становились на положение младших членов семьи.

3. Ремесленное рабство: из покоренного племени отбирали только квалифицированных людей, используя их в качестве рабов-ремесленников, привозивших товары для рынка и тем самым приносящих хозяину прибыль.

4. Рабство-солдатчина: из покоренного племени отбирали здоровых, умелых, воинственных мужчин, превращая их в «пушечное мясо».

5. Административное рабство: специально обученный контингент рабов использовался в качестве управляющих имениями.

6. Аграрное рабство: подневольный труд на латифундиях и плантациях. Иначе оно называлось крепостничеством.

Рабство и крепостничество – понятия, которые необходимо различать. Крепостной (serf, фр.) имеет не только обязанности, но и права. А вот рабы, в частности в Риме, были лишены всех прав. В других странах наделение рабов правами зависело от желания рабовладельца, а права крепостного устанавливались законом. Крепостной владел собственностью, мог жениться, т.е. иметь семью. Так формировалась наследственная страта крепостных.

Рабство обозначало принудительный труд в любой сфере экономики, а крепостничество – только в сфере сельского хозяйства. Крепостной – подчиненный кому-то крестьянин. Раб – личная собственность господина. Он чаще всего иностранец. Крепостной – из местных. Хозяин мог продать своего раба, но лорд не мог продать крепостного. Как правило, он продавал землю вместе с крестьянами, если, конечно, разорялся.

Теоретически крепостничество – менее мучительная форма зависимости. Но так было не всегда. Судьба раба зависела от субъективного расположения к нему господина, который по желанию мог облегчить его положение. Но феодал не мог так поступить, поскольку положение его крестьян регулировалось общим для всех законодательством. Таким образом, рабство – система личных отношений, крепостничество – система юридических отношений. Те и другие строились на зависимости.

Статус крепостного – предписываемый, унаследованный от родителей и передаваемый детям. Крепостные составляли самостоятельную страту. Сменялись династии королей и роды феодалов, завоевывались и отвоевывались

страны, но положение крепостного не изменялось. Он оставался крепостным, как и земля, с которой он был связан.

Новый тип стратификации представлен сословиями. Термин *estate* ('*etat*) официально употреблялся в дореволюционной Франции, обозначая высшую страту. Сходная ситуация сложилась и в других странах Европы. В Британии с конца XVIII века в ходу был термин *order*.

В появлении сословий огромную роль сыграли опять же завоевания, начавшиеся еще в неолитическую эпоху – эпоху, когда было изобретено колесо. Мирные землевладельцы оказались беззащитными перед неожиданно нагрянувшей на них хорошо вооруженной конницей кочевников, жаждавших приобрести земли, слуг и жен. Кочевники-завоеватели постепенно оседали на покоренных землях и превращались в высшее сословие, управлявшее поработанными земледельцами. Кочевники представляли собой союз племен, где по-разному распределялись ранги: одни вожди находились наверху, другие, предводившие дружины, им подчинялись.

Со временем на этих территориях возникли четыре страты: король и высшая аристократия; низшее дворянство и военные генералы; священники; простые люди. Статус священника мог быть, а мог и не быть наследуемым. Экономической опорой групповой стратификации выступала собственность на землю, которая зависела от статуса владельца, но не наоборот. Размер владения зависел от места той или иной страты в военной иерархии. Крупными землевладельцами становились лишь те, кто являлся крупным военачальником. Солдаты превращались в мелких независимых землевладельцев.

В нижней части социальной лестницы располагались беззащитные крестьяне. Их статус, как и статус илотов в Спарте, зависел от того, как они относились к завоевателям. Исторически рабами становились целые племена, на которые возлагались те или иные трудовые повинности, например, заготавливать лес для кораблей. Захватчики тянулись к земле как неиссякаемому источнику доходов, но никто из них не желал трудиться на ней. Покоренные землевладельческие племена часто лишались всех прав и становились рабами, но иногда они сохраняли часть прав и превращались в крепостных-сервов. В эпоху Каролингов колонны были свободными в том смысле, что могли жениться и владеть частью имущества, но не имели права покинуть землю. В их обязанности входили полевые и ручные работы. В первом случае они три дня в неделю трудились на феодала, во втором – занимались иными работами: строительством, разгрузкой, транспортировкой, сбором плодов. По мере развития общества сложился круг постоянных работ, для выполнения которых закреплялось зависимое население. Строительство (жилые дома, замки, фортификация, дороги), домашние работы, ремесла приобрели разный статус и постепенно стали наследственными. Разделение общественного труда завершилось появлением различных страт.

Если быть точным, то в Индии кастовая система возникла уже после того, как там появилась сословная система. Четыре главных касты соответствуют четырем сословиям. Кастовая система сформировалась после завоевания Пенджаба, когда индо-арианцы не смогли защитить южную Индию.

Первая сословная система возникла в конце неолитического и в начале железного века. По своей структуре она напоминала кастовую с четырьмя варнами: аристократия, священники, простые люди, зависимые. Этот костяк оставался долгое время неизменным, хотя к нему то и дело добавлялись новые страты, в то же время исчезали старые, например, рабство. Неизменной сохранялась троичная система наследуемых страт: привилегированные, простые и непривилегированные люди. Изменялся круг прав и обязанностей каждой страты. Подобные системы устанавливались силой, но и изменялись они также при помощи силы.

В сословной системе размер землевладения соответствовал рангу. Но уже на ранней фазе ее развития у земли появился мощный конкурент – торговля. Она старше любой сословной системы, ведь доисторические поселения возникали на пересечении торговых путей. С наступлением железного века появились монеты, позволившие накапливать богатства и капиталы.

О происхождении купцов как самостоятельного класса нам мало что известно. Но очевидно одно: в ту эпоху, когда существовал только местный рынок, а торговля велась от случая к случаю, купечества как социальной группы быть не могло. Возможно, первыми «регулярными» купцами были грабители. Пиратство и морская торговля – близнецы-братья. На Ближнем Востоке бедуины были и охранниками, и грабителями торговых караванов. Бароны грабителей в эпоху средневековья управляли своими бандами на основе легальных норм, а в остальное время приторговывали награбленным.

Подобный способ торговли повлек за собой милитаризацию купечества. Таким купечество было и у финикийцев, и у венецианцев. Услугами армии пользовались как крестьяне, так и купцы: солдаты защищали тех и других. Армия могла заставить крестьянина работать на дворянина, но она не могла заставить купца отправиться в опасную заморскую экспедицию и присвоить его прибыль. Купец должен быть свободным, тогда его деятельность будет эффективной. Его необходимо наделить гражданскими правами и заинтересовать в том, чтобы он вернулся на родину.

Правительство часто помогало купечеству: строило пирсы для кораблей, конюшни для транспортных животных, склады для товаров. Наилучшим местом для купцов являлись города, служившие и огромным рынком, и надежным укрытием. Военные форты превращались в торговые города. Постепенно сословная система перестала базироваться исключительно на сельском хозяйстве. Она все больше урбанизировалась. На историческую сцену выходила новая социальная группа, со временем основавшая торговые города и целые империи.

Хотя богатство и влияние купечества росли, его общественное положение оставалось неопределенным. У него не было власти ни в Африке, ни в Азии. Она появилась впервые в средневековой Европе. Многие правители завидовали состоянию купцов, поэтому нередко его просто конфисковывали у них. Но вместе с этим умирал капитал, приносивший ежегодный доход. Заставить его работать мог только купец. Вскоре правители сообразили, что им выгоднее

брать с купечества налог, нежели разорять его. Оно стояло рангом выше крестьянства, но ниже дворянства.

Вторая социальная сила – ремесленники. Их превращение в класс зависело от степени развития торговли и обмена. Поначалу ремесло являло собой в деревне форму вторичной занятости. Жители деревни, а позже города редко пользовались их услугами, так как хозяйство в основном было натуральным. Малообеспеченное крепостное крестьянство не могло служить потребителем продукции ремесленников, поэтому оно оплачивало только случайные услуги, оказываемые ему. Появление в обиходе железа существенно изменило развитие ремесел: работа с ним требовала обучения и специальных знаний, которые держали в секрете и передавали по наследству. Именно купцы стали первыми настоящими потребителями ювелиров, оружейников и гончаров. К страхе ремесленников в античности и средневековье относились и свободные, и рабы, и крепостные.

Купечество и ремесло со временем стали такими же наследуемыми, как дворянство, рабство, положение рядовых граждан и отчасти священников. Иначе говоря, они превращались в разновидность закрытых групп. Классовая борьба, и об этом писал К.Маркс, шла за равенство всех людей перед законом. Согласно Ф. Теннису, сословия основаны на общине, а классы – на обществе.

В том случае, если переход между группами – из ремесленников в купцы, из наемных работников в работодатели – не встречал юридических препятствий, городское население, включающее данные группы, следует считать единой стратой. Но иногда такие препятствия возникали: юридические границы групп, как права и обязанности каждой, четко фиксировались, а переход оформлялся либо особыми документами, либо специальным разрешением властей. В таком случае эти группы представляли разные сословия. К примеру, специально оформлялся даже переход из производителей в продавцы одежды.

Великое переселение народов началось во II веке н.э. Этой датой обозначается первый период развития сословной системы в Европе. Переселение народов послужило причиной дезурбанизации Римской империи. Второй период отмечен господством франков, третий – становлением феодализма, а четвертый знаменует современную эпоху. [...]

Сословная система просуществовала более 5000 лет. Специалисты перечисляют огромное количество ее модификаций. Она была в каждой стране, достигшей высокого уровня цивилизации. Вплоть до XVIII века не было другой системы, способной бросить сословной вызов. По мере того как новая система набирала силу, старая сословная система быстро сходилась на нет. За короткий срок – всего за 150 лет – она почти везде исчезла.

В средневековой Европе крестьяне, не желавшие мириться со своим положением, часто восставали. Аристократам приходилось трудно до тех пор, пока не появился новый класс – дворяне-всадники, или «солдаты на лошадях». Новый класс образовали рыцари. Их называли также кавалерами, кавалерией, кабальерос. Аристократия, благодаря высоким доходам с поместий, содержала кавалерию – всадников и коней – за свой счет. Такова была одна из главных

функций аристократии. Изобретение огнестрельного оружия и появление артиллерии восстановило ценность пехоты (инфантерии) и низвело кавалерию до уровня разведки. С появлением мотосредств кавалерию вытеснили также и из разведки. Но аристократия продолжала находиться в военном генералитете.

В раннем средневековье (эпоха Каролингов) общий уровень грамотности населения, в том числе дворянства, происходившего из среды завоевателей, был невысоким. Государством можно было управлять, не привлекая грамотных людей. Но позже функции управления усложнились, их исполнение зависело от специалистов. Первыми стали покоренные римляне. Затем администраторов начали специально готовить. Формировалась страта профессиональных гражданских чиновников, которые получили бразды правления из рук дворянства. Страта интеллектуалов-экспертов выполняла государственные обязанности не ради титулов и званий, как это делало дворянство. Появились писатели, ученые, ораторы, трубадуры, памфлетисты, администраторы – все выходцы из народа.

В средневековой Европе рынок и денежная экономика – скорее эпизод в повседневной жизни большинства населения. Богатые дворяне вели праздную жизнь, не тратя никаких денег. Дворянин мог воздвигнуть огромный замок, используя собственные каменоломни, мог обустроить сотню комнат, используя собственный лес, железо, мрамор. Его хозяйство позволяло прокормить тысячу знатных гостей, ничего не приобретая на рынке. Вряд ли нынешние миллионеры могут позволить себе такое.

Классы появились тогда, когда рухнули юридические барьеры в сословной иерархии. Классы представляли собой систему остаточного неравенства. Касты и сословия основывались на оправдании неравенства. У каст – религиозное, у сословий – юридическое, теоретическое и религиозное оправдания. У классов подобных оправданий нет. Новые законы имели своей целью установление равенства, но равенства возможностей. По замыслу, в основе классовой системы должен лежать принцип все люди рождены равными и свободными. Но это не значит, что такой она была в действительности.

В сословной системе страты строились на основе политических привилегий. Экономические преимущества отодвигались на второй план. В классовой системе все поменялось местами. Главное в ней – контроль над средствами производства, распределение богатства, профессиональные различия. Политические привилегии и различия отошли на второй план. (Перевод с англ. А.И. Кравченко).

Бергель Е. Социальная стратификация // Кравченко А.И. Хрестоматия для вузов. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 736.

Частина третя

Макросоціологія

МІНЛИВИЙ ВИГЛЯД СТРАТИФІКАЦІЇ

У недавній історії соціології був час, коли домінували два погляди на соціальну стратифікацію. Перший, функціональний, пропонував, щоб поєднання посадового статусу та рівня освіченості бралися до уваги як головні детермінанти соціального рангу в суспільстві – а цей ранг простежувався б, своєю чергою, до культурних цінностей індустріального суспільства. Один з допоміжних напрямків досліджень, відзначаючи подібність престижних рангів у більшості досліджуваних суспільств, стверджував, що цей тип рангів виходить за межі і політичних систем, і традиційних культурних цінностей. Другий, марксистський, пов'язував соціальну стратифікацію з відносинами власності в капіталістичному суспільстві; цей підхід не так зосереджувався на ранзі, як на класі й класовому конфлікті. Обидва підходи, однак, нагадували один одного в тому, що кожен з них нерозв'язно поєднував нерівність із вимогами сучасного індустріального суспільства, хоча самі підходи відрізнялися окремими деталями діагнозу, пояснення та політичного забарвлення. У 1990-х роках обидві системи ще зберігали певну релевантність щодо реалій соціальної організації, але обидві дедалі більше виглядали застарілими з причин, які я зараз розгляну.

Безпосереднім наслідком обох поглядів – функціоналістського вочевидь, а марксистського імпліцитно – було те, що одиницею стратифікаційної системи було господарство нуклеарної сім'ї і що головним фактором у цьому господарстві був чоловік, який мав роботу чи посаду. Зокрема для функціонального аналізу соціальний ранг родинної одиниці залежав від поєднання посадової ролі (головним чином), освіти та доходів чоловіка-батька. Чистота цього погляду на систему стратифікації дедалі більше втрачалася в останні десятиріччя, великою мірою внаслідок таких видів змін.

- Універсальна основа економічної професійної діяльності для визначення соціального статусу викликала чимраз більше сумнівів та зазнавала критики з різних боків: твердження деяких економістів, що люди віддають перевагу дозвіллю, а не роботі; повторювані твердження, що Сполучені Штати історично перейшли від суспільства, зорієнтованого на виробництво, до суспільства, зорієнтованого на споживання, дебати в Німеччині про «роз'єднання» роботи та соціального статусу; відгомін таких дебатів у Японії; очевидна ностальгія постсоціалістичних суспільств за факторами «добробуту і безпеки» соціалістичної ери, хоча і з одночасним засудженням її політично-репресивних аспектів та бажанням певного роду ринкової економіки з її обіцянкою ліпшого добробуту та вищих рівнів споживання. Тут не місце оцінювати вагомість цих суджень; але тією мірою, якою вони намагаються розвінчати зв'язок між роботою та соціальним статусом, вони ставлять

питання щодо критеріїв, які повинні враховуватися при оцінюванні системи рангів у суспільстві.

- Еволюція підстав для визначення соціального рангу досягла нового рівня складності та непевності. Зростаюча диференціація та кількість видів робіт і посад витворили менш визначену основу для встановлення рангів, навіть якщо єдиною причиною цього є лише кількісне зростання. Простота встановлення відмінностей – і класова їх оцінка – між фізичною та нефізичною працею, між буржуазією та робітничим класом та інших, виявилась затемненою в світлі кількісного збільшення видів занять, особливо у сфері послуг. Тією мірою, якою відбувалася подальша пролетаризація, вона набирала вигляду зростання кількості не пролетаріату фізичної праці, а обслуговуючого пролетаріату, враховуючи низькооплачуваних конторських службовців, працівників ресторанів і барів швидкого обслуговування, оплачуваний персонал служби охорони та «тимчасових» робітників різного роду. Цікаво також, що з'явилася нова форма «подвійності» на ринках праці; технологічні зміни, іноземна конкуренція та міграція витворили надлишок безробітних працівників низької кваліфікації. Ці робітники разом із тими, кого наймають на періодичній основі чи на неповний робочий час, аби уникнути додаткових виплат (зараз ця частка складає чверть американського трудового населення і зростає далі), становлять важливий сегмент населення з низькими доходами. Нарешті, обуржуазнювання кваліфікованих робітників, яке нині триває, та їхній політичний альянс із деякими менеджерами та власниками щодо багатьох питань, дотичних до вільної торгівлі та захисту, також затемнили класичний поділ між працею та капіталом.
- Хоч би яким вагомим було твердження, що статус жінок визначається переважно посадовим та освітнім статусом їхніх чоловіків, зараз воно ослаблене. Головною причиною сумнівів є зростаюче представництво жінок у трудовому населенні та часткове заміщення ними керівних і професійних посад із високим статусом, що надає їм соціального статусу, пов'язаного з цими посадами, – у випадку, якщо вони заміжні, то часом незалежно від статусу їхніх чоловіків, а часом у поєднанні з ним. Однак статус жінок, що зумовлений їхнім родом діяльності та освітою, все ще досить невизначений, частково внаслідок традиційних цінностей та упереджень, а частково через традиційні уявлення, які поділяються жінками так само, як і чоловіками, що жінки повинні поєднувати професійну кар'єру з обов'язками народження та виховання дітей, що залишаються пропорційно більшими, ніж відповідні обов'язки чоловіків. Коротко кажучи, довготривала революція за представництво жінок у трудовому населенні витворила складнішу й менш певну основу для визначення соціального рангу.
- Сама традиційна сім'я – тобто чоловік і дружина з дітьми – також опинилася під знаком питання внаслідок змін у структурі родинних зв'язків. Головними змінами стали високий відсоток розлучень, збільшення кількості одноособових сімей та сімей з одним із батьків, зростання позашлюбних форм співжиття та гомосексуального співжиття. Як наслідок, припущення, що ідеальна традиційна родина є одиницею стратифікації, стає дедалі

проблематичнішим.

- Один із нечасто згадуваних наслідків доступу ширших мас населення до вищої освіти – очевидного в більшості розвинутих суспільств – також зробив освіту менш певною як детермінанти статусу. Загальний стаж вищої освіти більше не є «квитком» на посаду з вищим статусом чи «мандатом» на соціальний статус. Це не заперечує наголосу Бурдьє на освіті як джерелі культурного капіталу; це радше підтверджує його думку, що відкриття елітного колись шляху до статусу стало менш цінним і менш визначеним як спосіб забезпечення цього капіталу.
- Чим більшого значення набувають задані та нібито-задані основи соціальної організації, тим більшу вони отримують можливість впливати на визначення статусу і тим помітніше вони можуть затемнювати оцінки щодо таблиці про ранги та стратифікації. Іншими словами, багатоманітність виявилася накладеною на диференціацію як основу для статусу, роблячи складнішим визначення і статусу, і рангу.

Більшість інтерпретаторів занепаду класу як сили в постмодерному світі – серед них і теоретики краху ідеології, такі, як Деніел Бел, і критичні теоретики, такі, як Юрген Габермас, – називають кілька чинників: зростаючий добробут робітничого класу, політично заспокоюючий ефект інституціоналізованої держави загального добробуту й залучення цього класу в політичний процес через політичні партії, сформовані на класовій основі. Ці діагнози достатньою мірою правильні. Я, однак, вважаю, що перелічені щойно моменти пропонують іще один вимір розуміння. Справа тут не тільки в залученні попередньо незалученої політичної сили в політику, справа також у прогресуючому розширенні класових меж, так що робітничий клас – чи, власне, будь-який інший клас – ідентифікується з меншою певністю, стає менш свідомим і менш політично мобілізованим. Ці сили не тільки доповнюють огляди, зроблені постмодерними теоретиками, й впливають на політичний процес іншими способами. Вони можуть, наприклад, не лише зумовлювати відносне послаблення політичних партій, сформованих на класовій основі, вони можуть сприяти нашому усвідомленню зростаючої ролі особистості в політичних кампаніях та нашому усвідомленню зростаючої довіри до тверджень засобів масової інформації, які не є суто класовими твердженнями. Більше того, при такому розмиванні класової та групової структури суспільств самі політики опиняються перед менш чітко визначеною масою виборців, головним чином тому, що знайомі класові способи мислення гірше узгоджуються із соціальною реальністю. Більше того, політичне значення не-класово визначених груп у політичному процесі (задані групи та «нові» суспільні рухи різного роду) витворює особливі види труднощів для інтеграції суспільства політичним шляхом[...].

Смелзер Нейл Дж. Проблеми соціології. Георг-Зімелівські лекції, 1995/ Перекл. з англійської В.Дмитрук. – Львів: Кальварія, 2003. – 128.

РАЛЬФ ДАРЕНДОРФ

О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

I

То, что люди в обществе различаются по своему социальному положению, пока в изобилии подтверждается как в равной степени упрямый и примечательный факт. Существуют дети, которые стыдятся своих родителей, поскольку считают, что благодаря университетскому обучению достигли «чего-то большего». Существуют люди, украшающие свою квартиру внешней антенной, не обладая соединенным с ней телевизором, чтобы убедить соседей, что они могут себе это позволить. Существуют фирмы, оснащающие свои офисы передвижными стенами, поскольку статус их служащих измеряется в квадратных метрах, и поэтому каждая рабочая комната увеличивается по первому требованию своего владельца. Существуют служащие, которые видят свою профессиональную цель в том, чтобы достичь позиции, когда для них будет не только с финансовой точки зрения возможно, но и, прежде всего, социально дозволено ездить на двухцветном лакированном автомобиле. Разумеется, за такими различиями санкционирующая сила права, сохраняющая систему привилегий в кастовом или сословном обществе, стоит уже не непосредственно. Тем не менее наше общество – если совершенно отвлечься от более грубых градаций владений и доходов, престижа и власти – характеризуется таким разнообразием в равной степени тонких и глубинных ранговых различий, что время от времени звучащий тезис о нивелировке всяческого неравенства может вызвать лишь удивление. Теперь уже не принято исследовать страх, страдания и беды, приносимые неравенством среди людей; и все-таки случаются самоубийства из-за плохой сдачи экзамена, разводы на почве «социальной» несовместимости, преступления из чувства социальной обиженности, и повсюду именно неравенство в обществе настраивает одних людей против других.

Эти замечания не задуманы в качестве речи в поддержку равенства; в противоположность этому, я соглашусь с поздним Кантом, охарактеризовавшим «неравенство между людьми» как «изобильный источник столь многих зол, но и всего хорошего». И все-таки в драматизме экстремальных воздействий неравенства с особенной отчетливостью проявляется проблема, о которой речь идет здесь у меня. [...]

Остается вопрос: так отчего же среди людей существует неравенство? В чем причины этого неравенства? Можно ли неравенство ограничить и совсем устранить? Или же нам придется признать неравенство необходимым компонентом структуры человеческих обществ?

В дальнейшем я хотел бы попытаться показать, что этот вопрос с исторической точки зрения был первым вопросом социологической науки. На основании различных попыток ответить на него можно было бы написать целую историю социологической мысли, и эту возможность я как минимум

обрисую. Что же касается проблемы истоков неравенства, то эта история преуспела разве что чуть в большем, нежели название неравенства другим именем: где XVIII век говорил об истоках неравенства, а век XIX – о формировании классов, там мы сегодня говорим о теории социальной стратификации, хотя проблема не изменилась, а ее удовлетворительного решения до сих пор найдено не было. Поэтому мои соображения сходятся в попытке дать набросок объяснения стародавней проблемы, относительно которого я считаю, что оно продвинется на несколько шагов дальше прежде достигнутых позиций.

II

Чем моложе научная дисциплина, тем важнее кажется ее историкам проследить ее глубинные исторические истоки – как минимум, до античной Греции. Историки социологии не составляют здесь исключения. Между тем если взять проблему неравенства в качестве ключа к истории социологии, то можно будет вполне отчетливо показать, что Платон и Аристотель в совершенно определенном смысле социологами не были и указать причины, по которым они не являлись таковыми. И хотя устанавливать точные даты рождения наук всегда трудно, следующее указание все же может способствовать до некоторой степени исторически убедительной фиксации возникновения социологии.

В 1792 году некий г-н Майнерс, «королевский надворный советник Великобритании и ординарный преподаватель житейской философии (Weltweisheit) в Гёттингене», задумался «О причинах неравенства сословий среди знатнейших европейских народов». Нельзя сказать, что он достиг оригинального результата: «Неравенство натур неминуемо и во все времена производило неравенство в правах... Если бы Нерадивый, Вялый, Неопытный и Невежественный имели равные права с обладателями противоположных этим недостаткам достоинств, то это было бы столь же неестественно и несправедливо, как если бы несовершеннолетний мальчик добился равных прав со взрослым, слабая и боязливая женщина достигла равноправия с сильным и мужественным мужчиною, а злодей получил те же безопасность и уважение, что и заслуженный гражданин». Как раз в отношении момента своего появления (спустя три года после начала Французской революции) это весьма характерная формулировка той идеологии, которая и по сей день с известными дополнениями служит в обществах, озабоченных проблемой своего самосохранения, уверениям в том, что их несправедливость есть справедливость. Как упрощенческое повторение заблуждений Аристотеля, утверждается предустановленная гармония природных и социальных явлений, и в особенности – подобие естественных различий между людьми и социальных различий между их положениями. Ведь Аристотель сказал: «Очевидно, во всяком случае, что одни люди по природе свободны, другие – рабы, и этим последним быть рабами и полезно и справедливо... Так же и мужчина по отношению к женщине: первый по своей природе выше, вторая – ниже, и вот первый властвует, вторая находится в подчинении... У варваров женщина и раб

занимают одно и то же положение, и объясняется это тем, что у них отсутствует элемент, предназначенный по природе своей к властвованию... Поэтому и говорит поэт: «Привычно властвовать над варварами грекам»; варвар и раб по природе своей понятия тождественные». Но ведь это еще и установка, которая делает невозможной социологическую трактовку проблемы, а именно – объяснение неравенства с помощью эмпирической проверки доступных ей предположений и исходя из специфически социальных факторов.

До сих пор я говорил о неравенстве между людьми так, как будто считал очевидным то, что под этим следует понимать. Разумеется, это слегка легкомысленное предположение. Слесарь и токарь, министр и канцелярский служащий, художественно одаренный ребенок и технически одаренный ребенок, талантливый и неталантливый – все это пары неравных. Между тем эти, очевидно, совершенно неравные неравенства можно различать прежде всего с двух точек зрения. Первая касается различения тех неравенств, которые соотносятся с естественным «приданным» для индивидов в том, что имеет отношение к их социальной позиции; вторая требует различения всевозможных неравенств того типа, с каким не сопряжена никакая оценка, – ранговых неравенств, на которых основана шкала вышерасположенных и нижерасположенных позиций. Если сочетать оба аспекта, то получатся четыре формы неравенства, и все они нас еще будут интересовать в дальнейшем; а именно, у индивида бывает: 1. Естественное разнообразие внешности, характера, интересов, а также 2. Естественная неравноценность умов, талантов и сил (причем поначалу остается неясным, существует ли таковая вообще); в обществе им соответствует (мы тотчас же вводим понятия новейшей социологии): 3. Социальная дифференциация принципиально равноценных позиций и 4. Социальная стратификация по престижу и богатству как ранговое упорядочение социального статуса.

Нас здесь интересует в первую очередь неравенство в форме социальной стратификации. Что она собой представляет или, если поставить технический вопрос: как ее можно измерить? – это проблема, по которой до сих пор не было достигнуто согласие и не предложено соображений, способных сделать это искомое согласие возможным. Поэтому если мы здесь займемся отличием дистрибутивной сферы стратификации – *explicandum* наших теоретических выкладок – от недистрибутивных форма неравенства и разновидностей неравенства, основанных на господстве, то решение останется результатом осведомленности и произвола. Так, богатство и уважение принадлежат сфере стратификации даже тогда, когда они в значительной степени сосредоточиваются на одной позиции; зато собственность и харизма в духе стратификации не распределяются. Как соотносятся между собой деньги и престиж, – например, являются ли они взаимно конвертируемыми, а значит – редуцируемыми к одному понятию, к одной-единственной «валюте» социальной стратификации, – вот центральный технический вопрос исследования расслоения, остающийся здесь совершенно нерешенным. [...]

Как и у нас здесь, у Аристотеля речь идет о том, чтобы постичь истоки неравенства в форме социальной стратификации. Однако же, поскольку Аристотель – подобно жившим после него многочисленным античным,

христианским и современным авторам – пытается объяснить социальное расслоение из допущения естественной неравноценности людей, он упускает именно ту познавательную возможность, которую мы сегодня назвали бы социологической. Одну из возможностей поставить социологическую проблему он заменяет предположениями, далеко выходящими за рамки общественной сферы и не поддающимися какой-либо проверки на основании исторических данных. То, что из-за таких воззрений рождение социологии задержалось на два тысячелетия, – еще куда ни шло; во всяком случае, объективное заблуждение и политические последствия столь неисторического объяснения оказались тяжелее; и я бы сказал, что Руссо со всей остротой своей полемики прав и здесь, когда он выдвигает аргумент, согласно которому совершенно невозможно рационально «установить, есть ли вообще между этими двумя видами неравенства какая-либо существенная связь. Ибо это означало бы, иными словами, спрашивать, обязательно ли те, кто повелевает, лучше, чем те, кто повинуются, и всегда ли пропорциональны у одних и тех же индивидуумов телесная или духовная сила, мудрость или добродетель их могуществу и богатству: вопрос этот пристало ставить разве что перед теми, кто признает себя рабами своих господ: он не возникает перед людьми разумными и свободными, которые ищут истину».

Это слова Руссо из труда, представленного на конкурсе в 1754 году, и посвященном проблеме того, «каковы истоки неравенства между людьми и легитимируется ли оно естественным правом». В противоположность написанному четырем годами позже эссе о влиянии развития искусств и наук на мораль, за эту работу Руссо не получил премию Ди-жонской академии. Я не знаю, отчего члены жюри в этом случае предпочли рукопись «некоего аббата Тальбера» (как выражается один из издателей Руссо); но все-таки, может быть, их ужаснули радикальные последствия их собственной постановки вопроса. Ибо новый облик, который Руссо и его последователи придали вопросу о происхождении неравенства, означал революцию для истории духа и политики.

Краеугольный камень аргументации Аристотеля – если я вправе сокращенно применить эту формулировку ко всем трактовкам разбираемой проблемы до XIX века – заключался в допущении того, что люди от природы неравноценны, то есть что среди людей существует некая естественная ранговая упорядоченность. Когда естественное право допустило равенство природного ранга всех людей, предыдущее предположение не удержалось. Политически это означало, что вместе со всеми остальными иерархиями теперь зашаталась и общественная. Если люди от природы равны, то социальные формы неравенства не могут быть природными или данными Богом; если же это так, то социальные формы неравенства подлежат изменению, и привилегированные сегодня завтра могут оказаться отверженными; оказывается, что, вероятно, можно устранить даже все виды неравенства... От таких рассуждений прямой путь ведет к положениям «Декларации прав человека и гражданина» 1789 года: «Люди рождаются свободными и равноправными. Социальные различия могут основываться только на всеобщей пользе». Но тот же самый процесс с точки зрения истории духа означает, что вопрос об истоках неравенства отныне

ставится по-новому и иначе, а именно – социологически. Если люди от природы одного ранга, то откуда же происходит неравенство в социальной сфере? Если все люди рождаются свободными и равноправными, то как тогда объяснить, что одни из них уважаемые, а другие ничтожные, одни у власти, а другие подвластные? В такой форме на этот вопрос можно было бы ответить только социологически; и мы можем склониться к тому, чтобы вместе с Зомбартом и прочими искать начатки социологии у тех мыслителей, которые первыми попытались дать социологический ответ на этот вопрос, то есть прежде всего у французских «philosophes», у шотландских моральных философов и политэкономов, а также у немецких просветителей второй половины XVIII века.

Однако первый социологический ответ на вопрос об истоках неравенства оставался разочаровывающим, даже если на протяжении столетия к нему возвращались всё в новых вариациях. Он состоял в фигуре мысли, которую можно продемонстрировать на примере премированного сочинения Руссо.

Руссо исходит из природного равенства людей. Сообразно стилю своей эпохи он проецирует эту гипотезу на историю и конструирует некое до-общественное состояние, когда еще царило полное равноправие для всех и никто не превосходил другого по рангу и имуществу. В соответствии с этим возникновение неравенства означает отказ от природного состояния, а именно своего рода грехопадение, и его Руссо усматривает в возникновении частной собственности. Однако как только речь заходит о происхождении частной собственности, Руссо прекращает обосновывать свои суждения; скорее, он ограничивается столь же конкретным, сколь и темным высказыванием: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое» и нашел людей, достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества».

Из тех современников Руссо, что исходили из тех же предположений, в односторонности его объяснения и в оценке описанного процесса за ним последовали не все. Так, произведение Адама Фергюсона «Опыт истории гражданского общества» (1767) и труд Джона Миллара «Происхождение ранговых различий» (1771) близки Руссо тем, что в них тоже предполагается естественное состояние равенства, а собственности приписывается решающая (Миллар) или по крайней мере важная (Фергюсон) роль при нарушении этого естественного состояния; однако в том, что люди научились домогаться богатств и восторгаться наградами, то есть производить дифференциацию по доходам и престижу, оба видят ни в коем случае не несчастье, а шаг к цивилизации «гражданского общества». Еще дальше от романтического утописта Руссо располагается Шиллер, когда в своих Йенских лекциях 1789 года «О первом человеческом обществе» (с отчетливой, хотя и невысказанно связанных со статьей Канта «Предположительное начало человеческой истории», каковая опять-таки явно связана с указанной статьей Руссо), наряду с другими историческими произведениями, он приветствует и «упразднение равенства сословий» в качестве выхода из «вялого покоя его рая». Однако же гипотеза об изначальном состоянии равенства и объяснение происхождения

неравенства через частную собственность сохранились вплоть до Лоренца фон Штейна, Маркса и в дальнейшем.

Объяснение возникновения неравенства из института частной собственности как для многих авторов, работавших между 1750 и 1850 годами, так и для их читателей всегда имело и определенную политическую привлекательность. Тем не менее, общество без частной собственности мы можем себе представить; и если с этим представлением связано и другое, о равенстве, то отмена частной собственности может сделаться кульминационным пунктом программ политических действий. Можно считать, что две великих революции вдохновлялись не в последнюю очередь обоснованной здесь мечтой Руссо о восстановлении изначального, естественного равенства, а также сформулированной Марксом идее ожидания пришествия коммунистического общества. Сколь бы привлекательным для многих ни было это представление и какой бы значительный методологический прогресс ни заключался в историко-социологическом объяснении неравенства по сравнению с аргументацией Аристотеля – столь же несостоятельной оказалась гипотеза о собственности перед лицом исторического опыта.

Несмотря на то, что в Советском Союзе ни в один период не была отменена вся частная собственность, разочарование, к примеру, Уэббов и других социалистов, посетивших Россию в 30-е годы XX века, по поводу неравенства доходов и рангов в Советском Союзе доходит до уровня экспериментального опровержения тезиса Руссо и Миллара, Фергюсона и Шиллера, фон Штейна и Маркса и многих других. В Советском Союзе, в Югославии, в Израиле и повсюду, где частная собственность совершенно ничтожна, остается социальное расслоение. Даже если оно (как в израильских киббуцах) порою может находить свое выражение не в различиях по имуществу и доходам, то все-таки остается по меньшей мере ранговая упорядоченность общества со столь же трудноуловимой, сколь и всепроникающей точки зрения престижа. Если бы истоки неравенства заключались в частной собственности, то отмена частной собственности с необходимостью привела бы к устранению неравенства. Опыт обществ без собственности или «как бы» без собственности эту гипотезу не подтверждает, и она может считаться опровергнутой.

V

По времени, но и объективно Лоренц фон Штейн и Карл Маркс располагаются у границы той группы авторов, которая основала социологию тезисом о происхождении неравенства из института собственности. Как у Штейна, так и у Маркса (хотя в намеках – уже у Фергюсона и, естественно, у политэкономов конца XVIII века), наряду с собственностью упоминается и второй фактор, до второй половины XIX столетия и вплоть до нашего века господствовавший в дискуссии – как теперь называлась наша проблема – об образовании классов, а именно разделение труда. Фридрих Энгельс разработал теорию формирования классов на основе разделения труда уже в 70-е годы XIX века в «Анти-Дюринге». Последовавшая за этим дискуссия все-таки была связана

с другим именем, с именем Густава Шмоллера. Она началась со знаменитого спора между Шмоллером и Трейчке и статьи Шмоллера «Социальный вопрос и прусское государство». Этот спор интересует нас здесь потому, что в нем снова был затронут вопрос о возможности социологии. В борьбе со Шмоллером Трейчке придерживался позиции, – хочется сказать: опоздавши на столетие – если бы как раз в этом факте не заключалась веха нашей собственной истории, – настаивавшей на сходстве природных ценностных различий и социального неравенства, а Шмоллер, правда, с помощью до некоторой степени не менее любопытных аргументов, пытался объяснить образование классов процессом разделения труда. Статьи Шмоллера «Факты разделения труда» и «Сущность разделения труда и социального образования классов», написанные в 1889 и 1890 годах, впоследствии подвигли Карла Бюхера к обстоятельной полемике, изложенной в его лейпцигской лекции «Разделение труда и социальное образование классов», прочитанной в 1892 году по случаю вступления в должность. Последняя опять-таки не только встретила критику со стороны Шмоллера, но и была также проанализирована Дюркгеймом в его великой работе «De la division du travail social». Дюркгейм рассмотрел также работу Зиммеля «О социальной дифференциации», вышедшую в 1890 году в издававшихся Шмоллером «Общественно-политических исследованиях». Шмоллер, в своей рецензии на произведения Дюркгейма «радостно [приветствовавший последнего] как соратника, хотя он и не во всем нас убедил», впоследствии тоже не раз обращался к этой теме и к своим тезисам, но друзья эти тезисы нашли лишь после смерти автора (1917), безоговорочно – в Фальбеке, а частично – и в Оппенгеймере и Шумпетере; эта дискуссия оказалась не бесконечной и вскоре канула в Лету.

В течение этой продолжавшейся несколько десятилетий дискуссии было высказано много соображений, которые здесь затрагивать не стоит, поскольку они либо уводят в сторону от нашей темы, либо интересны в настоящее время лишь в качестве курьезов. Первое касается, прежде всего, трактовки Зиммелем и Дюркгеймом связей между разделением труда и социальной интеграцией, последнее – например, предложенной Шмоллером теории наследования конкретных способностей, приобретаемых благодаря прогрессирующему разделению труда, с которой Бюхер (с полным правом) яростно боролся, а Шмоллер шел лишь на ничтожные уступки. И все-таки позиция Шмоллера, в особенности – в первых статьях 1889 и 1890 годов, содержит элементы теории образования классов, которую надо воспринимать совершенно всерьез и которая в новой, но лишь несущественно измененной формулировке играет определенную роль и в новейшей социологии. Согласно этой теории, образование классов, то есть ранговое неравенство, основано на факте дифференциации профессий. Как бы ни объясняли само разделение труда – Шмоллер объясняет его из принципа обмена, Бюхер из собственности (и оба не считают его универсальным) – во всех случаях эта дифференциация предшествует неравноценности социальных позиций: «При возникновении социальных классов всегда – в первую очередь – речь идет о прогрессе в разделении труда среди племен и народов». Или еще отчетливее: «Различия в социальных рангах

и имуществе, в почете и доходах представляют собой лишь вторичное следствие социальной дифференциации».

Шмоллер впоследствии исправлял и дополнял собственную позицию, но полностью от нее не отступился. Правда, решающие аргументы против его попытки в литературе того времени сформулированы не были. Чтобы их сформулировать, надо напомнить об отличии социальной дифференциации от социального расслоения. Поскольку в современных обществах неравенства социального ранга мы обыкновенно связываем с профессиональной позицией людей, напрашивается подозрение в том, что профессиональная дифференциация служит основанием для ранговых различий. Однако же в противовес этому следует подчеркнуть, что мысль о дифференциации сама по себе еще не имплицитно подразумевает никаких оценочных различий между дифференцируемыми элементами. В аспекте разделения труда («функциональной организации» индустриальной социологии) нет ни малейших ранговых различий между генеральным директором, секретаршей, мастером, слесарем и подсобным рабочим одного и того же завода: каждый из них осуществляет одинаково незаменимую частную деятельность для производства чего-то конкретно необходимого. То, что мы фактически все-таки связываем с этими частными видами деятельности некую ранговую упорядоченность («скалярную организацию»), основано на дополнительном моменте, приводящем к различной оценке необходимых частных видов деятельности. Результатом является ранговая упорядоченность видов деятельности, функционально различающихся лишь по своему типу, то есть их социальное расслоение; о причине же процесса оценивания можно как минимум сказать, что она не выводима из разнообразия видов деятельности.

Шмоллер как будто бы ощутил этот пробел в своей аргументации, когда в более поздние публикации внезапно вставил еще и некий «психологический факт»: «необходимость для человеческого мышления и чувствования выстраивать в ряд, а также оценивать и располагать согласно их ценности все соотносящиеся между собой явления некоего рода». Как бы ни «относиться» к этому факту – уже одно то, что Шмоллер вообще считает необходимым его ввести, может послужить дальнейшим свидетельством в пользу того, что социальную дифференциацию и социальное расслоение невозможно объяснить, не опосредовав их друг через друга.

VI

Этот вывод – один из результатов третьего, незатухающего обсуждения проблемы происхождения неравенства в истории социологии. С тех пор, как Толкотт Парсонс в 1940 году впервые опубликовал свою статью «Аналитический подход к теории социальной стратификации», дебаты вокруг так называемой «функциональной интерпретации социологии» не прекращались. В них приняли участие почти все значительные американские социологи, и я усматриваю в этой дискуссии – в которой, между тем, участвовали и европейские социологи на Востоке и Западе – один из наиболее

значительных вкладов американской социологии в наше понимание социальных структур.

Непосредственное влияние статьи Парсонса, написанной в 1940 году, заключалось, пожалуй, прежде всего, в продвижении темы социальной стратификации в сознание американских социологов. Опубликованная в 1942 году учеником Парсонса К. Дэвисом преимущественно абстрактная статья также имела, скорее, подготовительный характер. Собственно обсуждение темы впервые открылось в 1945 году статьей Дэвиса и У. Мура, озаглавленной «Некоторые принципы стратификации». Как Руссо и его последователи, так и Шмоллер со своими приверженцами понимали неравенство в качестве исторического феномена. И для тех, и для других некогда существовала эпоха равенства; и для тех, и для других существовала и мысленная возможность отмены неравенства. Дэвис и Мур, напротив того, пытались доказать универсальность неравенства из его функциональной необходимости для всех человеческих обществ, то есть из его необходимости для существования любых социальных структур.

Правда, при этом они разработали аргументацию, слегка (по меньшей мере, в слабых местах) напоминающую шмоллеровскую: в любом обществе существуют различные позиции. Эти позиции – например, профессии – в разной степени приятны, важны и тяжелы. И вот, чтобы обеспечить бесперебойное и полное занятие всех позиций, с ними должны сопрягаться определенные компенсации, а именно как раз те компенсации (rewards), посредством которых устанавливаются критерии социальной стратификации. Значение позиций для общества и рыночная конъюнктура требующихся квалификаций определяют во всех обществах неодинаковое распределение доходов, престижа и власти. Неравенство необходимо, потому что без него дифференцированные (профессиональные) позиции в обществах не могут быть адекватно укомплектованы.

Совершенно аналогичным образом эту теорию развивали некоторые другие авторы, особенно – М. Дж. Леви и Б. Барбер. Между тем, многие стороны функционалистской теории стратификации столкнулись и с критикой, существенные аргументы которой вроде бы постепенно утвердились, несмотря на многократные ответные реплики Дэвиса и Мура. Самый резкий из критиков, М. Тумин, выдвинул, прежде всего, два возражения на статьи Дэвиса и Мура, написанные в 1953 и 1955 годах: во-первых, понятие «функционального значения» позиций является в высшей степени неясным, поскольку оно, вероятно, имплицировало бы ту оценивающую дифференциацию, на объяснение которой оно претендует; во-вторых, в гипотезах о гармонии между расслоением и распределением талантов, а также о мотивации с помощью неодинаковых стимулов, имеются теоретически проблематичные и эмпирически не гарантированные предположения. Последнее возражение было усилено Р. Шварцем в эмпирическом исследовании 1955 году, где на основании двух израильских общин было показано, что адекватное занятие позиций возможно и в сочетании с другими средствами, обеспечивающими неравенство социальных компенсаций. Упрек Дэвису и Муру в смешении дифференциации

и стратификации выдвинул в 1958 году У. Бакли; правда, при этом у него ощущается оправданная критика оценочного оттенка понятия «функциональное значение» в малоэффективном терминологическом споре. С тех пор критика функционалистской теории стратификации развивалась, прежде всего, по двум направлениям. Одно из них представлено, например, Д. Ронгом, который в 1959 году вновь подхватил выдвинутый уже Туминым аргумент о том, что Дэвис и Мур якобы недооценивают «дисфункции» социальной стратификации, то есть разрушительное влияние неравенства на людей. Еще отчетливее консервативный характер функциональной теории подчеркивал Г. Ленски. Другое направление критики носит методологический характер и основано на определенном нетерпении относительно дискуссии о социологических универсалиях, присутствующем во всех разновидностях реальных обществ.

Между тем, действительно важные моменты в американских дебатах о стратификации лишь с оговоркой проявляются на поверхности. Результат их здесь следует искать вот в чем: хотя неравенству между людьми присуще множество функций и дисфункций, то есть множество последствий для структуры общества, все-таки удовлетворительного функционального объяснения истоков неравенства быть не может, поскольку всякое такое объяснение вынуждено прибегать либо к сомнительным гипотезам относительно природы человека, либо к *petitio principii* (лат. логической ошибке предвосхищения) объяснения через объясняемое. И все же эта дискуссия – как и те, что ей предшествовали, – по многим пунктам породила тезисы, а порою – лишь замечания и намеки, на которые мы можем опереться при попытке сформулировать теорию социального расслоения, каковая окажется теоретически удовлетворительной и, прежде всего, эмпирически плодотворной.

Уже самое начало американской дискуссии о стратификации, – статья Парсонса, – содержит хотя в своей первоначальной форме и уязвимые, но все же далеко ведущие мысли. Исходя из наличия понятия оценивания (*evaluation*) и его значения для социальных систем, Парсонс пытается доказать необходимость дифференцированного рангового упорядочения их элементов. Это своего рода онтологическое доказательство стратификации, скорее шокирующее, чем убеждающее, – что вроде бы ощутил и сам Парсонс, когда в изданном в 1953 году варианте своей статьи он говорил лишь о вероятности, а не о необходимости неравенства на основании существования процесса оценки. Этот тезис Парсонса основан не на чем ином, как на предположении, которое гораздо проще сформулировал Барбер: люди по-разному оценивают друг друга и вещи из своего мира. Со своей стороны, это допущение отсылает к шмоллеровскому «психологическому допущению» склонности у человека производить оценочное упорядочение, но еще – и лишь здесь связь между оценкой и стратификацией начинает становиться социологически релевантной – к важной мысли Дюркгейма о том, что человеческие общества всегда являются моральными коллективами. Где бы люди ни образовывали общество, этот процесс означает, что они производят отбор определенных норм и интерпретируют их как значимые ценности. Дюркгейм справедливо замечает, что «естественное состояние философов XVIII века если не безнравственно, то

по меньшей мере аморально»: мысль об общественном договоре – не что иное, как мысль о возникновении общества благодаря установлению обязывающих, то есть снабженных санкциями норм. И вот, в этом пункте напрашивается возможность перебрасывания моста от понятия о человеческом обществе к проблеме истоков неравенства, – и хотя отзвуки этой возможности порою слышны в литературе, она все же до сих пор полностью не реализована.

Человеческое общество всегда подразумевает, что поведение людей избегает произвола случайности и регулируется не допускающими неповиновения, то есть крепко укорененными ожиданиями. Обязательность этих ожиданий или норм основывается на воздействии санкций, то есть вознаграждений или наказаний за конформное, либо отклоняющееся от конформизма поведение. Если же всякое общество в этом смысле является моральным обществом, то отсюда следует, что всегда должно существовать как минимум такое ранговое неравенство, которое проистекает из необходимости санкционирования поведения, соответствующего или не соответствующего нормам. С каких бы точек зрения исторически определенные общества ни вводили дополнительные различия между своими членами, какие бы символы эти общества ни объявляли признаками неравенства, каким бы ни было конкретное содержание социальных норм – неизменное ядро социального неравенства всегда состоит в том факте, что люди в качестве носителей социальных ролей – в зависимости от положения ролей по отношению к господствующим в обществах принципам ожидания – подлежат санкциям, благодаря которым гарантируется значимость этих принципов.

Подразумеваемую здесь взаимосвязь можно предварительно проиллюстрировать несколькими примерами, одинаково уместными, несмотря на свою разнородность. В некотором городском квартале от женщин ожидается, что они будут обсуждать со своими близкими и дальними соседками более или менее интересные тайны и скандалы; затем эта норма приводит, по крайней мере, к различению между особо уважаемыми (охотно и много «болтающими» и, вдобавок, подающими кофе и пироги), дамами со средним престижем и чужачками (теми, кто по какой-либо причине не сплетничает). Если на каком-нибудь предприятии рабочими достигнута максимально высокая производительность труда, и за нее платят сдельно-премиальные, то некоторые рабочие принесут домой сравнительно мало, а другие – сравнительно много денег. Если граждане (или, точнее – подданные) некоего государства ожидают, что официальная идеология будет представлена с максимумом убежденности и во всеуслышание, то эта норма приведет к различению между теми, кто ее ради чего-нибудь использует, например, став государственными служащими или партийными секретарями, между «попутчиками», между теми, кто тихо и боязливо влачит мещанское существование, и теми, кто за отклоняющееся от конформизма поведение платит свободой или жизнью.

Итак, можно считать, что на различии между теми, кто (как, поначалу, пожалуй, следует предположить, и что, очевидно, допускается в примерах) по личным причинам не готов или не способен к конформизму, от тех, кто всегда

пунктуально выполняет нормы, основано, по существу, не социальное, то есть структурированное, а лишь индивидуальное, то есть случайное неравенство. Ведь социальная стратификация – это всегда ранговая упорядоченность, говоря на примерах, на основании доходов, а не выигрышей в лотерею, престижа, а не уважения. Тем самым оно зависит от позиций, которые можно, по меньшей мере, мысленно оторвать от их обладателей («рабочий», «женщина», «обитатель виллы» и т. д.). Санкционированное отношение к нормам, напротив того, поначалу кажется чисто индивидуальным поведением. Но если бы это было так, то в нашей аргументации, как и у Шмоллера, не хватало бы ядра, а именно – связующего звена между санкционированием индивидуального поведения и неравенством социальных позиций. Однако же, фактически это связующее звено заключено в уже употреблявшемся нами понятии социальной нормы.

Представляется убедительным исходить из того, что количество ценностей, которыми по возможности может регулироваться человеческое поведение, является принципиально неограниченным. Наша фантазия позволяет нам создавать до бесконечности много обычаев и законов. Потому-то нормы, то есть реально значимые ценности, всегда избираются из универсума возможных значимых ценностей. Вопросом о том, с каких точек зрения и какими инстанциями производится этот выбор, а в особенности – какова роль господства при отборе ценностей и переводе их в нормы, мы немедленно займемся. Вот, прежде всего, еще одно существенное соображение: при отборе ценностей ради перевода их в нормы всегда и с необходимостью присутствует момент дискриминации не только индивидов, которые в социологическом смысле случайно имеют определенные моральные убеждения, – но и социальных позиций, тем самым запрещающих своим обладателям конформизм по отношению к значимым ценностям. Следовательно, если сплетни между соседками возведены в норму, то работающая женщина с неизбежностью попадает в положение чужачки, чей престиж не может не отставать от престижа остальных; если на каком-нибудь предприятии зарплата сдельно-премиальная, то (при определенных видах деятельности) старики безжалостно обделяются по сравнению с молодыми, а женщины – по сравнению с мужчинами; если представительство государственной идеологии возведено в гражданский долг, то те, кто учился в школе до возникновения соответствующего государства, не могут конкурировать с теми, кто усвоил язык господствующей идеологии «с молодых ногтей». Но ведь трудящийся, женщина, старик, молодой человек, дитя заданной социальной формы – все это социальные позиции, о которых можно думать независимо от их конкретных обладателей. Поскольку же всякое общество (если только оно моральный коллектив) в этом смысле устраивает дискриминацию определенных позиций (и при этом всех их обладателей); кроме того, поскольку всякое общество добивается действенности такой дискриминации через санкции, то социальные нормы и санкции обосновывают не только социологически аморфные ранговые иерархии индивидов, но и непреходящие структуры социальных позиций.

Истоки неравенства между людьми, следовательно, заключаются в существовании во всех человеческих обществах норм поведения, снабженных санкциями. То, что мы обыкновенно называем правом, то есть система законов и наказаний, в языковом употреблении охватывает не всю сферу социологических понятий «норма» и «санкция». Если же мы возьмем право в его широчайшем значении и будем понимать как воплощение всех, в том числе и не кодифицированных норм и санкций, то можно было бы сказать, что право представляет собой необходимое и достаточное условие неравенства в обществе. Поскольку есть право, есть и неравенство; если есть право, должно существовать и неравенство между людьми. Естественно, это касается и обществ, где равенство перед законом возведено в конституционный принцип. Если здесь нам позволят немного легкомысленную, хотя и совершенно серьезную формулировку, то предложенное мною здесь объяснение неравенства в отношении нашего собственного общества: все люди равны перед законом, но они уже не таковы по закону, то есть после того, как они – как говорится – «соприкоснулись с законом». Пока нормы еще не существуют, или же в той мере, в какой они не существуют для людей как обладателей социальных ролей и не воздействуют на эти роли («перед законом»), социальная стратификация отсутствует; если же нормы существуют в качестве неизбежных требований к поведению для людей, и если тем самым ролевое поведение измеряется по этим нормам («по закону»), то возникает и ранговая упорядоченность социального статуса.

Однако же насколько важно подчеркнуть, что под нормами и санкциями всегда имеются в виду также законы и наказания в смысле позитивного права, настолько же привлечение права в качестве иллюстративной *pars pro toto* (лат. части вместо целого) может ввести в заблуждение. Правовыми нормами мы, как правило, обязываем лишь мысль о наказании в качестве гарантии их обязательности. Санционирующая сила права приводит к различению между преступившими закон и теми, кому удастся не конфликтовать ни с одним пунктом закона. Здесь конформное поведение в любом случае вознаграждается отсутствием наказания. Разумеется, и в этом грубом делении на «конформистов» и «девиантов» уже содержится момент социального неравенства, и было бы принципиально возможно, исходя из правовых норм, доказать связь между санкциями и стратификацией. Тем не менее, такое доказательство редуцировало бы оба понятия – санкцию и стратификацию – к их жалкому остаточному содержанию. Ни в коей мере не необходимо (хотя в обыденном языке это часто происходит) ограничивать понятие санкции наказаниями. По меньшей мере, для современной аргументации я скорее считаю необходимым относиться к позитивным санкциям (награды) и к негативным санкциям (наказания), как к принципиально однородным и к аналогичным образом функционирующим механизмам принуждения к конформно-ролевому поведению. Только когда тем самым награда и наказание, стимул и угроза будут пониматься как связанные между собой орудия сохранения социальных форм, обретет лицо следующий тезис: санкционирование человеческого поведения по отношению к социальным

нормам с необходимостью создает систему рангового неравенства, а, следовательно, социальная стратификация является прямым результатом контроля над социальным поведением с помощью позитивных и негативных санкций. Наряду со своей задачей гарантии поведения, соответствующего нормам, санкции как бы ненамеренно и мимоходом всегда производят ранговое упорядочение дистрибутивного статуса, независимо от того, измеряется ли последний в понятиях чести, богатства, или же и чести, и богатства.

Предпосылки подобного объяснения напрашиваются. В терминах XVIII века их можно описать через общественный договор (*pacte d'association*) и договор о господстве (*pacte du gouvernement*). Предложенное здесь объяснение предполагает, что (1) каждое общество есть общество моральное, то есть ему ведомы нормы, управляющие поведением его членов, а также что (2) с такими нормами всегда могут сопрягаться определенные санкции, гарантирующие обязательность норм, функционируя в качестве наград за конформное и наказаний за отклоняющееся от конформного поведения. И вот, можно считать, что сопряжение социальной стратификации с подобного рода предпосылками скорее сдвигает, чем объясняет нашу проблему. В действительности, как с философской, так и с социологической точки зрения можно было бы продолжать задавать вопросы. А откуда же происходят нормы, управляющие социальным поведением? При каких условиях в исторических обществах эти нормы изменяются? И почему их обязательность должна вынуждаться с помощью санкций? И касается ли это вообще всех обществ в истории? Все-таки мне кажется, что даже вне зависимости от ответов на эти вопросы редукция социальной стратификации к существованию социальных норм, снабженных санкциями, полезна уже потому, что таким способом раскрывается производный характер проблемы дистрибутивного неравенства. Кроме того, преимущество предложенного здесь выведения неравенства состоит в том, что предпосылки, из каковых оно исходит, а именно – существование норм и необходимость санкций, по меньшей мере, в рамках социологической теории можно рассматривать как аксиоматические, и потому пока они не нуждаются в дальнейшей редукции (даже если они, очевидно, вызывают как минимум к дальнейшей рефлексии).

Истоки неравенства между людьми заключаются и не в человеческой природе, и не в факторах исторически, возможно, ограниченной действительности вроде собственности. Скорее они состоят в определенных необходимых либо же принимаемых за необходимые характерных чертах всех человеческих обществ. Хотя дифференциация социальных позиций - в качестве разделения труда, или обобщеннее – в качестве разнообразия ролей – и может быть таким универсальным признаком общества, ей не хватает необходимого для объяснения ранговых различий оценочного элемента. Санкционирование социального поведения по мерке нормативных ожиданий влияет лишь на оценочную дифференциацию, то есть на распределение социальных позиций и их обладателей по шкалам престижа и дохода. Поскольку существуют нормы, а санкции необходимы для того, чтобы вынудить их соблюдение, среди людей должно существовать ранговое неравенство.

VIII

Выстраивание таких рассуждений по теории стратификации может создать такой образ социологии, который не соответствует ни реальности предмета, ни моим намерениям. Сообразно всему сказанному социологию (или мою социологию) можно было бы считать делом весьма абстрактным и спекулятивным. Можно было бы упустить ее соотносительность с эмпирическими исследованиями, вероятно, основанными на опросных листах и анкетах. Что касается последних, разочарование в них сплошь и рядом соответствует моим намерениям. Но я хотел бы указать на эмпирическое значение моих соображений или все-таки выяснить, что из этих соображений следует для нашего познания социальной реальности; при этом требование большей обобщенности я считаю оправданным уже потому, что и я понимаю социологию как эмпирическую науку, старающуюся раскрыть для нашего понимания социальный мир в положениях, об истинности или ложности коих систематические наблюдения вправе выносить обязывающие решения. Последняя часть этой статьи удовлетворяет данному требованию именно на весьма высокой ступени обобщенности; тем не менее, в последней части я хотел бы обрисовать некоторые из последствий предложенных здесь соображений для социологического анализа.

Объяснение неравенства из необходимости вынуждать с помощью санкций поведение, соответствующее нормам, ведет, в первую очередь, к определенным понятийным последствиям для аппарата социологического анализа. Ведь социальная стратификация, о которой шла речь до сих пор, получила определение как система неравенства дистрибутивного статуса людей, то есть как система различного распределения предметов вождельных и «дефицитных». Как правило, орудиями или средствами такой ранговой дифференциации служат почет и богатство или, как мы сегодня выражаемся, престиж и доходы; но нет никаких оснований предполагать, что ранговая дифференциация не может происходить еще и с других точек зрения. Однако же господство принадлежит к признакам дифференциации социальной стратификации лишь с особой точки зрения служебного патронажа, то есть распределения господства в качестве компенсации за определенные качества или достижения. Тем самым объяснение ранговых различий из необходимости санкций не является объяснением структур господства в обществах; скорее это объяснение стратификации при помощи социальной структуры власти и господства. Господство и структуры господства – если верно предложенное здесь объяснение неравенства – логически предполагают структуры социальной стратификации.

Остается открытым и сложным вопрос, представимы ли общества, система норм и санкций в которых функционирует без стоящей за ней структуры господства. То и дело этнологи сообщали о «племенах без властителей», а социологи расписывали общественное саморегулирование при отсутствии господства. В противоположность этому, я склонился бы к тому, чтобы вместе с Максом Вебером характеризовать «всякий порядок, возникший не в результате

свободного личного соглашения всех участников», то есть всякий порядок, основанный не на свободном консенсусе всех, кого он касается, как «навязанный», то есть основанный на господстве и подчинении. И вот, поскольку такая *volonte de tous* (фр. общая воля) кажется возможной, во всяком случае, в качестве мыслительной игры, мы должны допустить, что к двум категориям «нормы» и «санкции» добавляется еще и третья фундаментальная категория социологического анализа: категория господства. Общество подразумевает, что поведение людей упорядочивается посредством норм; это управление гарантируется с помощью стимула либо угрозы санкции; возможность назначить санкции служит абстрактным ядром любого господства. Я считаю, что из тройки хотя и неравноценных, но соотнесенных между собой «лошадей» – Нормы, Санкции и Господства, можно вывести все остальные категории социологического анализа. Во всяком случае, это касается категории социальной стратификации, которая поэтому стоит на более низкой, чем господство, ступени обобщения. Эмпирически оборачивая этот понятийный анализ и обнажая его взрывной характер: система неравенства, которую мы называем социальной стратификацией, – это лишь вторичное следствие структуры господства в обществах.

То, что нормы в некотором обществе действительны, означает, что их соблюдение вознаграждается, а несоблюдение наказывается. То, что соблюдение и несоблюдение норм санкционируется в этом смысле, означает, что господствующие в обществе группы кладут свое господство на чашу весов соблюдения норм. Следовательно, действующие нормы суть в конечном счете не что иное, как нормы господствующие, то есть защищенные санкционирующими общественными инстанциями.

Для системы неравенства это означает, что наиболее благоприятного положения в обществе добьется тот, кому благодаря социальной позиции лучше всего удастся приспособиться к господствующим нормам – и наоборот, что действующие или господствующие ценности некоего общества считываются по его верхнему слою. Кто не способен, то есть на основании своего положения в координатной системе социальных позиций и ролей не в состоянии всегда точно следовать ожиданиям своего общества, тот не вправе удивляться, если ему остаются прегражденными верхние ступени шкал престижа и доходов, и если другие – кому легче удастся конформно вести себя – его опережают. В этом смысле всякое общество почитает конформизм, сохраняющий его, то есть господствующие в нем группы, – при этом всякое общество порождает в самом себе сопротивление, ведущее к упразднению этого общества.

Принципиальный параллелизм между конформистским и девиантным поведением, с одной стороны, и более высокой или более низкой позицией в стратификации, с другой, в исторических обществах, разумеется, не выдерживается из-за многочисленных второстепенных моментов, или же последние на него наслаиваются (вообще следует подчеркнуть, что в предложенном здесь объяснении неравенства нет историко-философского или непосредственно исторического намерения). Так передача по наследству

признаков, определяющих некий страт в ту или иную эпоху - например, дворянства или собственников - приводит к возникновению своего рода stratification lag, то есть к отстаиванию структур стратификации по сравнению с изменениями норм и структур господства, так что верхние слои прошлых эпох еще некоторое время сохраняют благоприятное положение в рамках социальной стратификации и при новых условиях. И все-таки, как правило, не исключены и те процессы, каковые известны нам в виде «деклассирования дворянства» или же «утраты функции собственностью». Если верно (а многое говорит в пользу того), что наше собственное общество держит курс на обрисованный в социологической утопии М. Янга «Да здравствует неравенство» период «меритократии», то есть на господство собственников, имеющих соответствующие свидетельства то из теории запаздывающей стратификации следует, что постепенно и членам традиционных верхних слоев – дворянам и наследникам – придется позаботиться о дипломах и титулах, чтобы подтвердить свое положение; ибо господствующие группы любого общества имеют тенденцию согласовывать всякую конкретную систему социального неравенства с действующими, то есть с их собственными нормами. Между тем, вопреки этой принципиальной тенденции, в исторических обществах мы ни в один момент не можем ожидать полного совпадения шкалы стратификации со структурами господства.

IX

Образ общества, возникающий здесь из почти невыносимой обобщенности предложенного анализа, в двух отношениях не утопичен и при этом еще и антиутопичен. С одной стороны, он отличается от всяческой открытой или скрытой романтики революционных утопий а-ля Руссо или Маркс. Если верно, что неравенство между людьми следует из общества как общества морального, то в мире нашего опыта не может существовать общества абсолютно равных. Разумеется, существует равенство перед законом и равное избирательное право, возможны и даже реальны равные шансы на воспитание и другие виды конкретного равенства. Но мысль об обществе, где устранены все ранговые различия между людьми, превосходит возможности социологии и уместна разве что в области поэтической фантазии. Где бы политические программы ни обещали общества без классов или прослоек, гармоничную народную общину, состоящую из товарищей одного ранга, сведение всевозможных неравенств к функциональным различиям и т. п., у нас есть основания для недоверия, потому что за нереализуемыми политическими обещаниями нас обычно подстерегают террор и несвобода. А там, где господствующие группы или их идеологи рассказывают нам, что в их обществе на самом деле все равны, мы можем полагаться на догадку Оруэлла, что там наверняка «одни более равны, чем другие».

Однако же, обрисованный здесь подход представляет собой путь из утопии еще в одном смысле. Если мы рассмотрим объяснения неравенства в новейшей американской социологии – а это касается как Парсонса и Барбера, так и Дэвиса и Мура – то мы увидим в них такую картину общества, из которой ни

один путь уже не ведет к историчности человеческих обществ. Я полагаю, что в опосредованном смысле это касается еще и Руссо и Маркса, и все-таки легче показать это на примере новейших социологических теорий. Американские функционалисты исходят из того, что мы обязаны рассматривать общества как бесперебойно функционирующие структуры, и что поэтому неравенство между людьми (если таковое присутствует) вносит вклад в это функционирование. Этот угол зрения, который в других случаях, вероятно, мог бы способствовать множеству новых познаний, у американских функционалистов приводит к выводам типа сделанного Барбером: «Люди чувствуют исполняющую справедливость и вознагражденную добродетель, когда ощущают, что на основании ценностного стандарта их собственного морального сообщества они по праву получили высокое или низкое место в иерархии». И более поздняя трактовка Барбером «дисфункций» стратификации не может стереть впечатления, что ему мерещится общество, которое больше не нуждается в истории, поскольку и без того все упорядочено наилучшим образом: каждый – где бы он ни располагался – удовлетворен своим местом в обществе, так как общая система ценностей связывает всех в большую и счастливую семью.

Мне кажется, что с помощью такого инструментария можно понять Государство Платона, но не какое бы то ни было реальное общество в истории. Вероятно, неравенство между людьми имеет значение для сплоченности общества. Однако же, более поучительно другое последствие его воздействия. Если предложенный здесь анализ подтвердится, то неравенство тесно взаимосвязано с тем социальным принуждением («constraint»), которое основано на санкциях и структурах господства. Но ведь это означает, что система стратификации, равно как и санкции, и структуры господства, неизменно стремятся к самоупряднению. Предположение о том, что не столь удачливые – причем не случайно, а на основании позиции, предписанной им в заданной структуре, – группы общества будут стремиться к утверждению системы норм, которая обещает им более уважаемый ранг, так как она им более посильна и желанна, – разумеется, убедительнее и плодотворнее, нежели то, что даже нищие уважением и богатством будут любить свое общество из-за его справедливости. Поскольку «система ценностей» любого общества является всеобщей только в смысле значимости, а в реальности – господствующей; поскольку поэтому система социальной стратификации служит лишь мерилom конформизма в поведении социальных групп, неравенство превращается в стимул, не дающий застыть социальным структурам: неравенство всегда означает выигрыш одних за счет других; поэтому всякая система социальной стратификации несет в себе протест против своих принципов и зародыш самопреодоления. Поскольку же человеческое общество без неравенства в реальности невозможно, а преодоление неравенства тем самым исключено, из имманентного взрывчатого характера любой системы социальной стратификации следует, что идеального, совершенно справедливого и поэтому неисторичного человеческого общества существовать не может.

Здесь уместно еще раз напомнить критическое замечание Канта по поводу Руссо о том, что неравенство – «изобильный источник столь многих

зол, но и всего хорошего». О том, что дети стыдятся своих родителей, о том, что людей постигают страх и бедность, страдания и несчастья, и о многих других последствиях неравенства можно, разумеется, пожалеть. С тем, что исторические силы, а потому, в конечном счете, силы произвола воздвигают непреодолимые кастовые или сословные перегородки между людьми, можно с полным основанием бороться. Но то, что среди людей вообще существует неравенство, есть момент свободы, так как оно гарантирует историчность обществ. Ведь совершенно эгалитарное общество – мысль не только не реалистичная, но и опасная, ибо в Утопии обитает не свобода и не всегда несовершенный набросок, уводящий в неопределенное, а совершенство либо террора, либо абсолютной скуки.

Дарендорф Ральф Тропы из утопии / Пер. с нем. Б.М. Скуратова, В.Л. Близнекова. – М.: Праксис, 2002. – 536. – (Серия "Образ общества").

Т. И. ЗАСЛАВСКАЯ

СРЕДНИЙ КЛАСС В ЗАПАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

На Западе понятие "средний класс" существует не столько как строгий научный термин, сколько как часть массового сознания и массовой культуры, причем даже в рамках социологии оно определяется и используется по-разному. Статьи англоязычных социологических словарей, посвященные среднему классу, сообщают, что этим расплывчатым, многозначным, широко распространенным термином чаще всего обозначается совокупность профессиональных групп, занятых преимущественно умственным трудом, но при этом не имеющих крупных интересов в бизнесе или политике. Упрощенно это позволяет интерпретировать средний класс как элемент социальной структуры, статус которого существенно ниже, чем правящей верхушки общества, но выше, чем рабочего класса. Вместе с тем отмечается, что характер труда - не единственный и даже не главный критерий принадлежности к среднему классу: не меньшую роль играет срединное (не слишком высокое, но и не слишком низкое) место в системе контроля и управления. С этой точки зрения, малоквалифицированный служащий имеет не больше оснований быть отнесенным к среднему классу, чем рабочий. Но не входят в него и представители верхних звеньев бюрократии. Одновременно большое внимание уделяется судьбам "старого среднего класса", отождествляемого, в соответствии с "континентальной" традицией XIX века, с буржуазией. Кроме того, к среднему классу относят новые менеджерские группы, значительно отличающиеся своим реальным влиянием и статусом от основной массы "белых воротничков" и приближающиеся скорей к представителям крупного бизнеса.

Интерес западных социологов к среднему классу связан прежде всего с принципиальными сдвигами в профессиональной структуре изучаемых ими обществ во второй половине XX столетия. Поэтому неудивительно, что расплывчатое понятие "средний класс" в их работах чаще всего наполняется именно "профессиональным" содержанием. Но если отойти от словарных статей и посмотреть на проблему с позиций занимающихся данной проблемой ученых - социологов, экономистов, историков, политологов, то представляется возможным выделить четыре наиболее общепризнанные характеристики средних классов развитых обществ Запада. Они заключаются в следующем:

1. Средний класс - это совокупность социальных групп, занимающих промежуточную позицию между верхами и низами общества и выполняющих в силу этого интерактивную функцию своего рода социального медиатора.

2. Средний класс - это сравнительно высоко обеспеченная часть общества, владеющая собственностью, обеспечивающей личную экономическую независимость, свободу выбора поля деятельности и пр. Высокое качество и современный стиль жизни, удовлетворенность настоящим, уверенность в будущем обуславливают заинтересованность среднего класса в сохранении социального порядка, придавая ему функцию социального стабилизатора общества.

3. Средний класс - это элемент социальной структуры, сосредоточивающий в своих рядах наиболее квалифицированные кадры общества, отличающиеся высоким профессионализмом, значительным деятельностным потенциалом, гражданской активностью. Отсюда высокий социальный престиж среднего класса и выполняемая им функция агента технологического и социально-экономического прогресса.

4. Наконец, в высокоразвитых западных странах средние классы, составляющие большинство населения, выступают основными носителями, с одной стороны, общественных интересов, а с другой, национальной культуры, т.е. свойственных соответствующим обществам ценностей, норм, образцов поведения, стилей жизни и пр. Распространяя образцы собственной культуры на выше- и нижестоящие слои общества, средний класс выступает в роли культурного интегратора общества.

В приведенном описании каждой социальной функции "классических" средних классов поставлена в соответствие одна конкретная качественная характеристика. Но в действительности такое соответствие неоднозначно: реализация большинства социальных функций среднего класса обеспечивается влиянием не одной, а нескольких или даже всех названных характеристик.

Как видим, выполнение функции социального стабилизатора общества предполагает не только удовлетворенность среднего класса существующим социальным порядком, но также его массивность и срединное положение в обществе. А чтобы стать носителем национальной культуры и выразителем общественных интересов, этот класс должен обладать всеми названными выше характеристиками.

Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная концепция. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2003. – 568.

ЗИГМУНТ БАУМАН

О «ПОЛЬЗЕ» БЕДНОСТИ

Экономика, освобожденная от политических сдержек и местных ограничений, быстро глобализирующаяся и превращающаяся в поистине экстерриториальную, порождает, как известно, все углубляющийся разрыв между процветающими и бедствующими слоями населения, как в мире в целом, так и внутри каждого отдельного общества. Известно также, что она исключает все более широкие круги населения, и без того живущего в бедности, страданиях и обездоленности, из той сферы деятельности, которая признается обществом экономически рациональной и социально полезной, превращая в людей, лишних с экономической и социальной точек зрения.

Согласно последнему докладу Программы развития ООН, несмотря на то, что к 1997 году общемировое потребление товаров и услуг выросло вдвое по сравнению с 1975 годом, и в шесть раз - по сравнению с 1950-м, около миллиарда человек «не могут удовлетворить даже самых элементарных своих потребностей». Среди 4,5 миллиарда жителей «развивающихся» стран трое из каждых пяти лишены доступа к основным элементам инфраструктуры: треть не имеет пригодной для питья воды, четвертая часть - сносного жилья, одной пятой не предоставляются санитарные и медицинские услуги. Каждый пятый ребенок учится в общей сложности не более пяти лет; такая же часть детей постоянно недоедает. От семидесяти до восьмидесяти из ста с небольшим «развивающихся» стран имеют сегодня более низкий среднедушевой доход, чем десять и даже тридцать лет назад: 120 миллионов человек живут менее чем на один доллар в день.

В то же время в США, безусловно наиболее богатой стране мира и родине самых богатых людей, 16,5 процента населения живут в бедности; каждый пятый из взрослых мужчин и женщин не умеет ни читать, ни писать, а продолжительность жизни 13 процентов из них не достигает и 60 лет.

С другой стороны, три самых богатых на планете человека имеют личные активы, превышающие совокупный национальный продукт сорока восьми беднейших стран; состояние пятнадцати богатейших людей превосходит валовой продукт всех стран Африки, расположенных к югу от Сахары. Согласно докладу, менее 4 процентов личного богатства 225 наиболее состоятельных людей было бы достаточно, чтобы обеспечить беднякам всего мира элементарные медицинские и образовательные услуги, а также достойное питание.

Последствия поляризации богатства, доходов и жизненных возможностей, растущей внутри и вовне отдельных стран, - этой несомненно

вызывающей наибольшее беспокойство из всех современных тенденций - как прежде, так и сегодня активно исследуются и обсуждаются; между тем практически ничего, если не считать отдельных, фрагментарных и нерешительных мер, не предпринимается для смягчения этих последствий, не говоря уже о преодолении самой тенденции. Непрерывающаяся драма озабоченности и бездействия неоднократно описывалась и описывается, но без видимых результатов. В мои намерения не входит повторять ее еще раз; хотелось бы обратиться к концептуальным рамкам и набору ценностей, с позиций которых эта драма, как правило, излагается; к рамкам и ценностям, препятствующим полному осознанию серьезности положения, а тем самым и поиску возможных альтернатив.

Концептуальные рамки, в которые традиционно заключается обсуждение нарастающей бедности, являются чисто экономическими (в доминирующем сегодня понимании «экономики» как совокупности товарно-денежных транзакций) и сводятся к распределению богатства и доходов, а также к проблеме доступа к оплачиваемому труду. Набор ценностей, формирующий сбор и толкование необходимых данных, чаще всего представляет собой комбинацию жалости, сочувствия и озабоченности судьбой бедняков. Время от времени выражается также озабоченность по поводу устойчивости социального порядка, хотя, говоря по правде, она редко звучит в полный голос, поскольку лишь немногие трезвые умы ощущают в бедственном положении и обездоленности современных бедняков угрозу бунта. Ни концептуальные рамки, ни система ценностей не являются ошибочными сами по себе. Точнее сказать, они ошибаются не в том, на чем они сосредоточились, а в том, что они замалчивают и упускают из вида.

Между тем среди факторов, на которые они не обращают внимания, следует в первую очередь отметить роль «новых бедных» в воспроизводстве и укреплении того глобального порядка, который и является причиной их обездоленности; воссоздание атмосферы страха, делающего несчастной жизнь всех остальных; наконец, степень, в которой поддержание глобального порядка зависит от этих обездоленности и страха. Карл Маркс однажды - во времена только еще формировавшегося, дикого и необузданного капитализма, слишком малограмотного, чтобы расшифровать даже ясные предостережения, - сказал, что рабочие не могут освободиться сами, не освободив и всех остальных членов общества. Сегодня, в эпоху триумфа капитализма, не нуждающегося в предостережениях и даже границах, можно сказать, что все человечество не может освободиться от атмосферы страха и бессилия, если беднейшая его часть не освободится от нужды и бедности.

Короче говоря, наличие большой армии бедняков и широко известная бедственность их положения являются для существующего порядка важнейшим и, возможно, даже решающим, уравновешивающим фактором. Его значение заключается в смягчении восприятия условий жизни потребителя, пребывающего в вечной неопределенности, условий, которые в иной ситуации выглядели бы отталкивающими и отвратительными. Чем безысходней в их восприятии нужда и бесчеловечность существования бедняков, живущих в

других странах или на соседней улице, тем лучше они играют свою роль в той драме, сценария которой они не писали и на которую не проходили проб.

С давних времен людей вынуждают мириться с судьбой, какой бы суровой она ни была, для чего им демонстрируют красочные картинки ада, готового поглотить всякого бунтовщика. Подобно атрибутам того света, предназначенным для этих целей, преисподняя перенесена сегодня на землю, прочно укоренена в мирскую жизнь и представлена в виде, готовом для мгновенного употребления. Нынешние бедняки - это коллективный «другой» перепуганных потребителей; они теперь олицетворяют ад, причем гораздо более осязаемо и убедительно, чем это показано в книге Сартра «За закрытой дверью». Лишь в одном жизненно важном аспекте бедняки представляют то, чем хотел бы стать (хотя и не отважится попытаться) весь обеспеченный остальной мир: они свободны от неопределенности. Но определенность, которую они получили взамен, приходит либо в облике пораженных болезнями, переполненных преступлениями и отравленных наркотиками грязных улиц (если им выпало жить в Вашингтоне), либо в форме медленного умирания от недоедания (если они прозябают в Судане). Урок, который человек извлекает, слушая об этих несчастных, состоит в том, что определенности следует опасаться даже более определенно, нежели отвратительной неопределенности, а наказание за бунт против неудобств повседневной неопределенности бывает быстрым и беспощадным.

Один только вид бедных держит обеспеченных в состоянии страха и покорности. Тем самым он увековечивает их жизнь в условиях неопределенности. Он подсказывает им, что непреодолимое нарастание «гибкости» мира и рискованности своего положения следует либо терпеть, либо принимать за данное и переносить с покорностью. Этот вид ограничивает их воображение и связывает руки. Они не отваживаются вообразить иной мир и становятся слишком осмотрительными, чтобы попытаться изменить этот. И пока такое положение сохраняется, шансы [на возрождение] автономного самоучреждающегося общества, на установление демократической республики, основанной на принципах гражданства, остаются, мягко говоря, ничтожными и туманными.

Все это представляет собой вполне достаточную причину для того, чтобы политическая экономия неопределенности рассматривала «проблему бедности» в качестве неотъемлемого своего элемента, но либо в терминах законности и правопорядка, либо как объект для гуманитарной заботы - и никак не иначе и не более чем так. При первом подходе общенародное осуждение бедных - скорее извращенцев, нежели обездоленных - почти достигает той степени, когда сжигается чучело народного страха. Использование второго подхода позволяет безопасно перенаправить недовольство жестокостью и бездушием судьбы в сторону безвредных проявлений благотворительности, и позорное безразличие может полностью скрыться за единичными вспышками людской солидарности.

И так день за днем бедняки на мировой периферии и в собственной стране делают свое незаметное дело, подрывая уверенность и решимость всех

тех, кто еще имеет работу и получает регулярные доходы. В связи между нищетой бедняков и капитуляцией обеспеченных нет ничего иррационального. Зрелище нужды служит своевременным напоминанием всем, кто способен к трезвым размышлениям, что даже благополучная жизнь ненадежна, что сегодняшний успех не служит гарантией от завтрашнего краха. Возникает обоснованное ощущение возрастающей перенаселенности мира; кажется, что единственным выбором, открывающимся перед национальными правительствами, в лучшем случае становится выбор между распространенной бедностью при высокой безработице, как это имеет место в большинстве европейских стран, и распространенной бедностью при несколько меньшей безработице, как в Соединенных Штатах. Научные исследования подтверждают это ощущение: оплачиваемой работы становится все меньше. В наше время безработица выглядит более зловещей, чем когда бы то ни было прежде. Она уже не кажется продуктом циклической депрессии; временным нарастанием страданий, которые будут растворены и смыты следующим экономическим подъемом. Обещания политиков урегулировать проблему «возвращения людей на работу» невольно напоминают приписываемый Барри Голдуотеру ответ на вопрос о ядерной угрозе, когда он сказал: «Давайте же составим повозки в круг...» Как утверждает Жан-Поль Марешаль, в эру «масштабной индустриализации» потребность в сооружении гигантской промышленной инфраструктуры и производстве громоздкой техники предполагала создание большего числа новых рабочих мест, чем то, которое ликвидировалось в результате исчезновения традиционных ремесел и профессий; однако сегодня ситуация изменилась. До 70-х годов соотношение между ростом производительности и уровнем безработицы оставалось удовлетворительным; с тех пор оно год от года становится все более удручающим. Переломный рубеж, по-видимому, был перейден в 70-е годы. Последние данные красноречиво говорят о причинах, заставляющих почувствовать себя вне безопасности даже тех, кто занят в наиболее регулярных видах деятельности.

Сокращение масштабов занятости не является, однако, единственным основанием для подобного чувства. Те рабочие места, которые еще сохранились, не защищены от непредсказуемых вызовов будущего; можно сказать, что в наши дни работа становится для человека ежедневной подготовкой к тому, чтобы оказаться лишним. «Политическая экономия неуверенности» позаботилась о том, чтобы традиционные рубежи обороны были демонтированы, а войска, занимавшие эти позиции, - демобилизованы. Труд стал «гибким», а на повседневном языке это означает, что работодателю легче стало увольнять работников в любой момент и без компенсации, солидарные же - и потому эффективные - действия профсоюзов по защите несправедливо уволенных все больше выглядят как несбыточная мечта. «Гибкость» предполагает также отрицание безопасности: все чаще вакансии оказываются временными или предполагающими неполный рабочий день, большинство трудовых контрактов «продлевается» или «возобновляется» через определенные промежутки времени, достаточно короткие для того, чтобы

права на относительную стабильность не обрели достаточной силы. «Гибкость» означает также, что старая жизненная стратегия, в русле которой силы и время вкладывались в повышение квалификации, в достижение статуса специалиста, позволяющего надеяться на постоянное получение с этого процентов, становится все более бессмысленной, и, таким образом, теперь исчез самый распространенный в свое время вариант разумного выбора людей, желающих в жизни постоянства.

Обеспеченность средствами существования, та твердь, на которой жизненные проекты и чаяния неизбежно должны базироваться, чтобы быть осуществимыми - чтобы обретать смысл и вызывать к жизни энергию, необходимую если не для исполнения этих проектов, то хотя бы для попытки что-то делать ради этого, - стала шаткой, неустойчивой и ненадежной. Сторонники распространения социальных программ только на работающих гражданах не могут взять в толк, что функция этих программ не сводится просто к повседневному созданию условий, поддерживающих жизнь работников и их иждивенцев; не менее важно, что тем самым обеспечивается и возможность безопасного существования, без которой невозможны ни свобода, ни воля к самоутверждению, являющиеся отправным пунктом любой личной независимости. Труд в его нынешнем виде не предлагает такой безопасности, даже если он на постоянной основе приносит средства, покрывающие издержки выживания. Путь от социальных пособий к работе ведет от безопасности к неуверенности, или же от меньшей неуверенности к большей. Эта дорога, оставаясь такой, как она есть, неизбежно требует от все более широкого круга людей сочетать ее с принципами, диктуемыми политической экономией неуверенности.

Политическая экономия неопределенности - это набор «правил, отменяющих всякие правила», навязанный местным политическим властям мощью экстратерриториальных финансов, капитала и торговли. Ее принципы нашли свое полное воплощение в печально знаменитом Многостороннем соглашении об инвестициях, в навязанных им ограничениях возможности правительств сдерживать свободу передвижения капитала, равно как и в самой обстановке таинственности, в которой велись переговоры по заключению этого соглашения, в той секретности, с которой оно сохранялось с обоюдного согласия политических и экономических властей, - до тех пор, пока не было раскрыто и предано гласности в ходе журналистского расследования. Принципы этого соглашения просты, ибо они в основном негативны и предполагают не установление нового порядка, а лишь демонтаж прежнего; они предназначены для того, чтобы помешать правительствам заменить упраздненные правила регулирования новыми. Политическая экономия неопределенности сводится, по существу, к отмене политически установленных и гарантированных правил и распоряжений, к разоружению оборонительных институтов и объединений, стремящихся помешать тому, чтобы капитал и финансы в полном смысле слова оказались не знающими границ. Конечным результатом обеих мер является состояние перманентной и повсеместной неопределенности, призванной заменить действие

принуждающих законов и предписывающих установлений, обеспечить подчинение (или, скорее, гарантии непротивления) новой, на этот раз надгосударственной и глобальной, власти.

Политическая экономия неопределенности выгодна для бизнеса. Она делает традиционные, громоздкие, неуклюжие и дорогостоящие дисциплинирующие методы излишними, заменяя их не столько самоконтролем обученных, натасканных и дисциплинированных субъектов, сколько неспособностью разобщенных и глубоко неуверенных в себе личностей действовать скоординированно; этот вид бессилия усугубляется неверием в то, что хоть какое-то действие может оказаться эффективным, что частные жалобы могут вылиться в коллективные задачи, а то и в совместные проекты изменения порядка вещей. Что же касается пассивного подчинения правилам игры, либо игре без правил, то всеобщая неопределенность с нижних до верхних ступеней социальной лестницы оказывается скромной и дешевой, но весьма эффективной заменой нормативного регулирования, цензуры и надзора. За исключением тех маргинальных групп, которые исключены из общества и оказались для него до такой степени лишними, что политике неопределенности нет до них никакого дела, системы надзора никому больше не нужны - ни в их старой и громоздкой форме, ни в современной, технологичной и легковесной версии. В стремлении добиться такого поведения людей, какое необходимо для продолжения функционирования глобальной экономики, положиться можно лишь на свободу, причем в том ее виде, что проявляется на потребительском рынке и реализуется в условиях поддерживаемой рыночными силами ненадежности.

Силы, обладающие реальным влиянием, сегодня в основном экстерриториальны, а арена действий политиков остается локальной, и поэтому последние не могут достичь тех высот, где устанавливаются пределы суверенитетов и принимаются, запланированно или по недосмотру, решения, определяющие предпосылки и рамки политических акций.

Это отделение власти от политики нередко обозначается понятием «глобализация». Как я уже отмечал, сам этот термин утвердился в современных дискуссиях на том месте, которое на протяжении эпохи модернити занимало понятие «универсализация», причем случилось это главным образом потому, что «глобализация» акцентирует внимание на том, что с нами происходит, в то время как «универсализация» - на том, что мы должны, или что нам следует, сделать. «Глобализация» возвещает об обретении некоей естественности теми путями, по которым развиваются события в современном мире: сегодня они, по существу, беспредельны и бесконтрольны, носят квазистихийный, незапланированный, непредвиденный, спонтанный и случайный характер. Подобно тому, как пользователь всемирной сети может лишь выбрать что-то из множества предлагаемых вариантов и едва ли способен повлиять на правила, по которым действует Интернет, или расширить диапазон выбора в рамках этих правил, так и отдельные национальные государства, попавшие в глобализированную среду, вынуждены играть по ее правилам и идти на риск

сурового возмездия или, в лучшем случае, сталкиваться с полной неэффективностью своих действий при попытке их игнорировать.

Коль скоро силы, управляющие нарастающей «гибкостью» жизненных ситуаций, и, следовательно, неопределенность, все более глубоко пронизывающая все человеческое бытие, стали de facto глобальными (или, по меньшей мере, надгосударственными), исходным условием эффективных действий, направленных на ослабление первых двух элементов триады - неуверенности, неопределенности и небезопасности, - является поднятие политики до уровня, столь же интернационального, как и тот, на котором действуют основные силы сегодняшнего дня. Политика не должна отставать от сил, позволяющих себе свободно странствовать по политически неконтролируемому пространству, и с этой целью она должна создать инструменты, позволяющие ей достигать тех пространств, в которых «перетекают» (пользуясь термином Мануэля Кастельса) эти силы. Требуется не менее чем международный республиканский институт, сформированный в масштабах, соразмерных с масштабами действия транснациональных сил. Либо, как недавно указал Ален Греш в статье, посвященной 150-летию «Манифеста Коммунистической партии», нам нужен «новый интернационализм».

Однако у нас очень мало свидетельств того, что сегодня действительно возникает нечто, подобное этому новому духу интернационализма. Вспышки межнациональной солидарности печально напоминают карнавалы, спорадические и недолговечные. Средства информации придумали исчерпывающий термин - «усталость помощи», обозначающий устойчивую тенденцию к ослаблению международной солидарности и исчезновению ее проявлений буквально за несколько дней, даже не недель. Как отмечает Греш, Босния не стала повторением в конце двадцатого века гражданской войны в Испании; сегодня, на фоне войны на истощение, продолжающейся в Алжире, а также десятков других кровопролитных гражданских войн или организуемых правительствами истреблений чужаков, нежелательных племенных, этнических и религиозных меньшинств, в конференц-залах произносятся лишь полуискренние слова, на основе которых фактически уже не предпринимается никаких действий. Существуют благородные исключения, вроде «Международной амнистии» или «Гринписа», но в целом редкие идеалистические усилия пробить стену равнодушия в лучшем случае вызывают символическую или небрежную поддержку со стороны некоторых правительств (но скрытую или явную враждебность со стороны многих других) и практически не порождают никаких народных движений в пользу позиции, которую они бескорыстно выдвигают и отстаивают. Активисты организации «Врачи без границ», например, горько сетовали на то, что их инициатива, изображаемая средствами информации как «гуманитарная акция», цинично использовалась властями предержащими для оправдания собственной бездеятельности, как это было в Боснии или Руанде, и для очистки собственной совести перед лицом своих подданных.

Необходимость в глобальных структурах, достаточно сильных, чтобы противостоять концентрированной мощи глобальных рынков и финансового капитала, не вызывает сомнений. Спорный вопрос состоит, однако, в том, способны ли существующие ныне политические институты - национальные правительства и связанные с государством политические партии - либо преобразоваться в подобные структуры, либо создать их в ходе переговоров. Спорность этого вопроса проистекает из того, что правительства и партии поглощены по необходимости проблемами своих стран и вынуждены [по самой своей природе] оставаться локальными. Возможно, объединения, не связанные подобными ограничениями, способны обрести характер, выходящий за рамки узких границ, и сфокусировать свои действия на том, что наиболее болезненно воздействует на большинство людей, имеют лучшие перспективы. Но и у них мало шансов на успех в условиях отсутствия представлений об «общем благе», коренящемся в коллективно гарантированной безопасности потенциальных субъектов политических действий.

Но при всем прочем, как сказал в свое время Виктор Гюго, «утопия - это реальность завтрашнего дня».

Зигмунт Бауман Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2005. – 390 с.

ЖАН БОДРИЙЯР

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА И БЕДНОСТЬ

Если рассматривать объективно, вне торжества роста и изобилия, проблему индустриальной системы в целом, то видно, что все возможные позиции резюмируются в двух основных точках зрения,

1. Точка зрения Гэлбрейта (и многих других), будучи идеалистически-магической, состоит в том, чтобы признать во внешних проявлениях системы все негативные феномены: дисфункции, вред разного рода, бедность, рассматривая их как действительно достойные сожаления, но второстепенные, остаточные и поддающиеся в конечном счете исправлению, и тем самым сохранить чарующую орбиту роста.

2. Точка зрения, согласно которой система живет структурным неравновесием и нищетой, а ее логика не конъюнктурно, а структурно в целом амбивалентна: система поддерживается, только производя богатство и бедность, производя столько же неудовлетворения, сколько и удовлетворения, столько же вреда, сколько и прогресса. Ее единственная логика заключается в самосохранении, и в этом смысле ее стратегия состоит в удержании человеческого общества в неустойчивом положении, в постоянном дефиците. Известно, что система традиционно и мощно помогает себе войной, чтобы

выжить и восстановиться. Сегодня механизмы и функции войны интегрированы в экономическую систему и в механизмы повседневной жизни.

Если принять этот структурный парадокс роста, из которого вытекают противоречия и парадоксы изобилия, то наивным и мистифицирующим покажется объяснение существования бедных, 20% «непривилегированных» и «неучтенных», в логике социальной недоразвитости. Эта логика не имеет отношения к реальным личностям, реальным местам, реальным группам. Она, следовательно, не может быть устранена посредством миллиардов долларов, которыми осыпаются низшие классы, посредством масштабного перераспределения с целью «изгнать бедность» и уравнивать классы (рекламируя это как «новую границу», социальный идеал, заставляющий плакать толпы). Нужно признать, что *great-societistes* порой сами верят этому, их растерянность перед лицом поражения их «ожесточенного и великодушного» усилия делается от этого только более комичной.

Если бедность, отрицательные явления неистребимы, то это потому, что они порождаются совсем в другом месте, а не в бедных кварталах, трущобах или бидонвиях (жилищах бедняков); они зарождаются в социоэкономической структуре. Однако именно здесь находится то, что нужно прятать, что не должно быть высказано; чтобы замаскировать это, нельзя жалеть миллиардов долларов (подобно тому как большие медицинские и фармацевтические издержки могут быть необходимы, чтобы не думать, что зло находится в другом месте, например в психике, - это хорошо известный случай непризнания). Общество, как и индивид, также может саморазрушаться, лишь бы ускользнуть от анализа. Правда, здесь анализ был бы смертелен для самой системы. Поэтому оказывается возможным пожертвовать бесполезные миллиарды для борьбы против того, что является только видимым фантомом бедности, если этим спасают сам миф роста. Нужно идти еще дальше и признать, что реальная бедность есть миф, воодушевляющий миф роста, который якобы жестко направлен против бедности и тем не менее восстанавливает ее соответственно своим тайным целям.

Сказанное не означает, что индустриальная или капиталистическим система являются осознанно кровавыми и ужасными, и потому они постоянно восстанавливают бедность или включают в гонку вооружений. Морализирующий анализ (которого не избегают ни либералы, ни марксисты) всегда является ошибкой. Если бы система могла уравновеситься или выжить на иных основах, чем безработица, слаборазвитость и военные расходы, она бы это сделала. Она это делает при случае; когда она может подтвердить свою силу с помощью благоприятных социальных результатов благодаря «изобилию», она этого не упускает. Она только не настроена *a priori* против социальных «перепадов» прогресса. В одно и то же время она безразлично ставит своей целью и благосостояние граждан, и ядерные силы: в сущности они для нее равны именно по своему содержанию, тогда как ее главная цель лежит в другой плоскости.

Просто на стратегическом уровне оказывается, что, например, военные расходы более надежны, более контролируемы, более действенны для выживания и конечной цели всей системы, чем воспитание, - автомобиль более, чем

больница, цветной телевизор более, чем площадка для игр, и т. д. Но эта негативная избирательность касается не только коллективных услуг как таковых - все обстоит более серьезно: система признает только условия собственного выживания, она игнорирует индивидуальные и коллективные цели. Это должно нас предостеречь от некоторых иллюзий (типично социал-реформистских): от веры в возможность изменить систему, изменив ее содержание (перевести бюджет с военных расходов на воспитание и т. д.). Парадокс, впрочем, состоит в том, что все эти социальные требования медленно, но верно приняты и реализованы самой системой, они ускользают, таким образом, от тех, кто сделал из них политическую платформу. Потребление, информация, коммуникация, культура, изобилие - все это сегодня поставлено на свое место, открыто и организовано самой системой в качестве новых производительных сил в целях ее большего процветания. Она также преобразовалась (относительно) из насильственной структуры в ненасильственную, она заменила изобилием и потреблением эксплуатацию и войну. Но никто ей за это не мог бы быть благодарен, так как она в результате этого не меняется и подчиняется при этом только своим собственным законам.

Бодрийар Жан Общество потребления. Его мифы и структуры / Пер. с фр., послесл. и примеч. Е.А. Самарская. – М.: Культурная революция; Республика, 2006. – 269 с.

ПИТИРИМ СОРОКИН

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ, ЕЕ ФОРМЫ И ФЛУКТУАЦИИ

1 Концепция социальной мобильности, ее формы

Под социальной мобильностью понимается любой переход индивида или социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано или модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в другую. Существует два основных типа социальной мобильности: горизонтальная и вертикальная. Под горизонтальной социальной мобильностью, или перемещением, подразумевается переход индивида или социального объекта из одной социальной группы в другую, расположенную на одном и том же уровне. Перемещение некоего индивида из баптистской в методистскую религиозную группу, из одного гражданства в другое, из одной семьи (как мужа, так и жены) в другую при разводе или при повторном браке, с одной фабрики на другую, при сохранении при этом своего профессионального статуса, – все это примеры горизонтальной социальной мобильности. Ими же являются перемещения социальных объектов (радио, автомобиля, моды, идеи коммунизма, теории Дарвина) в рамках одного социального пласта, подобно перемещению из Айовы до Калифорнии или с некоего места до любого другого. Во всех этих случаях "перемещение" может происходить без каких-либо заметных изменений социального положения индивида или социального

объекта в вертикальном направлении. Под вертикальной социальной мобильностью подразумеваются те отношения, которые возникают при перемещении индивида или социального объекта из одного социального пласта в другой. В зависимости от направления перемещения существует два типа вертикальной мобильности: восходящая и нисходящая, то есть социальный подъем и социальный спуск. В соответствии с природой стратификации есть нисходящие и восходящие течения экономической, политической и профессиональной мобильности, не говоря уж о других менее важных типах. Восходящие течения существуют в двух основных формах: проникновение индивида из нижнего пласта в существующий более высокий пласт или создание такими индивидами новой группы и проникновение всей группы в более высокий пласт на уровень с уже существующими группами этого пласта. Соответственно и нисходящие течения также имеют две формы: первая заключается в падении индивида с более высокой социальной позиции на более низкую, не разрушая при этом исходной группы, к которой он ранее принадлежал; другая форма проявляется в деградации социальной группы в целом, в понижении ее ранга на фоне других групп или в разрушении ее социального единства. В первом случае "падение" напоминает нам человека, упавшего с корабля, во втором – погружение в воду самого судна со всеми пассажирами на борту или крушение корабля, когда он разбивается вдребезги.

Случаи индивидуального проникновения в более высокие пласты или падения с высокого социального уровня на низкий привычны и понятны. Они не нуждаются в объяснении. Вторую форму социального восхождения, опускания, подъема и падения групп следует рассмотреть подробнее.

Следующие исторические примеры могут служить в качестве иллюстраций. Историки кастового общества Индии сообщают нам, что каста брахманов не всегда находилась в позиции неоспоримого превосходства, которую она занимает последние два тысячелетия. В далеком прошлом касты воинов, правителей и кшатриев не располагались ниже брахманов, а, как оказывается, они стали высшей кастой только после долгой борьбы. Если эта гипотеза верна, то продвижение ранга касты брахманов через все другие этажи является примером второго типа социального восхождения. Возвысилась вся группа в целом, и все ее члены *in corpore* (лат. в полном составе) заняли то же положение. До принятия христианства Константином Великим статусы христианского епископа или христианского служителя культа были невысокими среди других социальных рангов Римской империи. В последующие несколько веков социальная позиция и ранг христианской церкви в целом поднялись. Вследствие этого возвышения представители духовенства и, особенно, высшие церковные сановники также поднялись до самых высоких страт средневекового общества. И наоборот, падение авторитета христианской церкви в последние два столетия привело к относительному понижению социальных рангов высшего духовенства среди прочих рангов современного общества. Престиж папы или кардинала еще высок, но он, несомненно, ниже, чем был в средние века. Другой пример – группа легистов во Франции. Появившись в XII веке, эта группа быстро росла по своему социальному

значению и положению. Очень скоро в форме судейской аристократии они вышли на позицию дворянства. В XVII и особенно XVIII веке группа в целом начала "опускаться" и наконец вовсе исчезла в пожарище Великой французской революции. То же происходило и в процессе восхождения аграрной буржуазии в средние века привилегированного Шестого корпуса, купеческих гильдий, аристократии многих королевских дворов. Занимать высокое положение при дворе Романовых, Габсбургов или Гогенцоллернов до революции означало иметь самый высокий социальный ранг. "Падение" династий привело к "социальному падению" связанных с ними рангов. Большевики в России до революции не имели какого-либо особо признанного высокого положения. Во время революции эта группа преодолела огромную социальную дистанцию и заняла самое высокое положение в русском обществе. В результате все ее члены en masse (в целом) были подняты до статуса, занимаемого ранее царской аристократией. Подобные явления наблюдаются и в ракурсе чистой экономической стратификации. Так, до наступления эры "нефти" или "автомобиля" быть известным промышленником в этих областях не означало быть промышленным и финансовым магнатом. Широкое распространение отраслей сделало их самыми важными промышленными сферами. Соответственно, быть ведущим промышленником-нефтяником или автомобилистом – значит быть одним из самых влиятельных лидеров промышленности и финансов. Все эти примеры иллюстрируют вторую коллективную форму восходящих и нисходящих течений в социальной мобильности. [...]

2 Интенсивность (или скорость) и всеобщность вертикальной социальной мобильности

С количественной точки зрения следует разграничить интенсивность и всеобщность вертикальной мобильности. Под интенсивностью понимается вертикальная социальная дистанция или количество слоев – экономических, профессиональных или политических, – проходимых индивидом в его восходящем или нисходящем движении за определенный период времени. Если, например, некий индивид за год поднимается с позиции человека с годовым доходом в 500 долларов до позиции с доходом в 50 тысяч долларов, а другой за тот же самый период с той же исходной позиции поднимается до уровня в 1000 долларов, то в первом случае интенсивность экономического подъема будет в 50 раз больше, чем во втором. Для соответствующего изменения интенсивность вертикальной мобильности может быть измерена и в области политической и профессиональной стратификации.

Под всеобщностью вертикальной мобильности подразумевается число индивидов, которые изменили свое социальное положение в вертикальном направлении за определенный промежуток времени. Абсолютное число таких индивидов дает абсолютную всеобщность вертикальной мобильности в структуре данного населения страны; пропорция таких индивидов ко всему населению дает относительную всеобщность вертикальной мобильности.

Наконец, соединив интенсивность и относительную всеобщность вертикальной мобильности в определенной социальной сфере (скажем, в экономике), можно получить совокупный показатель вертикальной экономической мобильности данного общества. Сравнивая, таким образом, одно общество с другим или одно и то же общество в разные периоды своего развития, можно обнаружить, в каком из них или в какой период совокупная мобильность выше. То же можно сказать и о совокупном показателе политической и профессиональной вертикальной мобильности.

3 Подвижные и неподвижные формы стратифицированных обществ

На основании вышесказанного легко заметить, что социальная стратификация одной и той же высоты, а также одного и того же профиля может иметь разную внутреннюю структуру, вызванную различиями в интенсивности и всеобщности горизонтальной и вертикальной мобильности. Теоретически может существовать стратифицированное общество, в котором вертикальная социальная мобильность равна нулю. Это значит, что внутри такого общества отсутствуют восхождения и нисхождения, не существует никакого перемещения членов этого общества, каждый индивид навсегда прикреплен к тому социальному слою, в котором он рожден. В таком обществе оболочки, отделяющие один слой от другого, абсолютно непроницаемы, в них нет никаких "отверстий" и нет никаких ступенек, сквозь которые и по которым жильцы различных слоев могли бы переходить с одного этажа на другой. Такой тип стратификации можно определить как абсолютно закрытый, устойчивый, непроницаемый или как неподвижный. Теоретически противоположный тип внутренней структуры стратификации одной и той же высоты, а также одного и того же профиля – тот, в котором вертикальная мобильность чрезвычайно интенсивна и носит всеобщий характер. Здесь перепонка между слоями очень тонкая, с большими отверстиями для перехода с одного этажа на другой. Поэтому, хотя социальное здание также стратифицировано, как и социальное здание неподвижного типа, жильцы различных слоев постоянно меняются; они не остаются подолгу на одном и том же "социальном этаже", а при помощи огромнейших лестниц они *en masse* передвигаются "вверх и вниз". Такой тип социальной стратификации может быть определен как открытый, пластичный, проницаемый или мобильный. Между этими основными типами может существовать множество средних или промежуточных типов.

Выделив типы вертикальной мобильности и социальной стратификации, обратимся к анализу различных обществ и временным этапам их развития с точки зрения вертикальной мобильности и проницаемости их слоев.

4 Демократия и вертикальная социальная мобильность

Одна из самых ярких характеристик так называемых демократических обществ – большая интенсивность вертикальной мобильности по сравнению с недемократическими обществами. В демократических структурах социальное положение индивида, по крайней мере теоретически, не определяется происхождением; все они открыты каждому, кто хочет занять их; в них нет

юридических и религиозных препятствий к подъему или спуску по социальной лестнице. А это все лишь способствует "большей вертикальной мобильности" ("капиллярности" – по выражению Дюмона) в таких обществах. Большая социальная мобильность, вероятно, одна из причин веры в то, что социальное здание демократических обществ не стратифицировано или менее стратифицировано, чем здание автократических обществ. Ранее мы видели, что это мнение не подтверждается фактами. Такая вера суть своего рода помрачение ума, случившееся с людьми по многим причинам, в том числе и оттого, что социальный слой в демократических группах более открыт, в нем больше отверстий и "лифтов" для спуска и подъема. Естественно, все это производит впечатление отсутствия слоев, хотя они конечно же существуют.

Выделяя значительную мобильность демократических обществ, следует сделать оговорку, что не всегда и не во всех "демократических" обществах вертикальная мобильность больше, чем в "автократических". В некоторых недемократических обществах мобильность была большей, чем в демократических. Это не всегда заметно, так как "каналы" и методы подъема и спуска в таких обществах не столь явные, как, скажем, "выборы" в демократических обществах, да и еще существенно от них отличаются. В то время как "выборы" суть заметные показатели мобильности, другие выходы и каналы часто упускаются из виду. Поэтому создается подчас ложное впечатление устойчивого и неподвижного характера всех "невыборных" обществ. В дальнейшем будет показано, что этот имидж далек от реальности.

5 Общие принципы вертикальной мобильности

Первое утверждение. Вряд ли когда-либо существовали общества, социальные слои которых были абсолютно закрытыми или в которых отсутствовала бы вертикальная мобильность в ее трех основных ипостасях – экономической, политической и профессиональной. То, что внутренние слои первобытных племен были вполне проницаемыми, следует из того факта, что внутри многих из них наследование высокого положения отсутствует как таковое; вождей часто избирали, а сами структуры были далеко не постоянными, и личные качества индивида играли решающую роль при подъеме или спуске по социальной лестнице. Ближе всех приближается к абсолютно неподвижному обществу, то есть безо всякой вертикальной мобильности, так называемое кастовое общество. Его наиболее ярко выраженный тип существует в Индии. Здесь воистину вертикальная мобильность очень слаба. [...]

И в последние десятилетия мы наблюдаем ту же картину. Слабое течение вертикальной мобильности проявляется по-разному: либо путем зачисления в одну из высокопоставленных каст тех, кто разбогател и смог получить санкцию на то от брахманов, либо путем создания новых каст, либо изменяя свой род занятий, либо путем межкастовых браков, либо путем миграции и т.д. Лишь недавно большую роль стало играть образование, религиозные и политические факторы. Очевидно, поэтому, несмотря на тот факт, что кастовое общество

Индии, вероятно, самый яркий пример непроницаемого и наиболее устойчивого стратифицированного организма, тем не менее даже внутри него существовали и существуют слабые и медленные течения вертикальной мобильности. Если так обстоит дело с кастовым обществом Индии, то ясно, что и в других социальных организмах в той или иной степени должна присутствовать вертикальная социальная мобильность. Это утверждение подтверждается фактами из истории Греции, Рима, Египта, Китая, средневековой Европы, где вертикальная социальная мобильность была еще более интенсивной, чем в кастовом обществе Индии. Абсолютно неподвижное общество есть миф, никогда не реализованный в истории. Второе утверждение. Никогда не существовало общества, в котором вертикальная социальная мобильность была бы абсолютно свободной, а переход из одного социального слоя в другой осуществлялся бы безо всякого сопротивления. Это утверждение логично вытекает из приведенной выше посылки, что любое организованное общество суть стратифицированный организм. Если бы мобильность была бы абсолютно свободной, то в обществе, которое получилось бы в результате, не было бы социальных страт. Оно напоминало бы здание, в котором не было бы потолка-пола, отделяющего один этаж от другого. Но все общества стратифицированы. Это значит, что внутри них функционирует своего рода "сито", просеивающее индивидов, позволяющее некоторым подниматься наверх, оставляя других на нижних слоях, и наоборот.

Только в периоды анархий и большого беспорядка, когда вся социальная структура нарушена, а социальные слои в значительной степени дезинтегрированы, мы имеем нечто, напоминающее нам хаотическую и дезорганизованную вертикальную мобильность *en masse*. Но даже в такие периоды существуют препятствия для ничем не ограниченной социальной мобильности – частично в форме быстро развивающегося "нового сита", частично в форме остатков "сита" старого режима. Спустя короткий промежуток времени если такое общество не погибнет в пожарище собственной анархии, то новое "сито" быстро займет место старого и, между прочим, станет таким же с трудом проницаемым, как и ему предшествующее. Что понимается под "ситом", будет объяснено позже. Здесь достаточно сказать, что оно существует и действует в той или иной форме в любом обществе. Утверждение это настолько очевидно, а в дальнейшем мы подкрепим его и фактами, что сейчас нет необходимости на этом задерживаться.

Третье утверждение. Интенсивность и всеобщность вертикальной социальной мобильности изменяется от общества к обществу, то есть в пространстве. Это утверждение представляется столь же очевидным. Дабы убедиться в этом, достаточно сравнить индийское кастовое общество и нынешнее американское. Если взять высшие ранги в политической, экономическом и профессиональном конусах в обоих обществах, то будет видно, что все они в Индии определены фактом рождения и есть только несколько "выскочек", которые достигли высокого положения, поднимаясь с самых низших слоев. Между тем как в США среди заправил промышленности и финансов 38,8% в прошлом и 19,6% в настоящем поколении начинали

бедняками; 31,5% бывших и 27,7% ныне живущих мультимиллионеров начинали свою карьеру, будучи людьми среднего достатка. Среди 29 президентов США 14 (то есть 48,3%) вышли из бедных или средних семей. Разница во всеобщности вертикальной мобильности обеих стран та же самая. В Индии подавляющее большинство занятого населения наследует и сохраняет в течение жизни профессиональный статус своих отцов; в США большинство населения меняет свою профессию по крайней мере один раз в течение жизни. Исследование профессиональной мобильности доктора Л. Даблина показало, что среди держателей страхового полиса государственной страховой компании 58,5% изменили свои профессии с момента выдачи полиса. Мои собственные наблюдения подобных переходов в профессиональных ориентациях от отца к сыну среди разных групп американского населения свидетельствуют о том, что у современного поколения смена профессии стала более частой. То же самое можно сказать и о всеобщности вертикальной экономической мобильности. [...]

Четвертое утверждение. Интенсивность и всеобщность вертикальной мобильности – экономической, политической и профессиональной – колеблются в рамках одного и того же общества в разные периоды его истории. В ходе истории любой страны или социальной группы существуют периоды, когда вертикальная мобильность увеличивается как количественно, так и качественно, однако существуют и периоды, когда она чувствительно уменьшается.

Хотя точного статистического материала еще мало и он подчас сильно фрагментарен, тем не менее мне кажется, что таких данных вместе с другими историческими свидетельствами достаточно для подтверждения этого утверждения.

А) Первый ряд подтверждений дают крупные социальные потрясения и революции, которые подчас единой, но все же происходили в истории каждого общества. В периоды таких потрясений вертикальная социальная мобильность по своей интенсивности и всеобщности, естественно, намного выше, чем в периоды порядка и мира. Но так как в истории всех стран рано или поздно наступали периоды социальных потрясений, то и вертикальная мобильность в них колебалась.

За один или два года русской революции были уничтожены почти все представители самых богатых слоев; почти вся политическая аристократия была низвергнута на низшую ступень; большая часть хозяев, предпринимателей и почти весь ранг высших специалистов-профессионалов были низложены. С другой стороны, в течение пяти-шести лет большинство людей, которые до революции были "ничем", стали "всеми" и поднялись на вершину политической, экономической и профессиональной "аристократии". Революция напоминает мне крупное землетрясение, которое опрокидывает вверх дном все слои на территории геологического катаклизма. Никогда в нормальные периоды русское общество не знало столь сильной вертикальной мобильности.

Картина, которую дают Великая французская революция 1789 года, английская революция XVII века, крупные средневековые изменения или

социальные революции в Древней Греции, Риме, Египте или в любой другой стране, подобна той, которую дает русская революция.

То, что было сказано о революциях, можно сказать и о бедствиях в форме иностранной интервенции, великих войнах и завоеваниях.

"Норманнское завоевание почти полностью вытеснило аристократию англо-саксонской расы, поместив "искателей приключений", сопровождавших Вильгельма Завоевателя, на место тех дворян, которые до этого управляли крестьянством... Знать старой монархии была вынуждена "уйти" в отставку".

Эта цитата приведена для того, чтобы показать, что любое военное вмешательство практически всегда приводит – прямо или косвенно – к подобным результатам. Завоевание арийцами коренного населения Древней Индии, дорийцами – автохтонного населения Греции, спартанцами – Мессении, римлянами – "своих земель" Италии, испанцами – коренного населения Америки и т.д. вызвали подобное ослабление прежде высоких социальных страт и создание новой знати из людей, которые раньше находились гораздо ниже. Даже если война не заканчивается завоеванием или покорением, она тем не менее приводит к тем же последствиям из-за значительных людских потерь в высших социальных эшелонах, особенно среди политической и военной аристократии, а также из-за финансового банкротства богатых людей или обогащения искусных мошенников-нуворишей. "Вакуум" в знатных слоях общества, вызванный потерями, приходится заполнять, и это приводит к более интенсивному продвижению новых людей к высоким позициям.

По этим же причинам происходят и более частые профессиональные перемещения, которые приводят к большей профессиональной мобильности, чем в обычное время. Факты, которые мы привели выше, указывают на существование ритмов статичных и динамичных периодов в вертикальной мобильности внутри одного и того общества в разные периоды истории.

Б) Второй ряд подтверждений дает реальная история многих наций.

Историки Индии отмечают, что устойчивая кастовая система не была известна в Индии на ранних ступенях ее истории. "Ригведа" ничего не говорит о кастах. Этот период проявляется в крупных миграциях, нашествиях и мобильности. Позднее кастовая система вырастает и достигает своей кульминации. Соответственно вертикальная социальная мобильность устанавливается на нулевой отметке. Происхождение почти исключительно определяло социальное положение индивида; это положение укреплялось и становилось "вечным" для всех поколений одной и той же семьи. В тот период "в ведических текстах нет еще примеров того, как вайшья достигает ранга священника или князя". Еще позднее, приблизительно ко времени распространения буддизма (VI—V вв. до н. э.), происходит ослабление кастовой системы и растет мобильность. Сам буддизм был выражением реакции против твердого кастового режима и одновременно попыткой нарушить его. Вскоре после III века до нашей эры "выплеснулась" новая волна социальной неподвижности, усиления кастовой изоляции и триумфа брахманов, вытеснившая предшествующую волну социальной мобильности.

Позднее наблюдались подобные волны неоднократно, таким же образом происходило чередование периодов относительной мобильности и относительной стабильности вплоть до нашего времени, когда Индия вновь вступает в период возрастания вертикальной социальной мобильности и ослабления устойчивости своей кастовой системы. Очевидно, что реальный процесс колебаний куда более сложный, чем тот, который мы только что очертили.

В долгой истории Китая также существовали подобные волны. Они отмечены, во-первых, шахматным чередованием периодов общественного порядка с периодами сильных социальных потрясений преимущественно в форме внутренних социальных революций и иностранных вторжений. Они повторялись многократно; большая их часть проявлялась на стыке конца существования правящих династий и установления новых. [...]

Нечто подобное мы наблюдаем и в истории Древней Греции. Здесь следует различать переход из слоев неполноправных в слои полноправных граждан, с одной стороны; и из низших слоев полноправных граждан в высшие – с другой. Что касается проникновения неполноправных граждан в ранг полноправных в Спарте, то со времени порабощения илотов у них фактически не было шансов стать полноправными гражданами. Если и были редкие случаи, то их крайне мало. Позднее, после 421 года до нашей эры и особенно после Пелопоннесской войны, илотам начали давать вольную *en masse* и они становились неодамодами, то есть вольноотпущенниками. Такое восхождение к более высокому положению *en masse* служит конечно же доказательством возрастающей вертикальной мобильности. С другой стороны, если во время войны против Ксеркса спартанцы были равными, то после окончания Пелопоннесской войны, то есть меньше чем через столетие, некоторые из них поднялись до ранга, так сказать, "пэров", а многие, напротив, опустились до уровня подчиненных. Период социальных революций под руководством Агиса IV (242 г. до н. э.) и Клеомена III (227 г. до н. э.) вызвал очередное нарушение в перемещении полноправных граждан и явился периодом ярко выраженной мобильности. Иными словами, и в истории Спарты мы наблюдаем чередование периодов относительной подвижности и неподвижности. [...]

В Древнем Риме на ранних ступенях развития для неполноправных граждан проникновение в слой римских граждан было крайне затруднительным. Продвижение стало легче и интенсивнее уже в императорскую эпоху. С уменьшением различных социальных препоп, однако, привилегии римского гражданства также уменьшились. [...]

На заре средневековья в Европе наблюдается интенсивная вертикальная мобильность. Среди тевтонцев, франков и кельтов в этот период слой лидеров был открыт почти каждому, у кого обнаруживался необходимый талант и способности. Систематические вторжения готов, гуннов, ломбардов, вандалов нарушали социальную стратификацию Римской империи. Один аристократический род исчезал за другим, к власти приходили все новые и новые авантюристы. Так были разрушены староримские аристократические и сенаторские фамилии. Откровенные авантюристы стали основателями новых

династий и новой знати. Так появились Меровинги, а позднее Каролинги с их знатью. Из кого же рекрутировалась знать этого периода, так сказать, *noblesse du palais* (дворцовая знать), которая вытеснила сенаторские слои Рима? Ответ прост.

В VI веке еще возможно было встретить некоторые сенаторские фамилии благороднорожденных и богатых благодаря унаследованному богатству. Но в VII веке эта знать исчезла полностью и была вытеснена новой знатью королевских чиновников или *noblesse du palais*. Законы франков оценивали выше тех, кто находился на службе у короля, чем представителей старинных аристократических семей. Не длинный перечень выдающихся предков, а государственная служба делала человека благородным. В практике общества Меровингов даже высшие ранги знати были настолько открытыми, что даже слуга довольно легко и быстро мог подняться до самых высоких государственных позиций. Знать того времени в своей генеалогии указывала только на дворянство отца и не более.

Поэтому среди графов и дворян мы находим таких, как Эбрион – *maitre des Palais* – и других, вышедших из слуг, разбойников и прочего способного люда простого происхождения. Это положение сохранялось и при Каролингах, ибо и при них значительное число герцогов и графов вышло из слуг или низших общественных слоев.

В общем, до XIII века не было особых юридических препятствий для социального восхождения. Последний простолюдин, если он смелый и способный, мог стать дворянином – *chevalier*; тот, кому по силам было купить поместье, также мог стать дворянином. Не требовалось никакой санкции короля для признания законности дворянского достоинства. Но после XIII века появились первые симптомы социальной изоляции и один за другим стали отсекается пути проникновения в высшие классы. Мобильность, правда, не исчезла вовсе, но она резко сократилась на протяжении XIII и первой половины XIV века.

Столетняя война, крестьянское восстание (Жакерия), парижское восстание 1356 – 1358 годов, междоусобная борьба бургундцев и арманьяков вновь сдвинули вертикальную мобильность со второй половины XIV века с нулевой отметки. Новые люди опять стали проникать в высшие слои знати, численно сокращалась старая знать. Помимо традиционных каналов социального восхождения стали появляться новые: королевские *legisres*, муниципалитеты и городские коммуны, гильдии и, наконец, накопление капитала. С колебаниями этот процесс продолжался до начала XVIII века, то есть до тех пор, пока вновь не появились сильные препятствия мобильности. Великая французская революция и период Наполеоновской империи (когда, "кто был ничем, стал всем" и наоборот) ознаменовали эпоху наивысшей по интенсивности вертикальной мобильности. Таковы вкратце основные циклы вертикальной социальной мобильности во Франции.

Изучение вертикальной мобильности внутри политической стратификации других стран обнаруживает периоды особенно ярко выраженных перемещений. В истории России такими периодами были: вторая

половина XVI века – начало XVII века (правление Ивана Грозного в последующее междоусобие), царствование Петра Великого и, наконец, последняя русская революция. В эти периоды почти по всей стране старая политическая и правительственная знать была уничтожена или низложена, а "выскочки" заполнили высшие ранги политической аристократии. Хорошо известно, что и в истории Италии таковыми были XV – XVI века. XV век с полным правом называют веком авантюристов и проходимцев. В это время историческими протагонистами часто были люди из низших сословий. Никто больше не обращал внимания на традиции и условности; все определяли личные качества.

В истории Англии такими периодами были следующие эпохи: завоевание Англии Вильгельмом, гражданская война середины XVII века.

В истории США – середина XVIII века и период гражданской войны.

В большинстве европейских стран Ренессанс и Реформация представляли собой периоды чрезвычайно интенсивной социальной мобильности.

Наконец, и наше время с начала XX века принадлежит к очень "мобильному" веку в смысле политических и экономических перемещений. [...]

На основании всего вышесказанного и того, о чем еще пойдет речь, можно считать, что и четвертое утверждение ратифицируется всем ходом истории.

Пятое утверждение. В вертикальной мобильности в ее трех основных формах нет постоянного направления ни в сторону усиления, ни в сторону ослабления ее интенсивности и всеобщности. Это предположение действительно для истории любой страны, для истории больших социальных организмов и, наконец, для всей истории человечества. Таким образом, и в области вертикальной мобильности мы приходим к уже известному нам заключению о "ненаправленных" колебаниях.

В наш динамичный век триумфа избирательной системы, промышленной революции и особенно переворота в транспортных средствах такое утверждение может показаться странным. Динамизм нашей эпохи заставляет верить в то, что история развивалась и будет развиваться в направлении постоянного и "вечного" увеличения вертикальной мобильности. Нет необходимости повторять, что многие социологи придерживаются именно такого мнения. Тем не менее если исследовать все их доводы и обоснования, то можно убедиться, насколько они шатки.

А) Во-первых, последователи теории ускорения и усиления мобильности обычно отмечают, что в современных обществах нет ни юридических, ни религиозных препятствий к социальным перемещениям, которые существовали в кастовом или феодальном обществах. Если представить на мгновение, что утверждение это верно, то ответ будет таковым: неправомерно делать подобное заключение о "вечной исторической тенденции" на основании опыта последних 130 лет. Это слишком короткий миг по сравнению с тысячелетней историей человечества, которая только и может быть достаточным основанием для признания существования постоянной тенденции. Во-вторых, даже в рамках этого 130-летнего периода эта тенденция ясно не проявилась у большей части

человечества. Внутри больших социальных сообществ Азии и Африки ситуация еще достаточно неопределенная: кастовая система все еще жизнеспособна в Индии, Монголии, Маньчжурии, Китае и на Тибете, среди коренного населения многих других стран. В свете этих уточнений всякая ссылка на феодализм во имя сравнения со "свободным" современным периодом теряет свое значение.

Б) Предположим, что уничтожение юридических и религиозных препятствий действительно приведет к усилению мобильности. Хотя и это можно оспорить. Это было бы так, если бы на месте уничтоженных препятствий не возводились новые. В кастовом обществе невозможно быть знатным, если ты не из знатной семьи, но можно быть знатным и привилегированным, не будучи богатым. В современном обществе возможно быть благородным, не будучи рожденным в знатной семье, но, как правило, необходимо быть богатым. Одно препятствие вроде бы исчезло, появилось другое. Теоретически в США любой гражданин может стать президентом. Фактически 99,9% граждан имеют так же мало шансов на это, как и 99,9 % подданных любой монархии стать самодержцем. Один вид препятствий уничтожается, устанавливается другой. Под этим подразумевается, что устранение препятствий к интенсивному вертикальному перемещению, типичных для кастового и феодального общества, не означает их абсолютного уменьшения, а только замену одного вида помех другим. Причем еще не известно, какие препятствия – новые или старые – более эффективны в сдерживании социальных перемещений.

В) Третий контраргумент гипотезе постоянного направления – само фактическое движение мобильности в истории различных наций и крупных социальных организмов. Очевидно, что наиболее мобильными были первобытные племена с их ненаследуемым и временным характером лидерства, с их легко переходящим от одного человека к другому общественным влиянием, зависящим от обстоятельств и индивидуальных способностей. Если в дальнейшей истории проявится тенденция к усилению мобильности, то и она не может быть оправданием гипотезы о постоянной тенденции, так как на заре истории регулярное социальное перемещение было более интенсивным, чем на последующих ступенях развития. Более того, приведенные выше замечания флуктуации мобильности в истории Индии и Китая, Древней Греции и Рима, Франции и других упоминавшихся стран не показали никакой постоянной тенденции к увеличению вертикальной мобильности. То что происходило, суть всего лишь изменения, при которых периоды большей мобильности вытеснялись впоследствии периодами стагнации. Если дело обстоит так, то "теория направленного развития" не основывается на исторических фактах. Да и вообще из единичных фактов не следует заключать, что нечто повторится в будущем снова. Но еще большая ошибка – выводить из неслучившихся в прошлом фактов прогнозы на будущее.

Г) Более того, очень часто признается как нечто совершенно очевидное, что вертикальная социальная мобильность в настоящее время на много сильнее, чем в прошлом. Но и это всего лишь предположение, которое не было

проверено. И мне кажется, что такие компетентные исследователи, как Э. Левассёр, не ошибались, когда подвергали сомнению такое предположение, утверждая, что социальные перемещения в XVII веке были меньшими, чем в XIX веке. На расстоянии все кажется серым и бесформенным, и мы склонны думать, что в отдаленном прошлом все было плоским, серым и статичным. Порой действительно трудно решить, сильнее ли вертикальная мобильность в современных демократических обществах, чем она была в прошлой истории Европы или где-нибудь в другом месте. Если же нет оснований постулировать этот тезис, не следует и предполагать обратное. А это значит, что направление мобильности неопределенное.

Д) В качестве доказательства теории восходящей тенденции ее сторонники часто указывают на уменьшение фактора наследования высоких социальных позиций и на замену его на фактор выборности. Избранные президенты вместо легитимных монархов, избранные или назначенные верховные администраторы вместо наследственной знати, талантливые восхожденцы вместо наследственных владельцев учреждений и т.д. – таков их аргумент. Сожалею, что мне приходится указывать на элементарные факты, которые, как кажется, забыли защитники этого аргумента. Во-первых, принцип выборности лидеров и королей или других высокопоставленных общественных лиц в прошлом был известен ничуть не меньше, чем сейчас. Вожди и короли большей части первобытных племен выбиралась. Консулы, трибуны и другие политические позиции в Древнем Риме были выборными. Римские императоры избирались или становились императорами в результате насилия или борьбы за власть. Римские католические папы и верховные авторитеты средневековой церкви всегда избирались. Власть во многих средневековых республиках также выбиралась. И это очевидно для каждого, кто хоть немного изучал историю. Но нам могут возразить, что в прошлом эти авторитеты избирались узким кругом привилегированного меньшинства, а сейчас мы имеем дело со всеобщим избирательным правом. И вновь это утверждение неверно. В прошлом во многих политических организациях выборы были всеобщими. С другой стороны, 300 миллионов населения Индии или других британских колоний, аборигенное население колоний Франции, Бельгии также не имеют права голоса при выборах правительства в метрополиях и выработке законов, которые ими управляют. Все это и мираж всеобщности сегодняшнего избирательного права делают аргументы в пользу тенденции перехода от наследования власти к ее выборности ошибочными. [...]

Е) Что касается "новых" людей и карьеристов в прошлом и настоящем, то список этих неожиданно выдвинувшихся людей среди монархов и руководителей государств был дан выше. Согласно списку, процент "новичков" среди императоров Западной и Восточной Римских империй был выше, чем среди президентов Франции и Германии; он близок к проценту президентов-"выскочек" США, которые выдвинулись из бедных классов, но намного выше, чем процент этих людей среди монархов и правителей европейских стран за последние несколько столетий. В Европе, за исключением России, процент выдвинувшихся из нижних слоев до позиции монарха в прошлом был выше,

чем в самое последнее время. К этим данным можно добавить, что удельный вес римских католических пап, которые выдвинулись из беднейших классов, составляет 19,4%, из средних классов – 18,8, а из знатных и богатых слоев общества – 61,8%. Выдвижение пап из низших слоев общества также более типично отдаленному прошлому, чем последним двум столетиям. Тенденция к nepотизму или к наследственному сохранению позиции "папы" внутри одной семьи была заметной, хотя и не в начале истории христианской церкви, как следовало бы ожидать по гипотезе направленного развития, а много позднее – в XIII—XVI веках. То же можно сказать и о верховных церковных авторитетах, и высших эшелонах знати в европейском обществе.

Этих фактов, перечисление которых можно было бы продолжить *ad libitum*, достаточно, чтобы оспаривать вышеупомянутые "тенденции" перехода от наследуемой к выборной или свободно достигаемой "позиции".

Ж) Если бы я и уверовал в какую-либо постоянную тенденцию в этой области, то скорее попытался бы доказать, как социальный организм, старея, становится все более и более неподвижным, а перемещение индивидов – менее интенсивным. Хотя я и не уверен в существовании такой тенденции, тем не менее есть много фактов, ее подтверждающих. [...]

Очевидно, что тенденция к социальной исключительности и прочности на поздних стадиях развития многих социальных организмов была довольно типичной. Но не будем спешить объявлять эту тенденцию постоянной. Она упомянута здесь только для противопоставления мнимой тенденции усиления социальной мобильности с ходом истории.

Всего, что было сказано, думаю, достаточно, чтобы бросить вызов мнимым теориям направленного движения.

Резюме

1. Основные формы индивидуальной социальной мобильности и мобильности социальных объектов следующие: горизонтальная и вертикальная. Вертикальная мобильность существует в форме восходящих и нисходящих течений. Обе имеют две разновидности: 1) индивидуальное проникновение и 2) коллективный подъем или спад положения целой группы в системе отношений с другими группами.

2. По степени перемещений справедливо различать подвижные и неподвижные типы обществ.

3. Едва ли существует такое общество, страты которого были бы абсолютно эзотеричными.

4. Едва ли существует такое общество, в котором бы вертикальная мобильность была бы свободной, беспрепятственной.

5. Интенсивность и всеобщность вертикальной мобильности изменяется от группы к группе, от одного периода времени к другому (изменения во времени и пространстве). В истории социальных организмов улавливаются ритмы сравнительно подвижных и неподвижных периодов.

6. В этих изменениях не существует постоянной тенденции ни к усилению, ни к ослаблению вертикальной мобильности.

7. Хотя так называемые демократические общества зачастую более подвижны, чем автократичные, тем не менее это правило не без исключений.

Теперь перед нами стоит задача анализа общих черт и механизмов функционирования мобильности в обществе. Когда же он будет проведен, то можно будет подвести итог изучению мобильности в современных обществах.

Сорокин Питирим Александрович Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992. – 542.

ПИТИРИМ СОРОКИН

КАНАЛЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ

Поскольку вертикальная мобильность присутствует в той или иной степени в любом обществе и поскольку между слоями должны существовать некие "мембраны", "отверстия", "лестницы", "лифты" или "пути", по которым позволительно индивидам перемещаться вверх или вниз из одного слоя в другой, то правомерно и нам было бы рассмотреть вопрос о том, каковы же в действительности эти каналы социальной циркуляции.

Функции социальной циркуляции выполняют различные институты.

И среди них есть каналы, представляющие для нас особый интерес. Из их числа, которые существуют как в различных так и в одном и том же обществе, но в разные периоды его развития, всегда есть несколько каналов, наиболее характерных для данного общества. Важнейшими из ряда этих социальных институтов являются: армия, церковь, политические, экономические и профессиональные организации.

1 Армия как канал социальной циркуляции

Данный институт играет особенно важную роль в военное время, то есть в периоды межгосударственных и гражданских войн. Нет нужды говорить, насколько судьба общества зависит от успеха в войне. Хотим мы того или нет, стратегический талант, мужество солдат независимо от их социального положения особенно высоко ценятся в такие периоды. Кроме того, война подвергает испытаниям и талант простого солдата, и способности привилегированных классов. Опасность, грозящая армии и государству, настойчиво принуждает последних ставить солдата в положение, отвечающее его истинным способностям. Вместо наград их ждет повышение по службе. Крупные потери среди командного состава приводят к заполнению вакансий людьми более низких чинов. В ходе войны эти люди продвигаются в звании прежде всего при наличии таланта. Полученная таким образом власть используется для дальнейшего продвижения по службе. Возможность грабить,

мародерствовать, всячески унижать свою жертву, мстить врагам, окружать себя помпезными церемониями, титулами и т. п. предоставляет таким людям новую возможность купаться в роскоши, передавать свою власть по наследству потомкам – одним словом, получить всю полноту статуса доброго или плохого героя.

Это служит объяснением того, почему армия всегда играла специфическую роль "социальной лестницы", благодаря которой простолюдины становились генералами, графами, принцами, монархами, диктаторами, властелинами мира сего. В то же время многие "урожденные" аристократы, принцы, короли, графы, правители утрачивали свои титулы, звания, состояния, социальное положение и даже лишались жизни. Подобные факты настолько многочисленны, ими настолько изобилуют анналы истории, что достаточно, видимо, привести лишь несколько характерных примеров.

Во-первых, большая часть вождей воинственных племен стали лидерами и правителями благодаря войнам и армии.

Во-вторых, как известно, из 92 римских императоров 36 достигли этого высокого общественного положения, начав с низших социальных слоев, продвигаясь по социальной лестнице именно благодаря службе в армии.

Из 65 византийских императоров 12 "неожиданно" выдвинулись благодаря армейской лестнице.

В средние века основатели династий Меровингов, Каролингов и других самых знатных фамилий тоже достигли верхушки социального конуса благодаря этому каналу. Несчетное множество средневековых разбойников, крепостных и людей простого происхождения таким же образом стали дворянами, хозяевами, князьями, герцогами и высокопоставленными официальными лицами. Меркадье, генерал-аншеф Ричарда Львиное Сердце, Кадок, союзник Филиппа Августа, Эбриои и другие – примеры таких неожиданно выдвинувшихся людей. В XVIII веке во Франции "аристократы" наподобие Виллара, Катина, Фабера, Вобана, Шатеро и пр. вышли из низших слоев благодаря армии. В 1787 году из числа обучающихся в привилегированных военных колледжах Франции 603 были *elevés du roi*, 989 – отпрыски знати; 799 – сыновья трудящихся, но которым в будущем предстояло стать представителями нобилитета. Наполеон и его окружение, маршалы, генералы и назначенные им короли Европы вышли из простолюдинов и поднялись до такого высокого положения благодаря армии. Кромвель, Грант, Вашингтон и тысячи других командующих и *condottieri* достигли самого высокого положения благодаря армии. Герои последней войны, наши современники Кемаль паша, Фрунзе, военные лидеры международных и гражданских войн, мировые правители, такие, как Чингисхан, Тамерлан и т.д., также примеры восходящего движения, осуществляемого посредством военных каналов. С другой стороны, тысячи невезучих военных командиров, потерпевши поражение, становились рабами, понижались в должности, подвергались остракизму, исключались, изгонялись, короче говоря, резко шли вниз. Все они дают иллюстрацию нисходящего движения посредством того же самого военного канала.

В мирное время армия продолжает играть роль канала для вертикальной циркуляции, но в эти периоды роль его значительно меньше, чем в военное время.

2 Церковь как канал вертикальной циркуляции

Вторым, из числа основных, каналом вертикальной социальной циркуляции была и есть церковь. Но церковь выполняет эту функцию только тогда, когда возрастает ее социальная значимость. В периоды упадка или в начале существования той или иной конфессии ее роль как канала социальной стратификации малозначима и несущественна. В периоды наиболее интенсивного роста эта роль также уменьшается из-за тенденции к социальной эзотеричности высших церковных страт и из-за мощного притока знати в эти слои вследствие легкости данного пути для дальнейшего продвижения по социальной лестнице. История христианской церкви подтверждает эти утверждения.

После легализации христианства церковь начинает выполнять функцию той лестницы, по которой стали подниматься рабы и крепостные, причем иногда до самых высших и наиболее влиятельных позиций. Последователями христианской веротерпимости на начальных этапах были в основном выходцы из низших социальных слоев. После легализации христианства двери церкви и проходы к ее высшим рангам были еще открыты для простых людей. Рабы и зависимое крестьянство, люди простого происхождения, которые становились служителями культа, получали благодаря церкви свободу и достигали высоких позиций в обществе.

При Меровингах и Каролингах мы видим, что многие из наиболее влиятельных епископов и государственных деятелей происходят из рабов, слуг, зависимого крестьянства, ремесленников. Этот процесс, правда, продолжался и позднее. Если принять во внимание, что в средние века епископ был не только главой епархии, но и крупным лендлордом, занимающим высокое положение в иерархии знати, а следовательно, и феодальным князем и очень часто богатым человеком, то легко понять огромную роль церкви как лестницы для социального продвижения или социальной деградации. Те, кто становились папами, кардиналами, нунциями, патриархами или другими высшими церковными авторитетами, одновременно достигали высшей или одной из высших социальных позиций в средневековом обществе. Церковь как канал социальной циркуляции переместила большое количество людей с низов до вершин общества. Геббон, архиепископ Реймса, был в прошлом рабом; папа Григорий VII – сын плотника; могущественный архиепископ Парижа Морис Саллийский – сын крестьянина. Все они – всего лишь некоторые примеры тех, кто возвысился благодаря церковной лестнице.

Мое изучение римских католических пап показало, что из 144 пап, по которым имеются достаточные сведения, 28 были простого происхождения, 27 вышли из средних классов. В Англии, пишет Р. Греттон, "в старые времена устойчивой стратификации единственным способом продвижения из низших слоев общества в высшие была церковь. Ставшие великими религиозными

авторитетами и поэтому влиятельными политиками бедняки вышли в основном из крестьянства, из среды фермеров и квалифицированных работников".

Таким образом, многие представители низших слоев становились мировыми правителями, способными свергать и назначать королей (вспомним Григория VII и Генриха IV), возвышать тысячи людей простого и благородного происхождения. Институт целибата, распространенный в римско-католической церкви, еще более облегчил выполнение этой функции. Ее авторитеты, по крайней мере юридически, не могли иметь детей, а потому после их смерти освободившиеся позиции заполнялись новыми людьми, и вновь частично из низших слоев. Это вызывало к жизни перманентные восходящие течения в средневековом обществе. В период наивысшего господства римско-католической церкви, особенно в XII – XV веках, произошел большой приток дворян в высшие церковные слои (до ранга пап и кардиналов). Приток из таких семейств, как Висконти, Орсини, Сеньи, Гаэтани, Борджия, Гвидони, Колонна, Медичи, Савелли, а также приток в менее высокие ранги не столь именитых семей несколько ослабил интенсивность и всеобщность циркуляции через церковный канал. Но тем не менее мобильность продолжалась и в достаточном объеме.

Будучи каналом для восходящего движения, церковь была одновременно и средством для движения нисходящего. Достаточно указать на тысячи еретиков, язычников, врагов церкви, преступников, смещенных церковными агентами, отданных под суд, замученных, униженных, разоренных и уничтоженных. Хорошо известно, что среди этих "разжалованных" было немало королей, герцогов, князей, лордов, аристократов и дворян высоких рангов – словом, всех, кто занимал высокое социальное положение.

В течение последних нескольких веков, когда социальная значимость церкви постепенно начала сокращаться, ее роль как средства циркуляции также начала сокращаться. Движение вниз и вверх внутри церковных рангов, естественно, продолжается, но оно уже не имеет былого значения. Вертикальные течения внутри церковной стратификации не затрагивают другие социальные течения, как это было раньше. Это и логический результат ослабления социальной роли церкви за последнюю пару столетий.

Все, что было сказано о христианской церкви, можно отнести и на счет других религиозных организаций. Буддизм, мусульманство, даосизм, конфуцианство, индуизм, иудаизм, несмотря на замкнуто-кастовый характер, играли роль каналов вертикальной циркуляции в соответствующих обществах. В периоды роста и наивысшего влияния они возвеличивали своих адептов не только внутри своих организаций, но и внутри общественных рангов в целом. Многие из них, будучи открытыми на ранних ступенях своей истории и принимавшие своих последователей из любых социальных слоев, а в особенности из низших, давали людям простого происхождения возможность подняться до высоких социальных позиций. Жизненный путь, к примеру, Мухаммеда и его первых последователей – прекрасная тому иллюстрация. История буддизма и конфуцианства в Китае также дает множество подтверждений этому тезису. Хотя, возвеличивая одних, эти организации

одновременно понижали других. Как и в истории христианской церкви, роль их была относительно большой в период расцвета; столь же резко она уменьшалась в периоды упадка или ослабления.

3 Школа как канал вертикальной циркуляции

Институты образования и воспитания, какую бы конкретную форму они ни обретали, во все века были средствами вертикальной социальной циркуляции. В обществах, где школы доступны всем его членам, школьная система представляет собой "социальный лифт", движущийся с самого низа общества до самых верхов. В обществах, где привилегированные школы доступны только высшим слоям населения, школьная система представляет собой лифт, движущийся только по верхним этажам социального здания, перевозящий вверх и вниз только жильцов верхних этажей. Однако даже в таких обществах некоторым индивидам из низших слоев все-таки удавалось проникнуть в этот школьный лифт и благодаря ему возвыситься. В качестве примера обществ, в которых школьная система представляет собой лифт, движущийся вверх и вниз с самых низов социального конуса до его верха, возьмем китайское общество и современные европейские страны.

В Китае приток людей в высшие социальные и политические слои происходил в основном посредством школьного "механизма". Этот факт, может быть, известен немногим, но именно он дает основание определять китайский политический режим как "систему образовательных выборов" или "систему образовательной селекции". Школы были открыты для всех классов. Лучшие ученики вне зависимости от их семейного статуса отбирались и переводились в высшие школы, а затем в университеты; из университетов они попадали на высокие правительственные позиции, а самые талантливые – в высшие социальные ранги. Таким образом китайская школа постоянно повышала людей простого происхождения до высших рангов и препятствовала продвижению (или даже скорее понижала ранг) людей, происходящих из высших слоев, которые не смогли удовлетворить требованиям школьной селекции.

"По Конфуцию, школа – это не только система образования, но и система выборов, то есть она сочетает политику с образованием. Его политическая доктрина демократична и не предполагает наличия наследственной аристократии... Так как студенты, избираемые из простолюдин, становятся высокими должностными лицами, то и различные институты воистину являлись местами, где избираются представители народа. Образовательный тест выполнял роль всеобщего избирательного права... Под влиянием Конфуция китайское правительство стало правительством высшей демократии, ибо у каждого есть шанс стать премьер-министром".

Китайское правительство мандаринов было, возможно, в большей степени, чем любое другое, правительством китайских интеллектуалов, набранных и возвеличенных благодаря школьному "механизму". Нечто подобное существовало в Турции в некоторые периоды, особенно во время правления Сулеймана Великолепного (1520—1566). Аристократия султанов, их гвардия и высокопоставленные государственные чиновники набирались из

корпуса янычар. Этот корпус набирался из всех социальных слоев. Для этого специальные государственные служащие путешествовали по всей территории империи, отбирая самых лучших детей из всех слоев общества, но в особенности из низших классов. После отбора детей помещали в специальные школы, и они получали специальное образование. Таким образом они поднимались все выше и выше, достигая тем самым самых высоких социальных позиций в империи.

В современном западном обществе школы представляют один из наиболее важных каналов вертикальной циркуляции, причем это проявляется в самых разнообразных формах. Не окончив университета или колледжа, фактически нельзя (а в некоторых европейских странах запрещено даже юридически) достичь какого-либо заметного положения среди высоких правительственных рангов и во многих других областях, и наоборот, выпускник с отличным университетским дипломом легко продвигается и занимает ответственные правительственные посты вне зависимости от его происхождения и его семьи. Многие социальные сферы и ряд профессий практически закрыты для человека без соответствующего диплома. Труд выпускников высших учебных заведений оплачивается выше. Социальное продвижение многих именитых людей в современных демократиях осуществлялось благодаря школьному "механизму". Относительная легкость продвижения благодаря школе понимается сейчас многими. Этим и объясняется происходящий в наше время большой наплыв студентов в университеты и колледжи. Роль канала, которую исполняет современная школа, становится все более значимой, ведь, по сути, они взяли на себя функции, ранее выполняемые церковью, семьей и некоторыми другими институтами. Все возрастающая социальная значимость школ открывает для них возможность либо приносить большую общественную пользу – в случае хорошей организации, либо, в противном случае, огромный вред.

В качестве примера общества, в котором школа функционирует как канал циркуляции только в верхних слоях, упомянем индийское кастовое общество. По крайней мере таковым оно предстает в религиозных и юридических источниках. Возможно, что ни в каком другом обществе ученость и знания так высоко не ценились, как в Индии. В священных книгах, начиная с "Упанишад" и кончая кодексами типа "Узаконения Вишну", "Законы Ману", "Гаутама", "Брихаспати", "Нарада", "Апастамба" и другими, знание провозглашается силой, которая сохраняет порядок в мире и правит вселенной. Просвещение и обучение объявлялись вторым рождением, которое значительно важнее факта физического рождения. Так как "отец и мать создают только тело ребенка", а учитель помогает ученику родиться во второй раз, передавая ему священные знания, то поэтому второе рождение самое главное, "Это – реальность, неподвластная ни возрасту, ни смерти".[...]

Благодаря образованию индивид переходит из одного образа жизни в другой – образ жизни студента, домовладельца, аскета, странника, переходит из одной социальной позиции в другую, более высокую. В этом смысле школа здесь, как и везде, выполняет ту же функцию "социального элеватора". Но есть

в этом и отличие от обсуждаемого ранее типа: образование запрещено для низших каст. Это видно из кодексов для касты шудра.

Подобные ситуации наблюдались и в некоторые периоды истории европейских обществ. В Англии при Ричарде II был выпущен следующий декрет: "Ни один крепостной не должен отправлять своих детей в школу, чтобы не дать возможность их детям продвигаться в жизни". Декрет ясно показывает роль школы как канала вертикальной циркуляции и пытается закрыть его для представителей низших слоев. И поскольку вход в "лифт" был для них запрещен, то, естественно, этот путь социального продвижения был недоступен для членов низших классов и каст. Им приходилось прибегать к другим каналам для своего восходящего социального продвижения.

4 Правительственные группы, политические организации и политические партии как каналы вертикальной циркуляции

Политические организации, начиная с правительства и кончая политическими партиями, также играют роль "лифта" в вертикальной циркуляции. Человек, единожды поступивший на должность, пусть даже и самого нижнего ранга, или ставший служащим у влиятельного правителя, поднимается при помощи этого "лифта", поскольку во многих странах существует автоматическое продвижение лиц по службе с течением времени. Кроме того, чиновник или клерк всегда имеют шанс быстрого продвижения, если их служба оказывается более ценной. Исторически большое количество людей, рожденных в слоях прислуги, крестьянства или ремесленников, поднялись до заметных общественных позиций. Было это в прошлом, происходит это и сейчас. В Риме, особенно после правления императора Августа, продвижение рабов, слуг и свободных по этой "лестнице" проходило широким фронтом. Мы наблюдаем такую же картину в периоды правления Меровингов и Каролингов в Западной Европе, да и вообще на всем протяжении средневековья. Слуги разных правителей, будучи вовлеченными в государственную сферу, нередко сами становились правителями. Таково происхождение многих средневековых герцогов, графов, баронов и прочей знати.

Несколько по-иному это положение дел вошло в наше столетие. Карьера многих выдающихся государственных деятелей началась или с поста личного секретаря влиятельного политика, или вообще с чиновника низшего ранга. Используя любую возможность, им удавалось продвинуться до более высоких постов, а иногда даже до самых высоких общественных позиций. Их дети, родившиеся уже в более высоком социальном слое, продолжали это восходящее движение. В результате через два-три поколения все семейство заметно продвигалось по иерархической социальной лестнице.

В демократических странах, где институт выборов играет решающую роль в утверждении правителей, политические организации продолжают играть роль канала вертикальной циркуляции, хотя несколько в иной форме. Чтобы быть избранным, человек должен каким-либо образом проявить свою личность, устремления и способности, успешно выполнить функции лидера, будь то

сенатора, мэра, министра или президента. Самый легкий способ – это политическая деятельность или участие в какой-либо политической организации. Без этого крайне мало шансов привлечь внимание избирателей и быть избранным. Поэтому, как канал социальной циркуляции, политические организации сейчас играют особенно важную роль. Многие функции, которые раньше принадлежали церкви, правительству и другим социальным организациям, берут на себя политические партии. Нет необходимости говорить, что подавляющее большинство политических лидеров, правителей, государственных деятелей, сенаторов и прочих должностных лиц современных демократических стран достигли своих позиций по каналу политических партий. Особенно это относится к тем из них, кто родился в нижнем социальном слое. Справедливо пишет об этом Р. Мичелс: "Вне партийной организации многие социально полезные элементы были бы затеряны в том смысле, что они никогда бы не изменили своего социального класса и навечно остались бы пролетариями... Все талантливые пролетарии рассматривают политико-партийную организацию со свойственной им карьерой, как акт спасения".

Д. Ллойд Джордж, Р. Макдональд, Ж. Жорес, Ж. Гед, Р. Вандервельде, А. Бебель, А. Адлер, А. Лабриола, О. Браун, К. Либкнехт, Т. Масарик, Э. Бенеш – только несколько имен из тысячи им подобных. Если бы не этот канал, то многие выдающиеся политики и государственные деятели вряд ли смогли бы достичь высокого положения в обществе.

То, что касается крупных политических партий, правомерно отнести и к мелким местным организациям, как бы они ни назывались. Каждый город и деревня имеют своих политических боссов и лидеров. Одним из каналов их политического продвижения становится местная политическая организация или партия.

5 Профессиональная организация как канал вертикальной циркуляции

Некоторые из этих организаций также играют большую роль в вертикальном перемещении индивидов. Таковы научные, литературные, творческие институты и организации. Поскольку вход в эти организации был относительно свободным для всех, кто обнаруживал соответствующие способности вне зависимости от их социального статуса, то и продвижение внутри таких институтов сопровождалось общим продвижением по социальной лестнице. Многие ученые, юристы, литераторы, художники, музыканты, архитекторы, скульпторы, врачи, актеры, певцы и прочие творцы простого происхождения социально поднялись именно благодаря этому каналу. То же можно сказать и о представителях средних слоев, достигших еще более высоких социальных позиций. Среди 829 британских гениев, исследованных Х. Эллисом, 71 были сыновьями неквалифицированных рабочих, поднявшихся до высоких позиций исключительно благодаря этому каналу. Около 16,8% из числа наиболее известных людей Германии родились в рабочих семьях и достигли высокого положения посредством профессиональной лестницы. Во Франции среди самых известных литераторов 13% были из рабочей среды, и

они также достигли известности и высокого социального положения благодаря этому каналу. В США из 1000 писателей по крайней мере 187 достигли известности благодаря этому каналу. 4% наиболее известных ученых России (академиков), достигших высокого социального положения, вышли из крестьянской среды. Если так обстоит дело в кругу наиболее именитых, то менее известные профессионалы тоже улучшили свое социальное положение при помощи этого "лифта". Это можно, к примеру, проиллюстрировать судьбой многих киноактеров (Глория Свенсон, Дуглас Фербэнкс и др.), певцов (Шаляпин), актеров, композиторов, художников, которые, будучи рожденными в простой семье, благодаря профессиональному каналу достигли высокого экономического и социального положения, не говоря уже о богатстве, славе, званиях, степенях и т. п. Таковой была ситуация в прошлом, такой, по сути, она осталась и сейчас.

Здесь должна быть упомянута печать, особенно газеты, как специфический вид профессиональных институтов, как важный канал вертикальной циркуляции. В настоящее время роль прессы в этом отношении значительно увеличилась. Она может обеспечить, по крайней мере на некоторое время, великолепную карьеру любой бездарности либо разрушить карьеру человеку незаурядных способностей. Прямо или косвенно она выполняет громадную роль "социального лифта". "Известность" – это то, без чего сейчас быстрое продвижение чрезвычайно затруднено. Она приносит славу часто на пустом месте, она открывает или губит талант, она может "преобразовать" средние способности в гениальные, может она и задушить истинного гения. Поэтому те социальные группы, которые контролируют прессу, играют большую роль в социальной циркуляции, ибо она представляет собой один из самых шумных, эффективных и скоростных лифтов циркуляции.

6 Организации по созданию материальных ценностей как каналы социальной циркуляции

Какими бы ни были конкретные формы "обогащающихся" организаций – землевладение или коммерция, производство автомобилей или добыча нефти, горное дело или рыболовство, спекуляция или бандитизм, военный грабёж, – соответствующие им группы, институты и банды всегда выполняли роль канала подъема или падения в вертикальной социальной плоскости. Уже во многих первобытных племенах лидерами становились первым делом те, кто был богат. Накопление богатств приводило к социальному продвижению людей. Такова была ситуация среди большинства дописьменных племен. С самых ранних времен и на протяжении всей истории наблюдается тесная корреляция между богатством и знатностью. Она, как правило, нарушается только в периоды исключительные, а так кто знатен, тот и богат. Когда проявляются противоречия между знатностью и богатством (то есть когда знатные бедны, а богатые лишены привилегий), то такое состояние дел обычно недолговременно. И тогда обедневшая знать насильем и мошенничеством присваивает богатства или богатые покупают или добиваются привилегий. История в этом смысле развивалась по-разному, но состояние гармонии всегда было одним и тем же:

накопление богатств шло параллельно с ростом социального веса. Таким образом, уничтожалось противоречие и восстанавливалась гармония. Справедливо считали в свое время Рене Вормс, Вильфредо Парето и Шарль Бугле, что если легко сохранить социальный престиж ленивцу, то трудно сохранить его, беднея. Патриции, всадники, аристократы и сенаторский класс в Риме; высшие классы в Древней Греции после Солона и других реформаторов; древние высшие сословия среди русских, немцев, французов и кельтов были самыми богатыми классами. Даже в обществе, где знатность определяется происхождением, знать часто происходит от неблагородных, но процветающих предков; только в последующих поколениях она становится "знатью по происхождению". Даже в таком обществе продвижение преуспевающего накопителя всегда благоприятно вне зависимости от его происхождения. Чтобы осмыслить это, достаточно вспомнить огромное общественное влияние таких богатых рабов, как Тримальхион, Палладий, Нарцисс и другие, в римском обществе. Вспомним и общественное влияние еврейских ростовщиков в средневековой Европе и Турции. На фоне относительно низкого статуса бедных евреев их богатейшие слои всегда были среди высших слоев средневекового и современного общества. Одновременно с возрастанием роли денег в средневековой Европе люди простого происхождения, но которые "делали деньги", начали подниматься по социальной лестнице. Роль класса предпринимателей увеличивается с ростом привилегий и его социального статуса в целом. Р. Греттон по отношению к восхождению английского класса предпринимателей (так называемый средний класс) правильно пишет: "Пока в XV веке аристократия и земельное дворянство разоряли друг друга, средний класс шел в гору, накапливая богатства. В результате нация однажды проснулась, узрев новых хозяев. Средний класс, и особенно процветающие предприниматели, быстро продвигался и вытеснил в значительной степени аристократию по крови, церковную и интеллектуальную элиту. За деньги он покупал все желаемые титулы и привилегии. Во времена Якова I торговцы, бакалейщики, таможенники, ювелиры, купцы, мэры провинциальных городов стали дворянами со своими гербами. Люди этого класса поднялись до самых высоких позиций. Иллюстрируют этот факт выдающиеся деятели Вест-Индской компании. Путь, по которому они поднимались к славе, был открыт любому человеку в королевстве".

Тот же процесс происходил и во Франции. Восхождение французской буржуазии и наиболее процветающих предпринимателей осуществлялось благодаря этому же "каналу", то есть благодаря накоплению денег. Особенно начиная с XV века "деньги начали управлять страной; все теперь покупалось: власти и достоинство, гражданские и военные позиции и даже принадлежность к знатному сословию". Достигали высокого положения только те, кто имел деньги. Они составили новую аристократию. Самые знатные аристократические фамилии этих веков, подобно Понше, Брикonne, Пэра, Пренс, Бона, Вигуру, Рокетт и другим, поднялись из низшего социального слоя до самой вершины общества благодаря деньгам. Начиная со времени правления Людовика XIII и до Великой французской революции 1789 года каждый

богатый человек становился знатным, подобно тому как в средние века каждый истинно храбрый человек становился рыцарем. В этот период деньги значили все и были всем. Простые предприниматели покупали любой титул и любое желаемое положение. Дворянские титулы начали продаваться короной *en masse*. Отец мадам Помпадур, Пуасон, воскликнул однажды на одном аристократическом приеме: "Иностранец, может, принял нас за князей. А на самом деле вы, месье Монмартель, сын владельца салона; вы, Салвале, – сын садовника; вы, Буре, – сын лакея?!" Картина впечатляющая.

Последние периоды истории Древней Греции и Рима были такими же. Аристократия той эпохи пополнялась в основном за счет тех классов, кто преуспел в коммерции, независимо от их происхождения.

Даже в кастовом обществе богатство является "социальным лифтом" вне зависимости от принадлежности к той или иной касте. С увеличением богатства изменяется и статус человека. "В прошлом году был ткачом. Ныне, увеличив свое богатство, я стал шейхом. На следующий год, при условии роста цен, я стану саидом" – вот типичное продвижение в зависимости от богатства.

Нет необходимости говорить, что в настоящее время накопление богатств – один из самых простых и действенных способов социального продвижения. Преуспевающий предприниматель – крупнейший аристократ современного демократического общества. Если человек богат, то он находится на вершине социального конуса, вне зависимости от своего происхождения и источника доходов. Правительства и университеты, князья и церковнослужители, общества и ассоциации, поэты и писатели, союзы и организации щедро осыпают его почестями и титулами, учеными и другими степенями и т. п. Перед ним открыты все двери, начиная с короля великой империи и до чрезвычайно радикального антикапиталистического революционера. Как правило, почти все можно купить и почти все можно продать. Новый Югурта мог бы сказать о современном обществе: "*Urbem venalem et mature perituram, si emptorem invenerit*" (лат. "Вот продажный город, который скоро погибнет, если найдет себе покупателя").[...]

7 Семья и другие каналы социальной циркуляции

Среди других каналов вертикальной циркуляции можно упомянуть семью и брак (особенно с представителем другого социального статуса). Такой брак обычно приводит одного из партнеров или к социальному продвижению, или к социальной деградации. Таким образом некоторые люди сделали себе карьеру, другие же – разрушили ее. В прошлом брак со слугой или с членом низшей касты приводил к "социальному падению" одного из партнеров, ранее занимавшего более высокое положение, и, соответственно, к понижению социального ранга его отпрысков.

По римскому закону, свободная женщина, вышедшая замуж за раба, сама становится рабыней и теряет свой *status libertatis* (лат. статус свободного гражданина). Ребенок, рожденный рабыней, пусть даже и от свободного гражданина, тоже становился рабом. Подобная деградация ожидала и мужчину

или женщину высшего сословия, вступивших в брак с мужчиной или женщиной низшего сословия.

В настоящее время в демократических обществах мы наблюдаем взаимное "притяжение" богатых невест и бедных, хотя и титулованных, женихов. Оба партнера достигают тем самым: получения финансовой поддержки своему титулованному положению для сохранения его на необходимом уровне – одному, другой же продвигается по социальной лестнице благодаря богатству.

Помимо этих каналов, без сомнения, существует множество других, но они менее значимы, чем все предыдущие. Всегда существовали наиболее привычные и удобные "подъемники", которые перевозили вниз и вверх потоки людей, "путешествовавших" в вертикальной плоскости. Тем, кто, как фермеры или рабочие, не пытались войти в один из них, суждено было остаться в нижних слоях, и у них было крайне мало шансов подняться или опуститься.

Во все периоды каждый из вышеупомянутых институтов играл в той или иной степени важную для определенного общества и в конкретный момент истории роль. Армия играет большую роль в период войны и социальных потрясений, но ее значение принижается в мирные периоды. Церковь имела большое значение в средние века, а в настоящее время ее роль уменьшается. Накопление богатств и политическая деятельность имеют огромное значение сейчас, хотя несколько столетий тому назад их значение было менее ощутимым.

Изменяя свою конкретную форму и масштабы, каналы вертикальной циркуляции существуют в любом стратифицированном обществе, и они столь же необходимы ему, как сосуды для кровообращения человеческому организму.

Сорокин Питирим Александрович Человек. Цивилизация. Общество. – М.; Политиздат, 1992. – 542.

Р. МЕРТОН

VII. СВЯЗИ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И АНОМИИ

Расширенное понятие аномии

Понятие аномии, как с самого начала показал Дюркгейм, относится к состоянию относительного отсутствия норм в обществе или группе. Дюркгейм точно определил, что это понятие относится к качествам социальной или культурной структуры, а не к качествам людей, противостоящих этой структуре. Тем не менее стало очевидно, что при использовании данного понятия для

понимания различных форм девиантного поведения оно было расширено скорее по отношению к состоянию людей, чем к их окружению.

Это психологическое понятие аномии было одновременно сформулировано Р. МакИвером и Дэвидом Рисманом. Поскольку их формулировки в основном похожи, все, что может быть сказано об одном, можно сказать об обоих.

Аному, – МакИвер воскрешает относящееся к шестнадцатому веку и давно вышедшее из употребления написание слова, – означает состояние ума человека, у которого подорваны корни его морали, у которого нет больше каких-либо норм, но только несвязные побуждения, у которого нет больше каких-либо представлений о целостности, о народе, о долге. Аномичный человек становится духовно стерильным, ответственным только перед собой, не отвечающим ни перед кем. Он издевается над ценностями других людей. Его единственная вера – философия отрицания. Он живет тонкой линией чувств, пролегающей вне будущего и вне прошлого». И еще: «Аномия является состоянием ума, в котором человеческое восприятие социальной сплоченности – движущая пружина его морального состояния – разрушено или фатально ослаблено».

Как было отмечено, «подход МакИвера является, таким образом, психологическим (то есть аномия для него состояние ума, а не состояние общества, хотя состояние ума может отражать социальное напряжение), и психологические разновидности [аномии] соответствуют элементам (тревога – изоляция – бесцельность), которые формируют субъективный аспект понятия у Дюркгейма». Нет сомнений, что психологическое понятие аномии имеет определенное значение, что оно относится к идентифицируемому «состоянию ума» отдельного человека, как подробное описание психического состояния. Но, несмотря на это, психологическое понятие аномии является составной частью социологического понятия аномии, а не заменителем для него.

Как было показано на предшествующих страницах, социологическое понятие аномии предполагает, что полезно рассмотреть характерное для людей окружение как включающее, с одной стороны, культурную структуру, а с другой стороны, социальную структуру. Допускается, что как бы ни были эти структуры тесно связаны в действительности, в целях анализа их необходимо рассмотреть отдельно, а затем опять вместе. В связи с этим культурная структура может быть определена как то, что формирует ряд нормативных ценностей, регулирующих поведение, общее для членов определенного общества или группы. А к социальной структуре относится то, что формирует ряд социальных отношений, в которые члены общества или группы различным образом включены. Следовательно, аномия рассматривается как распад в культурной структуре, происходящий в особенности тогда, когда существует острое расхождение между культурными нормами и целями и социально структурированными возможностями членов групп действовать в соответствии с данными нормами культуры. Согласно этой концепции культурные ценности могут способствовать возникновению поведения, которое не соответствует направленности самих ценностей.

С этой точки зрения, социальная структура фильтрует культурные ценности, в соответствии с которыми совершаются поступки, легко возможные для людей, имеющих определенный статус в обществе, и трудные или невозможные для других. Социальная структура действует как барьер или как открытая дверь для

поступков, исходящих из культурных установок. Когда культурная и социальная структура недостаточно интегрированы и в первой содержатся требования к поведению, которым препятствует вторая, возникает стремление к нарушению норм, к их отсутствию. Конечно, из этого не следует, что это единственный процесс, создающий социальные условия для аномии; развитие теории и исследований направлено на поиск других типичных причин острой аномии.

Предпринималась попытка усмотреть различие между психологическим и социологическим понятием аномии в различиях между «простой» и «острой» аномией. Простая аномия относится к состоянию нарушения порядка в группе или обществе, в которых между системами ценностей происходят конфликты, проявляющиеся в некоторой степени беспокойства и ощущении разобщенности с группой. Острая аномия относится к девальвации и в крайнем случае к дезинтеграции системы ценностей, которая проявляется в значительной тревоге. Подобное разделение понятий (сформулированное неоднократно, но которым иногда пренебрегают) основано на том, что аномия, как и другие условия общественной жизни, различается по степени и, вероятно, по роду.

В предшествующей главе мы идентифицировали некоторые из процессов, ведущих к аномии, и подробно изложили типологию адаптивных реакций на это состояние и на структурные воздействия, ответственные за большую или меньшую частоту каждой из этих реакций среди различных слоев классовой структуры. Согласно нашей основополагающей предпосылке, общественные классы не только различным образом подвержены аномии, но и различным образом подвержены тому или иному типу реакции на нее. Толкотт Парсонс рассмотрел эту типологию и вывел ее в мотивационных терминах из своей концептуальной схемы социального взаимодействия. Этот анализ исходит из допущения, что ни склонность к девиантному поведению, ни склонность к сохранению равновесия в социальной интерактивной системе не могут развиваться хаотически; напротив, они формируются в более или менее ограниченном числе идентифицируемых направлений. Можно сказать, что девиантное поведение имеет собственные образцы.

По словам Парсонса и Бэлса, «мы рассмотрели девиацию, включающую четыре основных направления, соответствующих, с одной стороны, потребности либо выразить отчуждение от нормативной структуры (включая отказ от привязанности к другому человеку как к цели), либо сохранить вынужденную конформность с нормативным образцом и привязанностью к другому, а с другой стороны, в соответствии с пассивным или активным характером поведения. Таким образом, мы получаем четыре разных вида направленности девиантного поведения: агрессия и бегство в качестве отчуждения и вынужденное действие и вынужденное одобрение в качестве вынужденной конформности. Кроме этого, мы показали, что данная парадигма, независимо выведенная, существенно сходна с парадигмой, ранее предложенной Мертоном для анализа социальной структуры и аномии».

Заметим, что это первое расширение типологии реакций продолжает рассматривать обе структуры – и культурную («нормативный образец»), и социальную (структурированная привязанность к другим людям или отчуждение

от них). Тем не менее характеристика типов реакций дана с точки зрения их пассивного или активного характера. Это означает, что девиантное поведение может включать либо активное «распоряжение ситуацией», направленное на больший контроль над ситуацией, чем требуют [институционализированные] ожидания, или пассивный «отказ от необходимой степени активного контроля», которую требуют эти ожидания. Типы девиантного поведения могут быть далее подразделены благодаря различию между случаями, в которых первичной является либо напряженность в социальных отношениях, либо в культурных нормах, по отношению к которым ожидается конформность. Конкретные проявления реакций на аномическое напряжение (преступность, злодеяние и суицид) и концептуально опосредованные типы реакций (инновация, ритуализм, бегство и мятеж), таким образом, становятся классифицированными как результаты определенных абстрактных качеств интерактивной системы, идентифицированной Парсонсом. Созданная не так давно, эта более сложная классификация типов девиантного поведения уже была широко использована в эмпирических исследованиях.

Показатели аномии

Подобно многим из нас, кто стремится быстро обойти и исследовать эту чрезмерно широкую область, а следовательно, не обращать внимание на частности, Дюркгейм не дал эксплицитного и методичного руководства по различным признакам аномии, а также по приметам отсутствия норм и нарушений в социальных взаимоотношениях. Однако очевидно, что какие-то показатели должны быть разработаны, если понятие аномии должно использоваться в эмпирических исследованиях.

Шаг в этом направлении сделал Лео Сроул в разработке предварительной «шкалы аномии». С одной стороны, шкала включает пункты, относящиеся к человеческому представлению о социальном окружении, а с другой стороны, к человеческому представлению о своем собственном месте среди этого окружения. Точнее, пять пунктов, входящих в эту предварительную шкалу, включают (1) представление, что общественные лидеры безразличны к нуждам людей; (2) представление, что немного может быть совершенно в обществе, которое выглядит в основном непредсказуемым и беспорядочным; (3) представление, что жизненные цели скорее уходят в прошлое, чем реализуются; (4) чувство тщетности и (5) убеждение, что человек не может рассчитывать на своих коллег для социальной и психологической поддержки. Как уточняет Сроул, эта попытка создать шкалу аномии имеет определенную ограниченность и некоторую неполноценность, но здесь заложено начало стандартизации измерений аномии, как ее воспринимают и испытывают люди в группе и обществе.

Данную шкалу можно принять для измерения аномии как субъективно испытываемой; очевидно, необходимо новое измерение аномии как объективного состояния в жизни группы. Бернард Лэндер сделал симптоматичное продвижение к последнему типу измерений. Используя факторный анализ восьми качеств из материалов переписи в американском городе, он идентифицировал две группы переменных, одну из которых он определил как «аномический фактор». Он имел в

виду, что эта группа переменных (высокий рост преступности, большой процент небелых резидентов в районе и небольшой процент собственников жилья) выглядит, в сущности, как характеристика района относительной безнормности и нестабильности. Лэндер первый признал, что данная специфическая группа переменных может измерить фактор аномии в лучшем случае только очень огрубленно. Ее несомненная ограниченность возникает из обстоятельства, с которым регулярно сталкиваются социологи, разрабатывая системы измерений теоретических понятий с помощью привлечения множества социальных данных, которые случайно оказались зафиксированными в статистических выпусках, изданных общественными организациями, а если точнее, из обстоятельства, что эти данные социальных отчетов, которые случайно оказались в их распоряжении, не являются теми необходимыми данными, которые наилучшим образом измеряют понятие. Именно поэтому я назвал оригинальную попытку Лэндера скорее «симптоматическим», чем принципиальным успехом. Простое наличие официальной статистики заставило Дюркгейма использовать такие приблизительные, косвенные и всего лишь предварительные измерения аномии, как профессиональный статус и семейную дезинтеграцию (расторжение брака). И такая же случайность, что отчеты по переписи в Балтиморе (включающие данные о преступности, расовом составе, собственности на жилье) заставили Лэндера использовать эти приблизительные, косвенные и всего лишь предварительные измерения аномии. Прагматические исследования такого рода, конечно, не являются подходящей альтернативой теоретически определяемым признакам понятия. Перемена места жительства может быть косвенным измерением степени нарушения установившихся социальных взаимоотношений. Но очевидно, что существенное усовершенствование измерений связано с получением данных непосредственно о размерах нарушенных социальных взаимоотношений. Так же и с другими объективными компонентами аномии, связанными с нарушениями как в нормах, так и в отношениях. Речь идет не просто о недоступном совершенстве. Мы считаем совершенно очевидным, что в дальнейшем должны быть усовершенствованы и шкала субъективных аспектов аномии, и шкала объективных аспектов. Применение доступных социально-статистических данных является только навязанным практикой временным заменителем.

Из представления о субъективных и объективных признаках аномии возникает новая потребность рассматривать одновременно эти два типа компонентов в исследовании причин и последствий аномии. Конкретнее это означает, что можно было бы систематически сравнивать поведение «аномических» и «экономических» людей, входящих в группу с определенной степенью объективной аномии, с поведением людей того же самого типа, принадлежащих к группе с иной степенью аномии. Исследования такого рода, очевидно, представляют следующий шаг в изучении аномии.

Таким образом, современные теоретические и процедурные исследования несколько уточнили понятие аномии и начали моделировать методы, необходимые для его систематического изучения. Недавно появились содержательные исследования, непосредственно связанные той или другой

частью со структурным и функциональным анализом аномии (о чем шла речь в предшествующей главе).

Тема успеха в американской культуре

Напомним, что мы рассматривали акцентирование денежного успеха как одну из доминантных тем в американской культуре и выявили напряжение, которое данная тема навязывает людям, имеющим разное положение в данной структуре. Конечно, мы не утверждали (как указывали неоднократно), что разобщение между культурными целями и институционально узаконенными средствами возникает только из данного крайнего акцентирования цели. Согласно теории, любое чрезмерное акцентирование достижения (будь то научная продуктивность, накопление личного богатства, а при некотором воображении – победы Дон Жуана) будет ослаблять конформность по отношению к социальным нормам, контролирующим поведение, когда оно предназначено для достижения особых форм «успеха», особенно среди тех, кто находится в неблагоприятном социальном положении в борьбе за успех. Именно этот конфликт между культурными целями (каков бы ни был характер целей) и невозможность использовать институциональные средства создают напряженность, ведущую к аномии.

Цель денежного успеха была избрана для иллюстративного анализа на основе допущения, что она особенно глубоко укоренилась в американской культуре. Это широко известное допущение получило новое подтверждение во множестве исследований по истории и исторической социологии в последнее время. Ирвин Гордон Вилли (в своей подробной монографии об американской доктрине экономического успеха с помощью «самоусовершенствования») показал, что хотя «успех» был по-разному определен в американской культуре (и различным образом среди разных социальных слоев), но другие определения «не получили такого всеобщего признания в Америке, как отождествление успеха с приобретением денег».

Этот сильный акцент на финансовом успехе не является, конечно, особенностью американцев. Давние аналитические наблюдения Макса Вебера до сих пор во многом уместны: «Стремление к приобретению, погоня за прибылью, деньгами, желание иметь как можно больше денег сами по себе не имеют ничего общего с капитализмом [а в настоящем случае – с особенностями американской культуры]. Это стремление существует и существовало среди официантов, врачей, кучеров, артистов, проституток, недобросовестных чиновников, солдат, аристократов, общественных деятелей, игроков и нищих. Можно сказать, что оно было общим для людей всех групп и положений во все времена и во всех странах мира, где существовали или существуют объективные возможности для этого».

Но что определенным образом отличает американскую культуру в этом отношении и что мы считали важным проанализировать в этой связи в предшествующей главе – так это то, что наше «общество оказывает наибольший почет экономическому богатству и социальному восхождению любого своего члена». «Учебник успеха» конца XIX века замечательно изображает это культурное убеждение: «Дорога к счастью, как общественная магистраль, открыта как для

детей нищих, так и для потомков королей. Все платят налоги, все имеют права, и нам остается только извлечь из этого пользу для себя». Особый характер этой культурной доктрины состоит из двух частей: во-первых, борьба за успех не связана с вопросом о том, что у людей есть приобретательские побуждения, уходящие корнями в человеческую природу, но является социально определяемым ожиданием, и во-вторых, эти образцы ожиданий рассматриваются как подходящие для каждого, независимо от его первоначального жребия или места в жизни. Конечно, в реальности нет необходимости в идентичных стандартах достижений для каждого человека в обществе; характер и границы этого продвижения по экономической лестнице могут быть определены по-разному в отдельных социальных слоях. Но преобладающие культурные ориентации придают большое значение этой форме успеха и считают приемлемым, что все должны бороться за него. (Как мы вскоре увидим, от этого далеко до эмпирического утверждения, что определенная часть людей во всех социальных слоях действительно принимает этот акцент в культуре и ассимилировала его в своих личностных ценностных структурах.) Единственное, чему внимают американцы в проповедях и в прессе, в романах и в кино, в курсе формального образования и в ходе неформальной социализации, в различных официальных и личных сообщениях, – большее или меньшее акцентирование моральной обязанности (а также фактической возможности) бороться за денежный успех и достичь его.

Как показал Вилли, эту тему настойчиво пропагандируют вдохновенные лекторы в лекториях, коммерческие библиотечные ассоциации, колледжи бизнеса и огромное число учебников успеха. В доказательство он приводит анализ содержания ряда повсеместно читаемых романов, бесконечно переиздаваемых учебников, используемых в средней школе по всей стране, а также неоднократно подтверждающих данные ценности некрологов некоторых наиболее известных бизнесменов Америки. Кеннет Линн проследил распространенную тему «быстрого обогащения» в романах Теодора Драйзера, Джека Лондона, Дэвида Грэхема Филиппса, Фрэнка Норриса и Роберта Геррика. Ричард Мозер продемонстрировал неизменное присутствие той же самой темы в очевидно неисчерпаемой серии хрестоматий Мак-Гаффи. А в «Репутации американского бизнесмена» Зигмунд Даймонд анализирует большое число некрологов, этих хранилищ морального чувства, опубликованных после смерти Стефана Джирарда, Джона Якоба Астора, Корнелиуса Вандербильда, Дж. Моргана, Джона Рокфеллера, Генри Форда, и выявляет их основную мысль: пока человек «обладает необходимыми качествами, успех будет принадлежать ему в любое время, в любом месте, при любых обстоятельствах».

Данная тема культуры не только предполагает, что денежный успех возможен для всех независимо от общественного положения и что борьба за успех является долгом каждого, но иногда считает, что видимые недостатки бедности являются в действительности преимуществами. По словам Генри Уорда Бичера, именно «жесткий, но добрый дух Бедности говорит им «Работай!» и с помощью труда делает их людьми».

Естественно, так возникает сопутствующая тема, что успех или поражение целиком являются результатом личных качеств: тот, кто совершил ошибку,

должен упрекать только себя самого, так как в соответствии с понятием о человеке, «сделавшем себя», он является человеком, «себя не сделавшим». В той степени, в которой это культурное определение ассимилировали те, кто не добился успеха, неудача представляет двойное поражение: очевидное поражение отставшего в погоне за успехом и подразумеваемое поражение – отсутствие способностей и моральной стойкости, необходимых для успеха. Независимо от объективной истины или ложности этой доктрины в любом частном случае, важно то, что ее нелегко исследовать: распространенное определение требует духовной дани от тех, кому она не по силам. В значительной части случаев именно таков культурный фон, когда угроза поражения побуждает людей использовать такую тактику, которая сулит «успех» вне закона и морали.

Следовательно, моральный мандат на достижение успеха оказывает воздействие, заставляя преуспеть с помощью честных средств, если возможно, и с помощью грязных, если необходимо. Моральные нормы, конечно, продолжают повторять правила игры и призывать к честной игре, в то время когда поведение отклоняется от нормы. Иногда тем не менее даже руководства по достижению успеха настоятельно советуют людям «прийти и победить», используя все наличные средства для успешной борьбы в соревновании», как в анонимном трактате 1878 года «Как стать богатым». А «в период между 1880 и 1914 годами популисты, чиновники, публицисты и социалисты заглянули за моральный фасад бизнеса, чтобы рассмотреть его практику. Полученные сведения вряд ли соответствовали теме о богатстве, добытом добродетелью. Их выводы не были слишком новыми для скептиков, всегда подозревавших, что нечто иное, чем добродетель, замешано в приобретении денег. Действительно новыми были только документы – конкретные свидетельства, что величайшие магнаты были магнатами-грабителями, людьми, которые прокладывали свой путь благодаря подкупу законодателей, присвоению ресурсов, организации монополий и уничтожению конкурентов».

Таким образом, эти современные исследования подтверждают то, что часто отмечалось ранее: когда в культуре существует чрезвычайное акцентирование цели успеха, ослабевает конформность к институционально предписанным методам продвижения к этой цели. Понятие «амбиция» почти тождественно значению своего этимологического корня. «Одурманивать голову» продолжают и сейчас, и не только в той форме, которую практиковали мелкие политики Древнего Рима, домогаясь голосов от всех и каждого в своем «избирательном округе» и используя различные коварные замыслы для обеспечения нужного количества необходимых голосов. Именно таким образом установленные в культуре цели направлены к оправданию всех тех средств, которые дают человеку возможность достичь их. Именно это мы назвали в предшествующем очерке процессом «деморализации», в котором нормы лишаются своей силы для регуляции поведения, и возникает «безнормность» как компонент аномии.

Тем не менее этот процесс, создающий аномию, не должен продолжаться беспрепятственно. При условиях, которые мы еще определим, могут развиваться компенсирующие тенденции. До некоторой степени, судя по

историческим фактам, так было и в американском обществе. Культурное акцентирование «успеха, открытого для всех», стало смягчаться, возможно, отчасти как реакция на растущее осознание структуры возможностей и отчасти как реакция на временами наблюдаемые деморализующие последствия этой идеи в чистом виде. Это говорит о том, что хотя первоначальная идея и продолжает существовать, в ней иногда появляются ограничения и оговорки, советы умерить свои стремления. Вот что советует своим читателям Оризон Свит Марден, популярный миссионер доктрины успеха: «На самом деле большинство из нас не должно надеяться когда-либо разбогатеть». Учебник успеха, опубликованный в начале столетия, предлагает философию утешения, которая определяет успех по-новому: «Быть простым солдатом в строю так же неплохо, как и генералом, который командует. Мы не можем все быть генералами. Если вы хороший солдат в хорошей группе и имеете хорошую репутацию, это само по себе успех». Даже такие журналы, как «Американский банкир», считают возможным утверждать, что только некоторым из нас, разделяющим общую участь, суждено накопить большое богатство или достичь заметного поста. Число подобных постов и шансов для подобного накопления никогда не совпадало и не будет совпадать с числом энергичных, честолюбивых и способных людей, которые надеются достичь их. Эту неприятную истину литература об успехе ненавидит.

Но хотя эти доктрины, приспособленные к очевидной реальности, находят периодическое выражение и дают рациональное объяснение для медленного и ограниченного продвижения в экономической иерархии, Вилли и другие современные исследователи предмета показывают, что все же эти доктрины являются второстепенными для культуры нашего времени. В значительной степени идея успеха до сих пор доминирует в американской культуре.

Но если средства коммуникации, обращенные к поколениям американцев, продолжают повторять проповедь успеха, из этого не следует, что американцы во всех группах, регионах и классовых слоях равным образом ассимилировали этот ряд ценностей. Ценности, выраженные в популярной культуре, не связаны неизменно и неразрывно с ценностями реальной жизни. Тем не менее мы бы глубоко ошиблись, предположив, что они полностью не связаны просто потому, что они не тождественны. Отбросив предположения, мы исследуем вопрос, насколько широко исследуемые ценности были ассимилированы. Именно поэтому во введении ко второй части этой книги было сказано, что «среди проблем, избранных для дальнейшего исследования, назовем следующие: степень фактической ассимиляции одних и тех же индуцированных культурой ценностей и целей в различных социальных слоях американского общества». В дальнейшем мы разъясним эту проблему, рассмотрев исследования, для которых она была центральной.

Различия в ассимиляции ценности успеха

В последней статье Герберт Г. Хаймен обратился к сопоставлению и повторному анализу данных, доступных в обзорах общественного мнения, которые

прямо или косвенно связаны с распространением ценности успеха среди экономических и социальных слоев. Он первый сформулировал общий вопрос: «Очевидно, анализ Мертона допускает, что культурные ценности в действительности усваиваются людьми из низших классов». Принимая во внимание данные, которые будут представлены впоследствии, очень важно сформулировать это допущение более точно, модифицируя его: анализ допускает, что некоторые люди в низших экономических и социальных слоях действительно принимают ценность успеха. Ибо, согласно анализу, главное не то, что все или большинство членов низших слоев подвержены воздействию, вызывающему неконформистское поведение различных видов (размещенных в типологии адаптации), но только то, что по сравнению с высшими слоями среди них больше тех, кто подвержен этому давлению. Согласно рассматриваемой гипотезе, девиантное поведение является все же второстепенным образцом, а конформность – обусловленным образцом. Поэтому достаточно, что значительное количество нижних слоев ассимилируют эту цель, чтобы оказаться дифференцированно подверженными этому воздействию в результате их относительно небольших возможностей для достижения денежного успеха.

Далее Хаймен делает предварительные замечания к своей статье, указывая, что, «очевидно, необходимо дать эмпирические доказательства, в какой степени люди в различных слоях ценят культурно предписанную цель успеха, верят, что возможности доступны для них, и принимают другие ценности, которые могли бы содействовать или помешать им в их усилиях двигаться по направлению к цели. Следовательно, эта статья определенным образом является дополнением к теоретическому анализу Мертона». Кроме того, если рассматриваемые данные соответственно связаны с гипотезой, то они подкрепляют ее формулировку. Верно, что анализ требует эмпирических свидетельств о «степени, в которой люди в различных слоях» придают большое значение цели успеха; очевидно, что ценность успеха не сможет стать мотивацией, если люди не преданы ей в значительной степени. Но дело в том, что данные обзора не дают возможность Хаймену сделать различие между степенями приверженности цели, но только определить относительную частоту, с которой люди в выборках, взятых из нескольких социальных слоев, выражают некоторую неизвестную степень признания цели успеха и связанных с ней ценностей. Из этих данных видно, что дальнейшие исследования хорошо бы направить на изучение интенсивности, а также степени, в которой эти ценности приняты в различных группах, социальных слоях и сообществах.

Таким образом, мы должны отметить (в соответствии с гипотезой, изложенной в предшествующей главе), что значительное количество, а не все или большая часть людей в нижних социальных слоях ассимилируют «наказ» культуры – добиваться денежного успеха. И мы имеем в виду настоящую ассимиляцию этой ценности, а не просто вынужденное согласие с ней на словах. Эти две оговорки создают контекст для определения теоретического значения эмпирических данных, собранных в своевременной и краткой статье Хаймена.

В целом совокупность данных (которые мы не рассматриваем здесь подробно, поскольку они легкодоступны) постоянно демонстрирует различия в пропорциях как среди взрослых, так и среди молодежи в низших, средних и

высших социальных слоях, которые позитивно ориентированы на профессиональный успех и на общепринятые средства, содействующие достижению подобного успеха. Например, один национальный обзор мнений в конце тридцатых годов XX века обнаружил классовые различия в мнениях о профессиональных возможностях. Они были зарегистрированы в ответах на вопрос: «Считаете ли вы, что в наши дни любой молодой человек, экономный, способный и честолюбивый, имеет возможность преуспеть, иметь свой собственный дом и зарабатывать \$ 5000 в год?» Среди «преуспевших» 53% подтвердили такое мнение по сравнению с «только» 31% среди «бедных», как пишет Хаймен. Другой национальный опрос выявил 63% профессиональных и административных служащих, выразивших свою уверенность, что впереди хороший шанс для продвижения выше своей настоящей позиции, по сравнению с 48% заводских рабочих; более того, 58% первой группы (служащие на более высоких должностях) подтвердили, что упорная работа проложит путь к повышению, в то время как во второй группе (рабочие) этого оптимистического взгляда придерживались 40%.

К этим данным, приведенным Хайменом, мы можем добавить другие, взятые из социологического изучения белых и негров, живущих в бедных жилых районах. Более 500 резидентов на различных уровнях в нижней части профессиональной иерархии изложили свою оценку возможности для продвижения в своей профессиональной сфере в целом и на своем рабочем месте в частности. Выявлено три значительных образца оценки. Во-первых, существует образец возрастающего оптимизма в связи с шансами для «достижения успеха» в профессии в целом, они выше на каждом более высоком уровне в этой иерархии работы. Именно реальное существование других людей на более низком профессиональном уровне поддерживает убежденность в возможности карьеры для человека, который находится на относительно высоком уровне. Среди негров на канцелярской или квалифицированной работе 63% уверены, что шансы для продвижения в их профессии хорошие или средние, по сравнению с 44% негров на полуквалифицированной работе, 31% на неквалифицированной или в домашнем бытовом обслуживании. Хотя это не декларируется, тот же самый образец существует среди белых.

Во-вторых, во многом тот же самый образец (хотя со значительно сокращенным количеством вариаций) встречается при оценке шансов, преобладающих на собственном рабочем месте. Чем выше уровень работы, тем больше часть тех людей, которые уверены, что шансы для продвижения на их рабочем месте хорошие или средние. Среди негров процент, отражающий их оптимизм, – 43, 32 и 27; среди белых – 58, 47 и 44.

Тем не менее третий образец в оценке возможностей явно отличает виды на будущее негров и белых рабочих (как совокупностей). Белые рабочие склонны не усматривать большие различия между перспективами в профессии в целом и на их собственном рабочем месте: что они считают верным в целом, они считают верным и в непосредственном окружении. Среди негритянских рабочих, особенно среди тех, кто находится на несколько более высоком уровне работы, эти оценки изменяются. Несмотря на то как они оценивают возможности в их сфере занятости

в целом, они склонны к крайнему пессимизму в оценке возможностей на их рабочем месте. По-видимому, данная статистика профессиональных ожиданий демонстрирует обычное убеждение негритянских рабочих (любого профессионального уровня), что они отстранены от равноправного доступа к продвижению.

К этим данным по классовой и расовой дифференциации в убеждениях о профессиональных возможностях могут быть добавлены данные, цитируемые Хайменом, по классовой дифференциации в оценках формального образования как средства для расширения перспектив профессионального успеха. Например, значительно большая часть высших социальных слоев (чем низших) выражают уверенность, что «определенное обучение в колледже» требуется, чтобы «неплохо устроиться в мире», с другой стороны, 91% «преуспевающих» людей, опрошенных в национальном обзоре, в сравнении с 68% бедных людей сказали, что они скорее предпочитают, чтобы их дети ходили в колледж, чем получили работу сразу после окончания средней школы; далее, 74% мальчиков из «богатых и преуспевающих» семей в сравнении с 42% мальчиков из «низших классов» предпочитают не работу, а обучение в колледже как продолжение образования в средней школе; и в заключение этой выборки из многочисленных данных, обобщенных Хайменом, 14% юношей – выпускников средних школ из «бедных» семей выразили предпочтение работе, которая дает высокий доход, но связана с большим риском, по сравнению с 31 % юношей из семей служащих в бизнесе или профессионалов.

Таким образом, эти доступные, хотя и недостаточные, данные постоянно демонстрируют, что в определенных социальных слоях (и возможно, среди негров и белых) различная часть людей поддерживает культурно сформированное мнение о возможности профессионального успеха, стремится к высокооплачиваемой, хотя рискованной работе, признает ценность высшего образования как средства для профессионального продвижения. Но Хаймену не удалось заметить в своем во многих отношениях поучительном и полезном сопоставлении данных один важный вопрос. С точки зрения гипотезы, выдвинутой в предшествующей главе, проблема не в относительной части людей из определенных социальных классов, принимающих культурную цель успеха, но в том, каково абсолютное число таких людей. Если мы скажем, что больший процент в высших социальных и экономических слоях прочно придерживается культурной цели успеха, это не значит, что так поступает большее число людей из высших, чем из нижних классов. Действительно, поскольку число людей в наиболее высоких слоях (что установлено в этих исследованиях) является значительно меньшим, чем число людей в нижних слоях, время от времени возникает проблема, что больше людей из низшего класса, чем людей из верхнего класса, остаются верными этой цели.

Из-за того что Хаймен сосредоточился почти исключительно на сравнении количественных соотношений в нескольких социальных слоях, имеющих ту или иную ценностную ориентацию (вопрос, который, конечно, и сам по праву вызывает интерес), Хаймену не удалось рассмотреть факты, прямо соответствующие данной гипотезе. Ведь, как было неоднократно сказано, гипотеза не требует, чтобы пропорционально большая часть или даже просто большее число людей в нижних социальных слоях было ориентировано на цель успеха; она требует только, чтобы

таким образом было ориентировано значительное число людей. Поскольку существует расхождение между культурно вызванными высокими стремлениями и социально структурированными препятствиями для реализации этих стремлений, считается, что именно это расхождение оказывает давление, ведущее к возникновению девиантного поведения. Под «значительным числом», следовательно, подразумеваем число достаточно большое для того, чтобы привести к более частому расхождению между целями и возможностями среди слоя нижних классов, чем среди слоя более преуспевающих высших классов. Вполне возможно (хотя адекватных эмпирических данных по этому вопросу все еще не хватает), что это расхождение является более частым в слое нижних классов, чем в средних классах, поскольку очевидно, что среди большого числа американцев среднего класса, принимающих цель успеха, достаточно невелика часть тех, у кого есть серьезные препятствия на пути к этой цели.

Во всяком случае, существует фундаментальное аналитическое требование: сделать систематическое различие между данными по относительным частям и по абсолютному числу в нескольких социальных слоях, принимающих культурную цель, а также признать, что именно частота расхождения между целью и социально структурируемым доступом к ней имеет теоретическое значение. Дальнейшие исследования должны разрешить сложную проблему получения систематических данных как по целям, так и по структурированному доступу к возможностям, а также проанализировать их совместно, для того чтобы рассмотреть, будет ли сочетание высоких ожиданий и небольших возможностей встречаться с существенно разной частотой в различных социальных слоях, группах и сообществах и будут ли, в свою очередь, эти различия связаны с различной интенсивностью девиантного поведения. Дадим перечень необходимых данных по социально сформированным различиям:

- 1) в воздействии культурной цели или норм, регулирующих поведение, ориентированное на эту цель;
- 2) в принятии цели или норм как моральных мандатов или усвоенных ценностей;
- 3) в относительной доступности цели: жизненные шансы в структуре возможностей;
- 4) в степени несоответствия между принятой целью и ее доступностью;
- 5) в степени аномии;
- 6) в интенсивности девиантного поведения различного вида, представленного в типологии форм адаптации.

Очевидно, что нелегко собрать адекватные данные по всем этим различным, хотя и связанным пунктам. До настоящего времени социологи должны были работать с явно приблизительным и несовершенным измерением почти всех этих переменных (например, используя уровень формального образования как показатель доступа к возможностям). Но в социологии все больше возрастает проблема: должны быть определены переменные, имеющие стратегическое значение для теории, должно быть разработано совершенное измерение для них. Существует возрастающее взаимодействие между теорией, которая формулирует вопрос о значительности определенных переменных; методологией, которая

разрабатывает логику эмпирического исследования, включая эти переменные; и методикой, которая развивает эти средства и процедуры для измерения переменных. Как мы уже видели, недавно было положено определенное начало в разработке измерений как субъективных, так и объективных компонентов аномии. Не будет слишком сильным допущением, что эти измерения будут продолжать совершенствоваться и что соответствующие измерения этих переменных будут развиваться. В частности, будет усовершенствовано измерение важного, но по-прежнему неопределенно используемого понятия, названного Вебером «жизненными шансами» в структуре возможностей.

Таким образом, мы можем выявить социальную топографию аномии. Мы можем, например, определить место в структуре американского общества, где существует максимальное расхождение между культурными ценностями, принимаемыми людьми в стремлении к определенным целям, и сформировавшимися возможностями жить согласно эти ценностям. Подобное исследование может натолкнуться на легкомысленную склонность – допустить, что все американское общество одинаково подвержено аномии. Напротив, мы можем исследовать статусы в структуре американского общества, которые влекут величайшие трудности для людей жить в согласии с нормативными требованиями. И именно это означает утверждение, что расхождение между принятыми нормами и возможностями для социально вознаграждаемой конформности с этими нормами «вызывает напряжение», в связи с чем возникает девиантное поведение и аномия.

Насколько необходимо определить причины различной степени аномии в различных секторах общества, настолько же необходимо исследовать различия в адаптации к аномии и силы, создающие скорее один, чем другой тип адаптации. Множество современных исследований связано с этой общей проблемой.

Аномия и формы девиантного поведения

Инновация

Первую форму девиантного поведения, определенную в типологии, изложенной в предшествующей главе, мы описали как инновацию. Вспомним, что она относилась к отрицанию институциональной практики и сохранению культурных целей. Она кажется характеристикой существенной части девиантного поведения, которое получило самое большое исследовательское внимание, а именно той части, которая не совсем точно подводится под всеобъемлющие понятия «преступление» или «правонарушение». Поскольку закон дает точные критерии для этих форм поведения, они очевидны и относительно легко попадают в центр внимания исследователей. Напротив, другие формы поведения, которые являются отклонениями от принятых норм с точки зрения социологии, хотя и не с точки зрения закона (например, то, что мы называем «бегство»), являются менее очевидными и получают меньше внимания.

Некоторые исследования недавно показали, что общепринятые понятия «преступление» и «правонарушение» могут скорее запутать, чем уточнить наше понимание многочисленных разновидностей девиантного поведения, к которому

они относятся. Оберт, например, замечает, что «определение преступления в законе... возможно, [отражает] мало общего между всеми феноменами, подведенными под это понятие. И это, по-видимому, также верно для «канцелярских» преступлений. Этот тип может также отличаться во многом по своей природе и может нуждаться во вполне различных причинных объяснениях».

Когда мы применяем к определенному классу поведения термин «преступление» или «правонарушение», развивается тенденция искать в первую очередь сходство (существенное или не очень) между чертами поведения, включенного в этот класс. Например, под определение в общем понятии «подростковые правонарушения» попадают вполне различные с социологической точки зрения формы поведения молодежи. Это часто связано с допущением, что широкое разнообразие поведения или люди, включенные в одну или другую форму поведения, с теоретической точки зрения относятся к одному роду. Но мы считаем спорным, что поведение молодого человека, который похитил бейсбольные принадлежности, является очень похожим на поведение молодого человека, который периодически нападает на членов внешней группы.

Более того, решение включить широкую область поведения в одну рубрику «преступление» или «правонарушение» ведет к допущению, что весь круг поведения, относящегося к этой категории, будет объяснять единственная теория. Это не слишком далеко по своей логике от допущения Бенямина Раша или Джона Брауна, что скорее должна быть одна теория болезни, чем различные теории болезни – туберкулеза или артрита, синдрома Менъере или сифилиса. Подведение безгранично разнообразных состояний процессов под одно название «болезнь» приводит некоторых ревностных медицинских систематиков к убеждению, что их задача – развивать единственную всеохватывающую теорию болезни. Точно также, по-видимому, признанная идиома (как разговорная, так и научная), которая относится к «подростковой преступности» как к единой сущности, и приводит некоторых к убеждению, что должна быть единственная основополагающая теория «ее» причинности. Пожалуй, сказанного достаточно для понимания того, что означает отношение к преступлению или юношеским правонарушениям как к общему понятию; такое отношение может возникнуть на пути теоретической формулировки проблемы.

Как только мы признаем, что поведение, обычно описываемое как преступное или злонамеренное, является с социологической точки зрения очень разным и несоизмеримым, то становится очевидно, что рассматриваемая теория не претендует на объяснение всех подобных форм девиантного поведения. Альберт К. Коэн в своей теоретически тонкой книге предполагает, что эта теория является высоковероятной как объяснение для взрослой профессиональной преступности, а также правонарушений против собственности, совершаемых некоторыми наиболее старшими и почти профессиональными молодыми ворами. «К сожалению, – продолжает он, – она терпит неудачу в объяснении не утилитарных свойств субкультуры... Поскольку сторонник преступной субкультуры просто использует незаконные средства с целью получения экономических благ, то он мог бы демонстрировать больше уважения к благам, которые он в итоге получает. Более того, деструктивность, непостоянство, эпатаж и массовый негативизм,

которые характеризуют преступную субкультуру, находятся вне компетенции этой теории».

Первый и основной вопрос, поставленный Коэном, вызывает одобрение и заслуживает повторения. Предшествующая теория аномии предназначена для объяснения некоторых, но далеко не всех форм девиантного поведения, обычно описываемых как криминальные или злонамеренные. Вторым вопросом является важным (если он правильно сформулирован), но в любом случае его достоинство – в привлечении внимания будущих исследователей к его осмыслению. Этот вопрос заключается в том, что теория социальной структуры и аномии не объясняет «не утилитарный» характер большей части поведения, встречающегося в группах правонарушителей. Но для дальнейшего исследования этого предмета необходимо напомнить (в целях теоретической ясности), что эта теория не утверждает, что возникающее девиантное поведение рационально рассчитано и утилитарно. Вместо этого она сосредоточена на сильном напряжении, возникающем из-за расхождения между стимулируемыми культурой целями и социально структурированными возможностями. Реакции на это напряжение с последующей нагрузкой на людей, подверженных им, предполагают значительную степень фрустрации и нерационального или иррационального поведения. «Деструктивность» часто бывает определена психологически как одна из форм реакции на продолжительную фрустрацию. Точно так же, очевидно, «массовый негативизм» может быть истолкован (без включения в теорию новых *ad hoc* переменных) как постоянное отрицание авторитетов, которые олицетворяют противоречие между законными культурными стремлениями и социально ограниченными возможностями.

Тем не менее существует, по-видимому, случай, который не объясняется непосредственно теорией социальной структуры и аномии: «изворотливость» и «эпатаж», наблюдаемые у некоторых молодых людей, помогают им осуществлять девиантное поведение, поддерживаемое группой. Ибо причины этих свойств девиантного поведения необходимо предварительно искать в социальном взаимодействии этих сходно мыслящих людей с девиантным поведением, которые взаимно усиливают свои девиантные установки и поведение. Согласно теории, такое поведение является результатом более или менее общей ситуации, в которой они находятся. Именно к этой фазе всеобщего процесса поддержки бандой девиантного поведения Коэн в первую очередь применяет свой поучительный анализ. Но, как впоследствии показано в его книге, перед проведением анализа типов «решения» проблем, с которыми «несовершеннолетние правонарушители» сталкиваются в своем непосредственном социальном окружении, нам необходимо объяснить различную частоту, с которой эти проблемы возникают. В этой части анализа Коэн действительно исследует социальные и культурные источники этих воздействий по большей части в тех же терминах, как те, которые рассматривали мы. Его тщательный социологический анализ значительно продвинул наше понимание определенных форм девиантного поведения, обычно встречающихся в преступных группах, и это было достигнуто благодаря расширению структурно-функциональной теории того типа, который мы сейчас рассматриваем.

В исследовании преступной субкультуры Коэн, конечно, непосредственно продолжает предшествующие исследования Шоу, Мак-Кея и особенно Трашера. Тем не менее он отмечает, что эти исследования были принципиально связаны с проблемой, как преступная субкультура передается молодежи, а он обращается к связанной с ней проблеме, рассматривая причины этого культурного образца. Во многом таким же образом можно провести различие между теорией, которая относится только к реакциям людей на культурно-стимулируемое воздействие (такая теория развивалась Карен Хорни, например), и теорией, которая относится также к воздействиям совокупных и иногда социально организованных реакций на саму нормативную структуру.

Социальный процесс, связывающий аномию и девиантное поведение. Чтобы поставить эту проблему в ее ближайшем теоретическом контексте, мы должны рассмотреть возникновение и рост аномии как результат продолжающегося социального процесса, а не просто как состояние, которое случайно возникло. В этом контексте процесс может быть предварительно изображен следующим образом. Имея объективно невыгодную позицию в группе, а также различные личные особенности, некоторые люди более, чем другие, подвержены напряжению, возникающему из расхождения между культурными целями и эффективным способом их реализации. Они являются, следовательно, более восприимчивыми для девиантного поведения. В некоторой части случаев, зависящих еще и от управляющей структуры группы, эти отклонения от институциональных норм социально вознаграждаются «успешным» достижением цели. Но эти девиантные способы достижения цели происходят в социальной системе. Девиантное поведение, следовательно, влияет не только на людей, которые сами включаются в него, но некоторым образом также влияют на других людей, с которыми они взаимосвязаны в системе.

Возрастающая частота девиантного, но «успешного» поведения стремится преуменьшить и (как крайняя возможность) отменить законность институциональных норм для других в системе. Таким образом, этот процесс расширяет степень аномии внутри системы настолько, что другие люди, которые не реагировали в форме девиантного поведения при относительно слабой аномии, сталкиваясь с первыми, начинают поступать таким же образом, так аномия распространяется и интенсифицируется. Это, в свою очередь, создает более острую аномическую ситуацию для остальных первоначально менее восприимчивых людей в социальной системе. Таким образом, аномия и возрастающая интенсивность девиантного поведения могут быть поняты как взаимодействие в процессе социальной и культурной динамики, с кумулятивно нарастающими разрушительными последствиями для нормативной структуры, если не введены в действие противостоящие механизмы контроля. В каждом изучаемом специфическом случае, следовательно, очень важно, как мы писали ранее, определить контролирующие механизмы, которые «снижают напряжение, возникающее из видимого (или реального) противоречия между культурными целями и социально ограниченным доступом» к ним.

Новые гипотезы

В предыдущем разделе этой главы рассмотрены данные, связанные с формами реакции на аномию, подведенными под эмоционально и этически нейтральное понятие «инновация»: использование институционально запрещенных средств для достижения культурно-ценной цели. Перед тем как обратиться к данным по другим основным типам реакции – ритуализму, бегству и мятежу, мы должны снова подчеркнуть, что общая теория связи социальной структуры и аномии не ограничена специфической целью денежного успеха и социальными препятствиями к ее достижению. Теория находила применение, например, для проблемы междисциплинарных исследований в науке, для проблемы массовой коммуникации, для проблемы отступлений от религиозной ортодоксии и в случае конформности к социальным нормам и отклонений от них в военных тюрьмах – проблемы, которые, по крайней мере при первом взгляде на них, вне нашей теории показались бы имеющими мало общего и, конечно, мало общего с господствующей целью денежного успеха. Как было сказано при первоначальном описании теории, «денежный успех рассматривается как основная культурная цель» только «ради упрощения проблемы... хотя, конечно, существуют альтернативные цели в хранилище общих ценностей». С точки зрения общей теории, любые культурные цели, которые получают чрезвычайное и лишь незначительно смягчаемое акцентирование в культуре группы, будут служить ослаблению акцентирования институциональной практики и вызову аномии.

Также необходимо повторить, что типология девиантного поведения далека от того, чтобы ограничиться поведением, которое обычно описывают как криминальное или преступное. С точки зрения социологии, в других формах отступления от регулирующих норм нет ничего или почти ничего, что сталкивалось бы с установленным в стране правопорядком. Простая идентификация некоторых типов девиаций сама по себе сложная проблема для социологической теории, которая разрешается постепенно. Например, значительный теоретический прогресс был осуществлен с помощью концепции Парсонса, согласно которой болезнь в одном из ее принципиальных аспектов необходимо «определить как форму девиантного поведения и что элементы мотивации для девиации, которые выражены в роли больного, можно дополнить другими, иначе выраженными, включая типы вынужденной конформности, которые не считаются девиантными в обществе».

Есть и другой пример: поведение, которое описано как «сверхконформизм» или «сверхуступчивость» по отношению к институциональным нормам, было проанализировано в социологии как девиантное, даже если оно на первый взгляд кажется проявлением сверхконформизма. Как видно из типологии реакций на аномию, они являются особыми видами поведения, которое в противоречии с их очевидным проявлением (конформность к институциональным ожиданиям) представляет отклонение от этих ожиданий, что может быть обнаружено в дальнейшем социологическом анализе.

В заключение в качестве преамбулы к данному обзору типов девиантного поведения следовало бы отметить еще раз, что с точки зрения социологии не все

подобные отклонения от господствующих норм группы являются неизбежно дисфункциональными для основных ценностей и адаптации группы. Соответственно строгая и несомненная приверженность всем преобладающим нормам может быть функциональной только в группе, которой никогда не было: а именно в такой группе, которая сама абсолютно статична и неизменна и при этом находится в таком социальном и культурном окружении, которое также является статичным и неизменным. Некоторая (неизвестная) степень девиации от современных норм, вероятно, является функциональной для основных целей во всех группах. Определенная степень «инновации», например, может иметь своим результатом формирование новых институционализированных образцов поведения которые являются более подходящими, чем старые для реализации основных целей.

Более того, мы считаем недалеким взглядом и скрытой этической оценкой допущение, что девиантное поведение, которое дисфункционально для насущных ценностей группы, является также этически несовершенным. Ибо, как мы могли часто заметить в этой книге, понятие социальной дисфункции не является современной терминологической заменой для «безнравственности» или «внеэтической практики». Особый образец поведения, который отличается от господствующих в группе норм, может быть дисфункциональным, снижая стабильность группы или уменьшая ее надежды на достижение целей, которые имеют для нее ценность. Но, судя по тому или иному ряду этических стандартов, такими могут быть нормы группы, которая находится в затруднительном положении, а не инноватора, который отрицает их. Один из действительно великих людей нашего времени изложил это с характерной пронизательностью и красноречием.

В первобытном племени каждый класс имеет свою определенную Мойру, или удел, свою Эргон, или обязанность, и все идет как следует, если каждый класс и каждый человек осуществляет свою Мойру, исполняет свой Эргон и не нарушает или не злоупотребляет Эргоном и Мойрой других. На современном языке, у каждого есть своя социальная обязанность для исполнения и свои последующие права. Это древняя Фемида (закон или правосудие персонифицированные и воплощенные в то, что «сделано»); но Фемида благодаря воображению расширяется и делает больше положительного. Фемида, которая может призвать не просто умереть за свою страну – старые племенные законы подразумевают это, – но умереть за правду, или, как он объясняет на прекрасных страницах во второй книге, игнорировать полностью конвенциональный закон вашего общества ради истинного закона, от которого отреклись и который забыли. Ни один из читателей не сможет легко забыть отношение к праведному человеку в злом и ошибочном обществе: он должен был подвергнуться бичеванию, ослеплен и, наконец, посажен на кол или распят; общество, которое приговорило его к такому наказанию, не понимает его, поскольку он является праведным и выглядит полной противоположностью общества, и, несмотря на это, для него лучше так страдать, чем следовать за толпой в несправедных поступках.

Не стоило бы повторять все это, если бы не столь частое допущение, что девиантное поведение является неизбежно эквивалентным социальной дисфункции, а социальная дисфункция, в свою очередь, нарушает этический

кодекс. В истории каждого общества, вероятно, есть свои культурные герои, которые считаются героями именно потому, что они имели мужество и проницательность отойти от норм, которые признаются в группе. Как мы хорошо знаем, мятежники, революционеры, нонконформисты, индивидуалисты, еретики и отступники прежнего времени часто становятся героями современной культуры.

Следует также еще раз повторить, поскольку это легко забывается, что, сосредоточив эту теорию на культурных и социальных источниках девиантного поведения, мы не предполагаем, что подобное поведение является типичной или даже единственной реакцией на воздействие, которое мы рассматривали. Это анализ различных типов и интенсивности девиантного поведения, а не эмпирическое обобщение ради вывода, что все, кто подвержен этому давлению, реагируют через девиацию. Теория только полагает, что именно люди, локализованные в тех участках социальной структуры, которые в наибольшей мере испытывают это давление, вероятнее всего продемонстрируют девиантное поведение. Однако в результате действия компенсирующих социальных механизмов даже наиболее напряженные положения не всегда вызывают девиацию; конформность стремится сохранить формальную реакцию. Среди компенсирующих механизмов, как предполагалось в предшествующей главе, – доступ к альтернативным целям в хранилище общих ценностей. В той степени, в какой культурная структура придает ценность этим альтернативам, а социальная структура дает доступ к ним, система остается чем-то стабильным. Потенциальные девиации могут все же адаптироваться с помощью дополнительного ряда ценностей. Исследование было начато с изучения таких альтернатив как препятствий для девиантного поведения.

В кратких итогах, таким образом, следует подчеркнуть, что (1) данная теория относится к целям различных видов, предпочитаемым в культуре, а не только к цели денежного успеха, которая рассматривалась в качестве иллюстрации; (2) что в теории выделены формы девиантного поведения, которые могут быть далеки от тех, которые представляют нарушение закона; (3) что девиантное поведение не обязательно является дисфункциональным для эффективной деятельности и развития группы; (4) что понятие социальной девиации и социальной дисфункции не служит прикрытием для этических предпосылок; и (5) что альтернативные культурные цели дают основу для стабилизации социальной и культурной системы.

Ритуализм

В соответствии с типологией ритуализм относится к образцу реакции, в которой определенные культурой стремления отвергаются, в то время как человек вынужденно продолжает придерживаться институциональных норм. Когда это понятие было введено, был задан вопрос, представлено ли здесь действительно девиантное поведение, так как это понятие является чем-то вроде терминологического каламбура. Поскольку адаптация является фактически внутренним решением и поскольку внешнее поведение является институционально допустимым, хотя и не предпочитаемым с точки зрения культуры, оно вообще не

рассматривается как «социальная проблема». Друзья тех людей, которые адаптируются подобным образом, могут вынести суждение с точки зрения культурных предпочтений и могут испытывать к ним жалость, они могут в индивидуальных случаях чувствовать, что «старый Джонси, конечно, не может выбраться из привычной колеи». Описывается ли это как девиантное поведение или нет, оно, очевидно представляет отклонение от культурной модели, согласно которой люди обязаны активно бороться, предпочтительно с помощью институционализированных методов, чтобы продвигаться вперед и вверх в социальной иерархии.

Таким образом, предполагалось, что острое беспокойство о статусе в обществе, которое акцентирует мотив достижения, может вызвать девиантное поведение «сверхконформности» и «сверхуступчивости». Например, подобная сверхуступчивость может быть обнаружена среди «бюрократических виртуозов»: некоторые из них могут чрезмерно приспосабливаться именно потому, что они испытывают чувство вины, вызванное их предыдущим нонконформистским отношением к правилам. Кстати, существует очень мало систематических данных, подтверждающих эту гипотезу, разве что психоаналитические исследования двадцати «бюрократов», которые обнаружили, что они становятся вынужденными неврастениками. Однако даже эти скудные данные не связаны напрямую с нашей теорией, которая должна иметь дело не с типами личности, что важно для других целей, но с типами исполнения ролей в реакции на социально структурированную ситуацию.

Более прямое отношение имеют исследования поведения бюрократов Питера М. Блау. Он предполагает, что наблюдаемые случаи сверхконформизма «не вызваны тем, что ритуальная приверженность существующему способу действия должна стать неизбежной привычкой» и что «ритуализм происходит не столько от чрезмерной солидарности с инструкциями и сильной привычки к закрепившейся практике, сколько от недостатка уверенности в важных социальных взаимосвязях в организации». Короче, именно тогда, когда структура ситуации не уменьшает беспокойство о статусе и беспокойство о возможности соответствовать институционализированным ожиданиям, люди в этой организации реагируют со сверхподчиненностью.

Ситуации, сформированные социальной структурой, которая провоцирует ритуалистическую реакцию сверхконформизма на нормативные ожидания, были экспериментально и, конечно, только гомологично воспроизведены среди козлов и овец. (Читатель, конечно, не поддастся искушению сделать вывод, что нет более символически подходящих животных, чтобы выбрать их для этой цели.) Ситуация, провоцирующая ритуализм, мы напомним это, включает либо постоянную фрустрацию из-за важных целей, либо длительный опыт, в котором награда не пропорциональна конформизму. Психобиолог Говард С. Лиддел фактически воспроизвел оба этих условия в серии экспериментов. Среди этих примеров следующий:

Каждый день приведенный в лабораторию козел подвергается простому тесту: каждые две минуты стук телеграфа от секунды до десяти секунд предшествует воздействию электричества на переднюю ногу. После двадцатикратного повторения

комбинации «сигнал—шок» козла возвращают на пастбище. Вскоре достигается удовлетворительный уровень моторного навыка, и, очевидно, животное хорошо адаптируется к этой конвейерной процедуре. В течение шести или семи недель наблюдатель отмечает, что постепенно возникают изменения в поведении животного, которое охотно приходит в лабораторию, но при входе демонстрирует определенную заученную осмотрительность, и его условные реакции являются крайне точными. Кажется, будто он старается «совершать только правильные поступки». Несколько лет назад наша группа стала называть подобных животных «перфекционисты»... Мы обнаружили, что в лаборатории Павлова выражение «правильное поведение» использовалось для характеристики такого поведения у собак.

По-видимому, здесь есть нечто большее, чем мимолетное сходство с тем, что мы описали как «синдром социального ритуалиста», который «реагирует на ситуацию, которая кажется угрожающей и вызывает недоверие» с помощью «все более тесной привязанности к спасительной рутине и институциональным нормам». И действительно, Лиддел далее сообщает, что «мы можем предположить сходное поведение у человека при угрожающих обстоятельствах, что можно найти у Мира в описании шести стадий человеческого страха (первая из которых описана следующим образом):

Предусмотрительность и самоограничения. При внешнем наблюдении субъект проявляет скромность, предусмотрительность и непритязательность. Посредством добровольного самоограничения он ограничивает свои цели и амбиции и отвергает все те удовольствия, которые влекут за собой риск или неблагоприятные последствия. Человек на этой стадии уже под подавляющим влиянием страха. Он реагирует с предупреждающим уклонением от надвигающейся ситуации. Интроспективно субъект даже не осознает наличие страха. Напротив, он скорее доволен собой и горд, поскольку он считает, что ведет себя более предусмотрительно, чем другие люди.

Этот характерологический портрет вынужденного конформиста, который благодарит Бога, что он отличается от других людей, изображает существенные элементы реакции ритуалистического типа на угрожающую ситуацию. Социологическая теория обязана определить структурные и культурные процессы, которые создают высшую степень таких состояний угрозы в определенных частях общества и ничтожную степень в других. Именно к этому типу проблем обращается теория социальной структуры и аномии. Таким образом, рассматривая примеры ритуализма, мы продемонстрировали объединение «психологических» и «социологических» объяснений наблюдаемых образцов поведения.

Дальнейшие подходящие данные и идеи (в центре которых скорее личность, чем исполнение роли в определенных типах ситуаций) обнаружены в исследованиях, направленных на «нетерпимость неопределенности». Недостаток этих исследований в отсутствии систематического включения переменных и динамики социальной структуры, что в основном компенсируется с помощью точной характеристики компонентов, которые, вероятно, входят в ритуалистические реакции на сформированные ситуации, а

не только в структуру ригидной личности. В итоговом беглом перечислении компоненты «нетерпимости неопределенности» включают: «чрезмерное предпочтение симметрии, подобия, определенности и регулярности; тенденцию к черно-белым решениям, свехупрошенную дихотомизацию, безоговорочные решения «либо—либо», преждевременное завершение дискуссии, настойчивость и стереотипность; тенденцию к излишне «правильной» форме (то есть чрезмерную сосредоточенность на будущем образе организации), они возникают либо благодаря чрезмерному распространению всеобщности, либо благодаря свехакцентированию конкретных деталей; умственная ограниченность, ограниченность стимулов; стремление избежать неопределенности дополняется сужением целей, недоступностью опыта, механическим повторением определенного набора действий, а отчасти – произвольным выбором или абсолютизацией тех аспектов реальности, которые должны быть сохранены».

Существенное значение каждого из этих компонентов не может стать очевидным из краткого перечисления; детали изложены в многочисленных публикациях. Но даже из приведенного перечня видно, что понятие «нетерпимости неопределенности» относится к «чрезмерному проявлению» определенного рода восприятия, установок и поведения (на что указывают такие термины, как «чрезмерная исполнительность», «свехупрошение», «безоговорочность», «свехпредпочтение» и тому подобное). Нормы, которые осуждаются как «крайности», тем не менее не нужно ограничивать статистическими нормами, наблюдаемыми в данной совокупности личностей, или нормами «функциональной уместности», закрепленными рядом рассматриваемых людей, абстрагируясь от их социального окружения. Из стандартизированных нормативных ожиданий также можно вывести нормы, которые признаются в различных группах, и поведение, которое благодаря первому ряду стандартов может быть рассмотрено как «психологически свехригидное», может иногда рассматриваться с помощью второго ряда стандартов как адаптивная социальная конформность. Это говорит только о том, что хотя, возможно, существует связь между понятием свехригидных личностей и понятием социально продуцируемого ритуалистического поведения, они далеко не идентичны.

Бегство

Модель бегства состоит из существенного отрицания как уважаемых когда-то культурных целей, так и социальной практики, направленной на эти цели. Близкое соответствие этому образцу в настоящее время можно найти в описании «проблемных семей» – проще говоря, тех семей, которые не соответствуют нормативным ожиданиям, преобладающим в их социальном окружении. Дополнительные данные об этом способе реакции находим среди рабочих, у которых возникает состояние психической пассивности в ответ на некоторую заметную степень аномии.

Тем не менее бегство в целом выглядит как реакция на острую аномию, включая резкий разрыв с привычной и признанной нормативной структурой и с установившимися социальными отношениями, особенно когда попавшие в такие

условия люди считают, что это состояние будет продолжаться бесконечно. Как заметил Дюркгейм с характерной для него пронизательностью, подобный разрыв может быть обнаружен в «аномии успеха», когда Фортуна улыбается и многие переходят в гораздо более высокий статус по сравнению с привычным, а не только в «аномии депрессии», когда Фортуна хмурит брови и явно не сулит добра. Большинство подобных аномических состояний часто возникают в тех структурированных ситуациях, которые «освобождают» людей от широкого круга ролевых обязанностей, как, например, в случае «отставки» от работы, навязанной людям без их согласия, и в случае вдовства.

В исследовании вдовствующих и тех, кто отстранен от работы Зена С. Блау исследует в деталях обстоятельства, создающие бегство как один из нескольких образцов реакции. Как она отмечает, и вдовствующие, и «отстраненные» потеряли свою основную роль и до некоторой степени испытывают чувство изоляции. Она считает, что бегство чаще возникает среди одиноких вдов и вдовцов, среди вдов даже чаще, чем среди вдовцов. Бегство проявляется в ностальгии по прошлому и в апатии к настоящему. Люди, склонные к бегству, еще больше сопротивляются вхождению в новые социальные отношения с другими, чем те люди, которые описываются как «оставленные», поскольку они стремятся продолжать свое апатическое состояние.

Возможно, поскольку бегство представляет форму девиантного поведения, которое не регистрируется в социальной статистике подобно таким бесспорным примерам девиантного поведения, как преступление и правонарушение, и поскольку оно не имеет такого же драматического и слишком очевидного воздействия на функционирование групп как нарушение закона, то социологи (если не психиатры) склонны пренебрегать им как предметом для изучения. Однако синдром бегства был определен еще столетия назад и назван *accidie* (равнодушие), Римская католическая церковь считала его одним из смертных грехов. Как лень и глупость, из-за которых «источники духа иссушаются», равнодушие интересовало теологов начиная со Средних веков. Оно привлекало внимание мужчин и женщин в литературе по крайней мере со времен Ленгленда и Чосера, через Байрона к Олдосу Хаксли и Ребекке Вест. Множество психиатров имели с ним дело в форме апатии, меланхолии или отсутствия чувства радости жизни. Но социологи уделяют этому синдрому исключительно мало внимания. Все же видно, что эта форма девиантного поведения имеет свои социальные предпосылки, так же как свои очевидные социальные последствия, и мы можем ожидать больше социологических исследований на эту тему, похожих на упомянутое исследование Зены Блау.

Остается рассмотреть, можно ли виды политической и организационной апатии, в настоящее время исследуемые социологами, в теоретической форме соотнести с теми социальными силами, которые, согласно этой теории, создают бегство как форму поведения. Возможно, это лучше изложено в следующей цитате: «...отрицание норм и целей включает в себя феномен культурной апатии по отношению к стандартам поведения. Качественно различным аспектам последнего состояния придают различные дополнительные значения с помощью

таких терминов, как индифферентность, цинизм, моральная усталость, разочарование, отказ от аффектов, оппортунизм. Одним из известных типов апатии является потеря связи с ранее близкими культурными целями. Так происходит, когда продолжительная борьба заканчивается постоянной и, по-видимому, неизбежной фрустрацией. Утрата главных жизненных целей переносит человека в социальный вакуум, лишает его жизнь центрального направления или значения. Другой очень серьезный вид апатии, по-видимому, возникает в условиях большой нормативной сложности и/или острой перемены, когда люди вовлечены на такой путь, на котором сталкиваются с многочисленными противоречивыми нормами и целями, в этих случаях человек становится буквально дезориентированным и деморализованным, неспособным твердо следовать тем нормам, с которыми он согласен. При определенных условиях, еще не понятых, в результате возникает «отказ от ответственности»: обесценивание принципиального поведения, недостаток интереса к поддержанию моральной общности с другими людьми. По-видимому, такая потерянности является одним из основных состояний, из которых возникают некоторые типы тоталитаризма. Люди отказываются от моральной автономии и подчиняются внешней дисциплине.

Бунт

К настоящему времени должно быть ясно, что рассматриваемая теория считает конфликт между культурно-определенными целями и институциональными нормами одним из источников аномии; она не считает тождественными конфликт ценностей и аномию. Напротив, конфликт между нормами, которых придерживаются различные подгруппы в обществе, конечно, часто заканчивается возросшей приверженностью нормам, преобладающим в каждой подгруппе. Девиантное поведение и разрушение нормативной системы возникает из-за конфликта между культурно-принятыми ценностями и социально структурированными трудностями для тех, кто станет жить согласно этим ценностям. Такое последствие аномии тем не менее может быть только прелюдией к развитию новых норм, и оно является ответом, который мы описали как «бунт» в типологии адаптации.

Когда бунт ограничен относительно небольшими и относительно слабыми элементами в обществе, он создает возможность для формирования подгруппы, отчужденной от остального общества, но объединенной внутри себя. Примерами этого образца являются отчужденные подростки, объединяющиеся в банды или становящиеся участниками различных молодежных движений в их собственной субкультуре. Эта реакция на аномию склонна тем не менее к неустойчивости, если только новые группы и нормы не изолированы в достаточной мере от остального общества, которое отвергает их.

Когда бунт становится всеобщим в существенной части общества, он создает возможность революции, которая преобразует как нормативную, так и социальную структуры. Именно в этой связи современные исследования изменяющейся роли буржуазии во Франции восемнадцатого века значительно расширяют данную

теорию аномии. Это расширение точно и кратко изложено в следующей цитате: Предполагается, что... слишком большое несоответствие между ожиданием мобильности и ее реальным осуществлением приводит к состоянию аномии, то есть частичной социальной дезинтеграции, отражающей слабость моральных норм. Та же самая деморализация с большой вероятностью возникнет, когда de facto существует мобильность, не сопровождаемая моральным одобрением; французская буржуазия XVIII века сталкивалась именно с этими двумя видами несоответствий, все больше и больше в течение века.

Полностью независимо от частных данного исторического примера в центре нашего теоретического внимания – общая концепция, согласно которой аномия может привести к двум видам расхождений между объективной степенью социальной мобильности и культурными определениями моральных прав (и обязанностей) для продвижения в иерархической социальной системе. В течение всего времени мы рассматривали только один тип несоответствия, в котором ценное с точки зрения культуры восхождение является социально ограниченным, и может оказаться, что в истории это наиболее частый образец. Но второе несоответствие, как наблюдает д-р Бербер, также приводит к разрушающему напряжению в системе. Вообще его можно определить как хорошо знакомый образец, хорошо знакомый для американского общества, в котором как кастовые, так и общеклассовые нормы признаны в обществе, что приводит к широко распространенной амбивалентности по отношению к классовой и кастовой мобильности de facto для тех, кто причислен многими к нижней касте. Фазу деморализации, которая вызвана структурной ситуацией такого рода, иллюстрируют примеры межрасовых взаимоотношений не только в различных частях Соединенных Штатов, но и в большом количестве сообществ, когда-то колонизированных Западом. Эти знакомые факты, как и факты о буржуазии старого режима, которые изложила д-р Бербер в своей теоретической интерпретации, по-видимому, с точки зрения социологической теории, хорошо согласуются друг с другом.

Изменение социальной структуры и девиантное поведение

В соответствии с рассматриваемой теорией, очевидно, различные давления, создающие девиантное поведение, будут продолжать оказывать воздействие на определенные группы и слои только тогда, когда структура возможностей и социальных целей остается неизменной по своей сути. Соответственно, как только происходят значительные изменения в данных структуре и целях, мы должны ожидать соответствующих изменений среди той части населения, которая наиболее сильно подвержена этому давлению.

У нас часто была возможность отметить, что криминальный «рэкет» и иногда действующий совместно с ним политический механизм сохраняются благодаря социальным функциям, которые они исполняют для различных частей основного населения, которое состоит из их признанных и непризнанных заказчиков. Следует ожидать, таким образом, что как только созданы легитимные структурные альтернативы для исполнения этих функций, это приведет к существенным изменениям в социальном распространении девиантного

поведения. Именно этот тезис развивается Дэниелом Беллом в глубокой аналитической статье.

Белл отмечает, что «члены воровской шайки имеют в основном иммигрантские корни и преступление (как показательный образец) является средством социального восхождения, позволяющим занять определенное положение в американской жизни». И как социологи, изучающие этот предмет, часто наблюдают, каждая новая иммигрантская группа оказывается занимающей нижний социальный слой, недавно оставленный иммигрантской группой, которая пришла перед ними. Например, когда итальянцы прожили поколение или два в американской жизни, они нашли «более открытые в большом городе пути от нищеты к богатству, занятые ранее» евреями и ирландцами. И как Белл пишет далее: Не допущенные к политической карьере (в начале 30-х годов почти не было итальянцев среди городских рабочих и служащих на высокооплачиваемой работе, в книгах этого периода невозможно найти обсуждение итальянских политических лидеров) и ищущие какие-либо открытые средства к успеху, некоторые из них обращались к незаконным способам. В детской судебной статистике 30-х годов самая большая группа нарушителей была итальянцами...

Белл пишет, что именно бывший рэкетир, ищущий респектабельности, «оказывал значительную поддержку итальянцам в предвыборной борьбе за место в структуре власти городского политического механизма». А решающее изменение в источниках финансирования городского политического механизма создало контекст, способствующий этому альянсу рэкетира и политической организации. Ибо основные фонды, которые ранее приходили из большого бизнеса, были в этот момент перенаправлены от муниципальных к национальным политическим организациям. Один из замещающих источников для финансирования этого механизма был уже под рукой в «новом и часто нелегально заработанном итальянском успехе». Это хорошо иллюстрируется карьерой Костелло и его появлением в качестве политической силы в Нью-Йорке. Здесь ведущим политическим мотивом был поиск входа – для себя и для этнической группы— в правящие круги большого города. Впервые за все время итальянцы достигли существенной ступени политического влияния.

В кратком заключении Белл прослеживает «особую этническую последовательность в способах достижения незаконного успеха». Хотя данные все же далеки от адекватности, существует некоторое основание для заключения, сделанного Беллом, что «люди итальянского происхождения появились на первых ролях в высокой драме игроков и воров, также как двадцать лет назад дети восточноевропейских евреев были наиболее известными фигурами в организованной преступности, а еще раньше люди ирландского происхождения прославились подобным образом».

Но с изменением в структуре возможностей «растущее число итальянцев, получивших профессиональное обучение и законный успех в бизнесе... как побуждало итальянскую группу, так и позволяло ей обладать всевозрастающим политическим влиянием; и все больше и больше именно профессионалы и бизнесмены создают модели для итальянской молодежи сегодня (модели, которые едва ли могли существовать двадцать лет назад)».

По иронии судьбы, принимая во внимание тесную связь Рузвельта с политической машиной больших городов, в конце концов именно фундаментальные структурные изменения, выразившиеся в рациональных мероприятиях по улучшению культурно-бытовых условий (то, что некоторые называют «система вэлфер»), в основном повлекли за собой упадок политической машины. Образно, но по существу верно, можно сказать, что именно система «вэлфер» и появление слоя более или менее включенных в бюрократическую администрацию ученых, которые прямо критиковали реформаторов, практически свели на нет власть политической машины. Как заключает Белл: После рационализации и включения некоторых ранее нелегальных действий в структуру экономики пришло к своему концу время старшего поколения, которое установило свою гегемонию с помощью преступления и обеспечило продвижение групп меньшинств к ведущим социальным позициям, разрушение городской управленческой системы, а также модель преступления, которую мы обсуждали. Преступление, конечно, остается по-прежнему как страсть и желание наживы. Но большая организованная городская преступность, которую мы знали на протяжении прошедших 75 лет, базировалась на большем, чем эти общие мотивы. Она базировалась на характерных чертах американской экономики, американских этнических групп и американской политики. Изменения во всех этих областях означают, что преступность в той форме, которую мы знаем, также заканчивается.

Нам не нужно искать более подходящее, с точки зрения структурно-функционального анализа, заключение к этому обзору неразрывной связи социальной структуры и аномии.

Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура / Роберт Мертон. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 873.

А.И. ПРИГОЖИН

Глава вторая ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

1. Понятие социальной организации

Вопрос об определении общего понятия организации имеет историю, наполненную борьбой между различными частнонаучными тенденциями, претендующими на универсальность. Подобное состояние не преодолено и сегодня. Пока нет признанной всеми общей теории организации, хотя активные поиски в этом направлении ведутся в рамках теории систем, праксиологии, кибернетики и т. д.

Применительно к социальным объектам термин «организация» употребляется в различных смыслах. Здесь важно выделить три основных случая использования этого термина с различным понятийным содержанием.

Во-первых, так может называться искусственное объединение институционального характера, занимающее определенное место в обществе и предназначенное для выполнения более или менее ясно очерченной функции. В этом смысле организация выступает как социальный институт с известным статусом и рассматривается как стационарный объект. В таком значении слово «организация» относится, например, к предприятию, органу власти, добровольному союзу и т. д.

Во-вторых, этот термин может означать определенную деятельность по организации, включающую в себя распределение функций, налаживание устойчивых связей, координацию и т. д. Здесь организация выступает как процесс, связанный с целенаправленным воздействием на объект и, значит, с присутствием фигуры организатора и контингента организуемых. В этом смысле понятие «организация» совпадает с понятием «управление», хотя и не исчерпывает его.

В-третьих, здесь можно иметь в виду характеристику степени упорядоченности какого-то объекта. Тогда под организацией понимается определенная структура, строение и тип связей как способ соединения частей в целое, специфический для каждого рода объектов. В этом смысле организация объекта выступает как свойство, атрибут последнего. Такое содержание термина употребляется, когда речь идет об организованных и неорганизованных системах, политической организации общества, эффективной и неэффективной организации и т. д. Именно это значение подразумевается в понятиях «формальная» и «неформальная» организация.

Таким образом, к примеру, выражение «перевод данной организации в более организованное состояние» не является тавтологическим, так как содержит три разных значения слова «организация» (организация как объект, деятельность по организации и организация как свойство этого объекта). В дальнейшем этот термин будет употребляться во всех трех значениях.

На данном этапе важно определить понятие социальной организации в первом смысле, т. е. как объект, поскольку такое определение имеет ключевое, значение. В литературе получило распространение такое понимание сущности явления социальной организации, согласно которому последняя появляется тогда, когда части начинают работать на целое. Не отрицая значения этой действительно необходимой связи, следует все же отметить односторонность такого подхода к пониманию социальных организаций. Здесь не учитываются особенности их элементного состава. Социальные организации не могут строиться только на однонаправленном отношении, без ориентации целого на потребности участников.

Таким образом, более адекватным природе данного объекта будет следующее понимание его сущности: организации возникают тогда, когда достижение каких-либо общих целей признается возможным только через достижение индивидуальных целей или же когда достижение индивидуальных целей оказывается возможным только через выдвигание и достижение общих целей. В первом случае создаются деловые (административные) организации, во втором возникают союзные (общественные) организации. В подобном

освещении организация выступает как система обмена между целым и его элементами. В организации для этого образуются «точки интеграции», в которых сопрягаются интересы индивидов и задачи организации, например, посредством обмена труда на вознаграждение. Очевидно, предложенное понимание сущности организации задает также и другие практически-управленческие установки в сравнении с ранее названным пониманием.

Ясно также и то, что в центр внимания здесь выдвигается категория цели как принципиальной характеристики организации. Организации, действительно, являются целевыми социальными системами, это их исключительный признак. Однако реализация цели коллективом вызывает необходимость выстраиваться иерархически и вводить управление.

Таким образом, определяющим признаком организации является цель; коллективное целедостижение образует два производных признака — иерархию и управление. Что же касается собственно дефиниции, то в данном контексте ее можно сформулировать кратко: организация есть целевая общность. При этом подразумевается, во-первых, что она также иерархическая и управляемая общность; во-вторых, что она, как это было ранее показано, не только общность, но и общественный инструмент, и безличная структура.

2. Организационный эффект

Наиболее притягательным свойством организаций является их сверхаддитивность, т. е. прирост дополнительной энергии, превышающий сумму индивидуальных усилий их участников. Причем в организациях, это явление оказывается управляемым, его можно усиливать, видоизменять. Именно здесь состоит одна из причин столь частого обращения человечества к организационным формам.

Собственно, появление нового качества от сложения каких-либо составляющих — объективная закономерность; «...уже простая сумма есть нечто новое, не содержащееся в ее слагаемых. Так, уже число «два», образованное путем сложения «единиц», содержит нечто новое: оно представляет собой четное число, тогда как слагаемые — нечетные». В процессе объединенного труда подобная закономерность обнаруживается довольно полно, но неоднозначно, в чем-то противоречиво. [...]

Иначе говоря, ощутимый эффект дает уже простая массовость, т. е. одновременность, однонаправленность многих усилий. Одно и то же бревно одни и те же люди не могут поднять по очереди, но вполне способны сделать это совместно. К тому же как вторичный эффект объединения здесь сказывается и психологическое взаимодействие участников, ибо «уже самый общественный контакт вызывает соревнование и своеобразное возбуждение жизненной энергии... увеличивающее индивидуальную производительность отдельных лиц...» [...].

Новый уровень эффективности задает разделение труда по специальностям, когда в одной мастерской объединяются рабочие разнородных самостоятельных ремесел. «Так, например, карета была первоначально общим продуктом работ большого числа независимых ремесленников: тележника,

шорника, портного, слесаря. Каретная мануфактура объединяет всех этих различных ремесленников в одной мастерской, где они работают одновременно и во взаимодействии друг с другом» Простая кооперация, ремесленный труд, но — начало специализации.

Затем разделение труда нарастает, «операции... отделяются одна от другой, изолируются, располагаются в пространстве одна рядом с другой, причем каждая из них поручается отдельному ремесленнику, и все они одновременно выполняются кооперирующимися между собой работниками». Появляется новый социальный продукт специализации — частичный работник. Специализация переходит на орудия труда. [...]

Таким образом, тайна организационного эффекта коренится в принципах объединения индивидуальных и групповых усилий: единство цели, разделение труда, согласование и пр.; способы осуществления последних весьма разнообразны.[...] Надо также иметь в виду, что соединение людей может привести не только к их взаимоусилению, но и к взаимоослаблению, несмотря на общность целей и даже благодаря ей. «Два человека могут иметь вполне «одинаковые» цели, но именно поэтому находиться во взаимной борьбе, т.е. составлять дезорганизованную комбинацию». Эффект может быть и нулевым, если задаваемые связи не принимаются, не «усваиваются» организацией.

3. Цели организации

Целевой характер организаций, иногда с оговорками, признается всеми. Другое дело — интерпретация такой, несомненно, ключевой категории социологии организаций. Общеизвестна здесь только необычайная трудность выявления и описания целей, трудность, которая довлеет отнюдь не только над исследователями, но и над самими организациями и их участниками.

Опыт определений. Наиболее употребляемо подказанное здравым смыслом понимание цели как планируемого результата. По Гегелю, «цель есть субъективное понятие как существенное стремление и влечение положить себя вовне». В кибернетике цель определяется следующим образом: «Утверждение, что система стремится к цели, означает, что ее действия сводят к минимуму рассогласования между наличным состоянием или величиной на выходе и некоторым заданным состоянием. Этому состоянию соответствует величина, обозначаемая термином «цель»». Психологическое понимание: «Осознание, т.е. выраженное в словах, предвосхищение будущего результата действия и называют целью».

В этих определениях заметны акценты то на побуждение, то на механизм, то на итог. Цель действительно выступает как единство мотивов, средств и результатов. Это значит: цель есть опредмеченный мотив (потребность) т. е. формируется из «материала» самой среды, имеет конкретные форму, масштаб и содержание, мотив же сам по себе не имеет такой предметной определенности; цель образуется при встрече мотива со средствами (ресурсами, условиями, возможностями), т.е. при оценке способов удовлетворения соответствующей потребности, поэтому природа цели ценностно-рациональная и отражающиеся

в ней установки, интересы, влечения подвергаются рассудочно-логической обработке; с другой стороны, цели нельзя «вычислить», ибо нерациональный элемент всегда присущ им; понятие «цель» нетождественно понятию «результат», ибо взаимодействие мотивов со средствами производит отнюдь не только необходимое, так как даже при достижении цели в результат приносятся другие следствия, не совпадающие с начальным, предполагаемым результатом (что отражается в понятии «функция» — фактический результат); достигнутая цель способна быть только частью результата, а остальное содержание последнего есть особая проблема для действующего субъекта; важно, что выбор цели субъектом существенно предопределен и ограничен «встроенными» мотивами, (например, витальными потребностями), целевым назначением исторически накопленных средств деятельности, побуждающим воздействием среды; целеполагание не есть лишь дело свободы воли субъекта.

Теперь о носителях цели. Раньше речь шла о цели абстрактного «человека вообще». Применительно же к организации она получает новый смысл.

Стихийное представление о цели организации воспринимает ее, во-первых, как нечто единое, во-вторых, очеловечивает её («организация нуждается в...», «предприятие стремится к...», «учреждение не заинтересовано в...»). В «образе» организации проступает особого типа индивид. В-третьих, в таких представлениях чувствуется акцент на понимание организации как объекта, подчиненного цели, пассивного по отношению к процессу целеобразования и зависимого от него. [...]

Существуют три основных вида общеорганизационных целей:

- 1) цели-задания: планы, поручения, задаваемые организации по подчинению более широкой организационной системой и отражающие внешнее назначение организации как общественного инструмента;
- 2) цели-ориентации: общие интересы участников, реализуемые через организацию, соответствуют свойству организации как человеческой общности; в них снимаются телеономические и целеустремленные свойства человеческого компонента;
- 3) цели системы: равновесие, стабильность, целостность, устанавливаемые управлением и необходимые для функционирования материализованной и объективированной структуры как относительно самостоятельного целенаправленного фактора организации.

В организации эти цели не связаны между собой иерархией, и последовательность в них прослеживается только генетическая: организация с ее структурой создается под цели-задания, а интересы персонала лишь потом наполняют ее. Они равноправны. Между ними осуществляется параллельная взаимосвязь единства и конкуренции. Названные цели — базовые, достижение которых связано с появлением множества вторичных, производных целей — повышением качества продукции, улучшением условий труда, укреплении дисциплины и др. Подобное разделение целей проходит через всю организацию, на всех ее уровнях — службах, подразделениях, статусах.

4. Иерархия в организациях

Сегодня иерархия определяется как универсальный принцип построения любых организационных систем — биологических, технических, социальных. Применительно к последним этот принцип просматривается на всех уровнях — от малой группы до общества. И вообще человечество как будто не знает другого способа объединения, кроме пирамиды. Однако неизбежность этого принципа в социальных организациях оборачивается неизбежностью проблем, им вызываемых. И прежде всего они следуют из характерных для иерархии особенностей социальных отношений — отношений подчинения, зависимости, неравенства. В организации сознательно вводится преимущественное право одного работника принимать решения насчет другого, причем первый получает также и средства контроля за должностным поведением другого. К тому же первые составляют явное меньшинство, решающее, однако, за большинство. В этом одна из главных социальных характеристик внутриорганизационных отношений, объективная основа формирования их структуры. Но это и один из самых спорных принципов построения организаций, издавна привлекавший к себе критическое внимание.[...]

С позиций общей теории систем явление иерархии можно определить как разноуровневое распределение частей (элементов) целого по степени общности их функций (свойств). В социальных организациях этот принцип преломляется в сложное отношение, складывающееся из разных составляющих, разделение последних, пусть условное, весьма существенно.

Во-первых, иерархия означает централизацию. Это нейтральное по отношению к интересам участников назначение данного принципа. Оно следует из невозможности (за некоторым пределом) непосредственного взаимодействия какого-то количества людей и естественной необходимости выделения посредника — должности функции органа. На этом новом уровне выступает обобщенная функция совместной деятельности в виде координации, начала общего процесса, интеграции индивидуальных действий в целое. В таком смысле иерархия представляет собой форму разделения труда не только по горизонтали, но и по вертикали, на общие и частные функции, на решение и исполнение. Как и всякое разделение труда, иерархия вводится для эффективности [...]. Так проявляется инструментальная роль иерархии в организационных отношениях.

Во-вторых, иерархия выступает и как человеческое отношение, а именно как односторонняя личная зависимость одного человека от другого. Это значит, что один из работников может воздействовать на положение и поведение другого без того, чтобы этот другой мог также поступать по отношению к первому. Разумеется, в отношениях между людьми существует много вариантов односторонней зависимости, но в иерархии она закрепляется в статусах и выступает как фактор социального неравенства.

Суть этой стороны иерархических отношений состоит в том, что связь по субординации (как и другие отношения) не может регламентироваться полностью. В должностном поведении работника верхнего уровня (необязательно руководителя) административно-правовые нормы оставляют

существенный диапазон выбора характера и способов воздействия на работника нижнего уровня. Говоря юридическим языком, решение ряда вопросов остается на «личное усмотрение» вышестоящего работника. Это значит, что одинаково допустимыми и законными считаются как то, так и иное решения одного и того же вопроса, касающегося положения и поведения нижестоящего работника. Отсюда возникает личная зависимость, или так называемый личный режим, в организации, т.е. законное проявление субъективных качеств одного работника по отношению к другому в отношениях субординации. Организация как человеческая общность соответственно расслаивается на две основные социальные группы — управляющих и управляемых. К последним относится все основание иерархической пирамиды, кроме того, линия односторонней зависимости делит персонал и на каждом ином уровне организационной структуры, так как в любом «руководящем» отделе заводоуправления большинство сотрудников — только исполнители. Понятно, что в первой из двух названных групп почти все статусы двузначны, т. е. одновременно испытывают и осуществляют зависимость (но односторонность каждой зависимости сохраняется, хотя и с противоположной направленностью: «от него» и «к нему»).

В-третьих, иерархия функционирует как власть, т.е. подчинение участников организации правилам и указаниям. Специфика этой стороны иерархических отношений состоит в контроле над волей работника безличных требований организации, в приспособлении его индивидуальности к организационным функциям. [...] Поэтому власть предполагает принуждение; поскольку подобные требования могут идти помимо или в противовес некоторым собственным намерениям и интересам работника, отчего возникает необходимость в санкция за отклонение.

Таким образом, власть существует как административно-правовое явление, причем в отличие от предыдущего (межличного) аспекта иерархии это не та «незаполненная» часть, а именно действующее, обозначенное содержание отношений субординации. Позитивное назначение власти в преодолении известной «колебательности» поведения человека в организации, придании ему деловой определенности.

Все рассмотренные свойства организационной иерархии проявляются слитно, однако каждое имеет самостоятельное значение. Следует заметить, что во всех случаях речь идет о каналах воздействия одних людей на других, часто одного — на многих. Обладание таким каналом психологически мотивируется возможностью самоутверждения, самореализации, повышением престижа. Оттого социальная ценность статусов в иерархии возрастает от уровня к уровню. [...]

А.И. Пригожин Социология организаций. – М., 1980.

ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Если у нескольких человек имеется общая цель, но каждый из них работает, не обращая внимания на других, так, как кажется наиболее целесообразным ему самому, вероятнее всего, они будут делать много лишней работы. Рано или поздно кто-то из них попытается найти выход из подобного положения и предложит: «Давайте-ка мы займемся этим организованно!»

Эффективное выполнение общей задачи требует, чтобы люди организовали свои усилия путем установления процедур и правил совместной работы. Иногда это делается неформально, через имплицитные соглашения. Однако чаще, особенно когда это касается большого числа людей, они устанавливают официальные процедуры для координирования своей деятельности по достижению каких-то целей, а это означает, что они создают формальную организацию. Это может быть клуб или фирма, профсоюз или политическая партия, полиция или больница. Для каждой организации устанавливаются правила и процедуры, регулирующие отношения между членами этой организации и определяющие их обязанности в ней. Как только организация утвердилась, она стремится к индивидуализации, которая делает ее независимой как от ее основателей, так и от ее членов. Так, организация может пережить несколько поколений людей, но изменения, которые могут в ней происходить, не означают потери ею своего лица, своей индивидуальности, если даже все люди, составляющие эту организацию, будут со временем заменены другими. Сегодняшняя армия США – это та же организация, что и армия США в период первой мировой войны, хотя от ее прежнего состава остались лишь единицы, а ее структура претерпела существеннейшие изменения.

Коллективные усилия людей могут стать формально организованными либо в том случае, если все они разделяют общие интересы, либо в том, если какая-то подгруппа данного коллектива находит стимулы для того, чтобы остальные его члены работали в интересах этой подгруппы. Заводские рабочие организуются в профсоюзы, чтобы вести коллективные переговоры с управляющими, а последние организуют свои задачи с целью такого производства продукции, которое может приносить доход. Профсоюзы и заводы – это примеры формальных организаций, так же как государственные учреждения, политические партии, армии, больницы.

Понятие формальной организации

Хотя существует много различных организаций, но, когда мы говорим «организация», обычно совершенно ясно, что подразумевается под этим термином. Мы можем называть организацией, скажем, Американскую медицинскую ассоциацию или департамент государственных сборов, профсоюз или компанию «Дженерал мотос», церковь, Союз дочерей американской революции или армию. Но семью не назовем организацией, так же как не

назовем ею группу друзей или сообщество, экономический рынок или политические институты общества. Какой же специфический и дифференциальный критерий мы подразумеваем, когда интуитивно выделяем организации из других видов социальных группировок и институтов? Очевидно, этот критерий должен иметь какое-то отношение к тому, как поведение человека становится социально организованным, но он не связан – как можно подумать при первом взгляде – с наличием социального контроля, предписывающего и организующего поведение индивидов, ибо такой контроль имеет место и в том и в другом случаях.

Существует два фундаментальных закона, управляющих социальной жизнью. Один из них – закон организаций. Возникновение социальных структур может быть совокупным результатом самых разных действий самых разных индивидов, каждый из которых преследует свои собственные цели. Либо же они могут появляться в результате совместных усилий индивидов, преследующих общие цели. Так, благодаря конкуренции индивидов и групп той или иной общности, их вступлению в отношения обмена с другими и использованию ими своих ресурсов для давления на других развиваются экономическая система и классовая структура. Как экономическая система, так и классовая структура обнаруживают организованные шаблоны социального поведения, хотя в явном виде усилия отдельных людей никто не организовывал. С другой стороны, национальное правительство или руководство футбольной команды, например, представляют собой социальные структуры, специально созданные для достижения определенных целей, и наблюдаемые в них закономерности отражают их целевую конструкцию. Различие здесь – это в принципе различие, проводимое Уильямом Грэхемом Самнером между «самовозникающими» и «предписанными» институтами. Организации суть социальные системы, порожденные формально вводимыми (предписанными) процедурами, а не просто самовозникающими силами. Хотя это различие аналитическое, так как обычно социальная система находится под взаимодействующим влиянием и самовозникающих, и предписанных сил, оно находит свое выражение в реально существующих образованиях – в той массе организаций, которые легко обнаружить в современных обществах.

Как только люди начинают взаимодействовать друг с другом, между ними развивается социальная организация, но отнюдь не каждый коллектив имеет формальную организацию. Критерий для определения, что такое формальная организация или, короче, просто организация, находится в процедурах мобилизации и координации усилий различных (обычно специализированных) подгрупп для достижения общих целей. Однако, если бы все отношения между членами организаций и всю их деятельность можно было полностью предопределить формальными процедурами, очевидно, что организации не представляли бы значительных проблем для научного исследования, так как в подобном случае любой феномен организации можно было бы фиксировать посредством простого анализа официальных структур деятельности и взаимодействия, уставов, инструкций и т.п. Фактически же социальное взаимодействие и проходящая в организациях деятельность никогда не могут

полностью соответствовать официальным предписаниям (причем не только потому, что не все предписания являются непротиворечивыми); и их-то расхождения с формальными схемами и являются объектом эмпирического исследования. Хотя определенной чертой организации служит формальная организация коллектива, научный интерес к ней вызван тем, что развивающаяся в ее рамках социальная структура с неизбежностью лишь приближенно совпадает с официально установленными формами.

Обычно у организаций имеется административный механизм – специальный административный персонал, постоянно ответственный за поддержание организации и за координирование деятельности ее членов. На большом заводе, например, имеется не только рабочая сила, непосредственно занятая в производстве, но и администрация, состоящая из оперативного персонала, руководителей, канцелярских служащих и т. п. Для обозначения этих административных аспектов организации применяется термин «бюрократия». Обычно под этим термином подразумевается волокита и неэффективность, однако в социологии его значение нейтрально. Общим как для обиходного, так и для научного значения данного термина является то, что он указывает скорее на усилия, затрачиваемые для поддержания функционирования организации, а не на усилия, необходимые для достижения ее основных целей. Не все солдаты непосредственно участвуют в бою, не все работники промышленных концернов являются производственными рабочими, не все сотрудники полиции – «оперативные» сотрудники. Многие члены каждой организации несут административные обязанности по поддержанию ее функционирования. Однако степень бюрократизации организаций весьма разнообразна. Она зависит от величины усилий, направленных на решение административных проблем, от процента административного персонала, от иерархического характера организаций, от жесткости административных процедур и т. п.

Теория бюрократии М. Вебера

В своей классической теории бюрократии Макс Вебер, немецкий социолог, выделил характерные черты бюрократически организованных формальных организаций. Наиболее существенными из них являются следующие.

1. Задачи организации распределяются среди различных позиций в ней как официальные обязанности. Здесь предполагается четкое разделение труда по позициям, делающие возможной высокую степень специализации. Специализация в свою очередь способствует повышению квалификации служебного персонала как непосредственно, так и опосредованно, через возможность найма сотрудников на основе их производственных качеств.

2. Позиции или должности организованы в иерархическую структуру власти. Обычно такая иерархия имеет форму пирамиды, в которой каждое должностное лицо ответственно перед вышестоящим как за свои собственные решения и действия, так и за решения и действия своих подчиненных и в которой каждое должностное лицо располагает властью над теми, кто находится ниже его. Величина власти начальника над подчиненным четко обозначена.

3. Решения и действия должностных лиц управляются формально установленной системой правил и инструкций. В принципе деятельность в таких административных организациях означает применение этих общих инструкций к конкретным ситуациям. Инструкции обеспечивают единообразие деятельности и вместе со структурой власти дают возможность координировать ее различные виды. Они обеспечивают также непрерывность деятельности независимо от изменений в штатах, поддерживая таким образом стабильность, которая отсутствует во многих других типах групп или коллективов, например таких, как социальные движения.

4. Формальная организация располагает специальным административным штатом, в задачу которого входит обеспечение ее функционирования, в особенности функционирования ее каналов коммуникаций. Низший уровень такого административного аппарата составляют канцелярские служащие, ответственные за ведение письменной документации, в которой находят свое отражение все официальные решения и действия организации. В то время как «производственный» штат участвует в достижении целей организации непосредственно – будь то производство машин, сбор налогов, ведение войны или лечение пациентов, – административный персонал участвует в достижении ее целей лишь, опосредованно, путем поддержания ее функционирования.

5. Должностные лица в своих контактах с клиентами и другими должностными лицами обязаны руководствоваться безличностной ориентацией. Каждый клиент должен рассматриваться как очередное «дело», причем предполагается, что при этом сотрудник обязан отбросить все личные соображения и сохранять полнейшую эмоциональную беспристрастность; подобным же безличным образом следует обращаться и с подчиненными. Предполагается, что такой формальности будет способствовать социальная дистанция, существующая между иерархическими уровнями и между должностными лицами и их клиентами. Безличность и беспристрастность призваны предохранить рациональность суждений сотрудников при выполнении ими своих обязанностей от влияния личных чувств и настроений.

6. Наем организацией сотрудника предусматривает его продвижение по службе. Типичное должностное лицо – это сотрудник, занятый в данной организации полный рабочий день и на всю жизнь связывающий свои надежды на продвижение с данным учреждением. Наем служащих основывается на производственных качествах кандидатов, а не на политических, семейных и других связях. Обычно эти качества устанавливаются либо специальной проверкой, либо по соответствующим документам, подтверждающим уровень подготовки и образования кандидатов (например, по дипломам колледжей). Подобные образовательные ограничения создают определенную степень однородности среди должностных лиц, так как лишь относительно немногие выходцы из рабочего класса имеют высшее образование и ученые степени, хотя их число и увеличивается. Должностные лица не выбираются на позиции (должности), а назначаются, завися, таким образом, от вышестоящих начальников, а не от какой-либо группы избирающих. После прохождения периода проверки служащие вступают в должность на длительный срок и

подлежат защите от произвольного увольнения. Вознаграждения выдаются им в виде жалования, а после отставки по возрасту – в виде пенсии. Продвижение по службе происходит «либо по принципу старшинства, либо по принципу успешности работы, либо по обоим принципам вместе».

М. Вебер провел функциональный анализ взаимозависимости между параметрами бюрократии, где критерием функции служит рациональная эффективная бюрократия. Эффективное крупномасштабное решение комплексных административных задач требует их подразделения на ряд участков, ответственность за которые должны нести профессионально квалифицированные эксперты. Подобное резко выраженное разделение труда создает ряд проблем координационного плана, особенно если дело касается крупных организаций. Для управления каналами коммуникации и для координации требуется специальный административный персонал со строго иерархизированной властью. Такая иерархия помогает координировать решение различных задач, ставящихся для достижения целей организации. Благодаря иерархии власти чем выше иерархический уровень, на котором стоит тот или иной начальник, тем большим числом подчиненных может он руководить (прямо или опосредованно). Однако жесткий контроль за всеми решениями неэффективен и ведет к возникновению напряжений. Для стандартизации операций и ограничения прямого вмешательства руководителя главным образом исключительными случаями вводится система безличных официальных правил. Но, несмотря на профессиональную подготовку и официальные правила, личные чувства и предубеждения все-таки могут сказаться на способности индивида принимать рациональные решения. Функция предупреждения подобного вмешательства иррациональных факторов в официальные решения возлагается на безличность и беспристрастность. Чтобы безличная дисциплина иерархической бюрократии не вызывала отчуждения ее членов, они должны быть спокойны за свою карьеру, что уменьшает их отчуждение и повышает лояльность по отношению к организации.

Короче говоря, проблемы, вызываемые в организации одним фактором, стимулируют развитие другого фактора, призванного решить эти проблемы. Ряд взаимозависимых процессов этого типа создает плеяду черт, характерных для типичной бюрократии в описании Вебера. Он считал, что эти черты административной организации и особенно их сочетание «способны привести к высшей степени эффективности».

Неформальная организация

М. Вебера критикуют за идеализированную концепцию бюрократии. Подразумеваемая им функциональная схема обращена к проблеме того, как данный элемент организации способствует ее силе и эффективному функционированию. Однако, дав описание функций различных элементов, он не учел ни их дисфункций, ни конфликтов, возникающих между составляющими систему элементами. Так, если даже иерархия власти и способствует дисциплине и координации деятельности, не отталкивает ли она подчиненных от

принятия ответственности? Или при условии, что продвижение по службе основывается на объективных критериях, а не на личных соображениях или семейных связях, какой из двух основных критериев должен быть выбран: старшинство или заслуги? Когда встают подобные вопросы, становится ясно, что односторонний акцент Вебера на функционирование бюрократических институтов закрыл для него целый ряд самых существенных проблем, создаваемых бюрократизацией.

Другое обвинение, выдвигаемое против веберовского анализа, заключается в том, что он обращал внимание только на формально создаваемые аспекты бюрократий, игнорируя неформальные отношения и несанкционированные шаблоны поведения, развивающиеся в рамках формальных организаций. Селзник подчеркивает, что формальная структура – это только один из аспектов реально существующей социальной структуры и что члены организации взаимодействуют как цельные личности, а не просто как безличные исполнители порученных им формальных ролей. Многие эмпирические исследования производственных групп в формальных организациях обращают наше внимание на важность неформальной организации, возникающей в этих группах и представляющей собой активную силу.

Несомненно, Вебер понимал, что фактическая реальность не совпадает пункт за пунктом с формальной схемой. Однако новое здесь заключается в том, что характер этих несовпадений оказывается не идиосинкразическим, а социально организованным. Неформально создаваемые самими членами организации социальные шаблоны дополняют шаблоны, формально создаваемые для них руководством. Более того, как отмечает Барнард, неизбежно возникающая в рамках формальной организации неформальная организация жизненно важна для функционирования системы.

Одновременно с Барнардом к таким же выводам пришла группа ученых, изучавших рабочих на одном электрозаводе. Ротлисбергер и Диксон обнаружили, что неформальные отношения в рабочей группе имеют явно выраженную структуру, что в ее рамках существуют статусные различия и подгруппы и возникают неформальные нормы, регулирующие производственную деятельность рабочих. Так, рабочие ожидают, что их товарищ не будет работать ни слишком быстро, ни слишком медленно, и любое нарушение этих групповых норм наказывается высмеиванием, отказом в статусе и даже остракизмом. Другими словами, рабочие сами неформально организуются для контроля над выпуском продукции, а дополняется этот организованный социальный контроль неформальной структурой статусов. Поэтому неформальная организация оказывает на производство серьезное влияние.

После этого первого исследования количество работ в области человеческих отношений в промышленности стало быстро расти, причем в целом ряде монографических исследований бюрократий была сделана попытка применить положения Ротлисбергера и Диксона для усовершенствования анализа Вебера. Например, Гоулднер показал, что сменявшие друг друга руководители одной организации способствовали ее бюрократизации (как это и

должно быть по теории Вебера) в силу того, что незнакомый с неформальной практикой руководитель вынужден полагаться на официальные способы выполнения его приказов. Однако такое – основанное на бюрократических правилах и дисциплине – отправление власти необходимо отличать от власти, которая зиждется на профессиональной квалифицированности. У Вебера четкого различия между этими видами власти не проведено.

Из подобных монографических исследований неформальных организаций в бюрократиях можно сделать следующий вывод: процедуры, формально устанавливаемые в организациях для достижения поставленных целей, регулярно создают трудности для осуществления другой деятельности, а неформальные шаблоны, возникающие обычно для преодоления этих трудностей, часто ведут к коренной перестройке функционирования.

Внеся определенные усовершенствования в теорию Вебера, акцентирование на неформальную практику и отношения в то же время увело исследователей далеко в сторону от изучения фундаментальных структурных характеристик сложных организаций.

Последние тенденции в изучении административной структуры

Цель теории формальной организации – объяснение характерных черт этих сложных структур с позиций каких-то общих принципов, например объяснение условий, при которых в организациях развивается глубокое разделение труда, или появляется специализированный административный аппарат, или вырабатывается формальный свод правил и т.д. Иными словами, теория организации не должна брать свойства организации как данные; ее задача – всегда ставить вопрос, почему эти свойства существуют. Первый шаг на пути к ответу на этот вопрос – определение того, какие черты организаций проявляются в совокупности друг с другом, а это требует сравнительного анализа черт многих самых разных организаций. Основным недостатком монографических исследований производственных групп в организациях является то, что они вынуждены принимать свойства исследуемой организации как данные, и анализ сводится просто к тому, как эти данные свойства влияют в каждом конкретном случае на неформальные отношения и практику. Поэтому в таких монографических исследованиях с неизбежностью игнорировалась центральная проблема теории организации – а именно что порождает те или иные бюрократические свойства, – так как эту проблему можно изучать лишь методом сравнения, при котором проводится противопоставление многих организаций. Веберовский метод анализа предполагает именно такой прием, при котором центром внимания являются сами свойства организаций. Монографические исследования не используют этот прием, однако за последнее время изучение организаций опять стало ориентироваться на сравнительный анализ.

Так, в ряде эмпирических исследований изучалось соотношение административного штата к общему числу работников в зависимости от величины организации. Вебер считал, что крупные организации более бюрократизированы, чем малые, и что совершенствование административного

механизма есть черта бюрократическая. Отсюда следует, что относительная величина административного компонента должна находиться в прямой зависимости от величины организации. Однако в действительности изучение индустриальных концернов, больниц и некоторых других организаций показало, что по мере увеличения размеров организации пропорциональная величина административного компонента в ней уменьшается. Безусловно, административный коэффициент у более сложных организаций выше, чем у менее сложных, а сложность характерна именно для крупных организаций, но пропорциональное количество работников, занятых решением административных задач, уменьшается по мере увеличения размера организации. Это экономия за счет масштаба, позволяющая более крупным организациям обходиться сравнительно меньшим числом административного персонала.

По крайней мере один аспект бюрократизации – совершенствование административного аппарата – не является, как думал Вебер, функцией увеличения размера организации. Однако другие ее аспекты, по-видимому, непосредственно связаны с размером организации, как это и предполагалось веберовским анализом. Так, в одном из исследований была обнаружена очень сильная связь между размером государственных учреждений и разделением труда в них: чем крупнее учреждение, тем более специализированы обязанности. Официальные правила и инструкции, видимо, также играют в крупных организациях большую роль, чем в малых. Более того, эти сравнительно недавние исследования подтверждают также некоторые положения Вебера о функциональной взаимозависимости между свойствами организаций. Например, хотя целевая специализация в государственных учреждениях и улучшает решение текущих задач, она в то же время усложняет их организационную структуру, а вместе с тем – и систему коммуникаций. Последнее же затрудняет решение общих задач. Внушительный административный аппарат сложных организаций как раз и выполняет функцию разрешения этих коммуникационных проблем, восстанавливая, таким образом, атмосферу, благоприятную для решения оперативных задач.

Путем сравнительных исследований можно выявить условия, благоприятные для возникновения в организациях свойств, характерных для бюрократий. В этом плане сравнительные исследования обещают внести наибольший вклад в дальнейшую разработку теории организаций. Наконец, можно привести еще один пример поискового исследования функций письменных инструкций и правил в различных типах организаций.

Важным и широко дискутируемым является вопрос о взаимоотношениях между профессионализацией и бюрократизацией. По Веберу, эти две тенденции сопутствуют друг другу, однако некоторые его критики указывают на фундаментальное различие между этими двумя путями рационализации социального действия. Так, можно предположить, что профессионализация уменьшает потребность в конкретных письменно зафиксированных правилах. Однако сравнительный анализ дает основание считать, что так происходит не всегда. Сравнение организаций с высоким и низким показателями

профессионализации обнаруживает, что последняя, вероятно, имеет стандартизирующее влияние на принцип письменно фиксируемых правил. Если письменных правил мало (как, например, в небольших организациях), профессионализация склонна поощрять их разработку, если же их много, как в крупных организациях, она тормозит их развитие. Представляется, что исполнение профессиональных обязанностей затрудняется не только избытком бюрократических правил, посягающих на независимость исполнителей, но и их недостаточным для поддержания упорядоченной рабочей обстановки количеством.

На основании этого поискового исследования можно сделать следующий гипотетический вывод, который необходимо будет подтвердить дальнейшими исследованиями: профессионализация способствует развитию в организациях конкретных письменных правил, если количество этих правил невелико; если же их уже много, она будет препятствовать их дальнейшей разработке.

Чтобы делать выводы подобного типа, необходимо проводить сравнение организаций, ибо только такое сравнение может выявить, какие же свойства организаций обычно присущи ей в совокупности и каковы условия их появления. А так как развитие веберовской теории организации требует именно дальнейшего определения условий возникновения в организациях различных скоплений свойств, то от сравнительного анализа можно ожидать очень многого.

Питер М. Блау Исследования формальных организаций //Американская социология. Перспективы, проблемы, методы / Пер. с англ. Редакция и вступительная статья д.филос. н. Г.В. Осипова. – Изд-во «Прогресс». – М., 1972.

КОН И.С.

Глава I ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

1. Понятие личности

Говоря о личности, чаще всего имеют в виду просто отдельного конкретного человека. Но ведь кроме понятия личности в нашем распоряжении имеется еще целый ряд близких понятий: человек, индивид, индивидуальность. В обыденной речи эти понятия часто употребляются в одном и том же значении, но в науке они обозначают разные вещи.

Словом "индивид" обозначается человек просто как единичный представитель какого-то целого (биологического рода или социальной группы); специфические особенности реальной жизни и деятельности данного конкретного человека в содержание этого понятия не входят. Многозначный термин "индивидуальность", который мы будем подробнее анализировать позже, напротив, обозначает то особенное, специфическое, что отличает этого человека от всех других, включая как природные, так и социальные, как

телесные (соматические), так и психические, как унаследованные, так и благоприобретенные, выработанные в процессе онтогенеза свойства. Понятие личности тоже многозначно. С одной стороны, оно обозначает конкретного индивида (лицо) как субъекта деятельности, в единстве его индивидуальных свойств (единичное) и его социальных ролей (общее). С другой стороны, личность понимается как социальное свойство индивида, как совокупность интегрированных в нем социально значимых черт, образовавшихся в процессе прямого и косвенного взаимодействия данного лица с другими людьми и делающих его, в свою очередь, субъектом труда, познания и общения. Этот второй аспект понятия наиболее важен с точки зрения социологии, которую отдельный человек интересует не сам по себе, а как член определенного общества, класса, социальной группы, воплощающий в себе некоторые социально типичные черты.

Понимание личности как социального явления было подробно обосновано Марксом, который указывал, что «сущность «особой личности» составляет не ее борода, не ее кровь, не ее физическая природа, а ее социальное качество». Это понимание лежит в основе почти всех работ советской психологической школы, начиная с Л. С. Выготского и В. М. Бехтерева. «В качестве собственно личностных свойств из всего многообразия свойств человека обычно выделяются те, которые обуславливают общественно значимое поведение или деятельность человека, – писал С. Л. Рубинштейн. – Основное место в них поэтому занимают система мотивов и задач, которые ставит себе человек, свойства его характера, обуславливающие поступки людей (то есть те их действия, которые реализуют или выражают отношения человека к другим людям), и способности человека, то есть свойства, делающие его пригодным к исторически сложившимся формам общественно полезной деятельности».

Согласно Л.С. Выготскому и его последователям, интрапсихологические процессы, т.е. внутренние процессы человеческой психики, складываются на основе интерпсихологических, т.е. межличностных, социальных процессов. Главный механизм развития психики человека – это усвоение социальных, исторически сложившихся видов и форм деятельности. Эти усвоенные формы деятельности, системы знаков и т. п. преобразуются далее во внутренние процессы личности. Таким образом, «внешнее» (по отношению к данному индивиду) и его «внутренняя» природа оказываются связанными как генетически, так и функционально.

Ни социология, ни психология, ни другие науки, имеющие дело с проблемой личности, не могут осмысленно изучать свой материал, не имея ясной философской постановки вопроса о соотношении личности и общества. Исходный пункт марксистского решения этой проблемы – знаменитый тезис Маркса, что «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений». Этот тезис четко ориентирует на рассмотрение личности не в качестве изолированной монады, а как общественного существа. Но Маркс здесь явно имеет в виду не единичную личность, а человека как родовое

понятие. Человек как род действительно совпадает с совокупностью общественных отношений, с обществом. История общества есть не что иное, как история людей, или, что одно и то же, история общественного человека. Но применимо ли это к отдельному эмпирическому индивиду? «Сущность человека» и «конкретная личность» – не одно и то же. Могу ли я, не погрешив против истины, назвать себя совокупностью всех общественных отношений, когда сфера моей (и вашей, и любого конкретного индивида) деятельности заведомо включает лишь незначительную часть этих отношений?

Общество и личность не тождественны, мало того, в повседневном опыте они выступают как противоположности. Общество воспринимается как граница, рамка моей деятельности, а личное – как то, что принадлежит только мне и отличает меня от других. Процесс приобщения индивида к социальному опыту тоже выступает как двусторонний процесс: «либо человек овладевает готовым, заранее данным стандартом общественного сознания («обучение»), либо те или иные идеи человека становятся общим достоянием, т.е. в некотором смысле общественным стандартом («творчество»). Так или иначе, в этом опыте сознание индивида противостоит общественному сознанию как чему-то внешнему».

Отсюда – традиционная атомистическая концепция, согласно которой общество – не более чем совокупность индивидов или внешняя среда их деятельности. Когда же эта концепция обнаруживает свою неудовлетворительность, на смену ей приходит другая, в которой общественные институты, отношения и нормы наделяются самостоятельностью, а индивид кажется объектом их деятельности.

Личность изучают разные науки, но в разных аспектах. Прежде всего, нужно разграничивать интраиндивидуальный и интериндивидуальный, межличностный, подходы. Их часто противопоставляют друг другу, но в действительности оба они необходимы, поскольку отвечают на разные вопросы. При интраиндивидуальном подходе в центре внимания стоит индивид и его особенности. В свете этого подхода для понимания такого явления, как дружба, необходимо прежде всего изучить личностные свойства субъекта, которые влияют на его способность к дружбе, – его терпимость, степень его чувствительности к переживаниям другого, раздражительность и т.п.; чем больше его качества приближаются к некоей идеальной модели, тем больше вероятность, что данный субъект будет иметь друзей. С позиции межличностного подхода исследователь изучает не потенциальную способность человека к дружбе, а дружбу как отношение – совместимость двух друзей, как они реагируют друг на друга в определенных ситуациях и т.п. Иначе говоря, в первом случае исследуются черты, установки, свойства личности, во втором – закономерности процесса взаимодействия. Оба подхода предполагают друг друга: черты личности влияют на взаимодействие индивидов и, в свою очередь, сами формируются и видоизменяются в этом процессе. Но в зависимости от целей исследования преобладает один или другой подход. В общем, можно сказать, что психология и психиатрия чаще

пользуются интраиндивидуальным подходом, социальная психология и социология – межличностным.

Одно и то же явление по-разному объясняется на индивидуально-психологическом и на социологическом уровнях. Например, то, что Иван Иванович Иванов не ладит со своей тещей, можно объяснить несходством их характеров, разностью воспитания и т.д. Но то же самое можно объяснить общими особенностями современной нукlearной семьи (т.е. семьи, состоящей из мужа, жены и их потомства), тяготеющей к автономии от родителей, отрицательным стереотипом тещи, укоренившимся в общественной психологии, и т.п. Эти два уровня объяснений явно не совпадают и в то же время не противоречат друг другу. Какое объяснение применить – зависит от целей исследования. Если вы хотите помирить Ивана Ивановича с его тещей, полезней индивидуально-психологическое объяснение. Если же данная ситуация интересует вас как частный случай для понимания перспектив развития семьи, допустим, для проектирования новых жилых домов, единственно правильным будет социологическое объяснение. [...]

2 Личность и социальные роли

Когда мы пытаемся определить какие-то свойства или особенности индивида, мы сразу же обнаруживаем, что они формируются и проявляются только в его взаимодействии с другими людьми. [...]

От личности к обществу

Уже этимология слова «личность» показывает, что оно имеет смысл лишь в контексте определенных общественных отношений. Первоначально слово «persona» обозначало маску (ср. русское «личина»), которую надевал актер в греческом театре, а затем самого актера и его роль. У римлян это слово употреблялось не иначе, как с указанием определенной социальной функции, роли – личность отца, царя, обвинителя и т. п. Платон говорит о «трагедии и комедии жизни», в которой люди играют роли, намеченные им судьбой или богами. Образ человека как актера, играющего заданные ему роли и меняющего эти роли в зависимости от возраста и социального положения – один из самых распространенных образов мировой литературы. Достаточно вспомнить Шекспира:

Весь мир – театр.

В нем женщины, мужчины – все актеры.

У них свои есть выходы, уходы,

И каждый не одну играет роль.

Семь действий в пьесе той. Сперва младенец,

Ревущий горько на руках у мамки...

Потом плаксивый школьник с книжной сумкой,

С лицом румяным, нехотя, улиткой

Ползущий в школу. А затем любовник,

Вздыхающий, как печь, с балладой грустной

В честь брови милой. А затем солдат,

Чья речь всегда проклятьями полна,

Обросший бородой, как леопард,
Ревнивый к чести, забияка в ссоре,
Готовый славу брэнную искать
Хоть в пушечном жерле. Затем судья
С брюшком округлым, где каплун запряган.
Со строгим взором, стриженной бородкой,
Шаблонных правил и сентенций кладезь,
Так он играет роль. Шестой же возраст —
Уж это будет нищий Панталоне,
В очках, в туфлях, у пояса – кошель,
В штанах, что с юности берег, широких
Для ног иссохших; мужественный голос
Сменяется опять дискантом детским:
Пищит, как флейта... А последний акт,
Конец всей этой странной, сложной пьесы –
Второе детство, полузабытье:
Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.

Ни в обыденной речи, ни в системе научных понятий мы не можем описать поведение и взаимоотношения индивида с другими людьми и общественными учреждениями иначе, как в терминах выполняемых им социальных ролей. Допустим, мы хотим охарактеризовать личность Ивана Ивановича Иванова. Как мы это будем делать? Прежде всего, путем перечисления его многообразных ролей, функций (мужчина средних лет, учитель, женатый, отец двоих детей, участник художественной самодеятельности и т.д.). Эта характеристика, разумеется, не исчерпывает индивидуальности Иванова, каждая из перечисленных ролей присуща не только ему, но и многим другим людям. Но и без нее обойтись невозможно. Ведь, даже характеризуя индивидуальные качества Иванова (добрый он или злой, отзывчивый или черствый, способный или неспособный), мы невольно подразумеваем, что эти качества проявляются в его социальных ролях. Способный учитель может быть весьма неспособным писателем или альпинистом. Характер, оцениваемый как мягкий для мужчины, может казаться скорее жестким, если речь идет о женщине. Одно и то же качество у пятнадцатилетнего мальчика воспринимается как милая наивность, а у тридцатилетнего мужчины – как глупость.

Понятие социальной роли широко применяется в современной западной социологии и социальной психологии. Однако понимают его по-разному. Бихевиористская концепция, фиксирующая внимание на непосредственно наблюдаемом поведении людей (behavior – поведение), ограничивает предмет исследования непосредственным взаимодействием между индивидами: действие одного индивида оказывается стимулом, который вызывает ответную реакцию другого. Такая концепция позволяет лишь внешне описать процесс взаимодействия, она не раскрывает ни внутренней структуры личности (разные люди по-разному реагируют на одни и те же стимулы), ни структуры общественных отношений (поведение людей протекает в рамках определенных

общественных учреждениях, зависит от их общественного положения). Авторы, не удовлетворенные этой схемой (в частности, социологи Т. Парсонс и Э. Шилз), дополняют ее указанием на то, что, с одной стороны, личность обладает собственной внутренней структурой (идеи, желания, установки), которая располагает ее к одним, а не другим ролям; с другой стороны, сами «ролевые ожидания» не являются случайными ситуационными факторами, но вытекают из требований социальной системы. Как пишет Т. Парсонс, любая крупномасштабная социальная система (общество) представляет собой не что-то монолитное, но сложную сеть взаимозависимых и взаимопроникающих подсистем. Один и тот же индивид одновременно участвует во многих системах и имеет много разных ролей; роль определяется как «структурно организованное, т.е. нормативно регулируемое участие лица в конкретном процессе социального взаимодействия с определенными конкретными ролевыми партнерами». Утверждение, высказанное в столь общей форме, не вызывает возражений. Но сразу же встает вопрос: равноценны ли эти различные подсистемы и связанные с ними роли с социальной точки зрения? [...]

Описание личности в терминах ее социальных ролей кажется простым и естественным делом. Но любая социальная роль предполагает определенное социальное положение, позицию, занимаемую индивидом в системе общественных отношений. А это, в свою очередь, соотносится с обществом как целым. Так, положение и роль учителя предполагает существование определенной системы общественного разделения труда. Роли матери и отца зависят от структуры и функций семьи, а они, в свою очередь, определяются более общими социальными процессами. Даже за естественными характеристиками индивида (пол, возраст, этническая принадлежность) стоят, в конечном итоге, социальные свойства.

«Женская» роль, воспринимаемая обычно как следствие биологической организации, на деле обусловлена общественным положением женщины – степенью ее порабощения или, напротив, эмансипации, традиционными видами деятельности и т.п. Возрастные характеристики имеют смысл только в свете существующего в данном обществе взаимоотношения возрастных групп, которое, в свою очередь, зависит от целого комплекса исторических условий. Роли, обусловленные, на первый взгляд, принадлежностью к той или иной этнической группе, фактически определяются существующей системой отношений между разными этническими группами (быть негром в США и на Кубе – совершенно разные вещи).

Следовательно, чтобы понять конкретную личность, недостаточно описать ее непосредственные взаимоотношения с другими людьми. Начинать надо не с индивида и его непосредственного взаимодействия с другими, а с общества как целого, хотя это и кажется более абстрактным.

От общества к личности

Что же такое человеческое общество? На первый взгляд кажется, что общество – просто совокупность индивидов. Как писал Маркс, люди сами являются и актерами, и авторами своей всемирно-исторической драмы. Но состав индивидов меняется, а определенные формы социального

взаимодействия, общественные отношения остаются. Отсюда – тезис, что общество состоит не из индивидов, а из совокупности отношений, в которых эти индивиды находятся друг к другу.

Это определение значительно глубже первого, оно фиксирует устойчивость и определенность социальной структуры, не зависящей от воли и желания отдельных индивидов. Но это определение тоже является неполным, так как оно не указывает происхождения соответствующей структуры; его можно истолковать в том духе, что общественные отношения независимы не только от данных, исторически определенных, индивидов, но и от человеческой деятельности вообще.[...]

Отправным пунктом материалистического понимания истории являются не отдельные индивиды (они не существуют вне общества) и не безличные общественные отношения (они суть отношения между индивидами), а практика как совместная деятельность людей. Человеческое общество – это совокупность всех исторически сложившихся форм совместной деятельности людей. В отличие от биологических систем, которые сохраняют свою структуру главным образом через передачу из поколения в поколение определенных наследственных признаков, социальная информация, закодированная в ряде знаковых систем (культура, идеология), передается благодаря деятельности специфических общественных институтов. В основе структуры общества лежит структура самой общественной деятельности. Чем богаче эта деятельность, тем дифференцированнее система общественных отношений, институтов и групп. Так, расчленение первоначально единого процесса деятельности на материальное и духовное производство породило материальные и идеологические отношения и соответствующую специализацию общественных учреждений. Усложнение процесса общественного производства повлекло за собой возникновение классов и дальнейшую дифференциацию социальных групп. Выделение специфических функций управления вызвало к жизни политику как особую сферу общественной жизни и государство как особый общественный институт.

Ни отдельный индивид, ни каждое поколение как таковое не создают этой сложной системы отношений, а застают ее как нечто готовое, данное. Расчленение общественной деятельности исторически предшествовало появлению данной системы отношений, институтов, социальных групп и т.д. Но в повседневной жизни и сознании индивида эта зависимость переворачивается: способ и форма его жизнедеятельности обусловлены наличной системой общественных отношений. Жизненные функции личности, а следовательно, и ее собственная структура производны от структуры общественных отношений.

Общество как определенная система социальной реальности существует в двух формах – объективной (общественное бытие) и субъективной (общественное сознание), которые тесно связаны друг с другом и даются индивиду как нечто от него не зависящее.[...]

Детерминация индивида обществом не исчерпывается данным ему социальным положением. Она осуществляется и по другой линии. Так же, как и

поколения в поколение передаются орудия труда и материальные ценности, передаются и накопленные человечеством опыт и знания, фиксированные в определенных системах значений. Значение какой-либо вещи есть то, чем она является в общественной практике, каким человеческим потребностям она удовлетворяет. Это прежде всего фиксируется в слове. Овладевая речью, индивид вместе с тем овладевает обобщенным в языке человеческим опытом. Он не придумывает, что значит «яблоко», «треугольник», «дом», а усваивает уже готовую, исторически сложившуюся систему значений. Конечно, эти значения как-то индивидуализируются, приобретают специфический личностный смысл, зависящий от личного опыта субъекта, его возраста, пола, социального положения. Слово «дом» в самом обычном значении имеет разный личностный смысл для строителя, туриста, осматривающего город, и человека, стоящего в очереди на квартиру. «Бог» значит не одно и то же не только для верующего и не верующего, но и для представителей разных религий. [...]

Процесс социализации, т.е. усвоения индивидом социального опыта, в ходе которого создается конкретная личность, несводим к непосредственному взаимодействию индивидов. Чтобы от характеристики общества перейти к характеристике личности, необходим ряд этапов и целая система понятий.

Общество, как сложная система, дифференцируется на ряд зависимых подсистем и частных структур (сферы общественной деятельности, классы и социальные группы, общественные институты и т.д.). Это конкретизируется в большом количестве взаимосвязанных друг с другом социальных позиций.

Социальное положение (позиция) индивида – его место в определенной конкретной социальной структуре. В силу сложности общественных отношений каждый индивид занимает множество позиций (учитель – профессиональная позиция, отец – семейная, партгрупорг – общественно-политическая), различающихся по своему значению, определенности и другим признакам.

Лицо, занимающее определенное положение, выполняет определенную социальную роль. Под ролью понимается функция, нормативно одобренный образ поведения, ожидаемый от каждого, занимающего данную позицию. Например, от учителя ожидают определенной профессиональной деятельности, с которой ассоциируются и некоторые личностные качества (скажем, умение разбираться в людях). Отцы бывают разные, но роль отца всегда предполагает участие в воспитании детей и соответствующую меру ответственности и т.д. Эти ожидания, определяющие общие контуры социальной роли, не зависят от сознания и поведения конкретного индивида; они даются ему как нечто внешнее, более или менее обязательное; их субъектом является не индивид, а общество или какая-то конкретная социальная группа. Именно то, насколько поведение лица соответствует этим ожиданиям, служит критерием оценки выполнения им данной социальной роли.

Социальные роли, особенно если их рассматривать каждую в отдельности, могут казаться чем-то внешним по отношению к конкретной личности. Наш Иванов не перестанет быть самим собой, если он по каким-либо причинам оставит семью и бросит художественную самодеятельность. Сама

множественность социальных ролей, присущих каждому из нас, делает нас более или менее автономными от каждой из этих ролей в отдельности; дальше я подробно рассмотрю этот вопрос. Однако, как показывают специальные исследования, выполнение той или иной социальной роли, особенно если это продолжается долгое время и сама роль существенна для индивида, оказывает заметное влияние на его личностные качества (его ценностные ориентации, мотивы его деятельности, его отношение к другим людям).

Вспомните «Пигмалион» Бернарда Шоу. Как изменилось все поведение уличной цветочницы Элизы Дулиттл в результате усвоения (первоначально с временной целью!) всего лишь иного стиля речи и манер! Вместе с внешними чертами роли девушка усвоила и какие-то элементы нового самосознания, которые сделали для нее невозможным возвращение к прежней жизни без глубочайшей психологической травмы.

Еще более поучительны данные о влиянии на личностные качества человека его профессиональной роли. Представителей некоторых профессий можно легко узнать, даже не зная их рода занятий, по манере поведения и стилю мышления. Это влияние подтверждают и специальные исследования. Например, у многих учителей дидактическая, поучающая манера, выработанная в школе, нередко проявляется и в сфере личных отношений. Привычка упрощать сложные вещи, чтобы сделать их понятными детям, если с ней не бороться, рождает известную прямолинейность, негибкость мышления. Сдержанность, вызванная необходимостью «держаться в руках» класс, проявляется и вне школы. Как показывают данные А. А. Бодалева, люди разных профессий обнаруживают тенденцию по-разному воспринимать внешний облик другого человека. Американские социологи, исследовавшие психологические особенности государственных чиновников, пришли к выводу, что безличный характер административной деятельности, строгая приверженность к правилам и распорядкам, часто совершенно формальным, способствуют общему обеднению эмоциональной жизни человека, появлению формализма и сухости и в его личных взаимоотношениях, ничего общего со службой не имеющих. Экспериментально доказана зависимость ценностных ориентаций личности от ее социальной роли.

Однако сама по себе социальная роль еще не определяет поведение лица. Для этого она должна быть усвоена, интернализирована. Интернализированная роль – это внутреннее определение индивидом своего социального положения и его отношение к этому положению и вытекающим из него обязанностям. Обязанности отца вообще не зависят от особенностей Ивана Ивановича Иванова, они определяются структурой современной семьи и ее функциями в более общей системе общества. Но как понимает эту роль Иван Иванович, какое значение он ей придает, какое место занимает она в его жизни, как она согласуется с другими его социальными ролями – дело весьма индивидуальное, зависящее от особенностей его биографии. Одна и та же социальная роль по-разному воспринимается, переживается, оценивается и реализуется разными людьми. Здесь сказываются как индивидуально-психологические особенности

личности (ее темперамент, характер, склонности), так и усвоенные ею социальные установки, ценностные ориентации и т.п.

Таким образом, понятие социальной роли является центральным при описании и анализе непосредственного взаимодействия индивидов. Но оно требует дополнения с двух сторон. Во-первых, ролевое поведение личности (т.е. её действия в качестве учителя, отца или партгрупорга) можно понять только в рамках более общей социальной системы, от которой производны и с которой соотносятся частные социальные структуры. Во-вторых, межиндивидуальный ролевой анализ должен быть дополнен интраиндивидуальным подходом, позволяющим перейти от структуры взаимоотношений данного индивида с другими к его внутренней психологической структуре, одним из элементов которой является интернализированная роль. Существует множество различных подходов к этой проблеме. С точки зрения социолога, как правильно отметил В. А. Ядов, наиболее важной «переходной» категорией в этом плане является категория интереса.

Интерес есть, с одной стороны, социально-экономическое, а с другой – индивидуально-психологическое явление. С точки зрения социолога, интерес – это социальное «положение, рефлектирующееся в сознании, и вместе с тем сознание, переходящее в действие... Объективным моментом интереса является положение субъекта, субъективным моментом – идеальные побудительные силы: желания, стремления, мотивы деятельности. Предметы и объекты этих мотивов оказываются содержанием интереса, отражаются в сознании субъекта сообразно его положению, положение же выражается в содержании интересов. Следовательно, интерес есть единство выражения (обнаружения, проявления) внутренней сущности субъекта и отражения объективного мира, совокупности материальных и духовных ценностей человеческой культуры в сознании этого субъекта». Интерес, обусловленный социальным положением лица, его классовой, групповой принадлежностью, преломляется в определенной системе мотивов, установок и ориентаций.

Мотив обозначает субъективное отношение человека к своему поступку, сознательно поставленную цель, направляющую и объясняющую поведение. Изучая, например, мотивы трудовой деятельности рабочего, социологи стремятся выяснить, что именно побуждает его трудиться, чем определяется его осознанное отношение к труду. Мотивы зависят как от особенностей индивида, так и от конкретной ситуации и могут быть противоречивыми и непоследовательными. Гораздо глубже лежит установка, определяющая отношение группы или индивида к какому-либо объекту, а также самый способ его восприятия. Установка – состояние готовности к определенной активности, способной удовлетворить ту или иную потребность. Установка оказывает руководящее влияние на отношение индивида ко всем связанным с нею объектам. Теорию установки на большом экспериментальном материале разрабатывал советский психолог Д. Н. Узнадзе. Установка не только более устойчива, нежели мотив, но и гораздо сложнее: она включает и мысль, и чувство, и побуждение к действию. Причем сам субъект обычно не осознает

наличие у него той или иной установки. Наконец, ориентация— это целая система установок, в свете которых индивид (группа) воспринимает ситуацию и выбирает соответствующий образ действий. Ориентации, направленные на какие-то социальные ценности, называются ценностными ориентациями.

Восприятие и оценка личностью ее социальных ролей в огромной степени определяется типичной для нее системой ценностных ориентаций. Подобно ролевой структуре, они одновременно социальны и индивидуальны. Они социальны потому, что обусловлены положением лица, а также системой общественного воспитания, пропаганды и т.п. Совокупность типичных ценностных ориентаций, свойственных личности в данном обществе, называется социальным характером. В то же время они индивидуальны; поскольку в них аккумулируется неповторимый жизненный опыт данного лица, своеобразие его интересов и потребностей.

Социологический анализ, отправляясь от общества как системы, через дифференциацию социальных функций и ролей, приводит к человеку как социальному типу. Но конкретная личность это не только социальный тип. [...]

Кон И.С. Социология личности. – М.: Политиздат. - 1967. – 383.

КУЛИ ЧАРЛЬЗ ХОРТОН

Глава V СОЦИАЛЬНОЕ Я

Для начала стоит отметить, что в данной работе слово я понимается лишь в том его значении, которое в обыденной речи выражают местоимения первого лица единственного числа — «я» («I»), «меня», «мое», «мне» и «(я) сам». [...]

Так как «я» дано нам в опыте прежде всего как чувство, как чувственная составляющая наших представлений, то его нельзя описать или определить, не вызывая в душе этого чувства. Рассуждая о чувствах и эмоциях, мы иногда скатываемся к формальному пустословию, пытаюсь определить то, что по своей природе является исходным и неопределимым. Формальное определение чувства я, а по сути, любого чувства, неизбежно будет столь же бессодержательным, как и формальное определение вкуса соли или красного цвета; мы можем познать их только на собственном опыте. Нельзя никак иначе окончательно удостовериться в существовании я, как только ощутив его; именно к нему мы относимся как к чему-то «моему». Но коль скоро это чувство нам так же привычно и легко представимо, как вкус соли или красный цвет; то не должно вызывать трудностей и понимание того, что оно означает. Стоит лишь представить, как кто-то задевает наше я, насмехается: над нашей одеждой, пытается отнять нашу собственность, ребенка или старается клеветой очернить наше доброе имя, как чувство я дает о себе знать немедленно. В самом деле, стоит лишь подчеркнуто произнести одно из

таких слов, как «я» или «мое», и чувство я возникает по ассоциации. Другой хороший способ — проникнуться духом самоутверждения, сопереживая литературному герою. [...]

Чувство я рефлексивного и умиротворенного свойства, созерцание с оттенком присвоения хорошо передает слово «любование». Любоваться в этом смысле — это все равно что думать «мое, мое, мое», ощущая в душе приятную теплоту. Так, мальчик вожделенно любит собственноручно выпиленным узором, подстреленной из ружья птицей, собственной коллекцией марок либо птичьих яиц; девочка любит новыми платьями и жадно ловит одобрительные слова и взгляды окружающих; фермер радуется, глядя на свои поля и поголовье скота; коммерсант любит своим магазином и счетом в банке; мать — своим ребенком; поэт — удачной строфой; уверенный в своей правоте человек — своим душевным состоянием; и так же радуется любой человек, видя успех своего задушевного замысла.[...]

Но, когда мы употребляем это слово попросту, не рефлексивуя, как в обыденной речи, мы не так уж часто связываем его с телом, отнюдь не так часто, как, например, с другими вещами. Это утверждение несложно проверить, ибо слово «я» одно из наиболее употребимых в разговоре и литературе, так что ничто не мешает изучить его значение со всей возможной тщательностью. Нужно лишь прислушаться к обыденной речи, пока это слово не встретится в нем, скажем, сотню раз, примечая, в какой связи его произносят, или же рассмотреть такое же количество случаев его употребления героями какого-нибудь романа. Обычно обнаруживается, что «я» обозначает тело говорящего не более чем в десяти случаях из ста. Главным же образом оно отсылает к мнениям, целям, желаниям, требованиям и подобным вещам, которые не заключают в себе никакой мысли о теле. Я думаю или чувствую так-то и так-то; я желаю или намереваюсь сделать то-то и то-то; я хочу того-то и того-то — вот примеры его типичного употребления, когда чувство я связано со взглядами, целями или их объектами. Следует также помнить, что «мое» в той же степени выступает именем я, как и «я», но, разумеется, обычно оно обозначает разнообразное имущество.

Ради любопытства я предпринял попытку приблизительной классификации первой сотни «я» и «мне» в «Гамлете» и получил следующие результаты. Данные местоимения употреблялись в связи с восприятием («я слышу», «я вижу») — четырнадцать раз; в связи с мыслью, чувством, намерением и т. д. — тридцать два раза; в связи с желанием («я прошу тебя») — шесть раз; от лица говорящего («на это я скажу») — шестнадцать раз; от лица того, с кем говорят, — двенадцать раз; в связи с действием, включающим, возможно, некое смутное представление о теле («я прибыл в Данию»), — девять раз; неясное или сомнительное употребление — десять раз; как эквивалент телесной внешности («на отца похож не более, чем я на Геркулеса») — один раз. Некоторые из этих рубрик выбраны произвольно, и другой исследователь, несомненно, получил бы иной результат; но, думаю, ему бы не удалось избежать вывода о том, что герои Шекспира редко имеют в виду свои тела, когда говорят «я» или «мне». И в этом отношении они, похоже, представляют собой человечество в целом.

Как уже отмечалось, эволюция инстинктивного чувства я, без сомнения, связана с его важной функцией побуждать к действиям и сводить воедино отдельные действия индивидов. По-видимому, главным образом это чувство связано с идеей применения власти и идеей быть причиной чего-либо, в которых подчеркивается противоположность сознания и остального мира. Вероятно, первые отчетливые мысли, которые ребенок связывает с ощущением собственного я, вызваны его самыми ранними попытками управлять видимыми объектами — своими руками и ногами, игрушками, бутылочкой и т. п. Затем ребенок пытается управлять действиями окружающих, и, таким образом, область на которую распространяется его власть и ощущение собственного я, непрерывно расширяется, вбирая в себя все более сложные предметы мира взрослых. Хотя ребенок и не говорит «я» или «мое» в течение первого года или двух, своими действиями он все же так ясно выражает чувство, которое с этими словами связывают взрослые, что мы не вправе отказывать ему в собственном я даже на первых неделях жизни.

Взаимосвязь между чувством я и целенаправленной деятельностью нетрудно заметить, наблюдая за ходом какого-нибудь творческого предприятия. Если мальчик занят постройкой лодки и у него это получается, его интерес к делу растет, он любит дорогими его сердцу килем и форштевнем; ребра лодки значат для него больше, чем его собственные. Ему не терпится показать ее друзьям и знакомым: «Смотрите, что я делаю! Правда, здорово?» Он ликует, когда его работу хвалят, и чувствует себя обиженным или оскорбленным, если в ней обнаруживают какой-то дефект. Но, как только лодка закончена и он начинает заниматься чем-то другим, его чувство я в отношении нее начинает угасать, и самое большее через несколько недель он становится к ней почти равнодушен. Всем нам хорошо известно, что почти такой же сменой чувств сопровождается и творчество взрослых. Работая над картиной, поэмой, эссе, возводя сложную каменную постройку, создавая любое другое произведение искусства или ремесленное изделие, невозможно не связать с ними свое чувство я, нередко доходящее до сильного волнения и горячего желания быть оцененным по достоинству, которые быстро ослабевают, когда работа близится к концу, а по ее завершении часто сменяются равнодушием.[...]

Социальное я — это просто представление или система представлений, почерпнутая из общения с другими людьми, которые сознание воспринимает как свои собственные. Область, на которую главным образом распространяется чувство я, лежит в пределах общей жизни, а не вне ее; те специфические индивидуальные склонности или стремления, эмоциональным аспектом которых выступает чувство я, находят свое важнейшее проявление в сфере личных влияний, отражаемых в сознании человека как совокупность его представлений о самом себе.

Связанная с мыслью о других людях, идея я всегда есть осознание человеком индивидуальности или своеобразия своей жизни, поскольку именно эту сторону жизни необходимо поддерживать целенаправленными усилиями, и именно она агрессивно проявляет себя всякий раз, когда, по мнению человека, его собственные устремления идут вразрез с устремлениями других людей, с

которыми он мысленно себя соотносит. Именно здесь агрессивность особенно необходима для того, чтобы побуждать человека к характерной для него деятельности, способствовать развитию тех личных особенностей, которых, по видимому, требует осуществление общего хода жизни. Как говорит Шекспир:

«Груды сограждан разделило небо,
Усилия всех в движенье привело...»,

и чувство я — одно из средств достижения разнообразия этих трудов.

В соответствии с этой точкой зрения агрессивное я наиболее явно проявляется в стремлении завладеть предметами, притягательными и для всех остальных; и это обусловлено как тем, что власть над такими предметами нужна человеку для собственного развития, так и угрозой противодействия со стороны других людей, также нуждающихся в них. С материальных предметов я распространяет свою власть дальше, стремясь таким же образом завладеть вниманием и привязанностью окружающих, вобрать в себя всевозможные замыслы и стремления, включая и самые благородные, а по сути — любую идею, которая, как может показаться человеку, станет частью его жизни и потребует отстоять ее перед другими людьми. Попытка ограничить значение слова я и производных от него слов только низменными личными целями не имеет под собой оснований и не согласуется со здравым смыслом, о чем свидетельствует употребление «я» с подчеркнутым ударением в связи с чувством долга и другими высшими мотивами. Это нефилософский подход, ибо он игнорирует назначение я быть органом личностных стремлений как высшего, так и низшего порядка.

Тот факт, что в обычной речи значение «я» содержит так или иначе ссылку на других людей, обусловлен именно тем, что это слово и выражаемые им идеи суть феномены языка и общения. Кажется сомнительным, что вообще можно пользоваться языком, не имея никакой более или менее отчетливой мысли о ком-то другом. Наоборот, мы практически всегда даем имена и отводим важную роль в рефлексивном мышлении именно тем предметам, которые запечатлеваются в нашем сознании благодаря общению с другими людьми. Без общения не может быть никаких имен и связных мыслей. Поэтому то, что мы называем «я», «мое» или «(я) сам», не отделено от общей жизни, а составляет ее наиболее интересную сторону; и я интересно именно тем, что оно одновременно и всеобщее, и индивидуальное. Иными словами, мы питаем к нему интерес по той, собственно, причине, что именно эта часть нашего сознания существует и пробивает себе дорогу в общественной жизни, пытаясь оказать давление на сознание других людей. Я — это активная социальная сила, стремящаяся захватить и расширить себе место в общем раскладе сил. Подобно всему живому, оно растет, покуда есть возможность. Мыслить его отдельно от общества — вопиющая нелепость, в которой нельзя обвинить того, кто действительно усматривает в я явление жизни.[...]

Ссылка на других людей, содержащаяся в значении я, может быть отчетливой и конкретной, как в случае, когда мальчик сгорает со стыда, будучи застигнутым матерью за тем, что она ему запретила, или неопределенной и общей, как в случае, когда человек стыдится за содеянное, о котором ведает и которое

осуждает лишь его совесть, выражающая его чувство ответственности перед обществом; но эта ссылка имеет место всегда. Не существует такого значения «я», которое не имело бы смысловой соотнесенности с ты, он или они. [...]

Выше я уже отмечал, что мы отождествляем тело с я, когда оно приобретает социальную функцию или значимость, как, например, в случае, когда мы говорим: «Я сегодня хорошо выгляжу» или «Я выше тебя ростом». Мы вводим его в социальный мир и поэтому помещаем в нем свое осознаваемое я. Любопытно, хотя и вполне понятно, что точно таким же образом мы можем назвать местоимением «я» любой неодушевленный объект, с которым мы связываем свои желание и цель. Это легко заметить в таких играх, как гольф или крокет, где мяч воплощает удачные ходы игрока. Вы можете услышать от человека: «Я в высокой траве ниже третьей метки» или «Я перед средней дугой». Мальчик, запускающий воздушного змея, скажет: «Я выше, чем ты», а человек, стреляющий по мишени, заявит, что он чуть ниже яблочка.

В многочисленных и интересных случаях ссылка на других осуществляется таким образом, что человек более или менее отчетливо представляет себе, как его я, то есть любая идея, которую он считает своей, воспринимается другим сознанием, и возникающее при этом у человека чувство я определяется тем, как, на его взгляд, это другое сознание относится к данной идее. Социальное я такого рода можно назвать отраженным или зеркальным я.[...]

Подобно тому, как, видя свое лицо, фигуру и одежду в зеркале, мы проявляем к ним интерес, потому что они наши, и бываем довольны или не довольны ими в зависимости от того, отвечают ли они тому, какими мы хотим их видеть, или нет, так и в воображении мы рисуем себе, что другие думают о нашей внешности, манерах, намерениях, делах, характере, друзьях и т. д., и это оказывает на нас самое разнообразное влияние.

Такого рода идея я, по-видимому, включает три основных элемента: представление о том, как мы выглядим в глазах другого человека; представление о том, как он судит об этом нашем образе, и некое чувство я, вроде гордости или стыда. Сравнение с зеркалом не позволяет выявить второй элемент — воображаемое суждение, — который весьма существен. В нас рождает гордость или стыд не просто наше механическое отражение, а приписываемое кому-то мнение, воображаемое воздействие этого отражения на другое сознание. Это явствует из того факта, что для нашего чувства я большое значение имеют характер и авторитет того человека, в чьем сознании мы себя видим. Мы стыдимся показаться лживыми в глазах человека прямого и честного, трусливыми в глазах смелого, вульгарными в глазах утонченного и т. д. Мы всегда представляем себе суждения других и, представляя, разделяем их. Перед кем-то одним человек будет хвастаться своим поступком, скажем, ловкой торговой сделкой, а перед кем-то другим ему будет стыдно в нем сознаться.[...]

Итак, на мой взгляд, ребенок, как правило, вначале связывает «я» и «мне» только с тем, в отношении чего возникает и благодаря противодействию приобретает отчетливые формы его чувство присвоения. Он присваивает себе свой нос, глаз или ногу во многом так же, как присваивает игрушку, — противопоставляя их другим носам, глазам и ногам, которыми он не может

распоряжаться. Часто маленьких детей дразнят, предлагая отнять у них одну из этих частей тела, и они реагируют именно так, будто «мое», которому угрожают, является чем-то делимым, и они знают, что его можно отнять. Согласно моему предположению, даже во взрослой жизни «я», «мне» и «мое» применяются в своем полном смысле только к тому, что обозначилось как собственно наше в силу некоторого противодействия или противопоставления. Эти местоимения всегда предполагают социальную жизнь и связь с другими людьми. То, что является сугубо моим, относится к очень личному, это верно, но именно эту сокровенную часть своей личной жизни я противопоставляю остальному миру: она есть не нечто обособленное, а особое. По существу, агрессивное я является воинственной составляющей сознания, очевидное назначение которой — побуждать к характерной для каждого деятельности, и, хотя воинственность может не иметь явных, внешних проявлений, она всегда присутствует как установка сознания.[...]

Процесс развития у детей чувства я зеркального типа можно проследить без особых затруднений. Внимательно следя за поведением других, дети довольно скоро замечают связь между своими действиями и изменениями в этом поведении, т. е. они начинают осознавать свое собственное влияние или власть над людьми. Ребенок присваивает себе наблюдаемые им действия родителей или няни, над которыми, как выясняется, он имеет некоторую власть, присваивает совершенно так же, как свою руку, ногу или игрушку. Он будет пытаться обращаться с этим новым приобретением так же, как со своей рукой или погремушкой. Девочка шести месяцев будет стараться самым явным и нарочитым образом привлечь к себе внимание, пуская в ход некоторые из тех действий других людей, которые она себе присвоила. Она вкусила радость быть в центре внимания, применять власть над другими и желает ее все больше. Она будет тянуть мать за юбку, вертеться, гукать, протягивать к ней руки, неотступно следя за произведенным эффектом. Подобные выкрутасы ребенка, даже в этом возрасте, часто выглядят как так называемая аффектация, ибо его, похоже, заботит только то, что подумают о нем другие люди. Аффектация в любом возрасте встречается там, где страстное желание оказывать влияние на других, по-видимому, берет верх над сложившимся характером, внося в него явный разлад и искажение. [...]

Юный лицедей быстро учится вести себя по-разному с разными людьми. Это означает, что он начинает понимать характер окружающих людей и предвидеть их поступки. Если мать или няня скорее ласковы с ним, нежели строги и справедливы, он почти наверняка будет «обрабатывать» их систематическим плачем. По общему наблюдению, дети часто хуже ведут себя с матерью, чем с другими, менее близкими им людьми. Из новых же людей, с которыми знакомится ребенок, одни явно производят на него сильное впечатление и будят в нем желание заинтересовать и понравиться, тогда как другие оставляют равнодушным или же вызывают неприязнь. Иногда можно понять или угадать причину этого, иногда — нет, но к концу второго года жизни налицо избирательность в проявлении интереса, восхищения и признания авторитета. К этому времени ребенка уже сильно заботит впечатление, производимое им на одних людей и очень мало — на других. Более того, он начинает предъявлять притязания на близких и

покладистых людей как на нечто такое, что принадлежит ему наряду с другими вещами, и обороняет свои владения от любых посягательств. [...]

Сомневаюсь, что в развитии социального чувства я и его общих проявлений у большинства детей можно выделить какие-либо регулярные стадии. Ощущения собственного я вырастают незаметными шагами из примитивного инстинкта присвоения, свойственного новорожденным, и их проявления бесконечно разнообразны в разных случаях. У многих детей «самосознание» заметно выражено уже с полугода, тогда как другие мало обнаруживают его в любом возрасте. Третьи же проходят через периоды аффектации, длительность и время наступления которых, вероятно, отличаются крайним разнообразием. В детстве, как и в любом другом периоде жизни, поглощенность какой-либо идеей, отличной от социального я, ведет к вытеснению «самосознания».[...]

Социальное я может быть источником смутного волнения — более общего по своему характеру, нежели любая конкретная эмоция или чувство. Так, одно лишь присутствие людей, «ощущение других людей», как говорит профессор Болдуин, и сознание того, что они наблюдают за тобой, часто служат причиной неясного беспокойства, неуверенности и неловкости. Человек чувствует, что о нем складывается неведомое ему представление, и это вызывает у него смутную тревогу. Многие люди, возможно большинство, в той или иной степени испытывают дискомфорт и смущение, чувствуя на себе взгляды незнакомых людей, а для кого-то неприятно и даже невыносимо простое нахождение в одной комнате с незнакомыми и не вызывающими симпатии людьми. [...]

Возможно, кто-то сочтет, что я преувеличиваю важность социального чувства я, ссылаясь на людей и периоды человеческой жизни, которые отличает чрезмерная чувствительность. Но я уверен, что это чувство на протяжении всей жизни в той или иной форме побуждает к деятельности всех психически нормальных людей и дает главную пищу для их воображения. Мы не особенно о нем задумываемся — как, впрочем, и о других чувствах, — пока оно в меру и регулярно утоляется. Многие уравновешенные и деятельные люди едва ли осознают, что их заботит мнение о них других людей, и будут отрицать, возможно, с негодованием, важную роль этого мнения в том, что они собой представляют и что делают. Но это иллюзия. Стоит только потерпеть неудачу или пережить позор, стоит только внезапно обнаружить на лицах людей холодность или презрение вместо привычных доброжелательности и уважения, как, потрясенный, напуганный, ощущающий себя отверженным и беспомощным, человек сразу начинает понимать, что жил в сознании других, не ведая об этом, подобно тому, как мы ежедневно ходим по земле, не задумываясь над тем, как она нас выдерживает. [...]

Надо, однако, признать, что, когда мы пытаемся описать социальное я и проанализировать составляющие его психические процессы, оно почти неизбежно предстает более рефлексивным и «самосознательным», нежели обычно является. Поэтому если одни читатели смогут ясным и целенаправленным созерцанием обнаружить в душе отраженное я, то другие, возможно, не найдут ничего, кроме влечения к сочувствию, влечения столь простого, что оно едва ли может быть предметом отчетливой мысли. Многих людей, чье поведение

свидетельствует о том, что их представления о себе в основном почерпнуты у окружающих, все же нельзя винить в умышленном позерстве; дело объясняется подсознательным влечением или простым внушением. Именно таким я обладают очень чувствительные, но не склонные к рефлексии люди.

Групповое я или «мы» — это попросту я, включающее других людей. Человек отождествляет себя с группой людей и, говоря об общей воле, мнении, работе и т. п., употребляет слова «мы» или «нам». Смысл их рождается из сотрудничества внутри группы и ее противостояния внешнему окружению. Семью, которой пришлось преодолевать экономические трудности, обычно связывает общность интересов — «мы выкупили закладную», «мы посылаем мальчиков в колледж» и т.п. Студент отождествляет себя со своим курсом или университетом, когда те участвуют в общественных мероприятиях, особенно в спортивных состязаниях с другими курсами или учебными заведениями. «Мы победили в перетягивании каната», — говорит он. Или: «В футболе мы одержали верх над Висконсином». Те из нас, кто оставался дома во время Великой войны, тем не менее не преминут рассказать, как «мы» вступили в войну в 1917 году, как «мы» решительно сражались в Аргоннах и т. д.

Примечательно, что национальное я, а по сути, любое групповое я можно ощутить только в связи с каким-то значительным объединением людей, так же как свое индивидуальное я мы ощущаем только в связи с другими индивидами. Нам был бы неведом патриотизм, если бы мы не осознавали существования других народов. Создание союза объединенных наций, в котором мы все чрезвычайно заинтересованы, привело бы не к умалению патриотизма, как заявляют невежды, а к повышению его статуса, сделало бы его более жизнеспособным, долговечным, разнообразным и отвечающим интересам людей. Он бы больше напоминал самосознание разумного индивида, участвующего в постоянном и дружественном общении с другими, чем грубое самоутверждение того, в ком окружающие вызывают лишь подозрение и враждебность. Но именно таким был патриотизм прошлого, и мы едва ли могли бы ожидать от него чего-то большего. Национальное «мы» может и должно воплощать в себе подлинную честь, идеал служения и гуманные устремления.

Кули Чарльз Хортон Человеческая природа и социальный порядок. Пер. с англ. – М.: Идея – Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. – 320.

АНДРЕЕВА Г.М.

Глава 16

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Понятие социализации. Термин «социализация», несмотря на его широкую распространенность, не имеет однозначного толкования среди разных

представителей психологической науки. В системе отечественной психологии употребляются еще два термина, которые порой предлагают рассматривать как синонимы слова «социализация»: «развитие личности» и «воспитание». Не давая пока точной дефиниции понятия социализации, скажем, что интуитивно угадываемое содержание этого понятия состоит в том, что это процесс «вхождения индивида в социальную среду», «усвоения им социальных влияний», «приобщения его к системе социальных связей» и т.д. Процесс социализации представляет собой совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает определенную систему норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве члена общества.

Одно из возражений и строится обычно на основе такого понимания и заключается в следующем. Если личности нет вне системы социальных связей, если она изначально социально детерминирована, то какой смысл говорить о вхождении ее в систему социальных связей? Сомнение вызывает и возможность точного разведения понятия социализации с другими, широко используемыми в отечественной психологической и педагогической литературе понятиями («развитие личности» и «воспитание»). Это возражение весьма существенно и заслуживает того чтобы быть обсужденным специально.

Идея развития личности – одна из ключевых идей отечественной психологии. Более того, признание личности субъектом социальной деятельности придает особое значение идее развития личности: ребенок, развиваясь, становится таким субъектом, т.е. процесс его развития немислим вне его социального развития, а значит, и вне усвоения им системы социальных связей, отношений, вне включения в них. По объему понятия «развитие личности» и «социализация» в этом случае как бы совпадают, а акцент на активность личности кажется значительно более четко представленным именно в идее развития, а не социализации: здесь он как-то притушен, коль скоро в центре внимания – социальная среда и подчеркивается направление ее воздействия на личность.

Вместе с тем если понимать процесс развития личности в ее активном взаимодействии с социальной средой, то каждый из элементов этого взаимодействия имеет право на рассмотрение без опасения, что преимущественное внимание к одной из сторон взаимодействия обязательно должно обернуться ее абсолютизацией, недооценкой другого компонента. Подлинно научное рассмотрение вопроса о социализации ни в коей мере не снимает проблемы развития личности, а, напротив, предполагает, что личность понимается как становящийся активный социальный субъект.

Несколько сложнее вопрос о соотношении понятий «социализация» и «воспитание». Как известно, термин «воспитание» употребляется в нашей литературе в двух значениях – в узком и широком смысле слова. В узком смысле слова термин «воспитание» означает процесс целенаправленного воздействия на человека со стороны субъекта воспитательного процесса с целью передачи, привития ему определенной системы представлений, понятий, норм и т.д. Ударение здесь ставится на целенаправленность, планомерность процесса воздействия. В качестве субъекта воздействия понимается специальный институт, человек, поставленный для осуществления названной цели. В широком смысле

слова под воспитанием понимается воздействие на человека всей системы общественных связей с целью усвоения им социального опыта и т.д. Субъектом воспитательного процесса в этом случае может выступать и все общество, и, как часто говорится в обыденной речи, «вся жизнь». Если употреблять термин «воспитание» в узком смысле слова, то социализация отличается по своему значению от процесса, описываемого термином «воспитание». Если же это понятие употреблять в широком смысле слова, то различие ликвидируется.

Сделав это уточнение, можно так определить сущность социализации: социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны (часто недостаточно подчеркиваемой в исследованиях), процесс активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду [...].

Вопрос ставится именно так, что человек не просто усваивает социальный опыт, но и преобразовывает его в собственные ценности, установки, ориентации. Этот момент преобразования социального опыта фиксирует не просто пассивное его принятие, но предполагает активность индивида в применении такого преобразованного опыта, т.е. в известной отдаче, когда результатом ее является не просто прибавка к уже существующему социальному опыту, но его воспроизводство, т.е. продвижение его на новую ступень. Этим объясняется преэминентность в развитии не только человека, но и общества.

Первая сторона процесса социализации – усвоение социального опыта – это характеристика того, как среда воздействует на человека, вторая его сторона характеризует момент воздействия человека на среду с помощью деятельности. Активность позиции личности предполагается здесь потому, что всякое воздействие на систему социальных связей и отношений требует принятия определенного решения и, следовательно, включает в себя процессы преобразования, мобилизации субъекта, построения определенной стратегии деятельности. Таким образом, процесс социализации в этом его понимании ни в коей мере не противостоит процессу развития личности, но просто позволяет обозначить различные углы зрения на проблему. Если для возрастной психологии наиболее интересен взгляд на эту проблему «со стороны личности», то для социальной психологии – «со стороны взаимодействия личности и среды».

Содержание процесса социализации. Если исходить из тезиса, принимаемого в общей психологии, что личностью не рождаются, личностью становятся, то ясно, что социализация по своему содержанию есть процесс становления личности, который начинается с первых минут жизни человека. Выделяются три сферы, в которых осуществляется прежде всего это становление личности: деятельность, общение, самосознание. Каждая из этих сфер должна быть рассмотрена особо. Общей характеристикой всех этих трех сфер является процесс расширения, умножения социальных связей индивида с внешним миром.

Что касается деятельности, то на протяжении всего процесса социализации индивид имеет дело с расширением «каталога» деятельностей, т.е. освоением все новых и новых видов деятельности. При этом происходят еще три чрезвычайно

важных процесса. Во-первых, это ориентировка в системе связей, присутствующих в каждом виде деятельности и между ее различными видами. Она осуществляется через посредство личностных смыслов, т.е. означает выявление для каждой личности особо значимых аспектов деятельности, при чем не просто уяснение их, но и их освоение. Можно было бы назвать продукт такой ориентации личностным выбором деятельности. Как следствие этого возникает и второй процесс – центрирование вокруг главного, выбранного, сосредоточение внимания на нем и соподчинение ему всех остальных деятельностей. Наконец, третий процесс – это освоение личностью в ходе реализации деятельности новых ролей и осмысление их значимости. Если кратко выразить сущность этих преобразований, то можно сказать, что перед нами процесс расширения возможностей индивида именно как субъекта деятельности.

Эта общая теоретическая канва позволяет подойти к экспериментальному исследованию проблемы. Экспериментальные исследования носят, как правило, пограничный характер между социальной и возрастной психологией, в них для разных возрастных групп изучается вопрос о том, каков механизм ориентации личности в системе деятельностей, чем мотивирован выбор, который служит основанием для центрирования деятельности. Особенно важным, в таких исследованиях является рассмотрение процессов целеобразования. К сожалению, эта проблематика не находит пока особой разработки в ее социально-психологических аспектах, хотя ориентировка личности не только в системе данных ей непосредственно связей, но и в системе личностных смыслов, по-видимому, не может быть описана вне контекста тех социальных «единиц», в которых организована человеческая деятельность, т.е. социальных групп.

Вторая сфера – общение – рассматривается в контексте социализации также со стороны его расширения и углубления, что само собой разумеется, коль скоро общение неразрывно связано с деятельностью? Расширение общения можно понимать как умножение контактов человека с другими людьми, специфику этих контактов на каждом возрастном рубеже. Что же касается углубления общения, это прежде всего переход от монологического общения к диалогическому, децентрация, т.е. умение ориентироваться на партнера, более точное его восприятие. Задача экспериментальных исследований заключается в том, чтобы показать, во-первых, как и при каких обстоятельствах осуществляется умножение связей общения и, во-вторых, что получает личность от этого процесса. Исследования этого плана носят черты междисциплинарных исследований, поскольку в равной мере значимы как для возрастной, так и для социальной психологии. Особенно детально с этой точки зрения исследованы некоторые этапы онтогенеза: дошкольный и подростковый возраст. Что касается некоторых других этапов жизни человека, то незначительное количество исследований в этой области объясняется дискуссионным характером другой проблемы социализации – проблемы ее стадий.

Наконец, третья сфера социализации – развитие самосознания личности. В самом общем виде можно сказать, что процесс социализации означает становление в человеке образа его «Я»: отделение «Я» от деятельности, интерпретация «Я», соответствие этой интерпретации с интерпретациями, которые дают личности другие люди. В экспериментальных исследованиях, в том числе

лонгитюдных, установлено, что образ «Я» не возникает у человека сразу, а складывается на протяжении его жизни под воздействием многочисленных социальных влияний. С точки зрения социальной психологии здесь особенно интересно выяснить, каким образом включение человека в различные социальные группы задает этот процесс. Играет ли роль тот факт, что количество групп может варьировать весьма сильно, а значит, варьирует и количество социальных «влияний»? Или такая переменная, как количество групп, вообще не имеет значения, а главным фактором выступает качество групп (с точки зрения содержания их деятельности, уровня их развития)? Как сказывается на поведении человека и на его деятельности (в том числе в группах) уровень развития его самосознания – вот вопросы, которые должны получить ответ при исследовании процесса социализации.

К сожалению, именно в этой сфере анализа особенно много противоречивых позиций. Это связано с наличием тех многочисленных и разнообразных пониманий личности, о которых уже говорилось. Прежде всего само определение «Я-образа» зависит от той концепции личности, которая принимается автором. Есть несколько различных подходов к структуре «Я». Наиболее распространенная схема включает в «Я» три компонента: познавательный (знание себя), эмоциональный (оценка себя), поведенческий (отношение к себе). Самосознание представляет собой сложный психологический процесс, включающий: самоопределение (поиск позиции в жизни), самореализацию (активность в разных сферах), самоутверждение (достижение, удовлетворенность), самооценку. Существуют и другие подходы к тому, какова структура самосознания человека. Самый главный факт, который подчеркивается при изучении самосознания, состоит в том, что оно не может бы представлено как простой перечень характеристик, но как понимание личностью себя в качестве некоторой целостности, в определении собственной идентичности. Лишь внутри этой целостности можно говорить о наличии каких-то ее структурных элементов.

Другое свойство самосознания заключается в том, что его развитие в ходе социализации – это процесс контролируемый, определяемый постоянным приобретением социального опыта в условиях расширения диапазона деятельности и общения. Хотя самосознание относится к самым глубоким, интимным характеристикам человеческой личности, его развитие немислимо вне деятельности: лишь в ней постоянно осуществляется определенная «коррекция» представления о себе в сравнении с представлением, складывающимся в глазах других. «Самосознание не основанное на реальной деятельности, исключющее ее как "внешнюю", неизбежно заходит в тупик, становится "пустым" понятием».

Именно поэтому процесс социализации может быть понят только как единство изменений всех трех обозначенных сфер. Они, взятые в целом, создают для индивида «расширяющуюся действительность», в которой он действует, познает и общается, тем самым осваивая не только ближайшую микросреду, но и всю систему социальных отношений. Вместе с этим освоением индивид вносит в нее свой опыт, свой творческий подход; поэтому нет другой формы освоения действительности, кроме ее активного преобразования. Это общее принципиальное положение означает необходимость выявления того конкретного «сплава», который

возникает на каждом этапе социализации между двумя сторонами этого процесса: усвоением социального опыта и воспроизведением его. Решит эту задачу можно, только определив стадии процесса социализации, также институты, в рамках которых осуществляется этот процесс.

Стадии процесса социализации. Вопрос о стадиях процесса социализации имеет свою историю в системе психологического знания. Традиция в определении стадий социализации складывалась в системе фрейдизма. Как известно, с точки зрения психоанализа особое значение для развития личности имеет период раннего детства. Это привело и к достаточно жесткому установлению стадий социализации: в системе психоанализа социализация рассматривается как процесс, совпадающий хронологически с периодом раннего детства. С другой стороны, уже довольно давно в неортодоксальных психоаналитических работах временные рамки процесса социализации несколько расширяются: появились выполненные в том же теоретическом ключе экспериментальные работы, исследующие социализацию в период отрочества и даже юности. Другие, не ориентированные на фрейдизм, школы социальной психологии делают сегодня особый акцент на изучение социализации именно в период юности. Таким образом, «распространение» социализации на периоды детства, отрочества и юности можно считать общепринятым.

Однако относительно других стадий идет оживленная дискуссия. Она касается принципиального вопроса о том, происходит ли в зрелом возрасте то самое усвоение социального опыта, которое составляет значительную часть содержания социализации. В последние годы на этот вопрос все чаще дается утвердительный ответ. Поэтому естественно, что в качестве стадий социализации называются не только периоды детства и юности. Так, в отечественной социальной психологии сделан акцент на то, что социализация предполагает усвоение социального опыта прежде всего в ходе трудовой деятельности, поэтому отношение к ней служит, основанием для классификации стадий. Выделены три основные стадии: дотрудовая, трудовая и послетрудовая.

Дотрудовая стадия социализации охватывает весь период жизни человека до начала трудовой деятельности. В свою очередь эта стадия разделяется на два более или менее самостоятельных периода: а) ранняя социализация, охватывающая время от рождения ребенка до поступления его в школу, т.е. тот период, который в возрастной психологии именуется периодом раннего детства; б) стадия обучения, включающая весь период юности в широком понимании этого термина. К этому этапу относится, безусловно, все время обучения в школе.

Относительно периода обучения в вузе или техникуме существуют различные точки зрения. Если в качестве критерия для выделения стадий принято отношение к трудовой деятельности, то вуз, техникум и прочие формы образования не могут быть отнесены к следующей стадии. С другой стороны, специфика обучения в учебных заведениях подобного рода довольно значительна по сравнению со средней школой, в частности в свете все более последовательного проведения принципа соединения обучения с трудом, и поэтому эти периоды в жизни человека трудно рассмотреть по той же самой схеме, что и время обучения в школе. Так или иначе, но в литературе вопрос получает

двойное освещение, хотя при любом решении сама проблема является весьма важной как в теоретическом, так и в практическом плане: студенчество – одна из важных социальных групп общества и проблемы социализации этой группы крайне актуальны.

Трудовая стадия социализации охватывает период зрелости человека, хотя демографические границы «зрелого» возраста условны; фиксация такой стадии не представляет затруднений – это весь период трудовой деятельности человека. Вопреки мысли о том, что социализация заканчивается вместе с завершением образования, большинство исследователей выдвигают идею продолжения социализации в период трудовой деятельности. Более того, акцент на то, что личность не только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его, придает особое значение этой стадии. Признание трудовой стадии социализации логически следует из признания ведущего значения трудовой деятельности для развития личности. Трудно согласиться с тем, что труд как условие развертывания сущностных сил человека прекращает процесс усвоения социального опыта; еще труднее принять тезис о том, что на стадии трудовой деятельности прекращается воспроизводство социального опыта. Конечно, юность – важнейшая пора в становлении личности, но труд в зрелом возрасте не может быть сброшен со счетов при выявлении факторов этого процесса.

Практическую же сторону обсуждаемого вопроса трудно переоценить: включение трудовой стадии в орбиту проблем социализации приобретает особое значение в современных условиях в связи с идеей непрерывного образования, в том числе образования взрослых. При таком решении вопроса возникают новые возможности для построения междисциплинарных исследований, например, в сотрудничестве с акмеологией – наукой о зрелом возрасте, Акмеология (от греч. акме – вершина, пик) изучает «закономерности и механизмы развития человека на ступени его зрелости и особенно при достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии». Понятно, что изучение социализации в зрелом возрасте во многом связано с акмеологическими разработками.

Вообще социализации взрослых в последнее время уделяется большое внимание. Можно обозначить два направления исследований. С одной стороны, интерпретация социализации как непрерывного процесса. В этом ключе в основном сосредоточено большинство социологических работ. Выявлена, например, по сравнению с детской социализацией, специфика социализации взрослых; она выражается в изменении лишь внешнего поведения, в оценивании норм (а не в усвоении их), в осознании оттенков между «черным» и «белым» (а не в простом следовании правилам), в овладении лишь навыками (а не в формировании мотивации). В других работах специально исследуется вопрос о так называемом «кризисе середины жизни», десятилетия «роковой черты» (30-40 лет), когда возникает расхождение между мечтам и действительностью и люди начинают освобождаться от иллюзий.

Другое направление исследований характерно для психологии. В этом случае социализация не рассматривается как непрерывный процесс, социализация взрослых есть лишь преодоление психологических тенденций, сложившихся в детстве, взрослые просто переосмысливают этот опыт.

При любом варианте направлений исследования проблема социализации взрослых четко обозначена как одна из стадий и «вошла» в традиционную проблематику.

Послетрудовая стадия социализации представляет собой еще более сложный вопрос. Определенным оправданием, конечно, может служить то обстоятельство, что проблема эта еще относительно нова, чем проблема социализации на трудовой стадии. Постановка ее вызвана объективными требованиями общества к социальной психологии, которые порождены самим ходом общественного развития. Проблемы пожилого возраста становятся актуальными для ряда наук в современных обществах. Увеличение продолжительности жизни, с одной стороны, определенная социальная политика государств – с другой (имеется в виду система пенсионного обеспечения), приводят к тому, что в структуре народонаселения пожилой возраст начинает занимать значительное место. Прежде всего увеличивается его удельный вес. В значительной степени сохраняется трудовой потенциал тех лиц, которые составляют такую социальную группу, как пенсионеры. Неслучайно сейчас переживают период бурного развития такие дисциплины, как геронтология и гериатрия.

В социальной психологии эта проблема присутствует как проблема послетрудовой стадии социализации. Основные позиции в дискуссии полярно противоположны: одна из них полагает, что само понятие социализации просто бессмысленно в применении к тому периоду жизни человека, когда все его социальные функции свертываются. С этой точки зрения указанный период вообще нельзя описывать в терминах «усвоения социального опыта» или даже в терминах его воспроизводства. Крайним выражением этой точки зрения является идея «десоциализации», наступающей вслед за завершением процесса социализации. С такой трактовкой связано особое явление, получившее развитие в США, – «эйджеизм» (негативное отношение к лицам пожилого возраста). Распространение эйджеизма следует учитывать при анализе психологии такой большой группы, как «пожилые».

Другая позиция, напротив, активно настаивает на совершенно новом подходе к пониманию психологической сущности пожилого возраста. В пользу этой позиции говорят достаточно многочисленные экспериментальные исследования сохраняющейся социальной активности лиц пожилого возраста, в частности пожилой возраст рассматривается как возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводство социального опыта. Ставится вопрос лишь об изменении типа активности личности в этот период. Кроме естественных возрастных изменений, происходят изменения в структуре социальных ролей в связи с выходом на пенсию, с освоением ролей бабушек и дедушек, с отказом от многих руководящих функций в бизнесе, политике. Из-за этого сокращается или изменяется круг общения, что некоторыми категориями пожилых переживается драматически. Вместе с тем значительная жизненная активность часто сохраняется, так же как и готовность отдавать свой жизненный опыт.

Косвенным признанием того, что социализация продолжается в пожилом возрасте, является концепция Э. Эриксона о наличии восьми возрастов человека (младенчество, раннее детство, игровой возраст, школьный возраст, подростковый

возраст и юность, молодость, средний возраст, зрелость). Лишь последний из возрастов – зрелость (период после 65 лет может быть, по мнению Эриксона, обозначен девизом «мудрость», что соответствует окончательному становлению идентичности. Если принять эту позицию, то следует признать, что послетрудовая стадия социализации действительно существует.

Хотя вопрос не получил однозначного решения, в практике отыскиваются различные формы использования активности лиц пожилого возраста. Это также говорит в пользу того, что проблема имеет, по крайней мере, право на обсуждение. Выдвинутая в последние годы в педагогике идея непрерывного образования, включающая в себя образование взрослых, косвенным образом стыкуется с дискуссией о том, целесообразно или нет включение послетрудовой стадии в периодизацию процесса социализации.

Выделение стадий социализации с точки зрения отношения к трудовой деятельности имеет большое значение. Для становления личности небезразлично, через какие социальные группы она входит в социальную среду, как с точки зрения содержания их деятельности, так и с точки зрения уровня их развития. При этом встает ряд вопросов. Имеет ли существенное значение для типа социализации, для ее результата тот факт, что личность преимущественно была включена в группы высокого уровня развития или нет? Имеет ли значение для личности тип конфликтов, с которыми она сталкивалась? Какое воздействие на личность может оказать ее функционирование в незрелых группах, с высоким уровнем сугубо межличностных конфликтов? Какие формы ее социальной активности стимулируются длительным пребыванием в группах с богатым опытом построения кооперативного типа взаимодействия в условиях совместной деятельности и, наоборот, с низкими показателями по этим параметрам? Пока этот комплекс проблем не имеет достаточного количества экспериментальных исследований, как, впрочем, и теоретической разработки, что не умаляет его значения.

Институты социализации. На всех стадиях социализации воздействие общества на личность осуществляется или непосредственно, или через группу, но сам набор средств воздействия можно свести вслед за Ж. Пиаже к следующему: это нормы, ценности и знаки. Иными словами, можно сказать, что общество и группа передают становящейся личности некоторую систему норм и ценностей посредством знаков. Те конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и ценностей и которые выступают своеобразными трансляторами социального опыта, получили название институтов социализации. Выявление их роли в процессе социализации опирается на общий социологический анализ роли социальных институтов в обществе.

На дотрудовой стадии социализации такими институтами выступают: в период раннего детства – семья и играющие все большую роль в современных обществах дошкольные детские учреждения. По выражению П. Бергера и Т. Лукмана, в семье осуществляется первичная социализация, когда биография человека начинает «наполняться смыслом». Именно в семье дети приобретают первые навыки взаимодействия и общения, осваивают первые социальные роли (в том числе – половые роли, формирование черт маскулинности и фемининности), осмысливают первые нормы и ценности. Тип поведения родителей (авторитарный

или либеральный) оказывает воздействие на формирование у ребенка «Я-образа». Большое значение имеет и состав семьи, и степень ее сплоченности, и способы разрешения конфликтов. По-видимому, именно в семье сознательно, или бессознательно формируется представление о правах ребенка.

Роль семьи как института социализации, естественно, зависит от типа общества, от его традиций и культурных норм, даже от места проживания (большой город, малый город, село). Несмотря на то что современная семья не может претендовать на ту роль, которую она играла в традиционных обществах (увеличение числа разводов, малодетность, ослабление традиционной позиции отца, трудовая занятость женщины), ее роль в процессе социализации все же остается весьма значимой. В ситуациях острых социальных кризисов семья оказывается для ребенка ячейкой, где гарантируется его безопасность.

Что касается дошкольных детских учреждений, то их анализ до сих пор не получил прав гражданства в социальной психологии. Правомерность такого решения является предметом дискуссий, но надо отметить, что предложения о включении в социальную психологию раздела возрастной социальной психологии либо педагогической социальной психологии, так же как и о создании такой самостоятельной области исследований, можно встретить все чаще. Так или иначе, но до сих пор детские дошкольные учреждения оказываются объектом исследования лишь возрастной психологии, в то время как специфические социально-психологические аспекты при этом не получают полного освещения. Практическая же необходимость в социально-психологическом анализе тех систем отношений, которые складываются в дошкольных учреждениях, абсолютно очевидна. К сожалению нет таких лонгитюдных исследований, которые показали бы зависимость формирования личности от того, какой тип социальных институтов был включен в процесс социализации в раннем детстве.

Во втором периоде ранней стадии социализации основным институтом является школа. Школа обеспечивает ученику систематическое образование, которое само есть важнейший элемент социализации, но кроме того, школа обязана подготовить человека к жизни в обществе и в более широком смысле. По сравнению с семьей школа в большей мере зависит от общества и государства, хотя эта зависимость и различна в тоталитарных и демократических обществах. Тем не менее школа, так или иначе, задает первичные представления человеку как гражданину и, следовательно, способствует (или препятствует) его вхождению в гражданскую жизнь. Именно в рамках данного института могут возникнуть так называемые «жертвы социализации», по выражению А.В. Мудрика. Причиной их появления может явиться перекос в соотношении двух сторон процесса: усвоения человеком социальных норм и требований и развития активности. «Угроза» возможна как с той, так и с другой стороны: или воспитание чрезмерного конформизма, или в качестве протеста – нигилистического вызова требованиям общества. Так что социализация в условиях школы – большая проблема для педагогов.

Школа расширяет возможности ребенка в плане его общения: здесь, кроме общения со взрослыми, возникает устойчивая специфическая среда общения со сверстниками, что само по себе выступает как важнейший институт

социализации. Привлекательность этой среды в том, что она независима от контроля взрослых, а иногда и противоречит ему. Мера и степень значимости групп сверстников в процессе социализации варьирует в обществах разного типа.

Для социальной психологи особенно важен акцент в исследованиях на проблемы старших возрастов, на тот период жизни школьника, который связан с юностью. С точки зрения социализации это чрезвычайно важный период в становлении личности, период «ролевого моратория», потому что он связан с постоянным осуществлением выбора (в самом широком смысле этого слова): профессии, партнера по браку, системы ценностей и т.д. Если в теоретическом плане активность личности может быть определена самым различным образом, то в экспериментальном исследовании она изучается часто через анализ способов принятия решения. Юность с этой точки зрения – хорошая естественная лаборатория для социального психолога: это период наиболее интенсивного принятия жизненно важных решений. При этом принципиальное значение имеет исследование того, насколько такой институт социализации, как школа, обеспечивает, облегчает или обучает принятию таких решений.

В зависимости оттого, включается ли во вторую стадию социализации период высшего образования, должен решаться вопрос и о таком социальном институте, как вуз. Пока исследований высших учебных заведений в данном контексте нет, хотя сама проблематика студенчества как особой социальной группы занимает все более значительное место в системе различных общественных наук.

Что касается институтов социализации на трудовой стадии, то важнейшим из них является трудовой коллектив или его современные разновидности – команда, организация. Специальных исследований этой проблемы нет, хотя некоторые аспекты стиля лидерства или группового принятия решений могли бы иметь значение для анализа таких институтов социализации. Между тем такой поворот этой проблемы, возможно, помог бы раскрыть причины отрыва личности от трудового коллектива, уход ее в группы антисоциального характера, когда на смену институту социализации приходит своеобразный институт «десоциализации» в виде преступной группы, группы наркоманов, алкоголиков и т.п. Идея референтной группы наполняется новым содержанием, если ее рассмотреть в контексте институтов социализации, их силы и слабости, их возможности выполнить роль передачи социально-позитивного опыта.

Таким же спорным, как сам вопрос о существовании послетрудовой стадии социализации, является вопрос о ее институтах. Можно, конечно, назвать на основе житейских наблюдений в качестве таких институтов различные общественные организации, членами которых по преимуществу являются пенсионеры, но это не есть разработка проблемы. Если для пожилых возрастов закономерно признание понятия социализации, то предстоит исследовать вопрос и об институтах этой стадии.

Естественно, что каждый из названных здесь институтов социализации обладает целым рядом других функций, его деятельность не может быть

сведена только к функции передачи социального опыта. Рассмотрение названных учреждений в контексте социализации означает лишь своеобразное «извлечение» из всей совокупности выполняемых ими общественных задач.

При анализе больших групп был выяснен тот факт, что психология таких групп фиксирует социально-типическое, в разной степени представленное в психологии отдельных личностей, составляющих группу. Мера представленности в индивидуальной психологии социально-типического должна быть объяснена. Процесс социализации позволяет подойти к поискам такого объяснения. Для личности не безразлично, в условиях какой большой группы осуществляется процесс социализации. Сам институт социализации, осуществляя свое воздействие на личность, как бы сталкивается с системой воздействия, которая задается большой социальной группой, в частности, через традиции, обычаи, привычки, образ жизни. От того, какой будет та равнодействующая, которая сложится из систем таких воздействий, зависит конкретный результат социализации. Таким образом, проблема социализации при дальнейшем развитии исследований должна предстать как своеобразное связующее звено в изучении соотносительной роли малых и больших групп в развитии личности.

Андреева Галина Михайловна Социальная психология / Г.М. Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 363.

АСМОЛОВ А.Г.

ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ/ЭКСТЕРИОРИЗАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Иногда характеристика появившегося на свет ребенка как существа «генетически социального» воспринимается как метафора. В действительности эта характеристика отражает тот факт, что ребенок появляется не в природной среде, а с самого начала его индивидуальная жизнь вплетается в присущий только человеку мир общественно-исторического опыта (животные обладают видовым и индивидуальным опытом), в сложную систему социальных связей, и он сам изменяет эти связи. Как бы парадоксально это ни звучало, активность появившегося в «мире человека» ребенка, то, родился ли он в хижине или дворце, длительность периода детства в данной культуре и т.д. – все это приводит к тому, что в центре развития личности оказывается не индивид сам по себе, вбирающий воздействия окружающей среды, а первые изначально совместные акты поведения, преобразующие микросоциальную ситуацию развития личности. Не подозревающий об этом ребенок получает идеальную представленность в жизни других людей, меняет их судьбы и отношение к миру.

Тот кардинальный момент, что ребенок с первых мгновений своего существования – член общества, участник развития очеловеченного пространства и времени, в корне меняет распространенные представления о социализации как воздействии общества на изначально пассивного индивида.

Очеловеченное пространство – это, во-первых, пространство предметов, за которыми закреплены исторически выработанные способы их употребления;

во-вторых, закрепленные в данной культуре правила, ритуалы, нормы обращения и общения с ребенком в зависимости от занятой им при рождении социальной позиции в обществе (например, «принц» или «нищий»);

в-третьих, в очеловеченное пространство входит и очеловеченное время – режим, временной распорядок жизни новорожденного, предписывающий, что и когда с ним нужно делать.

«Очеловеченное пространство, очеловеченное время и человеческие формы поведения реализуются для ребенка первоначально в действиях взрослых людей, действиях, направленных на его обслуживание. С самого рождения ребенка его активность регулируется внутри системы взаимосвязи взрослых – ребенок», то есть той системы, которая в свою очередь обусловлена более широким культурно-историческим контекстом, той культурой, тем временем, тем обществом, членом которого становится ребенок.

Не биологический индивид сам по себе, а разделенные совместные действия со взрослыми, а затем и со сверстниками, включенные в деятельность общества, и продукт этой деятельности – культуру – исходный момент движения человека в обществе.

В современной психологии бытует ошибочное мнение, что Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев выступали против понятия «социализация» как такового. Почвой для возникновения этого мнения послужили два следующих основания. Первое из них, как на это справедливо указывает Г.М. Андреева, имеет своим истоком резкую критику Л.С. Выготским представлений о социализации ребенка в концепции Ж. Пиаже. В ранних исследованиях Ж. Пиаже социальная среда интерпретируется как внешняя, чуждая по отношению к ребенку сила, которая принуждает его принять чуждые схемы мысли. «Сама социализация детского мышления, – отмечает Л.С. Выготский, – рассматривается Пиаже вне практики как чистое общение душ». Именно с критикой концепции социализации, в которой причудливо переплетаются психоанализ З. Фрейда с социологической теорией Э. Дюркгейма, и выступал Л.С. Выготский.

Вторым основанием указанного выше мнения является стремление А.Н. Леонтьева дать содержательную характеристику понятию «социализация»: «Для психологии, которая ограничивается понятием "социализация" психики индивида без дальнейшего анализа, эти трансформации (взаимопереходы в системе «личность в обществе». – А.А.) остаются настоящей тайной. Эта психологическая тайна открывается только в исследовании порождения человеческой деятельности и ее внутреннего строения». Пытаясь дать содержательную характеристику «социализации», А.Н. Леонтьев вслед за Л.С. Выготским вводит положение об интериоризации/экстериоризации как взаимопереходах в системе совместной деятельности человека в обществе.

Представления об интериоризации как механизме социализации, присвоения зафиксированных в культуре социальных норм и программ наиболее детально развивались Л.С. Выготским и его школой. Исторически, однако, сложилось так, что с середины 1950-х гг. основные усилия таких представителей деятельностного подхода, как П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, сконцентрировались на изучении интериоризации как механизма перехода из внешней практической или познавательной деятельности во внутреннюю деятельность. В этих исследованиях, поставивших в центр проблему перехода из внешнего плана деятельности во внутренний идеальный план, выделилась теория поэтапного, или планомерного, формирования умственных действий, созданная благодаря классическим работам П.Я. Гальперина и его последователей. Однако нацеленность этих исследований прежде всего на изучение познавательной деятельности субъекта привела к неявному возникновению сужения понятия «интериоризация» как понятия, раскрывающего механизм превращения материального в идеальное, внешнего во внутреннее в индивидуальной деятельности. Первоначальный более широкий смысл понятия «интериоризация» как механизма социализации оказался в тени.

Между тем еще в начале 1930-х гг. Л.С. Выготский писал: «Для нас сказать о процессе "внешний" – значит сказать "социальный". Всякая психическая функция была внешней потому, что она была социальной раньше, чем стала внутренней, собственно психической функцией; она была прежде социальным отношением двух людей». Для Л.С. Выготского интериоризация и представляла собой переход от интерпсихического социального к интрапсихическому индивидуальному способу жизни человека.

При анализе социализации как механизма усвоения общественно-исторического опыта в целом процесс овладения индивидом общественным опытом характеризуют термином «присвоение», а для характеристики процесса вовлечения человека в систему социальных связей с другими людьми используют термин «приобщение».

«Ребенок не приспособливается к окружающему его миру человеческих предметов и явлений, а делает его своим, то есть присваивает его.

Различие между процессом приспособления в том смысле слова, в каком он употребляется по отношению к животным, и процессом присвоения состоит в следующем. Биологическое приспособление есть процесс изменения видовых свойств и способностей субъекта и его врожденного поведения, который вызывается требованиями среды. Другое дело – процесс присвоения. Это процесс, который имеет своим результатом воспроизведение индивидуумом исторически сформировавшихся человеческих свойств, способностей и способов поведения. Иначе говоря, это есть процесс, благодаря которому у ребенка происходит то, что у животных достигается действием наследственности: передача индивиду достижений вида...

Чтобы овладеть предметом или явлением, нужно активно осуществить деятельность, адекватную той, которая воплощена в данном предмете или явлении».

Если абстрактно выразить общую схему процесса присвоения и воспроизводства общественно-исторического опыта, то она будет выглядеть так: социальная конкретно-историческая система общества, образ жизни в данной системе (в том числе в культуре) → процесс совместной деятельности члена общества (ребенка, взрослого) в социальной группе как основа социализации личности (механизм интериоризации) → формирование личности → проявление личности как субъекта деятельности (механизм экстериоризации) → преобразование совместной деятельности социальной группы → преобразование образа жизни в данной социальной системе.

В деятельностном подходе долгое время при анализе процесса присвоения общественно-исторического опыта абстрагировались от ряда моментов этой общей схемы. Из нее как бы выпадали «образ жизни и культура», а «совместная деятельность» порой сводилась к взаимодействию в диаде «ребенок – взрослый», интерпретировалась как «индивидуальная деятельность», ставился неявно знак тождества между психикой человека и его личностью. Вследствие этого процесс перехода социогенеза общества в онтогенез личности, механизмы этого перехода до сих пор изучены недостаточно. Все внимание было сосредоточено на механизме интериоризации, а вопросы социального конструирования мира, порождения «интерсубъективной реальности» оставались вне поля исследования.

Если процесс социализации и стоящий за ним механизм интериоризации изучен в психологии, особенно в психологии познавательных процессов, то процесс индивидуализации человека и лежащий в его основе механизм экстериоризации весьма слабо освещены в различных подходах к изучению развития человека. Отсутствие методических приемов исследования механизмов экстериоризации, а также не всегда прямо выраженный взгляд на индивида как «приемника», потребителя внешних социальных воздействий и благ, замедлили исследования экстериоризации, а тем самым и роли личности в развитии различных малых и больших социальных групп.

Процесс развития личности как субъекта деятельности, изучение ее социализации предполагают исследование механизмов овладения собственным поведением, превращение психики личности в особый «орган», орудие преобразования человеческого мира.

Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека/ Александр Асмолов. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. – 528.

ЭРИК ЭРИКСОН

Глава 7

ВОСЕМЬ ВОЗРАСТОВ ЧЕЛОВЕКА

1. Базисное доверие против базисного недоверия

Первое проявление малышом социального доверия обнаруживается в легкости его кормления, глубине сна и ненапряженности внутренних органов. Опыт совместного согласования его непрерывно возрастающих рецептивных возможностей с материнскими приемами обеспечения постепенно помогает ему уравнивать дискомфорт, вызываемый незрелостью врожденных механизмов гомеостаза. С увеличением времени бодрствования он обнаруживает, что все больше и больше сенсорных событий вызывают чувство дружественной близости, совпадения с ощущением внутреннего благополучия. Формы успокоения и связанные с ними люди становятся столь же привычными, как и беспокоящий кишечник. Первым социальным достижением младенца в то время оказывается его готовность без особой тревоги или гнева переносить исчезновение матери из поля зрения, поскольку она стала для него и внутренней уверенностью и внешней предсказуемостью. Такая согласованность, непрерывность и тождественность личного опыта обеспечивает зачаточное чувство эго-идентичности, зависящее, я полагаю, от «понимания» того, что существует внутренняя популяция вспоминаемых ощущений и образов, которые прочно увязаны с внешней популяцией знакомых и предсказуемых вещей и людей.

То, что мы здесь называем словом trust (доверие), соответствует тому, что Тереза Бенедек обозначила словом confidence. Если я предпочитаю слово «trust», то именно потому, что в нем заключено больше наивности и взаимности: про младенца можно сказать, что «он доверяет(ся)» (to be trusting) в тех случаях, когда было бы слишком сказать, что «он обладает уверенностью (твердо верит)» (has confidence). Кроме того, общее состояние доверия предполагает не только то, что малыш научился полагаться на тождественность и непрерывность внешних кормильцев, но и то, что он может доверять себе и способности собственных органов справляться с настойчивыми побуждениями и, потому вправе считать себя настолько надежным, что этим кормильцам не потребуется быть настороже, чтобы их, не укусили.

Постоянное опробование и испытание взаимоотношений между внутренним и внешним доходит до решающей проверки во время приступов ярости на стадии кусания, когда режущиеся зубы причиняют боль изнутри и когда доброжелатели извне оказываются бесполезными, либо увертываются от единственного сулящего облегчение действия: кусания. Маловероятно, чтобы само по себе прорезывание зубов служило причиной тех ужасных последствий, которые ему иногда приписывают. Как уже было обрисовано в общих чертах, в это время младенца неудержимо влечет больше «поймать», но он, вероятно, обнаруживает, что самое желанное - сосок и грудь, внимание и забота матери - уклоняется от него. Прорезывание зубов, по-видимому, имеет прототипическое значение и вполне может быть моделью для мазохистской склонности обеспечивать себе мучительное успокоение, наслаждаясь собственной болью всякий раз, когда не удается предотвратить важную потерю.

В психопатологии отсутствие базисного доверия может быть лучше всего изучено на материале детской шизофрении, хотя пожизненная основная слабость такого доверия видна и у взрослых личностей, для которых уход в

шизоидное и депрессивное состояние является привычным. Было установлено, что восстановление состояния доверия составляет основное требование к терапии в этих случаях. Ибо независимо от того, какие условия послужили возможной причиной психотического расстройства, за эксцентричностью и уходом в поведении многих серьезно больных индивидуумов скрывается попытка добиться социальной взаимности, испытывая границы между сознанием и физической реальностью, между словами и социальными значениями.

Психоанализ допускает ранний процесс дифференциации между внутренним и внешним, дающий начало проекции и интроекции, которые остаются одними из самых глубинных и наиболее опасных механизмов защиты. При интроекции мы чувствуем и действуем так, как если бы внешняя добродетель стала внутренней уверенностью. При проекции мы переживаем внутренний грех как внешнее зло, то есть наделяем значимых людей теми пороками, которые на самом деле принадлежат нам. В таком случае можно предположить, что эти два механизма - проекция и интроекция - создаются по образу и подобию того, что происходит у младенцев, когда им хотелось бы экстернализовать страдание и интернализировать удовольствие - намерение, которое со временем должно уступить свидетельству созревающих (органов) чувств и, в конечном счете, доводам рассудка. Эти механизмы обыкновенно восстанавливаются в правах среди взрослых в периоды острых кризисов любви, доверия и веры и могут служить отличительным признаком отношения к соперникам и врагам у большей части «зрелых» индивидуумов.

Решительное введение прочных образцов разрешения нуклеарного конфликта «базисное доверие против базисного недоверия» в самое существование есть первая задача эго и, следовательно, прежде, всего задача материнского ухода за ребенком. Однако скажем сразу, что, по-видимому, степень доверия, вынесенного из самого раннего младенческого опыта, зависит не от абсолютного количества пищи или проявлений любви к малышу, а скорее от качества материнских отношений с ребенком. Матери вызывают чувство доверия у своих детей такого рода исполнением своих обязанностей, которое сочетает в себе чуткую заботу об индивидуальных потребностях малыша с непоколебимым чувством верности в пределах полномочий вверенных им свойственным данной культуре образом жизни. Возникающее у ребенка чувство доверия образует базис чувства идентичности, которое позднее объединяет в себе три чувства: во-первых что у него «все в порядке», во-вторых, что он является самим собой и, в-третьих, что он становится тем, кого другие люди надеются в нем увидеть. Поэтому, в известных границах, заранее определенных как «должное» в уходе за ребенком, ни на этой, ни на последующих стадиях почти не существует фрустраций, которые растущий ребенок не может вынести, если фрустрация ведет к вечно обновляемому опыту переживания большей тождественности и непрерывности развития, к конечной интеграции индивидуального жизненного цикла с расширяющейся принадлежностью к значимым социальным группам и контекстам. Родители должны не только управлять поведением ребенка посредством запрещения и

разрешения, но также уметь передать ему глубокое, почти органическое убеждение, будто в том, что они делают, есть определенное значение. В конечном счете, дети становятся невротиками не из-за фрустраций как таковых, а из-за отсутствия или утраты социального значения в этих фрустрациях.

Но даже при самых благоприятных обстоятельствах эта стадия, по-видимому, вносит в психическую жизнь ощущение внутреннего раскола и всеобщей тоски по утраченному раю (и становится прототипической для этих чувств). Именно такой могучей комбинации чувств лишенности, разделенности и покинутости на всем протяжении жизни и должно противостоять базисное доверие.

Каждая последующая стадия и соответствующий ей кризис определенным образом соотносятся с одним из базисных элементов общества, по той простой причине, что цикл человеческой жизни и институты человека эволюционировали вместе. [...]

Родительская вера, которая поддерживает появляющееся у новорожденного базисное доверие, на всем протяжении истории искала свою институциональную охрану (и, случалось, находила своего сильнейшего врага) в организованной религии. Доверие, рожденное заботой, является по сути пробным камнем действительности данной религии. Всем религиям свойственны следующие черты: периодическая, по-детски непосредственная капитуляция перед Поставщиком (Кормильцем) или поставщиками, которые раздают как земное богатство и удачу, так и духовное здоровье; демонстрация ничтожности человека с помощью покорной позы и смиренных жестов и мимики; признание в молитве и пении проступков, пагубных мыслей и дурных намерений; пламенный призыв к внутреннему объединению (unification) под божественным водительством и, наконец, постижение того, что личное доверие должно стать, общей верой, а личное недоверие - выраженным в виде общей формулы грехом, тогда как восстановление и укрепление индивидуума должно стать частью ритуальной практики многих, а также знаком доверительной атмосферы в данном конкретном обществе. [...]

Каждое общество и каждое поколение должно находить, институционализированную форму почитания, которая получает жизнеспособность из его образа мира - от предопределения до индетерминизма. Клиницисту остается лишь наблюдать, что гордятся существованием без религии как раз те, чьи дети не в состоянии жить без нее. С другой стороны, много таких, кто, по-видимому, черпает жизненную веру в общественной деятельности или научных занятиях. Опять-таки, немало и тех, кто открыто исповедует веру, но фактически каждым вздохом выражает недоверие и к жизни, и к людям.

2. Автономия против стыда и сомнения

При описании возрастного развития и кризисов человеческой личности как последовательности альтернативных базисных аттитюдов (таких как «доверие против недоверия») мы прибегаем к помощи термина «чувство» (sense of), хотя подобно «чувству здоровья» или «чувству нездоровья» такие «чувства»

пронизывают нас от поверхности до самых глубин, наполняют собой сознание и бессознательное. В таком случае, они одновременно выступают и способами переживания опыта (experiencing), доступными интроспекции, и способами поведения, доступными наблюдению других, и бессознательными внутренними состояниями, выявляемыми посредством тестов и психоанализа. В дальнейшем важно иметь в виду все эти три измерения «чувства». [...]

Следовательно, внешний контроль на этой стадии должен быть твердо убеждающим ребенка в собственных силах и возможностях. Малыш должен почувствовать, что базисному доверию к жизни - единственному сокровищу, спасенному от вспышек ярости оральной стадии, ничто не угрожает со стороны такого резкого поворота на его жизненном пути: внезапного страстного желания иметь выбор, требовательно присваивать и упорно элиминировать. Твердость внешней поддержки должна защищать ребенка против потенциальной анархии его еще необученного чувства различения, его неспособности удерживать и отпускать с разбором. Когда окружение поощряет малыша «стоять на своих ногах», оно должно оберегать его от бессмысленного и случайного опыта переживания стыда и преждевременного сомнения.

Последняя опасность известна нам более всех других. Ибо при отказе в постепенном и умело направляемом опыте полной автономии выбора (или же, при ослабленности первоначальной утратой доверия) ребенок обратит против себя всю свою тягу различать и воздействовать. Он будет сверх всякой меры воздействовать на самого себя и разовьет не по годам требовательную совесть. Вместо овладения предметами в ходе их исследования путем целенаправленного повторения (удерживания и отпускания - прим. пер.) он окажется преследуемым своей собственной тягой к повторению. Конечно, благодаря такой обсессивности ребенок позже заново выучивается владеть окружающей средой и добиваться влияния посредством упорного и мельчайшего контроля там, где он не мог добиться крупномасштабного совместного регулирования. Эта ложная победа является инфантильной моделью для компульсивного невроза. Кроме того, она служит инфантильным источником позднейших попыток во взрослой жизни руководствоваться скорее буквой, нежели духом «закона». Стыд - эмоция недостаточно изученная, поскольку в нашей цивилизации чувство стыда довольно рано и легко поглощается чувством вины. Стыд предполагает, что некто, выставлен на «всеобщее обозрение» и сознает, что на него смотрят: одним словом, ему неловко. Некто видим, но не готов - быть видимым; вот почему мы воображаем стыд как ситуацию, в которой на нас пялят глаза, когда мы неполностью одеты, в ночной рубашке, «со спущенными штанами». Стыд рано выражается в стремлении спрятать лицо или в желании тут же «провалиться сквозь землю». Но, по-моему, это есть не что иное, как обращенный на себя гнев. Тот, кому стыдно, хотел бы заставить мир не смотреть на него, не замечать его «наготы». Ему хотелось бы уничтожить «глаза мира». Вместо этого он вынужден желать собственной невидимости. Эта потенциальность широко используется в воспитательном методе «пристыживания» (высмеивания), применяемом исключительно «примитивными» народами. [...] Такое пристыживание

эксплуатирует усиливающееся чувство собственной ничтожности, которое может развиваться только когда ребенок встает на ноги и когда его способность сознавать позволяет ему замечать относительные масштабы величия и сил.

Чрезмерное пристыживание приводит не к истинной правильности поведения, а к скрытой решимости попытаться выкрутиться из положения, незаметно ускользнуть, если, конечно, эта чрезмерность не кончается вызывающим бесстыдством. [...] Многие маленькие дети, пристыженные сверх меры, могут оказаться хронически предрасположенными (хотя им и не достает ни должной смелости, ни подобных слов) бросать вызов сходным образом. Под этим зловещим намёком я имею в виду лишь то, что существует предел выносливости ребенка (как и взрослого) в отношении требований считать себя, свое тело и свои желания дурными и грязными, равно как и предел веры в непогрешимость тех, кто высказывает на его счет такие суждения. Ребенок может легко переменить взгляд на сложившееся положение и считать злом лишь то, что оно существует: удача придет к нему, когда неблагоприятные обстоятельства исчезнут или когда он уйдет от них.

Сомнение стоит в одном ряду со стыдом. [...]

Поэтому исход этой стадии решающим образом зависит от соотношения любви и ненависти, сотрудничества и своеволия, свободы самовыражения и ее подавления. Из чувства самоконтроля, как свободы распоряжаться собой без утраты самоуважения, берет начало прочное чувство доброжелательности, готовности к действию и гордости своими достижениями; из ощущения утраты свободы распоряжаться собой и ощущения чужого сверх контроля происходит устойчивая склонность к сомнению и стыду.[...]

Чувство справедливого достоинства и законной самостоятельности у окружающих его взрослых дают готовому к самодеятельности ребенку твердую надежду в том, что поощряемый в детстве вид автономии не приведет к излишнему сомнению или стыду в более позднем возрасте. Таким образом, чувство автономии, воспитываемое у малыша и видоизменяемое с ходом жизни, служит сохранению в экономической и политической жизни чувства справедливости, равно как и само поддерживается последним.

3. Инициатива против чувства вины

В каждом ребенке на каждой стадии развитая совершается чудо мощного развертывания всякий раз нового качества, которое даёт новую надежду и устанавливает новую ответственность для всех. Таким новым качеством, существующим как в форме чувства, так и в форме широко распространенной особенности поведения, является инициатива. Критерии для распознавания всех этих новых чувств и качеств одни и те же: кризис, в той или иной степени подавлявший активность ребенка его неумелыми действиями и страхом, разрешается в том смысле, что кажется, будто ребенок сразу «повзрослел и душой, и телом». Теперь он выглядит «в большей степени самим собой», кажется более любящим, ненапряженным и живым в суждениях, более активным и активизирующим. Он свободен распоряжаться излишками энергии, что позволяет ему быстро забывать неудачи и приближаться к желаемому (даже

если оно кажется сомнительным и, более того, опасным) неунизительным и более точным путем. Инициатива добавляет к автономии предприимчивость, планирование и стремление «атаковать» задачу ради того, чтобы быть активным, находиться в движении, тогда как раньше своеволие почти всегда подталкивало ребенка к открытому неповиновению или, во всяком случае, к вызывавшей протест независимости.

Я знаю, что само слово «инициатива» для многих имеет американский и предпринимательский оттенок. И все-таки, инициатива - это необходимая часть всякого дела; человеку необходимо чувство инициативы независимо от того, что он делает и чему учится - от собирания плодов до системы свободного предпринимательства. [...]

И здесь мы видим, что в соответствии с мудростью базального плана ребенок никогда так не склонен учиться быстро и жадно, стремительно взрослеть в смысле разделения обязанностей и дел, как на этой стадии своего развития. Он хочет и может заниматься совместными делами, объединяться с другими детьми для придумывания и планирования таких дел, и он стремится извлекать пользу из своих учителей и подражать идеальным прототипам. Конечно, он остается идентифицированным с родителем своего пола, но теперь уже ищет благоприятные для себя возможности там, где идентификация с делом, вероятно, сулит простор для инициативы без слишком сильного детского конфликта или эдиповой вины и оказывается более реалистической, основанной на духе равенства, постигаемого на личном опыте совместной деятельности. Во всяком случае, «эдипова» стадия имеет результатом не только введение деспотического правления морального чувства, ограничивающего горизонты дозволенного; она также задает направление движения к возможному и реальному, которое позволяет мечты раннего детства связать с целями активной взрослой жизни. Поэтому социальные институты предлагают детям этого возраста экономический этос в образе идеальных взрослых, узнаваемых по своей особой одежде и функциям и достаточно привлекательных, чтобы заменить собой героев книжек с картинками и волшебных сказок.

4. Трудолюбие против чувства неполноценности

Таким образом, могло показаться, что внутренне ребенок целиком подготовлен для «вступления в жизнь», если бы не одно обстоятельство: жизнь сперва должна быть школьной жизнью, независимо от того, происходит ли обучение в поле, джунглях или классе. Ребенку приходится забывать былые надежды и желания по мере того, как его буйное воображение приучается и укрощается законами объективного мира - даже пресловутыми чтением, письмом и арифметикой. [...] У него развивается усердие, трудолюбие, - то есть он приспособляется к неорганическим законам орудийного мира. Он способен стать крайне прилежной и абсорбированной единицей производительного труда. Довести производственную ситуацию до завершения - вот цель, которая постепенно вытесняет прихоти и желания игры. Это ребенка включает в свои границы его рабочие инструменты и навыки:

принцип работы приучает получать удовольствие от завершения работы благодаря устойчивому вниманию и упорному старанию. [...]

Опасность, подстерегающая ребенка на этой стадии, состоит в чувстве неадекватности и неполноценности. Если он отчаивается в своих орудиях труда и рабочих навыках или занимаемом им положении среди товарищей по орудийной деятельности, то это может отбить у него охоту к идентификации с ними и определенным сегментом орудийного мира. Утрата надежды на членство в такой «промышленной» ассоциации может оттянуть его назад к более изолированному и менее инструментально-сознательному внутрисемейному соперничеству времен эдипова комплекса. Ребенок испытывает отчаяние от своего оснащения в мире орудий и в анатомии и считает себя обреченным на посредственность или неадекватность. Именно на этой стадии более широкое общество становится важным в отношении предоставления ребенку возможностей для понимания значимых ролей в технологии и экономике данного общества. Развитие многих детей нарушается, когда в семейной жизни не удалось подготовить ребенка к жизни школьной, или когда школьная жизнь не подтверждает надежды ранних стадий.[...]

С другой стороны, латентная стадия — это наиболее решающая в социальном отношении стадия: поскольку трудолюбие влечет за собой выполнение работы рядом и вместе с другими, здесь появляется и развивается осознание технологического этоса культуры. Ранее мы уже указывали на опасность, угрожающую индивидууму и обществу в тех случаях, когда школьник начинает чувствовать, что цвет кожи, происхождение родителей или фасон его одежды, а не его желание и воля учиться будут определять его ценность как ученика, а значит и его чувство идентичности, которым мы непосредственно займемся в следующем, разделе. Но существует и другая, более фундаментальная опасность - ограничение человеком самого себя и сужение своих горизонтов до границ поля своего труда, на который, как сказано в Библии, он был осужден после изгнания из рая. Если он признает работу своей единственной обязанностью, а профессию и должность - единственным критерием ценности человека, то может легко превратиться в конформиста и нерассуждающего раба техники и ее хозяев.

5. Идентичность против смещения ролей

С установлением добрых исходных отношений с миром навыков и инструментов и с наступлением пубертатного периода, детство в узком смысле слова подходит к концу. Начинается отрочество, а затем и юность. Но в отрочестве и ранней юности все тождества и непрерывности, на которые эго полагалось до этого, снова в той или иной степени подвергаются сомнению вследствие интенсивности физического роста, соизмеримого со скоростью роста тела ребенка в раннем возрасте, усугубляемой добавившимся половым созреванием. Растущих и развивающихся подростков, сталкивающихся с происходящей в них физиологической революцией и с необходимостью решать реальные взрослые задачи, прежде всего заботит то, как они выглядят в глазах других в сравнении с их собственными представлениями о себе, а также то, как

связать роли и навыки, развитые и ценимые ранее, с профессиональными прототипами дня сегодняшнего. В поисках нового чувства тождественности и преемственности молодым людям приходится вновь вести многие из сражений прошлых лет, даже если для этого им требуется назначать вполне приличных людей на роли своих противников. И они всегда готовы к официальному признанию прочных идолов и идеалов в качестве стражей финальной идентичности. [...]

Опасность этой стадии заключается в смешении ролей. [...] Однако в большинстве случаев жизнь отдельных молодых людей нарушает неспособность установить именно профессиональную идентичность. Чтобы сохранить себя от распада, они временно сверхидентифицируются (до внешне полной утраты идентичности) с героями клик и компаний. Это кладет начало периоду «влюбленности», никоим образом, даже первоначально, не имеющей сексуальной подоплеки, за исключением, тех случаев, когда нравы требуют сексуальных отношений. В значительной степени юношеская любовь - это попытка добиться четкого определения собственной идентичности, проецируя расплывчатый образ собственного эго на другого и наблюдая его уже отраженным и постепенно проясняющимся. Вот почему так много в юношеской любви разговоров.

Кроме того, молодые люди могут становиться в высшей степени обособленными в своем кругу и грубо отвергать всех чужаков, отличающихся от них цветом кожи, происхождением и уровнем культуры, вкусами и дарованиями, а часто - забавными особенностями одежды, макияжа и жестов, временно выбранных в качестве опознавательных знаков «своих». Важно понимать (что не означает мириться или разделять) такую интолерантность как защиту против «помрачения» сознания идентичности, ибо подростки, формируя клики и стереотипизируя себя, свои идеалы и своих врагов, не только помогают друг другу временно справляться с тяжелым положением, в которое они попали, но к тому же извращенно испытывают способность друг друга хранить верность. Готовность к такому испытанию объясняет также и ту привлекательность, которую простые и жестокие тоталитарные доктрины имеют для умов молодежи тех стран и социальных классов, где она утратила или утрачивает свою идентичность (феодалную, аграрную, родовую, национальную) сталкивается с глобальной индустриализацией, эмансипацией и расширяющейся коммуникацией.

Подростковый ум есть по существу ум моратория (иначе говоря, отсрочки) - психологической стадии между детством и взрослостью, между моралью, уже усвоенной ребенком, и этикой, которую еще предстоит развить взрослому. Это - идеологический ум, и действительно, именно идеологическая перспектива общества откровенно обращается к тем молодым людям, что полны желания быть утвержденными сверстниками в роли «своих» и готовы пройти процедуру ратификации, участвуя в ритуалах и принимая символы веры и программы, которые в то же время определяют, что считать злым (порочным), сверхъестественным и враждебным. В поисках социальных ценностей, служащих основанием идентичности, они, следовательно, сталкиваются лицом

к лицу с проблемами идеологии и аристократии в их самом широком смысле, состоящем в том, что в пределах определенного образа мира и предопределенного хода истории к власти всегда приходят лучшие люди, а сама эта власть развивает в людях самое лучшее. Чтобы не впасть в цинизм или в апатию, молодые люди должны уметь каким-то образом убедить себя в том, что те, кто преуспевает в ожидающем их взрослом мире, берут тем самым на себя обязательство быть лучшими из лучших. [...]

6. Близость против изоляции

Позитивное качество, приобретаемое на любой стадии, испытывается необходимостью превзойти его таким образом, чтобы на следующей стадии индивидуум мог рискнуть тем, что на предыдущей было для него особо оберегаемой драгоценностью. Поэтому новоиспеченный взрослый, появившийся в результате поисков и упорного отстаивания собственной идентичности, полон желаний и готов слить свою идентичность с идентичностью других. Он готов к близости или, по-другому, способен связывать себя именованными отношениями интимного и товарищеского уровня и проявлять нравственную силу, оставаясь верным таким отношениям, даже если они могут потребовать значительных жертв и компромиссов. [...]

Противная сторона близости есть дистанцирование: готовность изолировать, а если необходимо - уничтожить те силы и тех людей, чье существование выглядит опасным для нас самих и чья «территория», кажется, захватывает пространство наших близких отношений. Развиваемые таким образом предрассудки (находящие применение и поддержку в политике и войнах) - просто более зрелые отростки на древе того слепого неприятия, которое во времена борьбы за идентичность резко и безжалостно разграничивает «свое» и «чужое». Опасность этой стадии заключается в том, что интимные, соперничающие и враждебные отношения человек испытывает к тем же самым людям. [...]

Опасность этой стадии - изоляция, то есть избежание контактов, которые обязывают к близости. В психопатологии это нарушение может приводить к тяжелым «проблемам характера». С другой стороны, существуют формы партнерства, равнозначные изоляции вдвоем (*à deux*), ограждающие обоих партнеров от необходимости напрямую столкнуться со следующим критическим событием - развитием генеративности.

7. Генеративность против стагнации

В этой книге акцент делается на стадиях детства, иначе раздел о генеративности по необходимости стал бы центральным, ибо это понятие охватывает эволюционное развитие, которое сделало человека обучающим и организующим, равно как и обучающимся животным. Модное упорство в преувеличении зависимости детей от взрослых часто закрывает от нас зависимость старшего поколения от младшего. Зрелый человек нуждается в том, чтобы быть нужным, а зрелость нуждается в стимуляции и ободрении со стороны тех, кого она произвела на свет и о ком должна заботиться.

Тогда генеративность - это прежде всего заинтересованность в устройстве жизни и наставлении нового поколения, хотя интересуют отдельные лица, вследствие жизненных неудач или особой одаренности в других областях деятельности, не направляющее этот драйв на свое потомство. И действительно подразумевается, что понятие генеративности включает в себя такие более распространенные синонимы, как продуктивность и креативность, которые однако не могут заменить его.[...]

Поэтому генеративность - весьма важная стадия как психосексуального, так и психосоциального графика развития. В тех случаях, когда такого обогащения не удастся достичь, имеет место регрессия к обсессивной потребности в псевдоблизости, часто с глубоким чувством застоя и обеднением личной жизни. Тогда эти люди начинают баловать себя, как если бы каждый из них был своим собственным и единственным ребенком; а там, где для этого есть благоприятные условия, ранняя инвалидность - физическая или психологическая - становится средством сосредоточения заботы на самом себе. Однако сам факт наличия детей или даже желания иметь их еще «не тянет» на генеративность. На деле некоторые молодые родители страдают, по-видимому, от задержки способности развивать эту стадию. Причины отставания часто можно обнаружить во впечатлениях раннего детства; в чрезмерном себялюбии, основанном на слишком напряженном самосозидании преуспевающей личности; и наконец (здесь мы снова возвращаемся к истокам) в недостатке веры, «доверия к роду человеческому», которое побуждало бы ребенка ощущать себя так, будто он желанная надежда и забота общества.

По поводу институтов, охраняющих и укрепляющих генеративность, можно лишь сказать, что все социальные институты кодифицируют этику производящей преемственности. Даже там, где философская и духовная традиция предполагает отречение от права производить потомство или продолжать свой род, такое раннее обращение к «вечным заботам», являющееся непременным атрибутом монашеских орденов, стремится одновременно решить вопрос о своей связи с заботой о тварях земных и с Милосердием, которое считается превосходящим генеративность. [...]

8. Целостность эго против отчаяния

Только в том, кто некоторым образом заботится о делах и людях и адаптировался к победам и поражениям, неизбежным на пути человека - продолжателя рода или производителя материальных и духовных ценностей, только в нем может постепенно вызревать плод всех этих семи стадий. Я не знаю лучшего слова для обозначения такого плода, чем целостность эго (ego integrity). Не располагая ясным определением, я укажу несколько составляющих этого душевного состояния. Это - накопленная уверенность эго в своем стремлении к порядку и смыслу. Это - постнарциссическая любовь человеческого эго - не себя - как переживание опыта, который передает некий мировой порядок и духовный смысл, независимо от того, как дорого за него заплачено. Это принятие своего единственного и неповторимого цикла жизни как чего-то такого, чему суждено было произойти, и что, по необходимости, не допускало никаких замен; а это, в

свою очередь, подразумевает новую отличную от прежней любовь к своим родителям. Это – товарищеские отношения с образом жизни и иными занятиями прошлых лет в том виде, как они выражены в скромных результатах и простых словах былых времен и увлечений. Даже сознавая относительность всех тех различных стилей жизни, которые придавали смысл человеческим устремлениям, обладатель целостности это готов защищать достоинство собственного стиля жизни против всех физических и экономических угроз.[...]

Отсутствие или утрата этой накопленной интеграции это выражается в страхе смерти: единственный и неповторимый жизненный цикл не принимается как завершение жизни. Отчаяние выражает сознание того, что времени осталось мало, слишком мало, чтобы попытаться начать новую жизнь и испытать иные пути к целостности. [...]

Эрик Г. Эриксон Детство и общество. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. / Пер. с англ. – СПб.: ООО «Речь», 2000. – 416.

Ч. КУЛИ

ПЕРВИЧНЫЕ ГРУППЫ

Первичными я называю группы, которые характеризуются тесным – лицо к лицу – общением и сотрудничеством. Они первичны по целому ряду причин. Главное же то, что они служат основой формирования социальной природы и идеалов индивида.

Психологическим итогом тесного взаимодействия людей в группе выступает их слияние в единое целое, так что по крайней мере во многих отношениях жизнь каждого отдельного «я» становится общей жизнью и целью группы.

Наилучший способ описать это единство – просто назвать его «мы», которое подразумевает сопереживание и взаимную идентификацию. Каждый живет ощущением целого и находит в нем главную цель своего существования.

Не следует считать, что единство первичной группы базируется на гармонии и любви. Напротив, оно всегда дифференцировано, т. е. допускает соперничество, выражение своих амбиций, притязаний и страстей. Но все они должны быть социализированы сопереживанием, подчиняться, хотя бы в тенденции, дисциплине общего духа.

Индивид может быть честолюбивым, но главная цель его устремлений – занять подобающее место в мыслях других людей. Лишь тогда он примет нормы взаимной помощи и честной игры. По этой причине мальчишки соревнуются друг с другом за место в команде. Однако дух соперничества должен уступить общей цели – победе класса или школы.

Важнейшие, но не единственные сферы тесного общения и сотрудничества – семья, группа сверстников, соседство или неформальное объединение взрослых. Они универсальны, существовали во все времена, на

всех стадиях развития общества, потому и составляют основу универсального в человеческой природе и идеалах.

Лучшие сравнительные исследования Вестермарка и Говарда показывают, что семья – универсальный институт, стоящий над обычаями и традициями. Ни у кого не вызывает сомнений повсеместное распространение игровых групп у детей и различного рода неформальных объединений среди взрослых. Подобные формы общения, несомненно, являются колыбелью человечества.

Я мог бы привести множество примеров универсальности групповой дискуссии и сотрудничества. Общеизвестно, что дети, особенно мальчики в возрасте двенадцати и более лет, проводят время в приятельских компаниях, которые в большей степени, чем семья, завладевают их симпатиями, честолюбием и уважением.

Многие из нас могут вспомнить примеры, когда мальчишки готовы вытерпеть несправедливость и даже жестокость, лишь бы не выдавать родителям или учителям товарищей, например, во время злых проделок в школе (по этой причине трудно искоренимых). А как отточены споры, как неоспоримо общественное мнение, как высоки амбиции в таких товарищеских сообществах!..

Подвижность юношеского общения – черта не только американских и английских мальчишек; поскольку опыт нашего иммигрантского населения показывает, что подростки, представляющие достаточно замкнутые культуры континентальной Европы, почти с таким же успехом формируют самоуправляемые игровые группы.

Вот почему мисс Джейн Адамс, указывая, что «шайка» – явление почти универсальное, говорит о бесконечном обсуждении, какому подвергается каждая деталь деятельности шайки, и отмечает, что «в этих, так сказать, социальных ячейках, юный гражданин учится действовать на свой собственный страх и риск».

О соседской группе скажу, что с того момента, как люди стали создавать постоянные поселения на земле и до возникновения современных промышленных городов, она играла главную роль в формировании отношений, основанных на сердечной привязанности людей.

У наших тевтонских прародителей сельская община была преобладающей сферой, где находили выражение симпатии и взаимопомощь простого народа. Она сохранила свою роль и в средневековье.

И по сей день община в сельских районах развивается именно в таком качестве. В некоторых странах мира общины сохранили первозданный облик и функцию прародителя первичных отношений.

В России, где мир, или самоуправляющаяся сельская община наряду с семьей является главной ячейкой социальной жизни, 50 млн крестьян не мыслят развитие человеческих отношений вне такой группы.

В жизни европейцев доверительность соседских отношений вытесняется запутанной сетью формальных отношений, где близкие люди становятся

чужими. Даже сельскую местность постигла та же участь. В какой мере это – здоровое явление, а в какой – недуг, еще предстоит выяснить.

Наряду с этими, скажем так, универсальными типами первичного общения есть и другие, форма которых определяется характером и состоянием цивилизации. В нашем обществе люди, мало связанные местом, свободно создают клубы и братства, основанные на таком сродстве, которое со временем может перерасти в настоящую доверительность.

Подобные отношения формируются в школе и колледже, а среди мужчин и женщин складываются и благодаря профессии, например, у занятых одним и тем же ремеслом или чем-то в этом роде.

Первичные группы первичны в том смысле, что они дают индивиду самый ранний и законченный опыт социального единства, и также в том смысле, что они не изменяются в той же степени, в какой трансформируются более сложные отношения, но формируют сравнительно устойчивый источник, из которого всегда берут начало последние.

Конечно, они не являются независимыми от общества в целом. Так, немецкая семья и немецкая школа несут на себе особенный отпечаток германского милитаризма. Явление напоминает прилив, устремляющийся в устье реки, но не заходящий слишком далеко.

У немецкого, а тем более у русского крестьянства обнаруживаются обычаи свободного сотрудничества и обсуждения, на которые почти не оказывает влияния характер государства. Деревенская община, самоуправляющаяся, когда дело касается местных событий, и привыкшая к обсуждению, является распространенным институтом в оседлых сообществах, продолжателем автономии, прежде существовавшей в клане. «Именно человек создает монархии и устанавливает республики, но община, кажется, произошла от руки самого господина».

Переполненные городские многоэтажки нанесли серьезный удар по первичным отношениям, но они сохраняются еще в детских и семейных группах.

Под человеческой природой я понимаю те чувства и порывы, которые являются человеческими потому, что они превосходят таковые у низших животных, а также потому, что они присущи человечеству в целом, а не какой-либо отдельной расе или эпохе.

Речь идет о таких чувствах, как любовь, негодование, амбиции, тщеславие, преклонение перед героями, чувство социальной справедливости и несправедливости. В этом смысле человеческая природа – сравнительно устойчивый элемент общества.

Всегда и всюду люди добивались почета и избегали насмешек, считались с общественным мнением, заботились о благе детей, восхищались мужеством, благородством и успехом. Можно с уверенностью утверждать, что люди были и остаются человеческими. Чем больше вникаешь в жизнь дикарей, даже тех, что стоят на самой низшей ступени, тем более человеческими и похожими на нас они предстают. [...]

Сравнивая между собой народы и исторические эпохи, мы убеждаемся в том, что их различия коренятся в социальной организации и иерархии отношений, а отнюдь не в природе человека и его способностях.

Нет лучшего доказательства родового сходства человечества, чем то, с какой легкостью и радостью современный человек разбирается в литературе, изображающей самые отдаленные эпохи, – Гомер в сказаниях о Нибелунгах, еврейские священные книги, легенды американских индейцев, рассказы о жизни рейнджеров, солдат, моряков, уголовников, бродяг. Чем проникновеннее изучается тот или иной период жизни, тем больше обнаруживается сходство с нами.

Возвращаясь к первичным группам, скажу: отстаиваемый здесь взгляд состоит в том, что человеческая природа – нечто такое, что не существует в отдельном индивидуе.

Это групповая природа или первичная фаза общества, простое и незамутненное состояние социального разума. С одной стороны, это нечто большее, чем просто инстинкт, с другой – нечто меньшее, чем утонченно развитые идеи и чувства, породившие современные институты.

Человеческая природа развивается и выражает себя в тех межличностных группах, которые до известной степени сходны во всех обществах – в спортивно-игровых, семейных и соседских. Их сходство – основа для подобию идей и чувств человеческой души.

Здесь и обретает человеческая природа. Мы не получаем ее от рождения; она приобретает только через товарищеские отношения. В изоляции она приходит в упадок.

Общество и индивид – неразделимые стороны единого целого. Где мы обнаруживаем индивидуальный факт, везде должны указать на сопутствующий ему социальный факт.

Если личности присуща универсальная природа, то должно быть нечто универсальное также и в общении людей. Чем еще может быть человеческая природа, как не характерной чертой первичной группы?

Она не есть атрибут отдельного индивида, хотя делались и такие предположения, ибо ее типичные характеристики – привязанность, честолюбие, тщеславие и негодование – не существуют вне общества. Если она формируется в процессе общения, то какого рода или уровня должно быть общение, чтобы развить ее?

Сложности общества преходящи, а человеческая природа – устойчива и универсальна. [...]

(Перевод с англ. А.И. Кравченко)

Кули Ч. Первичные группы // Кравченко А.И. Хрестоматия для вузов. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 736.

П. КОЗЛОВСКИ

ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ

Было бы неверным полагать, что в процессе общественного развития техника выполняет функцию фундамента и hardware, а культуре отведена роль надстройки и software. Культура и техника суть одновременно software и hardware, надстройка и фундамент. Культура имеет материальную сторону, техника - духовную. Техника в своей сущности есть дух и software, она представляет собой раскрытие и проявление действительности. Лишь ее воплощение относится к hardware. Сущность техники принадлежит сфере духовного, сфере репрезентации и проявления действительного в человеческом разуме. Наш мир, выраженный в науке и технике, есть проявление существующего закономерного мира и мира возможного, подчиняющегося законам науки и техники и в то же время претерпевающего изменения в результате целенаправленной человеческой деятельности. Наука и техника как репрезентация действительности в человеческом разуме представляют собой проявление бытия и свободы целенаправленно деятельного разума - intellectus agens (интеллект деятельный).

Язык, стиль мышления и практика превращения научно-технического знания в hardware, в приборы и механизмы, общественно-культурно обусловлены, зависят от коммуникации и согласия, от ожидаемого ответного культурного поведения и следования правилам. Наука и техника могут быть реализованы только в социальных действиях и социальных институтах.

"Культура есть то, что люди делают с собой и своим миром и что они при этом думают и говорят". Техника накладывает отпечаток на нас и наш мир, она замысливается и обсуждается нами. Она принадлежит человеческой культуре в широком смысле слова. Научно-техническое развитие - это культурное развитие, так как оно является результатом репрезентации, языковой коммуникации и социальных действий. Развитие науки и техники должно иметь предпосылкой и следствием адекватное культурное развитие общества.

То, что люди делают с собой, с природой, как ведут себя по отношению к окружающим, есть культура, созданный ею мир. Широкое понятие культуры охватывает выраженный в языке, символах и представленный в человеке мир, противостоящий природе. Культура – это уклад жизни народа, проживающего на определенной территории, включая историю народа и данной территории, а также видение этой жизни. Культура в широком смысле представляет собой органическое единство порядка и самообъяснения общества в его отношениях с другими обществами и культурами. Культура общества охватывает такие формы его организации, как конституция, социальные институты, нравы и обычаи, а также языковые и символические формы толкования человека: от устных преданий до письменно зафиксированных законодательных документов и свободных искусств.

Культура пользуется знаками, несущими определенное содержание. Предметы становятся носителями культуры, когда несут в себе и сообщают

культурный смысл. Этот смысл порой имеет мало общего с собственным значением предмета. Вещи могут выступать символами чего-то совершенно другого, равно как и культурные знаки могут быть лишены своего культурного смысла и сохранять какое-то значение только как материальные предметы. Фетишизм представляет собой форму, в которой предметный носитель культуры достиг перевеса над культурной ценностью. Но и фетиш все еще остается культурно опосредованным, указывающим на нечто иное, чем престиж и тщеславие, культурным феноменом. Широкое понятие культуры определяет в качестве культурного феномена все, что создавалось, сохранялось и передавалось из поколения в поколение за время существования различных форм общества и способов объяснения мира. Обыденное сознание склонно относить к культуре только те предметы, культурная ценность, символический смысл которых превосходит материальное и непосредственное значение носителя культуры. Знамя несет в себе больше смысла, чем цветной платок, литература - больше, чем чисто информационное сообщение. Тем не менее все же имеет смысл расширить понятие культуры, так как только при наличии более широкого ее понятия становится очевидной способность культуры быть предпосылкой мышления, языка, взаимопонимания, а отсюда также и техники.

Обыденному сознанию чуждо нейтральное, лишенное эмоциональной оценки понятие культуры. Широкое понятие культуры не различает высокое и низкое, хорошее и плохое упорядочение и толкование жизни общества. В функционалистском варианте социологии культуры символы и образцы поведения должны создаваться как функционально эквивалентные по своим задачам, значению и систематизации. Обыденный же язык определением культурный выражает принадлежность предмета или явления более богатой, символически и в смысле истолкования, сфере искусств. Поэтому обыденное сознание может не уловить культурную обусловленность каждого различения и толкования мира, культурную окрашенность поступков, подобно тому как человек, постоянно носящий очки, перестает ощущать их на своем лице. Обыденное поведение рассматривает себя как естественное и докультурное, и таким же докультурным материальным феноменом ему представляется техника.

Однако обыденное сознание со своим понятием культуры не может обойти тот факт, что определение "культурный" подразумевает также сравнительную степень человеческого существования и тем самым выражает желание человека повысить свой уровень жизни. Широкое понятие культуры должно поэтому быть пригодным для истолкования и оценки возрастания, уплотнения значения, интенсификации исполнения ежедневных обязанностей. Мы говорим об эстетической, политической культуре, культуре питания, жилья, языка и подразумеваем под культурой этих уже самих по себе культурно обусловленных феноменов форму возрастания их культурного бытия, их культурного уровня. Отдельные формы и области культуры общества могут быть в большей или меньшей степени культурно развиты. Обеспечение и выполнение определяемых культурой видов деятельности может быть тщательным или небрежным, культурной практике может придаваться большое

или малое культурное значение. Окультуривание социальных поступков и научно-технической практики составляет один из моментов культуры, культурного развития и совершенствования. Все области культуры в широком смысле слова, все формы того, что люди делают с собой и своим миром и что они об этом думают и говорят, могут целенаправленно окультуриваться. Однако окультуривание может иметь значение как дальнейшего совершенствования, так и неуместного преувеличения.

Формирование культурных поступков и культуры производства осуществляется в непрерывном континууме, включающем в себя в качестве переходных этапов: отсутствие культуры - культурность - манерность. Культурное бытие относительно лиц и предметов предполагает, что собственное бытие личности или предмета находится в отношениях максимально возможной гармонии с их социально-культурной ролью, функцией и позицией, а поступок или предмет имеют характер чего-то легкого, удающегося без труда, подходящего и грациозного. Собственное бытие и то значение, которое несет в себе лицо или предмет, подходят друг другу и соответствуют ситуации, в которую они включены. Gentleness - этим английским словом можно обозначить свойство лица или предмета быть подходящим, легким. Неуместность чего-либо служит выражением того, что культурный уровень действия или поведения еще не достигнут.

Широкое понятие культуры, согласно которому к ней относится все, что люди делают с собой и миром, не проводит различия между текущей, переменчивой свободно подвижной частью культуры, которая возникает спонтанно и только в рамках специфического общества, и другой ее частью, которая, подобно религии, апеллирует к универсальным ценностям и - подобно государству - прибегает к помощи принуждения. Значение религии для культуры бесспорно. Этос, форма жизни, ее толкование определяются для верующего религией и накладывают отпечаток на мирское окружение и материальное искусство. С другой стороны, религия проявляет качества стабильности и универсальности, которые резко отличают ее от переменчивого поведения спонтанной культуры.

Хотя широкое понятие культуры охватывает все формы развития духа, среди них необходимо различать проявления субъективного, объективного и абсолютного духа. В процессе индивидуального освоения культурного наследия и культурной субстанции, а также в представлении индивида культура принимает форму субъективного духа. Объективное выражение культуры в разного рода учреждениях и видах труда есть проявление объективного духа, к которому нужно отнести также и государство; однако из-за его монополии на легитимную принудительную власть оно должно быть разграничено с другими формами объективного духа. К проявлениям абсолютного духа относятся религия и религиозная философия, чьи достижения в области упорядочения и толкования жизни выходят за рамки спонтанных и объективированных выражений субъективного и объективного духа. Абсолютный дух религии стремится к прочности и цельности объяснения мира и жизни.

Весьма сомнительно, чтобы подвижный элемент непрерывно преобразующей и ниспровергающей спонтанной культуры был бы возможен в общественной жизни без прочного и долговременного жизненного порядка, устанавливаемого религией. При отсутствии религии универсальность и постоянство, без которых коллективное единство членов общества, как в диахронном, так и в синхронном плане, не может сложиться, достигается принудительными действиями государства. Внутреннее религиозное регулирование поступков индивидов заменяется государственно устанавливаемой культурой и одновременно с этим внешним регулированием. Демократия (как форма государства) и рыночное хозяйство (как форма экономики), которые дают особую свободу спонтанному развитию политической воли, экономических потребностей и культурной самоориентации общества, в большей степени, чем авторитарные и планово-хозяйственные системы, оказываются вынужденными обращаться к консолидирующей силе религии. С другой стороны, притязания религии на универсальную значимость не согласуются со стремлением тоталитарного государства поставить культуру себе на службу, так что такое государство будет преследовать религию как противника, препятствующего осуществлению его принудительной культуры.

Козловски П. Культура постмодерна: общественно-культурные последствия технического развития. Пер. с нем. – М.: Республика, 1997. – 240 с.

П. КОЗЛОВСКИ

НАЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Смысл культуры состоит не только в усилении процессов циркуляции и коммуникации. Возрастание способности к коммуникации и совершенствование систем коммуникации и средств массовой информации в качестве цели культурной политики, как, например, это имело место в социалистической культурной политике Жака Ланга во Франции, а также в соответствующей политике его либерального преемника Франсуа Леотара, есть лишь средство, но никак не смысл культуры. Надежды модерна на то, что, образно говоря, пресс-атташе сможет стать послом, не оправдались. Постмодерну же известно, что пресс-атташе всего лишь функция, элемент структуры, формальная связь, одним словом, связной, а не само посольство. Недостающая субстанция не может быть компенсирована за счет расширения инструментария. Коммуникационные средства и средства массовой информации без субстанциального содержания могут породить лишь псевдоконтекст, в котором весьма быстро может быть обнаружено отсутствие содержания, и в связи с чем он будет отброшен как пустая информация.

Изъяны в культурном насыщении общественного строя и отсутствие символизации культурной смысловой связи предстают в предлагаемой работе как причина страха идентификации и озабоченности быть описанным в современности. Культурная контекстуальность есть способ гарантированной идентификации и самоутвержденности (Einhausung) человека. Если отсутствует возможность вписаться в общий культурный контекст - появляется чувство неуверенности. "Комплекс безопасности" современного человека, его стремление к технически обставленной гарантии бытия и вследствие этого перестраховка и переплата за безопасное существование находятся в причинной связи с утратой культурного контекста. В США многие служебные услуги уже не имеют спроса, поскольку страховочные платежи за них так дороги, что пользование ими финансово себя не оправдывает.

Проблема гарантий и комплекс безопасности стоят на границе между культурой и религией. Умение жить под гнетом риска и способность справляться со случайными, добрыми или тяжелыми "подарками" судьбы имеют в качестве предпосылок противостояния культурные качества. Эти последние принадлежат сфере религии. Религию и культуру разделить нельзя. Без религии хиреет способность справляться с неожиданными случайностями. Способна ли культура в альтернативе к религии справиться с тяготами этих неожиданностей - сомнительно. Ни государство, ни культура сами по себе не могут быть равноположены религии. Религия подчинена законам Божественного права, однако оказывает культуре такие услуги, которые в состоянии предоставить только религия. Поэтому правомерно, чтобы государство поддерживало религии, и необходимо, чтобы церкви утруждали себя заботой о культуре. Буржуазной культуре XIX столетия была знакома взаимозаменяемость культуры и религии. Стихи Гёте из "Ксений" дают подтверждение этой позиции:

Наукой и искусством кто владеет,
Религию также имеет;
Кто же ими двумя не владеет,
Пусть религию - имеет".

Буржуазное понятие культуры, господствовавшее в XIX веке, скрывало в себе желание образованных кругов посредством культуры социально отделить себя от необразованных. Это представление о культуре достигло своего апогея в якобинстве и состояло в том, что образованность - единственный масштаб социального положения и оценки ценностей. Общественное положение должно было полностью соответствовать степени образованности. В культурной политике не следует упускать из виду той опасности, что культурой можно злоупотребить для раскола между образованными и необразованными. Культура должна быть не разделяющим, а объединительным фактором общества. Использование культуры с целью социального дистанцирования вызывает враждебное отношение к ней и нажим со стороны "образования" на чуждую культуре демократизацию.

Якобинство связало введение культуры как средства национального объединения с отказом от религии. Религиозная культура якобинства была

сословной, но всеобщей. Якобинство подавало себя универсалистски, однако было буржуазным. Так как бюргерства в смысле XIX века больше не существует, культура должна быть сегодня универсалистской и всеобщей. Это предполагает, что культура и религия не образуют противоположностей, потому что социальная общность возможна только благодаря религии, "принципу ассоциации" (Шлегель). Культура, искусство, наука и экономика всегда покоятся на возрастающем культурном успехе. Только религия стоит по ту сторону достижений и успеха, так как христианство дарует каждому человеку его достоинство вне зависимости от того, насколько он владеет наукой, искусством или богатством. Религия является также необходимой подстраховкой против опасности преувеличенного почитания идола "успех", которое со времен Рима и Афин свойственно всякой развитой культуре и открывает каждому человеку игровое пространство предпринимательского достижения. Культура, как и всякое творение человека, не лишена двусмысленности. Она не есть земной вариант спасения, как это предлагалось Ницше в отношении искусства после смерти богов. Культура - это возрастание человеческого достоинства, забота о человеческом потенциале. Она не есть что-либо больше того, что она есть: гарантия того, что этот потенциал (в смысле великого братства или единства) будет воплощен. Для этого необходимы нравственная и религиозная воля, которая сама собой лишь благодаря культуре не возникает. В культуре также не заложен автоматизм добра. Действенность культуры - это "четкость высказываний и уверенность в том, чего хотят, отбрасывание произвола и причуд, победа масштабности и размаха деятельности, взаимодействие науки и искусства. Проверка производств всех времен на то, находились ли они под таким воздействием или нет".

Экспрессивность подъема не является гарантией возрастания человеческой самости и общества, но их предпосылкой. Соскальзывание с культурности к манерности, с выразительности к экзальтированности - это свидетельство, что культура не гарантия, а инструмент добра.

Если ни многосторонность, ни открытость, ни образованность, ни выразительность не являются последним назначением человека, что же это за проект культуры? В чем смысл проекта культуры, данного через поддержание культурности?

Культура рекомендуется сегодня как ключ к инновациям и общественному развитию, она облегчает введение новой техники и ее общественное "признание", способствует международному обмену и взаимопониманию. Культура, как говорится, должна быть через посредство всех социальных индикаторов и показателей роста последним критерием общественного развития. Ее ключевая роль в особенности уместна для такой густонаселенной части континента, как Западная Европа. Западноевропейская культура должна трансформировать свою активность в ресурсосберегающие и природозащитные формы жизни. Потребление культуры вместо количественного потребления товаров имеет здесь как социально-экономическое, так и природно-политическое значение. Культура более

ресурсосберегаема, чем другие потребители свободного времени, например определенные виды спорта или материальное потребление.

В чем же состоит окончательный критерий общественного развития, проект культуры? В центре европейской культуры, составной частью и наследниками которой мы являемся, стоит и вопрос, и ответ Пилата, о которых благовествует нам Евангелие от Иоанна. Это вопрос "Что есть истина?" и ответ: "Се Человек!" Проект нашей культуры - дать ответ на вопрос о том, что есть истина и что есть человек, и воплотить в действительность ответ Пилата, который он уже сам дал, указывая на Христа. Ответ на вопрос "Что есть истина?" в известной мере уже дан во фразе Ессе Номо. Ответ Пилата "Се Человек!" подразумевает каждого человека. Стремление познать истину и гуманизм своеобразно перекрещиваются в европейской культуре. Человек и есть ответ на вопрос об истине, но не весь ответ. Истина больше, чем человек. Человек не есть еще истина, поскольку человек, на которого указывал Пилат, - это не только человек, как он есть, а вочеловеченный Бог. Проект культуры есть не только истина, так как истина должна быть человеческой и для человека. Проект культуры - это не только человек, поскольку человек, как он есть, сам себе в образе человека еще недостаточен. Человек человеку не высшее существо. Над человеком и его культурой стоит правда, которая божественна. В пересечении поиска истины и совершенного человека и состоит проект культуры. К этому проекту раскрытия истины и сущности человека техническое развитие ничего не прибавило. Так как техника есть своего рода раскрытие бытия, то она усиливает требование к нашей культуре, чтобы с явлением технической правды Ессе Номо, явление человеческого лика в технике и культуре, просияло как их последующий шаг.

Козловски П. Культура постмодерна: общественно-культурные последствия технического развития. Пер. с нем. – М.: Республика, 1997. – 240 с.

Л. Г. ИОНИН

Глава 1
КУЛЬТУРА И НАУКИ О КУЛЬТУРЕ

1.1. История слова «культура»

Культура - одно из двух-трех самых сложных слов, используемых в нашем практическом и научном обиходе. Отчасти это объясняется тем, что оно имеет сложную и запутанную языковую историю, а отчасти тем, что оно применяется для обозначения, крайне сложных понятий в разных научных дисциплинах и к тому же в самых различных системах мысли.

О том, как формировались и развивались разные значения слова *культура*, рассказал языковед Р. Уильямс. Появлению этого слова в различных европейских языках непосредственно предшествовало латинское *cultura*, происходившее от *colere*. Последнее имело множество значений: населять, культивировать, покровительствовать, поклоняться, почитать и т.д. Некоторые из них со временем образовали самостоятельные термины, хотя и с частично перекрывающимися друг друга значениями. Так, значение "населять" через латинское *colonus* трансформировалось в *колонию*, а "почитать", "поклоняться" через латинское *cultus* - в *культ*. В английском языке слово *culture* первоначально имело смысл "развивать", "культивировать", хотя и с оттенком "служения", "почитания", при этом в средневековом английском оно иногда прямо употреблялось как *служение*. Во французском, точнее в старофранцузском, латинское *cultura* преобразовалось в слово *coulture*, позже приобретшее совершенно самостоятельное значение, и лишь затем в *culture*.

Во всех случаях раннего употребления слово *culture* означало процесс культивирования, выращивания чего-нибудь, обычно животных и растений. Это привело к появлению дополнительных значений слова, таких, как английское *coulter* - лемех, происходящее от латинского *culter*, обозначающего то же орудие. Дальнейшая эволюция связана, очевидно, с перенесением представлений о культивировании, возделывании с естественных процессов на человеческое развитие, причем агрикультурный, сельскохозяйственный смысл долгое время сохранялся. Так, Френсис Бэкон говорил о "культуре и удобрении умов", а в середине XVIII века английский епископ, сетуя на недостатки современного воспитания, писал, что "люди благородного рождения и воспитания не хотят растить своих детей для церкви" (словами "люди ...рождения ...и воспитания" я постарался передать словосочетание «persons of either birth or culture»).

Два момента нужно отметить особо. Во-первых, метафора становилась все более привычной, пока, наконец, такие термины, как культура ума, не начали восприниматься прямо и непосредственно, а не в переносном смысле; во-вторых, слово культура, относящееся к частным процессам, все чаще использовалось при характеристике процессов развития и совершенствования вообще, что означало универсализацию термина. Именно с этого на рубеже XVIII - XIX веков и началась многообразная и запутанная современная история слова культура.

Тогда же, в конце XVIII - начале XIX века сформировалось устойчивое значение самостоятельного термина цивилизация. Это слово происходит от латинских *civis* - гражданин и *civilis* - принадлежащий, относящийся к гражданину. В результате довольно долгой эволюции оно стало выражать смысл исторического процесса и его достижений: очищение нравов, воцарение законности и социального порядка. В то же время, сначала во Франции, а затем в Англии оно стало использоваться во множественном числе - стали говорить о цивилизациях.

Примерно те же процессы (правда, с определенными задержками) отмечаются и в русском языке. Само слово *культура* впервые зарегистрировано в Карманном словаре иностранных слов, изданным Н. Кирилловым в 1845 году,

но особого распространения оно не имело, и не встречается даже у "властителей дум" - Добролюбова, Писарева, Чернышевского и др. Еще в 1853 году И. Покровский в "Памятном листке ошибок в русском языке", опубликованном в "Москвитянине", объявил это слово ненужным. Но уже в 60-е годы оно полноправно обосновывается в словарях русского языка, а в 80-е и позже получает широкое распространение, причем в том же богатстве значений, что и в западноевропейских языках. Согласно В. Далю, *культура* - это "обработка и уход, возделывание, возделка; образование, умственное и нравственное; говорят даже культивировать вместо обрабатывать, возделывать, образовывать". При этом, как в европейских языках, соответствующие термины применялись для обозначения сельскохозяйственных орудий (культиватор).

Подобным же образом и термин *цивилизация* проник в Россию вместе с соответствующими переводными книгами. В XX веке в России, как и в Западной Европе, под словом *цивилизация* (а иногда *цивилизованность* или *civility*) стали понимать общее состояние общества или даже уровень воспитания, поведения или манер конкретных персон, противопоставляемое дикости или варварству. Однако с ростом числа сравнительных исследований появились весьма нечеткие трактовки этого понятия в различных сочетаниях: западная цивилизация, российская цивилизация, индустриальная цивилизация, современная цивилизация и т.д.

Но вернемся к развитию термина *культура*. Важный поворот в его интерпретации произошел в немецком языке: до конца XIX века была распространена форма *cultur*, а на смену пришла сегодняшняя *kultur*. Сначала понятия *культура* и *цивилизация* развивались в Германии так же, как в других странах. В конце XVIII века, прежде всего в трудах Гердера, было сделано нововведение, едва ли не решающее в истории изучения культуры: речь зашла не о культуре, а о культурах (во множественном числе). Другим важным нововведением, предложенным несколько позже, стало характерное для Германии и редко встречающееся как в быденной, так и в научной лексике прочих европейских языков противопоставление культуры и цивилизации.

Попытаемся подвести итог лингвистического развития слова *культура* за несколько столетий. В современных европейских языках можно выделить (если исключить сельскохозяйственную и естественно-научную терминологию, например, культура вики, культура микробов) четыре основных смысла слова *культура*:

- абстрактное обозначение общего процесса интеллектуального, духовного, эстетического развития;
- обозначение состояния общества, основанного на праве, порядке, мягкости нравов и т.д; в этом смысле слово *культура* совпадает с одним из значений слова *цивилизация*;
- абстрактное указание на особенности способа существования или образа жизни, свойственных какому-то обществу, какой-то группе людей, какому-то историческому периоду;
- абстрактное обозначение форм и продуктов интеллектуальной и прежде всего художественной деятельности: музыка, литература, живопись, театр, кино и т.д.

(то есть все то, чем занимается министерство культуры); пожалуй, именно этот смысл слова культура наиболее распространен среди широкой публики.

Перечисленные значения слова культура связаны между собой частично по происхождению, частично по смыслу. Все это очень престижные значения (если можно здесь применить такой термин). Однако есть множество примеров враждебного отношения как к слову культура, так и к тому, что оно обозначает.

Антикультурные чувства и отношение враждебности к культуре также имеют солидную историю. Впервые они отмечены в Англии XIX столетия и явились реакцией на претенциозность эстетизма в искусстве и жизни (М.Арнольд). Тогда критики эстетизма вместо culture использовали "изобретенное" ими издевательски-имитирующее *culchah*. Затем определенная враждебность возникла в результате германской пропаганды времен первой мировой войны, сосредоточивавшейся вокруг якобы превосходящей все остальное германской *kultur*. В первые десятилетия нашего века русские и зарубежные нигилисты и авангардисты, а затем молодежные вожди и массы 60-х - 70-х годов на Западе выступали за то, чтобы разрушить культуру как опору традиции и главное препятствие на пути в будущее человечества. В этом к авангардистам 20-х примыкали большевики.

Но существует и постоянная, хроническая вражда к культуре. Ее причинами являются, с одной стороны, необоснованные претензии так называемых интеллектуалов, или интеллигенции, на высшее, преобладающее знание или даже состояние ума и души, а с другой - малообразованность народа, пренебрежительно относящегося к бездельникам-интеллектуалам, существующим на народные деньги. Для обозначения именно такой культуры, понимаемой в пренебрежительном, уничижительном смысле, существуют даже особые термины: в Америке - *culture-vulture*, в России и СНГ этому приблизительно соответствует *культур-мультир* - русскоязычный термин среднеазиатского происхождения.

Конечно, мы привели самый приблизительный обзор истории слова и истории значений слова культура. Чтобы провести полный обзор, пришлось бы рассматривать всю культурную историю человечества, а также ознакомиться с другими, близкими по значению терминами. Достаточно сказать, что упомянутый выше Р.Уильямс, в список к словарной статье, посвященной слову культура, включил следующие соотносящиеся по значению термины: эстетика, искусство, цивилизация, гуманизм, наука.

1.2. Какие науки изучают культуру

Существует ряд дисциплин, сосредоточивающихся на описании и анализе культуры и культур. Назовем только основные, не останавливаясь пока на смежных дисциплинах и многочисленных субдисциплинах. Это - этнология, этнография, культурная и социальная антропология, культурология, социология культуры и философия культуры.

Здесь следовало бы, наверное, определить каждую из дисциплин, показав специфику ее предмета и метода, а затем назвать исследователей, внесших

наибольший вклад в развитие каждой из них. Но это сделать непросто. Более того, попытки четкого определения этих наук и разграничения их "сфер влияния" обречены на неудачу. Буквально в каждой из этих дисциплин предметы, методы, специфические объекты исследования, полевые и теоретические стратегии существенно разнятся не только от страны к стране, от школы к школе, но даже от исследователя к исследователю.

[...] Можно сказать, что этнология, этнография, культурная антропология и социальная антропология - это систематические сравнительные науки о культурах разных обществ и разных эпох, основывающиеся прежде всего на сборе и анализе эмпирического материала. Различия между ними в той мере, в какой они вообще существуют (это, скорее, различия между школами и отдельными исследователями в рамках каждой из дисциплин), состоят в уровне абстракции при анализе явлений культуры.

Философия культуры - это обозначение подходов к изучению сущности, цели и ценности культуры, ее условий и форм проявления. Она имеет огромное количество форм и часто оказывается тождественной философии истории, поскольку именно история рассматривается как процесс развертывания и воплощения смысла культуры.

Несколько слов о культурологии. [...] "Культурология - формирующаяся область научного знания, призванная исследовать культуру как единую систему и особый класс явлений. Изучением различных разделов культуры заняты (всецело или частично) несколько специализированных дисциплин - философия, языкознание, археология, этнография, искусствоведение, история архитектуры, история естествознания, религиоведение и др. Обобщить, их усилия, создать для них общую теоретическую базу, определить наиболее общие закономерности формирования, функционирования и развития культуры и призвана особая наука - культурология. Однако до сих пор существуют значительные расхождения в понимании предмета, метода и проблематики культурологии." Последнее не удивительно: ведь и в понимании того, что такое культура, также существуют, как будет показано далее, не то что значительные, а иногда просто кардинальные расхождения.

И, наконец, социология культуры - наука, рассматривающая строение и функционирование культуры в связи с социальными структурами и институтами и применительно к конкретно-историческим ситуациям. Однако в последнее время, (это уже отмечалось в предисловии) представления о роли культуры в жизни общества существенно меняются, а вместе с ними меняются и представления о том, каковы предмет, цель, метод и объем социологии культуры. Приведенное выше определение является традиционным, наверное, оно устроит социолога любого направления. Однако нынешние изменения в организации и восприятии человеком его мира заставляют иначе ставить вопрос о социологии культуры. Я бы даже назвал эту новую, именно сейчас возникающую дисциплину не социологией культуры, а культурной социологией (по аналогии с культурной антропологией) или культурным анализом. Культурный анализ, о котором в основном и будет идти речь в

настоящей книге, - это не столько особая научная дисциплина, сколько направление теоретического исследования, применяющее методологию и аналитический аппарат культурной антропологии, социологии и философии культуры и ставящее своей целью обнаружение и анализ закономерностей социокультурных изменений.[...]

1.16. Определения культуры

Читатели, наверное, заметили, что на протяжении всей главы, говоря о возникновении и развитии представлений о культуре, мы уклонялись от определения того, что же такое культура. И это не случайно.

В 1952 году американские антропологи А.Кребер и К.Клакхон опубликовали книгу, в которой привели обзор известных к тому времени концепций и определений культуры. Они проанализировали более 150 определений, каждое из которых отражало важную сторону понятия культуры и, безусловно, имело право на существование. В 1963 году Кребер и Клакхон переиздали книгу, значительно расширив перечень определений культуры за счет включения новых интерпретаций, которые появились за десятилетие, прошедшее со времени выхода первого издания. Этот обзор определений и концепций культуры был, пожалуй, наиболее полным из имевшихся в мировой литературе, но и он все-таки имел некоторые пробелы, ибо Кребер и Клакхон сосредоточивались на подходах, принятых в англо-американской литературе, и вне поля зрения исследователей осталось многообразие, определений и концепций, имевшихся в немецкоязычной и франкоязычной традициях.

Тем не менее эта работа дает достаточно адекватное представление о типах и способах определения понятия культуры. Кребер и Клакхон разделили все определения культуры на шесть основных типов (от А до F), причем некоторые из них в свою очередь разделяются на несколько групп.

А. Описательные определения, в которых упор делается на перечисление всего того, что охватывает понятие культуры. Родоначальником такого типа определения культуры является знаменитый антрополог Э.Тайлор. Согласно Тайлору, "культура, или цивилизация, в широком этнографическом смысле складывается в своем целом из знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества".

В. Исторические определения, в которых акцентируются процессы социального наследования, традиция. Примером здесь может служить определение, данное известным лингвистом Э.Сепиром: культура - это "социально унаследованный комплекс способов деятельности и убеждений, составляющих ткань нашей жизни". Недостаток определений этого типа связан с предположением о стабильности и неизменности, в результате чего из виду упускается активность человека в развитии и изменении культуры.

С. Нормативные определения. Эти определения делятся на две группы. Первая из них - определения, ориентирующиеся на идею образа жизни. По определению, данному антропологом К.Уислером, "образ жизни, которому

следует община или племя, считается культурой... Культура племени есть совокупность стандартизованных верований и практик, которым следует племя". Вторая группа - определения, ориентирующиеся на представления об идеалах и ценностях. Здесь можно процитировать два определения: данное философом Т.Карвером, "культура - это выход избыточной человеческой энергии в постоянной реализации высших способностей человека", и предложенное социологом У.Томасом, "культура ... это материальные и социальные ценности любой группы людей (институты, обычаи, установки, поведенческие реакции) независимо от того, идет ли речь о дикарях или цивилизованных людях".

Д. Психологические определения, в которых упор делается либо на процесс адаптации к среде (D-I), либо на процесс научения (D-II), либо на формирование привычек (D-III). Индексом D-IV Кребер и Клакхон обозначают "чисто психологические определения". Ниже приведены определения, наиболее характерные для каждой из этих четырех групп.

D-I "Совокупность приспособлений человека к его жизненным условиям и есть культура, или цивилизация... Эти приспособления обеспечиваются путем сочетания таких приемов, как варьирование, селекция и передача по наследству" (социологи У.Самнер и А. Келлер).

D-II "Культура - это социологическое обозначение для наученного поведения, то есть поведения, которое не дано человеку от рождения, не предопределено в его зародышевых клетках как у ос или социальных муравьев, а должно усваиваться каждым новым поколением заново путем обучения у взрослых людей" (антрополог Р.Бенедикт).

D-III "Культура - это "формы привычного поведения, общие для группы, общности или общества. Она состоит из материальных и нематериальных элементов" (социолог К.Янг).

D-IV "Под культурой мы будем понимать совокупность всех сублимаций, всех подстановок или результирующих реакций, короче, все в обществе, что подавляет импульсы или создает возможность их извращенной реализации" (психоаналитик Г.Рохайм).

Е. Структурные определения, в которых внимание акцентируется на структурной организации культуры. Здесь характерны определения, данные антропологом Р.Линтоном: а) "...Культуры - это в конечном счете не более чем организованные повторяющиеся реакции членов общества, б) Культура - это сочетание наученного поведения и поведенческих результатов, компоненты которых разделяются и передаются по наследству членами данного общества".

Ф. Генетические определения, в которых культура определяется с позиции ее происхождения. Эти определения разделяются на четыре группы: F-I, в которых культура рассматривается как продукт или артефакт; F-II, в которых упор делается на идеях; F-III, в которых подчеркивается роль символов; F-IV, в которых культура определяется как нечто, происходящее из того, что не есть культура. Ниже приведены определения, наиболее характерные для каждой группы.

F-I. "В самом широком смысле слова культура обозначает совокупность всего, что создано или модифицировано сознательной или бессознательной

деятельностью двух или более индивидов, взаимодействующих друг с другом или воздействующих на поведение друг друга" (социолог П.Сорокин).

F-II. "Культура - это относительно постоянное нематериальное содержание, передаваемое в обществе посредством процессов обобществления" (социолог Г.Беккер).

F-III "Культура - это имя для особого порядка, или класса феноменов, а именно: таких вещей и явлений, которые зависят от реализации умственной способности, специфичной для человеческого рода, которую мы называем "символизацией". Говоря точнее, культура состоит из материальных объектов — орудий, приспособлений, орнаментов, амулетов и т.д., а также действий, верований и установок, функционирующих в контекстах символизирования. Это тонкий механизм, организация экзосоматических путей и средств, используемых животным особого рода, то есть человеком, для борьбы за существование или выживание" (социолог Л.Уайт).

F-IV "То, что отличает человека от животных, мы называем культурой" (естествоиспытатель и философ В.Оствальд).

Каждое из этих многообразных определений сосредоточивается на какой-то одной стороне, характеристике, качестве культуры. Как правило, они не являются взаимоисключающими. Разумеется, зачастую из краткого определения понять ход мыслей того или иного автора трудно или просто невозможно. Для понимания нужен более широкий контекст. Однако можно приблизительно представить себе, в чем были бы согласны авторы буквально всех приведенных выше определений. Без сомнения, они были бы согласны с тем, что культура - это то, что отличает человека от животных, культура - это характеристика человеческого общества. Кроме того, они, наверное, согласились бы, что культура не наследуется биологически, но предполагает обучение. Далее, они наверняка признали бы, что культура напрямую связана с идеями, которые существуют и передаются в символической форме (посредством языка).

Это самые общие суждения о культуре, относительно которых возможно согласие среди исследователей самых разных направлений в социальных и гуманитарных науках. Дальнейшие уточнения, конечно, привели бы к разногласиям. На них мы сейчас сосредоточиваться не будем. Для нас важно, что этих, предполагающих консенсус представлений о культуре достаточно для дальнейшего изложения

Ионин Л.Г. Социология культуры. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1998. – 280 с.

КАРЛ МАНХЕЙМ

Глава II.

Социологические причины культурного кризиса наших дней

I

Наряду с кризисом душевной жизни людей симптомы распада современного общества и его преобразования проявляются в потрясениях, которым подвержена наша культура.

Если ученый в последнюю очередь открывает связи, соединяющие культурную и общественную жизнь, то объясняется это тем, что в спокойные времена на высоком уровне общественной дифференциации, на которой мы находимся, обе эти сферы развиваются как будто отдельно. В каждом сложном обществе культура всегда создавала не только собственные органы, но и свой мир, во многом обладающий собственным континуумом.

Творцы культуры и публика чувствуют себя настолько защищенными прочностью своих институтов; независимостью своих традиций, что даже при потрясении, которое они в настоящее время переживают, они склонны объяснять колебания всего построения случайным вмешательством так называемых общественных сил. Однако неверно было бы считать, что общественные силы воздействуют на культуру только в пограничных ситуациях и что в область культуры вторгаются только катастрофические нарушения порядка. Жизнь общества всегда присутствует в культуре, обнаруживается в ней и тогда, когда действует незаметно, и если в постановке вопроса культура и общество отрываются друг от друга и затем влияют друг на друга, то такой вопрос, по существу, поставлен неправильно. Общество само входит в культуру и ежеминутно формирует ее. Поэтому неверно видеть в обществе лишь экономику и политику (базис) и говорить о социологии культуры только в тех случаях, когда эти сферы влияют на культуру.

В дальнейшем мы разовьем тезис, намеченный в начале книги и покажем, что то же напряжение, которое нарушает развитие экономики, действует и в культурной жизни. Соответственно двум важным противоборствующим принципам - либеральному принципу *laissez-faire* и принципу регулирования - наша культура испытывает угрозу с двух сторон: ей грозит определенная, точно исчисляемая опасность, пока демократическое массовое общество в понимании либерализма предоставлено самому себе. Но значительно большая опасность угрожает ей, если в этом массовом обществе формы диктатуры вытесняют свободные формы. К этим двум указаниям добавим третье, а именно, что те же социологические причины, которые приводят к распаду культуры в либеральном обществе, пролагают путь формам диктатуры.

Эти три поставленные во главу изложения замечания получают научное и практическое значение для деятеля в области культурной политики лишь в том случае, если мы говорим не только об опасностях и упадке культуры вообще, как это делал, например, Шпенглер, а можем выявить и анализировать отдельные социальные силы и причинные ряды, которые ведут к распаду культуры.

Следовательно, мы не стремимся к пророчествам, а ищем руководящую нить, которая поможет нам планомерно рассмотреть в области культуры действие наиболее существенных социальных факторов.

II

Каждое исследование социальных условий культуры должно исходить из двух видов вторжения социального фактора в сферу культуры.

А. В одном случае социальный фактор совершает это в качестве свободной нерегулируемой жизни общества, которая своими спонтанно образовавшимися соединениями участвует в формировании духовной жизни.

В. Затем это реализуется посредством социального регулирования и организаций, которые выступают в области культуры как институты. Мы имеем здесь в виду воздействие на духовную жизнь с помощью церкви, школ, университетов, исследовательских учреждений, прессы, радиовещания и всех видов пропагандистских организаций.

Культурная жизнь современного массового общества либерального толка подчинена главным образом тем закономерностям, которые свойственны нерегулируемым общественным структурам, тогда как в диктаторски управляемом массовом обществе на первый план выходят социологические воздействия институциональных элементов. В соответствии с этим мы попытаемся сначала подробнее рассмотреть неорганизованное воздействие на культуру предоставленного самому себе либерального общества, а затем обратимся к последствиям институциональной организации культурной жизни, хотя рассмотрим ее лишь в общих чертах.

Следовательно, мы начинаем с социологического описания предоставленной самой себе социальной системы и попытаемся проследить в ней процесс роста культуры. Сначала неорганизованная общественная жизнь предстает как не подчиненный правилам, нерасчлененный комплекс. Но если приглядеться, оказывается, что во внеэкономической социальной структуре либерального порядка происходят те же процессы, которые типичны для свободного рынка, с той только разницей, что в области культуры эти процессы действуют в другом направлении и измеряются иными масштабами. Социологическое рассмотрение культуры в либеральном обществе должно во всяком случае исходить из положения производителей культуры, т.е. из слоя интеллигенции и ее места в обществе.

Проблема социологии интеллигенции находится, несмотря на множество подступов к ней, на начальной стадии. С позиций нашей науки, выразить соответственно значение культуры в различных областях социальной жизни - задача интеллектуальной элиты. Существуют основные типы элиты: элита в области политики, организации, знания, искусства и религии. Если элита в области политики и организации создает интеграцию многочисленных волевых импульсов, то функция элиты в области знания, эстетики и религии - сублимировать духовные энергии, не полностью использованные обществом в ежедневной борьбе за существование. Таким образом, эти типы элиты приводят в движение как волю к объективному знанию, так и те тенденции к интроверсии, созерцанию и рефлексии, которые, хотя они и являются условием существования каждого общества, не получили бы на данном уровне должного развития без более или менее сознательного управления.

Мы не можем здесь подробно останавливаться на сложных психологических проблемах сублимации, интроверсии, созерцания и т.д. Но мы можем исходить из того, что пути культурной сублимации связаны с определенными типическими

ситуациями; при этом известную роль играет характер использования людьми своего досуга и выбор групп интеллигенции, располагающих значительным досугом и особым укладом жизни. Общество, которое полностью использует свои силы для организации, не оставляет достаточной возможности для интроверсии, созерцания и рефлексии. В таком обществе преобладает элита в области политики и организации, тогда как элита в области рефлексии, науки, искусства и религии почти полностью отсутствует или, во всяком случае, не может получить серьезного значения. Общество, не позволяющее сублимированному слою достичь развития, не может ни управлять культурным процессом, ни увеличить свои творческие силы. Только там, где, с одной стороны, рядовой человек располагает достаточным свободным временем, чтобы подвергнуть сублимации излишек своей энергии, и где, с другой стороны, в области культуры существует группа лидеров, способная направить эту сублимацию, возникают соответствующие друг другу слои: слой, создающий культуру, и слой, культуру воспринимающий. Примером цивилизации, в которой политическая и военная элита вытесняют другие, может служить Спарта; Соединенные же Штаты характеризовались до сих пор главным образом тем, что там господствующую ментальность равно определяли задачи организации и элиты. В обществе массовой демократии также культурная сублимация, например в области искусства и моды, совершается только в том случае, если до того возникли мелкие группы знатоков (*connaisseurs*), формирующие вкус, откуда содержание и техника сублимации медленно распространяются на остальное общество. Во всех областях культурной жизни подобные элиты в качестве небольших групп осуществляют функцию первичного формирования духовных и душевных сил, управления коллективной экстраверсией и интроверсией; они - носители творческой инициативы и традиции. Если эти небольшие группы уничтожаются, если возникает препятствие для их правильной селекции, то в обществе исчезает основное условие создания и сохранения культуры.

Кризис культуры в либеральном демократическом обществе восходит прежде всего к тому, что фундаментальные социальные процессы, развитию которых раньше способствовали создающие культуру элиты, перешли вследствие массовизации общественной жизни в свою прямую противоположность. Дело здесь обстоит приблизительно так же, как с принципом конкуренции. Можно заметить, что действие и этого принципа ведет при определенных обстоятельствах к оптимальным достижениям индивидов, качественно превосходящих других, тогда как при других конstellациях тот же принцип вызывает даже понижение социального уровня, побуждая применять в соревновании недобросовестные средства. Точно так же существуют конstellации, при которых нерегулированное действие остальных социальных сил может привести в области культуры к негативным результатам. Мне представляется необходимым назвать несколько симптомов деструктивного воздействия либерализма и демократии в области культуры на стадии массового общества и противопоставить их в качестве проявления «негативного либерализма» и «негативной демократизации» тем процессам, в которых либерализм и демократизация раньше посредством свободного

саморегулирования общественной жизни влияли в высшей степени благотворно на развитие культуры. В связи с проблемой образования элиты в либеральном обществе я хочу предложить в качестве темы для дискуссии четыре таких процесса, которые имеют сегодня первостепенное значение:

1. Растущее число элитарных групп и возникающее вследствие этого ослабление их силы.
2. Уничтожение замкнутости элитарных групп.
3. Изменение принципа отбора этих элит.
4. Изменение внутреннего состава элит.

III

Первое воздействие либерального порядка на образование элиты находит свое выражение в разрастании элитарных групп. Сначала это увеличение числа ведущих элитарных групп создает плодотворное многообразие в отличие от закоснелости и замкнутости немногих групп, которые господствовали в относительно маленьких и легко обозримых обществах прежних времен. Однако после того как многообразие выходит за определенные пределы, оно превращается в диффузию. Чем больше элитарных групп в обществе, тем больше каждая из них теряет ведущую функцию и силу воздействия, ибо они взаимно нейтрализуют друг друга. В демократическом массовом обществе уже ни одна из этих групп не может настолько утвердиться, чтобы накладывать свой отпечаток на все общество.

IV

Второе негативное изменение состоит в том, что принципиальная открытость демократического массового общества с ростом его величины и тенденции к публичности ведет не только к чрезмерному увеличению числа элитарных групп, но и лишает сами эти элитарные группы их обособленности, необходимой для образования духовных и душевных импульсов. Если утрачивается определенная минимальная мера обособленности, то целенаправленность в образовании вкуса, ведущего принципа вкуса, уже достигнута быть не может. Новые импульсы подхватываются широкими массами как простые возбудители, а не в их сложившейся форме как объективные образования, и разносятся как один из многих раздражителей, которых в современном мире с его крупными городами и так достаточно. Постоянно растущая жажда раздражений заменяет творческое терпение и стремление к совершенству. В этом заключается социологическая причина того симптома, на который уже в конце прошлого века указал известный историк искусства Ригль, а именно, что после стиля бидермейер мы не создали, собственно, ни одного стиля в искусстве и теперь занимаемся тем, что повторяем в быстром чередовании прежние стили. Такая же растерянность и отсутствие руководства царят и в других областях культуры, в области философского истолкования мира, формирования политической воли и т.д. Если тот, кто наблюдает за подобными изменениями, не привык видеть за явлениями действия социального механизма, он легко придет к выводу, что в

такие периоды человеческая природа менялась со дня на день и что теперь люди обладают меньшей творческой способностью и менее самобытны, чем прежде. Выступая против таких мнений, следует настойчиво указывать на меняющиеся социальные силы, в нашем случае, когда в позднелиберальном массовом обществе отсутствует руководство, - на негативно функционирующее образование элиты. Далее следует обратить внимание на то, что возникающая общая беспомощность и отсутствие руководства дают диктаторским группам шанс на победу. Если этим группам удастся создать какую-либо политическую интеграцию, они смогут, не встречая существенного сопротивления со стороны остальных групп, утвердиться во всей сфере общественной жизни. Существенного сопротивления они не встречают потому, что все элитарные центры, формирующие волю, вкус, суждения, уже раньше уничтожили друг друга.

Общая тенденция массового общества к утрате определенного направления наиболее ясно наблюдалась в послевоенной Германии, где в первую очередь инфляцией были уничтожены и атомизированы прежние средние слои. Выброшенные таким образом из своей социальной системы группы были подобны неорганизованной массе, которая лишь случайно может проявить склонность к интеграции. В этой ситуации возникла неведомая раньше интенсивная раздражительность и восприимчивость по отношению к новым формам переживания и опыта, но был утерян всякий шанс длительно сохранять определенный характер. Англия принадлежит, в отличие от Германии, к тем странам, где новые тенденции массового общества быстрее парализуются благодаря сохранению старых органических связей и связанных с ними форм переживаний. Во Франции также сохранился уклад мелких городов и провинциальности, служивших противодействующей силой механизму, существующему в массовом обществе.

V

Следующий источник негативной демократизации лежит в изменении принципа отбора элитарных групп. Если, с одной стороны, решающим для творчества элитарных групп в области культуры является стремление сохранять известную замкнутость и обособленность, то, с другой стороны, важно также, чтобы приток людей в эти группы допускал их селекцию, происходящую в определенных формах, из большого общества. Правда, замкнутые наподобие каст группы интеллигенции также создают духовную жизнь, даже в виде сверхкультуры, - достаточно вспомнить об эзотерических жреческих культурах Вавилона и Египта - однако именно вследствие нарушения социального закона они быстро достигают оцепенения. Поэтому относительная открытость этих элитарных групп также служит, наряду с только что отмеченной обособленностью, условием их подлинной жизненности в области культуры. Каждый человек, приходящий из других сфер жизни, привносит новые импульсы, обогащает внутреннюю атмосферу элитарной группы. Одновременно он служит посредником, связывающим элиту с другими группами и слоями, к которым элите надлежит обращаться.

Однако и в области отбора проявляются негативные симптомы массовой демократии. Если представить себе существенные формы отбора элитарных групп, которые известны из истории, можно различить три принципа: отбор по крови, по владению и по достигнутому успеху. В аристократическом обществе, особенно после того, как оно утвердилось, отбор производился по принципу крови, буржуазное общество постепенно ввело в качестве дополнения принцип богатства, принцип, который был действен и для образованной элиты, так как образованность в большей или меньшей степени была доступна лишь молодому поколению обеспеченных слоев. Хотя принцип успеха в соединении с двумя другими действовал и раньше, тем не менее важным новшеством последней фазы демократического развития было то, что принцип достигнутого успеха все чаще становился единственным критерием общественного признания. В целом современная демократия представляет собой комбинированный аппарат отбора. Ее элитарные группы - сочетание преуспевающих личностей, достигших своего положения посредством одного или нескольких из трех упомянутых принципов. Как бы ни относиться к этой комбинации с точки зрения социальной справедливости, следует во всяком случае признать, что она удачным образом соединяет тормозящие консервативные и движущие вперед принципы отбора. Отбор на основе достигнутого успеха представляет здесь динамический элемент. У нас нет ясной картины того, какое воздействие оказал бы отбор элитарных групп в массовом обществе, если бы ведущую роль в этом процессе играл только отбор по достигнутому успеху. Быть может, в таком обществе чередование различных элитарных групп шло бы слишком быстро и в нем отсутствовал бы континуум, создаваемый главным образом путем постепенного расширения ведущих групп в обществе. Однако подлинная угроза культуре нашего массового общества состоит совсем не в том, что принцип достигнутого успеха внезапно принимает слишком общий характер, а, напротив, в том, что в последнее время общество перестает считать этот принцип решающим в конкурентной борьбе за власть и внезапно начинает применять другие критерии, например принцип крови, которые призваны устранить принцип достигнутого успеха.

Мы не будем тратить усилий на доказательство того, что недавно провозглашенный расовый подход совсем не есть, как это ни странно, подлинный принцип отбора по крови. Речь идет уже не о чистоте выпестованного благородного меньшинства и его традициях; в этом отношении сторонники данной теории обрели демократичность и готовы сразу же предоставить открытым группам широких масс привилегию на возвышение, не связанное с успехом. До сих пор часто вызывающее зависть притязание на выполнение конкретных функций и на определенное положение в обществе было привилегией знати, основанной в первую очередь на происхождении; удача же этого притязания лишь во вторую очередь связывалась с достигнутым успехом. Теперь самый ничтожный человек обладает привилегией, позволяющей ему ссылаться не на успех, а на происхождение. Это может вновь служить характерным признаком процесса, который мы назвали негативной

демократизацией: если неконтролируемый принцип свободы и конкуренции в первой фазе современного общества вел к провозглашению всеобщего равенства и тождественных ему обязанностей и прав, то в рассмотренном здесь случае он превращается в свою противоположность. Внезапно возникает требование предоставить громадным группам людей, и даже человеку с улицы, привилегию чистой расы независимо от результатов его деятельности. Сегодня в действующем негативно соперничестве политических принципов вопрос ставят уже не о правильности, а о пригодности. Поэтому, характеризуя эту борьбу идеологий, не имеет смысла указывать, что логически невозможно в течение длительного времени предоставлять привилегии каждому человеку. Я не собираюсь расписывать, как будет выглядеть массовое общество после отказа от принципа успеха; напомним только, что при возникновении этого общества оно легитимировалось именно посредством этой новой нормы в отборе и только в ней черпало мужество для борьбы с предшествующим общественным принципом традиции.

VI

Дальнейшие социальные помехи в формировании культуры возникают в новейшей фазе развития как следствие искусственного сдвига в составе элитарных групп; прежде всего насильственно меняется соотношение коренных и мобильных элементов. Чтобы понять значение этого изменения, важно иметь в виду, что западная культурная элита с самого начала была сплавом локальных носителей культуры из земель и сословий с не связанными с определенной местностью интеллектуалами. Поскольку современная культура была подготовлена клерикальной образованностью, она с момента ее возникновения носила в значительной степени интернациональный характер. Ведь клерикальная культура была в первую очередь выражением интернационального порядка и лишь во вторую очередь - отражением специфических локальных и национальных ситуаций. Вслед за этим христианским гуманизмом возник светский гуманизм, который, в свою очередь, складывался на мирской основе тоже как интернациональное движение. Правда, по мере демократизации культуры в среде гуманистов и патрициев начинает действовать тенденция к ее локализации. Однако только преуспевающее бюргерство придало позднему городскому искусству подлинный локальный колорит, создало деятельность и мышление, отличающееся по своему локальному характеру. Следовательно, историческое сообщество Запада отнюдь не проходило в своем историческом развитии, как склонен себе представлять неспециалист, различные ступени, поднимаясь от локальной провинциальной культуры к национальной и интернациональной; напротив, после грандиозной стадии интернациональной, правда, ограниченной узкими элитарными кругами интеграции в эту интернациональную сферу встраивается сначала локальная и лишь позднее национальная интеграция. В Северной Европе основу культуры закладывают поселившиеся там монахи, придавшие варварским племенам надлокальную и надродовую культуру. Еще долгое время эта традиция сохраняется в нашем обществе среди

странствующих, следовательно, не связанных с определенной местностью, индивидов. Лишь медленно, наряду с ними, начинают обретать свою культурную значимость коренные элементы. С этого момента в культуре каждой страны идет борьба двух групп. Одна из них связана с определенной местностью как своим внешним существованием, так и своей духовной жизнью и ощущает как чуждое и иноземное даже то, что приходит из соседней провинции. Наряду с ней действует другая группа более мобильных и не связанных органически с коренным обществом индивидов, предпочитающих действовать в сфере социальных и духовных связей, которые подготавливают образование культурного сообщества Европы. В Великой французской революции находит свое выражение настроенность мобильной городской интеллигенции, а в последовавшей за ней контрреволюции и романтике, напротив, - настроенность тех групп, которые находятся под влиянием обособленного развития провинций и округов. До тех пор пока сохраняется органическое развитие, эти две группы и эти настроения оказывают плодотворное влияние друг на друга. Тип мобильного человека препятствует духовной провинциализации человека коренного типа, которого владение, родина и заранее гарантированное будущее делают более почвенническим, но и более вялым; а он, в свою очередь, заставляет абстрактного, сверхмобильного человека с уважением относиться к конкретным ситуациям и традициям своей непосредственной среды и душевно проникаться ими.

Подобно тому как в современной экономике при наивысшем развитии техники и коммуникаций рождаются движения за автаркию, возникают перебои и в культурной сфере. Сторонники локальной духовности стремятся вытеснить из своих рядов тех, кто отстаивает в культуре интернациональные связи, и таким образом уничтожить все то, что мы духовно восприняли с момента возникновения гуманистической образованности. В период образования автаркий и внутри ряда развитых стран происходит своего рода «деколонизация», о которой говорил М.Ю. Бонн применительно к экономике: Исконно коренные группы отделяются от мобильных элементов и тем самым от всего, что привнесено в нашу культуру развитием христианства и светской интернациональной культуры.

В самом деле, ряд сопутствующих этому процессу психических и духовных явлений может быть объяснен лишь этим регрессом. Если до этого времени нормальный отбор возвышал носителей культуры или постепенно повышал культуру поднимающихся в этом процессе слоев, то теперь, в ходе негативного отбора, тон начинают задавать те, кто отстал по своему самообладанию и способности контролировать свои влечения. Вследствие их победы господствующими становятся их ценности; в душе отдельного индивида также возникает внутренняя борьба мотивов и в конце концов происходит негативный отбор такого рода, что люди начинают стыдиться культуры, которую они постепенно восприняли, ощущают склонность к ней как проявление слабости и трусости; совершенная в течение длительного времени многими поколениями сублимация постепенно распадается и вовне все больше выступает хаотическая и бесформенная сторона души. Так, в конце концов негативный отбор элиты в обществе превращается в негативный отбор господствующих переживаний и

свойств характера, совершаемый в душе индивида. Действующее в каждом обществе стремление к вытеснению подавляет при культурно-позитивном отборе асоциальные и первоначальные импульсы, а при негативном отборе - достигнутую в медленном культурном процессе сублимацию.

VII

Однако задача социологии культуры не ограничивается описанием процессов, посредством которых создаются и развиваются элиты; в нее входит и исследование того, как элиты встроены в общество. В связи с этим первоочередной вопрос - это вопрос об их отношении к «публике». Для пояснения этого надо остановиться на процессе образования публики. Элиты не обращаются непосредственно к широким массам. Между элитой и широкими массами находятся социальные структуры, которые, правда, неустойчивы, но тем не менее обладают известной внутренней расчлененностью и постоянством; их функция - опосредствовать отношение между элитой и массами. И здесь можно показать, что переход от либерального псевдодемократического общества меньшинства к действительной демократии масс разрушает постоянство этого образования, именуемого публикой, и усиливает значение флюидных масс. В области литературы и театра это проявляется в том, что автор уже не может, как раньше, завоевав любовь публики, рассчитывать на то, что она, по крайней мере на протяжении одного поколения, сохранит к нему интерес. В массовом обществе место постоянного общества, составленного из сословий или из подобных сословиям слоев, занимает реально интегрирующаяся публика, которая в типичных случаях собирается лишь для одной постановки и для которой играет не постоянная труппа, а труппа, также собиравшаяся лишь для этого представления. Такая непостоянная, меняющаяся публика может быть привлечена только посредством все новых сенсаций. Следствием такой ситуации оказывается для авторов то, что успех все чаще выпадает только на премьеры; ведь при второй и третьей постановках пьесы того же автора уже нельзя рассчитывать на публику как гарантированное единство.

Там, где органическое, исторически сложившееся единство публики уничтожено, авторы и элиты обращаются непосредственно к широким массам; тем самым они в большей степени подчиняются законам массовой психологии, чем в тех случаях, когда в качестве регулятора отношения между элитой и массой действует такой достаточно открытый организм, как публика. На последней стадии либерального массового общества эту беду пытаются предотвратить новым насильственным решением, феноменом организованной публики. Рабочий театр ставит спектакли для профсоюзов или иных организаций. Тем самым в пограничной ситуации либерального массового общества появляется решение, которое, вероятно, найдет себе применение и в регулируемом плановом обществе. В будущем возникнет, вероятно, стремление заменить органическую публику и публику атомизированную искусственно организованной публикой в качестве третьей ступени развития.

Показанный здесь на примере театральной жизни феномен образования публики можно наблюдать и в других областях общественной жизни, например, в сфере политики. И здесь на стадии демократии меньшинства

между широкими массами и элитой существовали структуры типа публики, например, более или менее постоянная поддержка избирателей и находящиеся под влиянием прессы партии. На стадии расширения демократии и превращения ее в массовую демократию роль тех, кто раньше не участвовал в выборах, и еще не подвергшегося влиянию молодого поколения становится значительно более решающей, чем опора на охарактеризованные выше образования типа публики, более или менее подвергшиеся влиянию политических структур. Поэтому в обществе либеральной массовой демократии, партии стремящиеся к ключевой роли, прежде всего обращаются к этим еще не организованным массам и стараются, опираясь на законы социальной психологии, воздействовать на них посредством иррациональных средств. Однако и здесь, как и в случае с театральной публикой, диктатура, как только она достигает господства, сразу же преобразует существовавшую ранее интеграцию добровольных сторонников в организованную партию.

VIII

Дальнейшая проблема, суть которой сводится к выяснению того, как элитарные группы встроены в общество, связана с их положением в обществе, с их отношением к социальным слоям.

Для судьбы элитарных групп, а потому и для господствующей в обществе духовности, не безразлично, составляют ли носители культуры часть хорошего общества, зависят ли они от отдельных меценатов, от свободно интегрирующейся публики или от организаций. Первое следствие современной демократизации образования - это пролетаризация интеллигенции. На рынке труда интеллигенции появляется больше людей, чем нужно обществу для выполнения его интеллектуальных функций.

Подлинное значение этого переизбытка состоит не только в обесценении духовных профессий, но и в обесценении в общественном мнении самого духа. Неинтеллигентный человек полагает, что дух всегда ценят лишь ради него самого. Между тем существует социологический закон, согласно которому социальная ценность духа зависит от социальной значимости его творцов и носителей. Чтобы дух как таковой получил в качестве ценности общее признание, потребовалось не только длительное развитие; решающее значение в этом процессе всегда имело социальное положение его творцов. Аристократия духа лишь медленно завоевывала свои позиции рядом со слоем военной знати, аристократией по крови. Из истории нам известны забавные примеры, когда ценность университетского преподавателя определялась тем, сколько аристократических юношей сидит у его ног. Из истории Греции мы знаем, что изобразительное искусство долгое время ценилось меньше потому, что вначале художники происходили из сословия рабов. Напротив, для общественного развития духа было чрезвычайно существенно, что абсолютным властителям княжеств внезапно понадобились образованные должностные лица, в результате чего понизилась ценность придворной теологии и ряда других наук и повысилась значимость юридического образования.

В настоящее время мы являемся свидетелями обратного движения. Превышение предложения над спросом снижает ценность интеллектуалов и самого духа. То обстоятельство, что в предшествующий период развития демократического общества подобного превышения предложения над спросом в этой области не происходило, связано с тем, что эта стадия была демократией меньшинства. В культурный слой общества, наряду с аристократическими семьями, проникало путем отбора такое количество представителей имущих слоев, что имущество и образованность стали составлять замкнутое единство. Тем самым интеллигенция стала частью «хорошего общества». Можно, правда, сказать, что в восемнадцатом веке ученые были преимущественно выходцами из низших слоев, но путь их был тернист и покорность господствующим слоям гарантировалась зависимостью от них. Переход в наши дни от буржуазной демократии обеспеченных слоев к массовой демократии, в которой культура уже не принадлежит только немногим, имел сначала благоприятные последствия. Слишком тесно связанная с «хорошим обществом» интеллигенция воспринимала образование в смысле сословной конвенциональности и придавала ему в значительной степени сословный и престижный характер. Освобождение интеллигенции от «хорошего общества» и превращение ее в пребывающую некоторым образом между социальными слоями, делегирующуюся из всех классов духовность привело на первых порах к удивительному расцвету свободной духовной жизни. Образованность в лице интеллигенции царской России, а также в большей или меньшей степени всей Европы последних лет была общечеловеческим достоянием в лучшем смысле этого слова, в значительной мере независимым от сословных предрассудков, которые раньше всегда примешивались к образованности. Негативную направленность этот все более широкий отбор получил тогда, когда вместе с ростом предложения и сами слои, из которых производился отбор, становились все менее благоприятной почвой для культурного созидания.

Наименее подходящими для духовной жизни совсем не обязательно являются беднейшие слои, ими могут быть и те, положение которых в современном производственном процессе безнадежно; поэтому возникающие в этих кругах импульсы часто создают типы, ограниченные по своей человеческой сущности. Если в обществе, которое может предоставить социальным слоям весьма различные жизненный уровень и досуг и соответственно обеспечить различное духовное и душевное развитие, если в таком обществе доступ в сферу духовного лидерства будет открыт все большему числу людей, то средняя ментальность обойденных судьбой групп неизбежно получит репрезентативное значение. Если в аристократическом обществе с культурой меньшинства низкий средний уровень образования, присущий угнетенным слоям, ограничивался их жизненной сферой, то теперь укоренившаяся ограниченность людей среднего культурного уровня получает благодаря их массовому возвышению значимость и вес в обществе и сразу становится образцом для всех. Медленный приток низших слоев может быть ассимилирован высшими слоями, как это еще сегодня большей частью происходит в Англии. Но там, где приток масс становится

лавинообразным, старые слои интеллигенции теряют свою способность ассимилирования и вытеснения.

В связи с этим можно спросить, почему подлинная массовизация культуры не произошла уже тогда, когда пролетариат впервые выступил со своими притязаниями на образование и обрел влияние в демократической культуре. Почему негативные симптомы упадка культуры стали очевидны лишь тогда, когда демократизация культуры вышла за пределы пролетариата и распространилась на другие слои? Для объяснения этого надо прежде всего спросить, какие, собственно говоря, социальные слои все больше захватывают в наши дни политическое и культурное лидерство. Ответ гласит: те слои, которые обычно называют «новым средним сословием» в отличие от старого среднего сословия. К нему относятся мелкие служащие, низшие чиновники, ремесленники, мелкие коммерсанты, мелкие крестьяне и опустившиеся рантье. Можно допустить, что сам по себе этот слой мог бы не хуже любого другого выдвигать носителей культуры и что отбор элиты, который охватил бы и эти группы, должен был бы иметь благоприятные последствия. В принципе это, может быть, и так. Однако более глубокий анализ выявляет причины того, почему именно привлечение этих слоев приводит к изменению качества культуры. Со времени Маркса, Макса Вебера и других мы знаем, что общественные слои очень различаются в духовном отношении и что основополагающую структуру ментальности каждого слоя можно в значительной степени вывести из его положения в общественном производственном процессе. При этом решающей в современном обществе является заинтересованность группы в дальнейшем развитии индустриализации и рациональной технической организации. Жизнь определенных слоев и групп связана с ростом индустриализации и крупного предпринимательства. Само их положение рождает симпатию к техническому прогрессу и дальнейшему развитию рациональных и духовных возможностей людей. Совершенно ясно, что пролетариату, существование которого связано с индустриализацией, с техническими достижениями крупных предприятий и сверхорганизацией общества, свойственна бессознательная склонность развивать общество и дальше в этом направлении. В России, например, где пролетариат - господствующая политическая сила, он настойчиво внедряет этот принцип, совершая все большее накопление и инвестиции, чтобы увеличиться как социальный слой.

Совершенно иную позицию занимают по отношению к растущей индустриализации и рационализации индивидуально хозяйствующие мелкие социальные группы, такие, как мелкие торговцы или ремесленники, которые видят в технических изобретениях и крупных промышленных предприятиях врага. Для того чтобы чувствовать себя самостоятельными, им надо было бы разгромить крупные концерны, фабрики, универсальные магазины. Если бы это было в их власти, они сразу бы остановили техническую рационализацию. Однако тот, кто хоть в какой-то мере способен мыслить социологически, знает, что процесс рационализации в определенной области человеческой жизни нельзя повернуть вспять без того, чтобы это не привело к подобному же регрессу всей духовной и душевной конституции человека. Всякий, кто хочет возврата к докапиталистической структуре хозяйства и к докапиталистической организации общества, должен преобразовать и всю основу образования в такую, какой она была для человека

докапиталистического общества. Следовательно, чтобы спастись, он должен искусственно затормозить весь процесс развития общества, который под действием технической рационализации все более идет в сторону дальнейшей индустриализации и сверхорганизации. Подобно тому как промышленный пролетариат стремится посредством экономических средств достичь социального преобразования, так сказать, общей пролетаризации, новое среднее сословие пытается спастись, используя все политические средства, чтобы повернуть вспять промышленное развитие, затормозить процесс рационального образования и, опираясь на свои гуманистические идеалы, повернуть в обратную сторону становление современного рационального типа. Из предыдущего изложения ясно, что подобное преобразование общества соответственно тому, как этого хочет та или иная группа или слой, само по себе произойти не может и совершается лишь посредством насилия. Если кому-то нужны только пролетариат, промышленность, рациональность и просвещение, то ведь человек и строй такого рода так же не могут возникнуть из предоставленного самому себе общественного процесса, как другой тип человека, тип человека докапиталистического общества, не может беспрепятственно возникнуть на нынешней ступени развития общества и должен быть систематически выпестован с помощью насилия или, во всяком случае, посредством постоянного социального и духовного воздействия. Таким образом, и в этом случае неорганизованный рост демократического общества ведет к диктатуре. А тем самым в сфере культуры возникает опасность явлений, связанных с чрезмерной институционализацией.

IX

Демократическому и либеральному устройству массового общества можно предъявить ряд обвинений - и наша критика достаточно это показала. Однако необходимо признать одно его преимущество - то, что при всей неправильности его развития оно оставляет открытой возможность для спонтанного образования противоположных течений и коррекций. Большое преимущество либеральной структуры - даже на стадии массового общества - невероятная гибкость.

Было бы совершенно неправильно понимать нашу точку зрения таким образом, будто мы хотим, как это свойственно в наше время распространенному снобизму, представить массовое общество как само по себе достойное презрения. Мы твердо уверены в том, что современное общество так же сможет рано или поздно создать свои общественные формы для образования культуры, как это было в той или иной мере совершено в различных общественных структурах на предшествующих стадиях общественного развития. Основное зло современного общества заключается не в большом количестве людей, а в том, что либеральному строю до сих пор не удалось создать необходимое для большого общества органическое членение. Современной психологией и социологией установлено, как мы уже упоминали, что большое количество людей, организованное или разделенное на группы, реагирует в психическом отношении иначе, чем те же люди, когда они

выступают как неорганизованная масса. Многократно упоминавшееся неустойчивое поведение следует относить за счет нерасчлененности массы, а неправильное развитие либерального механизма отражает, по-видимому, переходный характер стадии, на которой предполагающий узкие рамки отбор и связанные с ним институты оказываются под внезапным натиском масс.

Но даже если рассматривать упомянутое неправильное развитие либерального механизма только как выражение переходной ситуации, это отнюдь не означает, что оно не может привести к гибели общества и культуры. Однако здесь следует со всей определенностью подчеркнуть, что диктатура отнюдь не является по отношению к этим перегибам и этому негативному развитию либерализма полярной формой социальной организации, т.е. она не служит противоположностью либерально-демократическому строю, а поэтому сама по себе и не может быть средством, способным исправить все то, что там было испорчено. Сама диктатура вырастает именно из негативных действующих сил массовой демократии и оказывается не чем иным, как насильственной попыткой развить случайную стадию либерального общества со всеми его недостатками в односторонних интересах определенной группы, а затем упрочить его.

Х

Мы не можем здесь характеризовать во всех деталях весь механизм общества, управляемого диктатурой, в его воздействии на культуру. Для этого потребовалось бы рассматривать отдельные воздействия диктатуры на культуру по крайней мере так же подробно, как мы рассматривали это на примере свободного общества. Мы отказываемся от такого анализа, с одной стороны, потому, что воздействие диктатуры, если можно так сказать, очевидно, с другой - потому, что мы до сих пор не располагаем достаточным количеством подробно изученных примеров плодотворного планирования в культурной сфере. Однако все наблюдения в этом направлении должны быть основаны на нескольких совершенно простых фактах.

Прежде всего: диктатура не есть просто планирование. Возможно, что для определенной степени планирования - именно эту степень необходимо со всей ясностью определить в последующем исследовании и на практике, - необходимы диктаторские полномочия. Но попытку излечить находящееся в кризисе общество одним установлением в нем диктатуры можно уподобить поведению врача, который полагает, что он спасет ребенка, запретив ему плакать.

Мы покажем на одном только примере, что диктатура еще не есть планирование. Правильное планирование культуры, которое организовало бы все в том смысле, как это понимает тоталитарное государство, должно было бы предоставить место и критике. В нем необходимо было бы создать центр, где может быть собран и продемонстрирован материал плодотворной самокритики, а именно опыт тех, кто занят планированием. Произвольная критика, безответственные, публичные разглагольствования могут действовать разлагающе, но полное уничтожение критики несет в себе только зло. Даже самый

убежденный представитель либерализма вынужден признать деструктивное воздействие критики, лишенной чувства ответственности, нападкам которой при осуществлении определенных задач подвергаются действия занятых в их осуществлении групп; причем совершается такая критика лишь с одной целью - служить собственным интересам без ощущения какой-либо обязанности предложить меры к позитивному улучшению положения. Здесь перед нами вновь повернутый в негативность либерализм, который на стадии господства масс позволяет беспрепятственно использовать во вред себе заложенные в нем свободы и допускает, чтобы его противники злоупотребили созданным им самим социальным механизмом.

Чем больше мы продвигаемся в развитии либерально-демократического общества, тем чаще его противники выступают со своими так называемыми «многообразными программами» или вообще отказываются сказать хоть что-нибудь о своих собственных будущих решениях. Оба пути вполне соответствуют законам социально-психологической суггестивности масс, но они тем опаснее, когда речь идет о преодолении общественных кризисов, поскольку они внезапно отбрасывают нас от рационального исцеления к социальной неуверенности.

Составители многообразных программ оппозиции, обещающих что-либо всем недовольным группам и слоям общества, рассчитывают на неумение среднего человека мыслить. С ним часто солидаризируется профессионально образованный, но не способный к вынесению общих суждений специалист. На последней стадии преобладания демагогического развития высшей мудростью считается вообще ни о чем не высказываться, отвергать роль рациональности в будущем и требовать слепой веры. Тогда наслаждаются двойным преимуществом - возможностью использовать рациональность только при критике противника и одновременно беспрепятственно мобилизовать в своих интересах все негативные формы ненависти, которые - уже по установленному Зиммелем закону «негативности типов коллективного поведения» - позволяют значительно легче формировать массу в единство, чем поставить перед ней позитивные цели. И прежде всего таким образом предотвращается опасность создания содержательных высказываний о собственных целях партии в своей среде. Если при прежних формах общественной оппозиции работали хотя бы с так называемыми утопиями, правда, некритическими потому что в них желаемые грезы смешивались с тем, что могло быть реализовано в обществе, то на более поздней стадии развития не было необходимости даже в таком духовном усилии, которое требовалось для обрисовки грезы, - достаточно, не размышляя, интегрировать негативные настроения и недовольство.

Что касается невозможности прежней формы критики, либеральной, неконтролируемой, не введенной посредством планирования в общественные связи, то сегодня даже самый радикальный демократ должен признать, что в мире, в котором система управления требует все больше специальных знаний и наиболее важные вопросы решаются в комиссиях, а не на пленарном заседании, подлинный контроль не может заключаться во всеобщем решении и осуществляться при абсолютной публичности. То же относится к различным областям культуры, которые большей частью требуют столь тонких специальных знаний, что всякие безответственные попытки вмешаться (связанные большей частью с политикой) не

могут ни контролировать, ни направлять развитие культуры. И здесь решение зависит от правильного разделения формирующих мнение инстанций, от должного направления спонтанных импульсов и опытов, от допущения и формообразования публичности, которая, в отличие от бесформенной, широкой публичности, опирается на относительно замкнутые, но подчас все-таки контролируемые группы и ограничивается ими, следовательно, и здесь решение зависит от расчлененной, демократической организации общества.

После того как сегодня мы совершенно ясно увидели, куда ведет в формировании мнения, с одной стороны, полное подавление, с другой - полное *laissez-faire*, все дело в том, чтобы найти рациональным и экспериментальным путем такое соединение того и другого, которое представляло бы собой оптимальное выражение характера общества и культуры.

Важная область для экспериментирования в изучении этих феноменов дана существующими диктатурами. Пока они функционируют, в них - хотя бы ввиду необозримости большого общества - организующий центр должен располагать каналами информации и критики. Диктатура также должна располагать возможностями наблюдения за реакцией тех, кто является объектом управления. Служит ли этому в качестве наилучшего способа тайная система надзора или неконтролируемая мощь местных властей, еще не определено. До тех пор пока диктатура не заменяет прежнюю форму, с помощью которой мнения вводятся в определенные каналы - парламент, прессу и т.д., - новыми, следовательно, сама не осуществляет планирование, в ней возможна только дезинтеграция. Таким образом, и здесь диктатура без планирования приводит лишь к регрессу, так как в тех сферах, где раньше уже было создано рационализированное разделение компетенций, она вновь создает сосуществование мелких деспотий.

Если в течение определенного времени планируемая критика не будет встроена в диктатуру, это приведет к гибели режима. Либо недовольство вспыхнет таким образом, что его вообще уже нельзя будет интегрировать в общественную систему, т.е. в виде восстаний и контрреволюции, либо ведущие группы потеряют контакт с животворящими клеточками общества, бюрократия утратит чувство реальности, и ее чуждое действительности управление в конце концов, «планируя», уничтожит хозяйство и культуру.

После всего сказанного можно с полным правом спросить, действительно ли на стадии массового общества все безнадежно, и мы без надежды на спасение движемся навстречу гибели общества и культуры. Мое мнение отнюдь не таково. Я полагаю, что история либерального массового общества достигла точки, когда расчет на естественный ход событий ведет к гибели. Без планирования - и в области культуры - мы не обойдемся и нам следует, наконец, признать, что система образования, рассчитанная на индивидуализированный элитарный тип в демократии меньшинства, не может быть без изменений успешно применена к массам. Одним словом, не следует ждать, пока в ходе неправильного развития к власти придут те группы, которые под планированием понимают одностороннее, функционирующее в их интересах господство сил. Планирование не означает насилия над живыми структурами, диктаторскую замену творческой жизни. Планирование означает сознательное устранение источника ошибок, совершаемых

общественным аппаратом, на основе знания всего социального механизма и живых структур; но это означает не лечение симптомов, а умение правильно переключиться на ясное осознание, т.е. умение ясно видеть и учитывать в своих действиях их отдаленные последствия.

При этом не стоит забывать, что в области культуры (как, собственно говоря, и в экономике) никогда не было абсолютного либерализма в том смысле, чтобы наряду со свободно действующими общественными силами не существовало бы также регулирования, например, в сфере образования. Либеральное государство также создавало сферы, где оно не только устанавливало норму знания, которое надлежало предоставить различным слоям, но, сверх того, и создавало и предлагало элитарным группам следовать образцам поведения, необходимым для существования данного общества. Стало быть, своеобразию свободного демократического общества не противоречит утверждение, что существует оптимальная отчетливо выраженная связь между сферой свободной творческой инициативы и институциональной структурой. При этом в будущем своеобразии этой сферы свободной творческой инициативы должно обязательно включать в себя постоянный контроль над тем, чтобы в ходе развития не произошло ее перерождение. Но для того чтобы, контролируя, воздействовать в будущем на происходящее, надо прежде всего знать законы создающих культуру и разлагающих ее социальных сил. Далее, при этом необходимо ясно понимать, что переход от демократии меньшинства к сложившейся массовой демократии происходит не спонтанно, а должен быть заранее запланирован.

Карл Манхейм Человек и общество в эпоху преобразования. Перевод М.И.Левиной // Карл Манхейм Диагноз нашего времени.: Пер. с нем. и англ. – М.: Юрист, 1994. – 700 с. – (Лики культуры).

В хрестоматії відображено проблемні питання курсу «Соціологія». Робота побудована з урахуванням здобутків класиків соціології та сучасних авторів. Підготовлена хрестоматія дає можливість залучитись до творчості провідних науковців, познайомитися зі змістом та пізнавальними можливостями соціології, поглибити знання з курсу. Активно може використовуватися під час семінарських занять та як додаткове джерело отримання інформації, стимул для самостійного вивчення соціологічної спадщини. Хрестоматія є доповненням до навчального курсу «Соціологія» для студентів, аспірантів та викладачів.

Навчальне видання

Черняк Дарина Сергіївна

СОЦІОЛОГІЯ

Хрестоматія

Навчальний посібник
(Російською мовою)

Рекомендовано Вченою радою Київського національного
університету технологій та дизайну як навчальний посібник
для бакалаврів усіх спеціальностей

Редактор Л. Л. Овечкіна
Відповідальний за поліграфічне видання Т. А. Назаревич
Коректор Н. П. Біланюк

Підп. до друку 20.03.2012 р. Формат 60x84 1/16.
Ум. друк арк. 21,15. Облік.-вид. арк. 16,56. Тираж 68 пр. Зам. 1058.

Видавець і виготовлювач Київський національний університет технологій та дизайну.
вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601, ДСП.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 993 від 24.07.2002.